

НОВЫЙ
МИР

НОВЫЙ МИР

1968

10



1968

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIV

№ 10

Октябрь, 1968 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ	
ЕЛИЗАВЕТА ДРАБКИНА — Зимний перевал	3
МИХАИЛ ЛУКОНИН — Мои товарищи, стихотворение	94
И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ — Звуки земли	96
МАРИС ЧАКЛАЙС — Поступь, стихи. Перевел с латышского Петр Вегин	108
А. КУРГАТНИКОВ — На факультете, рассказ	111
РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН — Вся королевская рать, роман. Перевел с английского В. Голышев Продолжение	120
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
А. ДОРОХОВ — Молодежь революции	176
ПУБЛИЦИСТИКА	
Е. ГНЕДИН — Масштабы и характеры (Заметки о современном буржуазном обществе)	211
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Ю. МАНН — Базаров и другие	236
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
В. Кубилюс. Поэт высокого драматизма — Ал. Михайлов. Слово — это дело — А. Турков. Заслуженный успех. — А. Горбунов. Хозяин и владелец Иокнапатофы	256
<i>Политика и наука</i>	
А. Желоховцев. Политика, чуждая социализму. — Виктор Афанасьев. Этнографическое изучение современного села. — М. Михайлов. Рекомендации, не сулящие удач. — В. Георгиев. Экономика и право.	265

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ — Н. А. Гвоздецкий. Советские географические исследования и открытия.— Януш Корчак. Как любить детей.— Владимир Козин. Четырехрогий баран.— Александр Борин. Нужен привереда.— В. Боборыкин. Александр Фадеев.— Ю. Овсянников. Солнечные плитки.— Генри Каттнер. Робот-заснайка.— Н. Мар. Люди как скалы	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

Ленинские страницы

ЕЛИЗАВЕТА ДРАБКИНА

★

ЗИМНИЙ ПЕРЕВАЛ

Около десяти лет Е. Я. Драбкина работала над книгой «Зимний перевал» — о последних годах жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина. Первую часть этой работы мы предлагаем сейчас вниманию читателей «Нового мира».

Если от главного дома в Горках свернуть налево, широкая прямая аллея приведет к беседке у обрыва. Отсюда открывается просторный вид на холмистые поля, на рощи, равнины, перелески, деревья, склонившиеся над прудом.

Эту беседку любил Владимир Ильич Ленин в те годы, когда он подолгу жил в Горках. В последние годы своей жизни.

Быть может, высокий откос, чувство пространства и открытого воздуха, уходящие за край небес развернутые дали, крутые, заросшие кустарником склоны — все это напоминало ему Симбирск, «Старый Венец», обрыв к Волге, широкие просторы Заволжья. Недаром в семье Ульяновых беседку и площадку перед обрывом в Горках прозвали «Венцом».

Не знаю почему — наверное, потому, что все кругом тут так светло и до боли прекрасно, — но нигде, даже в доме, где столь многое связано с ним, так не чувствуешь Ленина-человека, так о нем хорошо не думается, как здесь.

С глубоким волнением приступаю я к работе над этой книгой о последних годах его жизни и деятельности, о тяжком времени его последнего прощания с миром.

Достанет ли у меня ума и сердца, чтобы написать ее? Найду ли я точные, весомые слова? Сумею ли установить живую связь между событиями полувекковой давности и сегодняшним днем? А главное — достанет ли всех сил, что у меня есть, чтобы показать Ленина такого, каким он был — в равной мере великого и в жизни, и в смерти, и в том, что он завещал поколениям, которым суждено довершить его дело?

Да послужат мне оправданием слова одного из старейших большевиков, Пантелеймона Николаевича Лепешинского, сказанные им вскоре после того, как Владимира Ильича не стало.

— Мы, современники Ильича, — сказал он, — более или менее близко подходившие к нему и имевшие счастливые случаи видеть его, слышать его речь, наблюдать кусочки его работы или жизни, обязаны, хотя бы и неумелыми, детскими руками, снова и снова пытаться воспроизвести его образ, сделать сотни и тысячи, хотя бы и очень несовершенных, эскизных зарисовок его, уловить как можно более отдельных черточек, присущих ему. Словом, сделать все возможное, чтобы подлинный живой

облик Ильича не был бы окончательно утерян для будущих поколений и чтобы его интереснейшая индивидуальность не стерлась от времени, не растворилась бы в море легенд, которые, несомненно, будут в огромной мере накапливаться около его имени...

Сколько лет пролегло с тех пор, сколько воспоминаний унесено ветром времени, но по-прежнему звучит для меня его голос, по-прежнему вижу я его лицо, сзаряемое быстрыми переходами от тени улыбки к отблеску гнева и необыкновенной переменчивостью мыслей, чувств и настроений, так прекрасно названной Анатолием Васильевичем Луначарским «музыкой выражения лица Ильича». Вот — весь внимание — он вслушивается в слова собеседника. Вот быстрым, легким, упругим шагом идет к трибуне. Вот вглядывается пронизывающим и вопрошающим взглядом. Вот смеется, блестя глазами.

И помню я его только живым. Никогда — мертвым, хотя и стояла в почетном карауле сколо его гроба.

Так, только живым, сохранился он не только в моей памяти.

«Был я тогда, когда умер товарищ Ленин, очень болен, лежал, но не утерпел, пошел попрощаться, — рассказывает рабочий Трехгорной мануфактуры Федор Григорьевич Румянцев. — Только мертвого я его не запомнил. Запомнил его таким, каким он приходил к нам на фабрику, как усмеялся и, прикрыв глаза рукой, смотрел — много ли рабочих собралось его послушать...»

Нет ничего более тяжкого, чем рассказывать о болезни и смерти Владимира Ильича. Пусть эти страницы будут первыми.

Он тяжело заболел в мае двадцать второго года, но болезнь подкрадывалась к нему уже давно, исподволь, шаг за шагом и громко возвестила о себе задолго до этого, еще на переломе небывало тяжелой зимы двадцатого — двадцать первого года, который Глеб Максимилианович Кржижановский недаром называл «зловещим», «злосчастливым», «злополучным».

Владимир Ильич много работал, много выступал, но всю зиму у него были головные боли и бессонница, он быстро уставал и мучился тем, что не может работать так, как привык, — с утра до ночи и с ночи до утра. Врачи не находили у него никаких органических поражений ни со стороны нервной системы, ни со стороны внутренних органов, однако ввиду крайнего переутомления и острых головных болей предлагали отдохнуть в течение нескольких месяцев.

Время от времени он уезжал из Москвы, обычно в Горки. Но по настоящему не отдыхал, а продолжал работать.

В мае двадцать второго года произошел первый приступ болезни — общая слабость, затрудненность речи, ослабление деятельности правой руки и правой ноги.

Этот приступ продолжался около трех недель. Потом не раз повторялись приступы преходящего паралича — по часу, по два.

Больше всего страшила его мысль, что ему грозит потеря речи. Ухаживавшую за ним медицинскую сестру Е. И. Фомину он спросил:

— Как вы будете меня понимать, если я совсем перестану говорить?

По предложению лечащих врачей к Владимиру Ильичу был приглашен крупнейший окулист — профессор Михаил Иосифович Авербах, который у него уже бывал раньше.

Владимир Ильич встретил Авербаха, как старого знакомого. Авербах сразу почувствовал, что он ищет возможности остаться с ним наедине. Предвидя тяжелый разговор, Авербах всячески избегал оставаться

с Владимиром Ильичем с глазу на глаз. Все же такая минута выпала. Схватив Авербаха за руку, Владимир Ильич с большим волнением сказал:

— Говорят, вы хороший человек. Откройте же мне правду: ведь это паралич и пойдет дальше? Поймите: для чего и кому я нужен с параличом?

Но тут вошла медицинская сестра, и, к облегчению Авербаха, разговор оборвался.

Наблюдавший Владимира Ильича в последний год его жизни профессор В. П. Осипов, размышляя о том, как проявлялись основные черты характера Владимира Ильича во время болезни, говорил о его необыкновенной духовной мощи, поразительном терпении, выдержке. «Из истории болезни Владимира Ильича видно,— рассказывал В. П. Осипов,— что он быстро отдал себе отчет в серьезности своего заболевания, спрашивал врачей, не есть ли это начало паралича». Но, несмотря на это, «продолжал работать до последней возможности, в то же время анализируя и оценивая свое болезненное состояние. Удержать его от работы невозможно... Эта черта его характера проходит красной нитью через все последующее течение болезни».

С помощью преданно ухаживавших за ним Надежды Константиновны и Марии Ильиничны организм Владимира Ильича совладал с болезнью. Весь август и сентябрь он чувствовал себя лучше и лучше и все энергичнее включался в работу. В октябре он вернулся в Москву, стал много работать, хотя и не так много, как прежде. Но в начале декабря вновь появились приступы преходящего паралича, а 16 декабря у него отнялись правая рука и правая нога, и он вынужден был слечь.

Весь январь и февраль двадцать третьего года его состояние то слегка улучшалось, то снова ухудшалось. По рассказу находившейся при нем неотлучно Е. И. Фоминой, был он тогда в спокойном настроении, хотя все время довольно грустный. К уверениям врачей, что он скоро поправится, относился недоверчиво. С необычайным терпением переносил мучившие его головные боли, никогда не стонал, не жаловался, не требовал облегчить его страдания.

В эти-то месяцы он продиктовал свои последние статьи и последние письма к партии, известные под именем его политического завещания.

Десятого марта произошел новый тяжелый приступ с полным параличом правых конечностей и потерей речи. И это при ясном сознании и понимании всего происходящего, в том числе и своей болезни.

«Положение было поистине трагическое,— рассказывал потом вновь посетивший его в это время Авербах.— Человек, который своим словом приводил в состояние экстаза массы и убеждал закаленных в дискуссиях борцов и вождей, человек, на слово которого уже так или иначе реагировал весь мир, этот человек не мог выразить самой простой, примитивной мысли. Не мог сказать, но в состоянии был все понять. На лице его было написано страдание и какой-то стыд, а глаза сияли радостью и благодарностью за каждую мысль, понятаю без слов. Этот раздирающий душу благодарный взгляд испытал на себе и я, случайно угадав одно его желание, которое не поняли окружающие».

Два месяца Владимир Ильич пролежал в Москве, а в мае его перевезли в Горки. Там ему стало лучше, но ненадолго. Во второй половине июня произошло новое обострение. На этот раз оно выразилось в сильном возбуждении и бессоннице.

Примерно с конца июля началось очень медленное, но непрерывное улучшение. Владимир Ильич катался в кресле по дому и по парку, постепенно начал с посторонней помощью ходить, в начале августа приступил к упражнениям для восстановления утерянной способности речи,

которые Надежда Константиновна проводила с ним до самой его смерти. В сентябре он мог уже, держась за перила, спускаться и подыматься по лестнице. Товарищи, встречавшие его в то время, когда он гулял в парке, рассказывали: «Та же улыбка, та же приветливость, только в глазах что-то печальное».

К началу октября он ходил по комнате, опираясь на палку. Однажды Надежда Константиновна, которая каждую неделю ездила в Москву, сказала Владимиру Ильичу, что она уезжает в город. Обычно он к ее поездкам относился спокойно, но на этот раз заволновался, надел кепку и дал понять, что он тоже хочет поехать. Надежда Константиновна его успокоила, обещала скоро вернуться, но он весь день был печален и грустен.

Чтоб не волновать Владимира Ильича, Надежда Константиновна решила отказаться от поездок в город. Но, как рассказывает профессор Осипов, «намерение совершить поездку сложилось у него совершенно прочно». 18 октября с утра он был возбужден, пообедал торопливо, вышел во двор, прошел к гаражу, сел в машину и показал шоферу, что хочет ехать в Москву. Попытки отговорить его от поездки потерпели неудачу.

— Когда мы подъезжали к Москве,— вспоминает профессор Осипов,— уже смеркалось, зажигались огни. Владимир Ильич повеселел, снял кепку и приветствовал Москву.

Приехали в Кремль. По-прежнему веселый, Владимир Ильич поднялся в свою квартиру и прошел в находящийся на том же этаже зал заседаний Совнаркома — тот зал, с которым так много было для него связано. Отворил дверь. Постоял, оглядывая зал. Прошел в кабинет. Посмотрел на свой рабочий стол. На следующий день показал, что просит отвезти его к выходу из Кремля. Вместе с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной объехал в автомобиле Кремль, оттуда по его просьбе шофер направился на строящуюся тогда около Крымского моста Сельскохозяйственную выставку. Вернувшись в Кремль, Владимир Ильич отобрал в библиотеке несколько книг и уехал в Горки.

Всю осень он неустанно упражнялся в речи, начал внятно произносить некоторые односложные слова. Порой казалось, что он вот-вот заговорит. Часто брал он газеты, просматривал их, показывал статьи, которые просил прочитать ему вслух. Хотя медленно, с трудом, начал писать левой рукой. А когда наступили солнечные зимние дни, стал ездить на санях в лес в сопровождении охотников и был во время этих поездок неизменно ровен, оживлен.

Но профессор Осипов, старавшийся, оставаясь незаметным, не упускать Владимира Ильича из поля зрения, не раз подмечал, как им овладевало грустное настроение. «Иногда он часами сидел, задумавшись; даже в присутствии посторонних временами погружался в свои мысли. Иногда на его глаза навертывались слезы...» А близкие Владимира Ильича вспоминают, что он, когда оставался один и думал, что его никто не услышит, пытался тихо насвистывать романс Балакирева на слова Лермонтова:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилась моя.

Хотя врачи и близкие знали о глубоких поражениях, нанесенных болезнью, но ничто, казалось, не предвещало близкого конца.

Катастрофа наступила в понедельник 21 января.

«Еще за два дня до этого, в субботу, ездил он в лес, но, видимо, устал, — рассказывала потом об этих трагических днях Н. К. Крупская. — Вернувшись домой и сидя на балконе, часто закрывал глаза, как-то побледнел, и, главное, у него как-то изменилось выражение лица». На вопрос Надежды Константиновны, не болит ли что, отвечал отрицательно. В субботу, девятнадцатого, вечером пожаловался, что плохо видит. В воскресенье пригласили профессора Авербаха. Владимир Ильич встретил его очень ласково, охотно отвечал на вопросы, немного успокоился.

В понедельник пришел конец. Утром Владимир Ильич еще вставал два раза, но тотчас ложился и засыпал. Часов в одиннадцать выпил черного кофе и опять заснул. Когда он проснулся, дали ему бульон и опять кофе. Он успокоился немного, но вскоре заклокотало у него в груди. Ухаживавшие за ним врачи держали его на руках; временами он глухо стонал. Профессор Ферстер и доктор Елистратов впрыскивали камфару, старались поддержать искусственное дыхание — ничто не помогало, спасти было нельзя.

В шесть часов пятьдесят минут вечера Владимир Ильич скончался. Последний вздох его был таким тихим, что его никто не услышал.

Товарищи, жившие в то время в расположенном на территории Горок санатории, до последней минуты не знали о случившемся. Вечером, около шести, отдохавший в санатории московский партийный работник Владимир Гордеевич Сорин зашел в домик, в котором жил управляющий совхозом «Горки» Алексей Андреевич Преображенский, друг Владимира Ильича еще по Самаре. Несколько минут спустя прибежал кто-то от Марии Ильиничны с просьбой прислать камфару. Сорин не знал, зачем бывает нужна камфара, и спросил об этом. Ему шепотом ответили, что камфара бывает нужна для усиления деятельности сердца.

Встревоженный Сорин вышел из дому. Кругом стояла тишина, и все было таким, как всегда. Но что-то казалось необычным и продолжало тревожить. Что? Сорин понял не сразу. Это были освещенные окна наверху. В это время суток окна наверху никогда не бывали освещены, и свет в них означал, что там, наверху, что-то случилось.

Сорин вошел в Большой дом (так называли дом, в котором жил Владимир Ильич), посмотрел на часы. Было семь часов вечера. Прошло уже десять минут, как Владимир Ильич скончался, но в доме было до того тихо, так ничто не говорило о смерти, что у Сорина не возникло о ней даже мысли.

Он вернулся в домик А. А. Преображенского. Из Большого дома никто не приходил.

Вдруг резко, с размаху хлопнула дверь вниз. Все, кто был в домике, бросились к выходу. И через секунду — Сорин не успел еще выбежать на площадку — раздался чей-то ужасный крик, который говорил без слов: в Большом доме произошло непоправимое.

Едва стало известно о смерти Владимира Ильича, вся трудовая Москва в слезах и горе собралась на фабриках и заводах. В Горки потянулись делегации с венками в траурных лентах.

Среди них была делегация Трехгорной мануфактуры, которую тогда по старой привычке звали по имени старого хозяина, купца Прохорова, «Прохоровкой». Рабочие «Прохоровки» неизменно выбирали Владимира Ильича своим депутатом в Московский Совет.

Сохранился рассказ о поездке этой делегации, написанный в 1924 году одним из ее участников — Григорием Тимофеевичем Семеновым.

«Годов мне шестьдесят четыре,— рассказывал Григорий Тимофеевич.— На «Прохоровке» работаю пятьдесят годов. В первое время, как поступил, получал осьмнадцать копеек в день.

В революцию первое время наши фабрики стали. Работать начали в девятьсот двадцатом, не то в двадцать первом. Вот тогда на наш завод и стал товарищ Ленин ездить. Говорил он у нас на собраниях. Мне все как-то не приходилось его послушать. Не то что охоты не было, а всегда так выходило, что я в отделении дежурил, а как дежурство-то оставишь?

А только понятие о товарище Ленине у меня было правильное.

И знал я, что он есть рабочего класса защитник, какого никогда не бывало.

Когда на заводе объявили, что он скончался, так мне страшно обидно стало. А тут как раз общее собрание, и решили на нем делегацию послать в Горки. Я и вышел и говорю: «Мне товарища Ленина живым не пришлось видеть, дайте хогь на мертвого посмотреть». Что же, выбрали меня и еще двоих, и поехали мы в Горки. Мороз был лютый, да о морозе не думалось.

Приехали мы, пошли. Вошли мы тихо. Лежит товарищ Ленин жалостливо так. Лицо желтое, лоб котлом. У стола женщина стоит, глаза опухшие. Я товарища спросил — жена, говорит, товарища Ленина. А я про нее знал, что она всю жизнь с ним провела и всю тягость с ним делила. Поклонился я ей низко, погладил товарищу Ленину плечико и пошел...»

Владимир Ильич умер от склероза сосудов головного мозга. Самый характер склероза определен в протоколе вскрытия как «Arteriosklerose» — склероз артерий.

Врачи были поражены тем, как далеко зашел процесс: артерии, питающие мозг, были настолько обызвествлены, что превратились в твердые шнуры, не имеющие просветов. Профессор Ферстер говорил: «Нужно удивляться, что при таком ужасном разрушении мозга Владимир Ильич мог до последней минуты сохранить так много интеллекта. Как огромна должна была быть сила этого интеллекта, когда мозг был здоров!»

На моей книжной полке стоят пятьдесят пять томов в синих переплетах, на корешках которых написано: «Ленин». Если присоединить к ним и то, что не обнаружено и что не напечатано, таких томов, может, было бы более шестидесяти. Более шестидесяти томов, насыщенных умом, страстью, действием!

Первая статья, включенная в эти тома, написана весной 1893 года, последняя — в феврале—марте 1923 года. Ровно тридцать лет. Шестидесят томов за тридцать лет — два тома в год.

Надо только подумать: два тома в год в тех условиях, в которых он жил, при той работе, которую он вел!

В дни, когда Россия прощалась с Лениным, я дважды стояла у его гроба. Более сорока лет прошло с тех пор — и каких лет! — но, будто не было этих лет, я вижу январскую Москву, морозный туман; покрытые инеем, словно поседевшие в эту ночь стены Кремля; костры, разведенные на улицах, бесконечную человеческую ленту у Дома Союзов; скорбные фигуры Надежды Константиновны и Марии Ильиничны. Я чувствую горький запах хвои, мороза и дыма, слышу шаги людей, медленно проходящих мимо гроба, и ту особенную тишину, которая остается тишиной даже тогда, когда ее прерывает женский плач или голос ребенка, который просит вложить в руку Ленина нарисованную им грустную звезду.

Снова и снова гляжу я на длинный ряд томов в синих переплетах, выстроившийся на моей книжной полке, читаю и перечитываю страницу за страницей. Снова и снова напрягаю память, чтоб вспомнить все, связанное с Лениным, все, что я видела, слышала, о чем мне рассказывали, вчитываюсь в воспоминания его родных, друзей, соратников. И сколько бы ни читала, сколько бы ни думала и ни вспоминала, всегда я узнаю что-то новое, неожиданное, что берет за сердце, заставляет по-новому увидеть окружающий мир.

Сейчас, как никогда раньше, мы можем приобщиться к сокровищнице ленинской мысли: благодаря огромной работе, проделанной Институтом марксизма-ленинизма для издания Полного собрания сочинений Ленина, мы стали обладателями бесценного ленинского наследия.

Том за томом, год за годом...

«Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем», — говорил Белинский.

Так вопрошаем мы Ленина.

Передо мной труднейшая задача — я хочу рассказать, как сумею, о тех годах, которые обычно называют годами перехода к новой экономической политике и которые были годами плодотворнейшего взлета творческого гения Ленина.

Для одного человека эта задача непосильна по своей огромности и сложности. Чтобы выполнить ее по-настоящему, надо одолеть горы самых разнообразных материалов и долгие годы работать «во глубине архивных руд».

Пусть читатель не ждет от меня многого: я предложу ему не законченную картину, а лишь первоначальнейшую загрузку холста. Если же судьба подарит мне время и силы, я буду искать и искать новые факты, документы, линии, краски, которые сделают намеченные мною образы более живыми, глубокими, полновесными.

И все же я выношу на суд читателя это повествование.

Поступаю я так потому, что меня торопит время — и то, что отпущено мне на земле, и то, в которое мы живем.

Моя книга — не повесть, не роман, не научное исследование, не произведение мемуарной литературы. Это, скорее, беседа о Ленине, раздумье о нем.

Мне вспоминается, как однажды, когда я была подростком, мы с моей мамой оказались на юге Франции и в каком-то небольшом городке попали на необычную выставку картин. Вся она состояла из двух или трех десятков портретов одного и того же человека, выполненных разными художниками. И тут возникало чудо: на вас глядело два или три десятка лиц, они были одним и тем же лицом и в то же время каждое из них было особенным, своим и единственным.

Такое же чувство возникает у меня, когда я думаю о Ленине, перебираю свои воспоминания о нем, читаю воспоминания его близких и его соратников. В чем-то все они едины, в чем-то каждый соприкасавшийся с Лениным создает своего Ленина. Но, соединенные вместе, они складываются в полный мысли и движения образ Ленина, насыщенный внутренним миром самого рассказчика и тем новым, что приносит нам каждый день быстротекущей жизни.

Рассказывая о Владимире Ильиче Ленине и о первых годах перехода к новой экономической политике, я буду рассказывать о многом, связанном с этим временем, и о многих людях, в их числе о себе. Пусть

читатель поверит мне: когда я говорю о себе или от своего имени, я делаю это лишь для того, чтобы живее воссоздать неретушированные черты эпохи, о которой веду речь, ее краски, шум и голоса во всей их неповторимой подлинности.

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

1

С какого же времени начать наше повествование?

Начну его с осени двадцатого года. И даже точнее: с 1 сентября.

Первого сентября двадцатого года Владимир Ильич Ленин написал в библиотеку Румянцевского музея записку, в которой, обещая все книги вернуть к утру, просил выдать ему на ночь, когда библиотека закрыта, два лучших словаря греческого языка — с греческого на немецкий, французский, русский или английский; лучшие философские словари; словари философских терминов на немецком, французском, английском и русском языках и книги Целлера и Гомперца по истории греческой философии.

В этот день «Правда» вышла на двух страницах. В передовой статье «Очередная гибель Советской власти» говорилось о кампании лжи и клеветы, поднятой в заграничной печати против Советской России, а также о том, что панская Польша затягивает переговоры о мире. «В таких условиях наша задача ясна, — писала «Правда». — Все вопросы решаются реальным соотношением сил».

Оперативная сводка сообщала, что на Западном фронте в Белостокском районе противник потеснил наши части, в Беловежской пуще наступательные попытки противника отбиты, бой продолжается.

Под шапкой «На пана и барона» был помещен ряд заметок о партийных, профсоюзных и комсомольских мобилизациях на польский и врангелевский фронты.

На первой же странице «Правды» была напечатана подборка под заголовком «Мировой пролетарский фронт». Портовые рабочие Данцига отказались разгружать военные материалы, предназначенные для Польши. Железнодорожники Карлсруэ задержали следовавшие в Польшу транспорты с военным снаряжением. Съезд «Республиканской федерации бывших воинов», собравшийся в Париже, решил в случае объявления новой войны сделать все, чтобы ее сорвать. Итальянская всеобщая конфедерация труда заявила о своей солидарности с российским пролетариатом.

Вторая страница «Правды» была посвящена событиям внутренней жизни: сведениям — не особо радостным — о поступлении хлеба; сообщению о нормах отпуска продуктов населению Москвы: по карточкам для взрослых только хлеб на два дня, по детским карточкам — фунт сахара, полфунта сливочного и растительного масла, полфунта кондитерских изделий, а для грудных детей сверх того три фунта керосина и фунт простого мыла. Все это, разумеется, на весь месяц.

Нижнюю часть этой страницы занимал отдел «Рабочая жизнь». В нем было напечатано несколько заметок, самая большая из них — «Надо учиться». Рабочий-корреспондент из Мызы Раево писал, что у них перерегистрация членов партии закончена. Вопросы, задававшиеся комиссией во время перерегистрации, теперь у всех на устах, каждый ищет на них ответа: почему наша партия называется партией большевиков? Кто был Карл Маркс? Что такое прибавочная стоимость? Партийная масса зашевелилась, задумалась, стала понимать, что коммунизм — это знание.

Свою заметку автор заканчивал словами: «Товарищи, на коня! На Врангеля! Тыл, за книгу! За учебу! В пролетарское искусство! В партийную школу!»

В этот день, 1 сентября, Ленин выступал с докладом о текущем моменте на Втором Всероссийском съезде работников просвещения и социалистической культуры и участвовал в заседании Политбюро Центрального Комитета партии.

На заседании Политбюро обсуждалось много вопросов: меры к более строгой охране шифрованных сообщений, идущих с военно-оперативной и дипломатической почтой; поездка Михаила Ивановича Калинина с агитационным поездом на Кубань; ходатайство Наркомпрода о партийной мобилизации на продовольственный фронт и об освобождении продовольственных работников от военных мобилизаций; состав новой делегации для мирных переговоров с Польшей; создание Комиссии по изучению истории Октябрьской революции; военное положение; закупка предметов военного снабжения; просьба Сталина об освобождении его от военной работы; создание боевых резервов — и еще ряд вопросов, в равной степени далеких и от истории греческой философии, и от словарей философских терминов.

Почему же Ленин в такой день просил прислать ему философские словари и книги по греческой философии? В какой-то мере это было, вероятно, связано с тем, что он готовил новое издание своей книги «Материализм и эмпириокритицизм».

Мысль о переиздании «Материализма...» зародилась у него еще летом в связи с тем, что А. А. Богданов, живший тогда в Москве, усиленно развил пропаганду своих взглядов, которые называл «учением о пролетарской культуре».

Сначала Ленин предполагал, что он займется разбором взглядов Богданова сам и сделает это в предисловии к новому изданию «Материализма...», но из-за отсутствия времени поручил этот разбор Владимиру Ивановичу Невскому.

К 1 сентября статья Невского «Диалектический материализм и философия мертвой реакции» была уже готова, и Ленин должен был написать только предисловие к этому изданию своей книги. Он написал его то ли в ночь с 1 на 2 сентября, то ли утром 2 сентября.

Предисловие это небольшое — всего полстранички. Ленин выражает в нем надежду, что переиздаваемая книга будет бесполезна как пособие для ознакомления с философией марксизма, диалектическим материализмом, а равно с философскими выводами из новейших открытий естествознания, и говорит, что последние произведения Богданова рассматриваются в печатаемой в качестве приложения статье Невского, который «...имел полную возможность убедиться в том, что под видом «пролетарской культуры» проводятся А. А. Богдановым буржуазные и реакционные воззрения».

Чтобы написать такое предисловие, греческие и философские словари, равно как и книги по истории греческой философии, Ленину не были нужны.

Значит, была у него какая-то другая мысль, которая, быть может, родилась, когда он решил переиздать «Материализм...». О чем-то он думал или что-то задумал. Что? Этого мы не знаем и не узнаем никогда.

Но как властно его потянуло к философии, если он решил отдать ей такую ночь, как ночь с 1 на 2 сентября двадцатого года!

А потом — сколько прошло времени? Час? Два? Вся ночь? Ленин со вздохом попрощался с книгами: ничего не поделаешь, времени нет.

Бывало у него такое выражение лица, переданное одной из фотографий двадцатого года: он слегка наклонил голову, смотрит долгим, задумчивым, ушедшим в себя взглядом.

2

То ли в тот день, то ли накануне его мы, группа работников комсомола, случайно встретили Ленина. Было это в Кремле, неподалеку от Царь-колокола.

Только что закончился Второй конгресс Коминтерна, во время которого происходило несколько международных конференций, в том числе молодежная. На ней решено было каждый год в первое воскресенье сентября проводить Международный юношеский день.

Мы шли от Большого Кремлевского дворца по направлению к Троицким воротам, когда увидели Владимира Ильича. Поравнявшись с нами, он остановился, спросил о наших делах.

Содержание этого разговора я не помню. Помню лишь слова Гёте, которые привел Владимир Ильич в своем пересказе: «Достигни сам того, что ты унаследовал от твоих отцов. Только тогда оно будет твоим».

3

Владимиру Ильичу недавно исполнилось пятьдесят лет. Был он тогда на удивление молодой и живой — и в движениях и в работе. Отчасти потому, наверно, что находился тогда в полном расцвете духовных и физических сил, но много значило и положение в стране и в международном рабочем движении: оставаясь очень трудным, оно внушало надежды, что скоро станет легче.

Работал он столько, что, как тогда говаривали, в полночь мог сказать о себе: «Начинаю шестнадцатый час моего восьмичасового рабочего дня». Даже простой перечень дел и вопросов, которые он успевал решить за какую-нибудь неделю, потребовал бы нескольких страниц.

Престарелая артистка Малого театра Н. А. Никулина просила о помощи: ей угрожало выселение из квартиры. «Оставить ее в покое», — написал на письме Никулиной Ленин.

Крестьяне села Богданово, Подольского уезда, Московской губернии, писали Ленину о тяжелом положении их деревни. Ленин в телеграмме Подольскому уездному продовольственному комитету подтверждал, что крестьяне пишут правду, и просил по возможности уменьшить разверстку.

Врангель перешел в наступление и занял Бердянск и Мариуполь. Ленин предложил назначить командующим Южным фронтом Михаила Васильевича Фрунзе.

Горький просил о дровах для петроградских ученых. Ленин поддерживал просьбу Горького.

Выступил на партийном собрании 6-й роты Первых московских пулеметных курсов.

Долго беседовал с Адольфом Абрамовичем Иоффе, назначенным председателем советской делегации для ведения переговоров и подписания договоров о перемирии и мире с Польшей.

Совет Труда и Оборона. Совнарком. Политбюро ЦК.

Выработка линии в переговорах с Польшей и Англией. Сбор сосновых и еловых шишек для топлива. Всероссийская перепись. Закупка у населения повозок и упряжи для Южного фронта. Усиление заготовок экспортного леса. Радиосвязь в Красной Армии. Хлеб Донбассу. Восстановление железнодорожного транспорта. Мобилизация лошадей, необходимых для работ по разведке Курской магнитной аномалии. Проект

постановления о Туркестанской Автономной Социалистической Республике. Письмо Центрального Комитета «Ко всем членам партии».

Разговор с Фрунзе, уезжающим на Южный фронт.

Комната для писателя Александра Серафимовича.

Беседа с делегатом из Сибири и написанное после этой беседы письмо в Сибревком, начинающееся словами: «Обратить внимание на сельскую бедноту Сибири, снабдить... продовольствием из местной разверстки» — и кончающееся вопросом: «Правда ли, что бывали случаи в Сибири употребления коровьего масла на смазывание телег (вместо дегтя)?»

Записка в Наркоминдел:

«23 сентября 1920

т. Чичерин! Вот граница-тахитим. Принято в Цека. Надо точно ее повторить.

Ленин».

Это — для переговоров с Польшей.

И так изо дня в день. Изо дня в день...

Работы было столько, что в сентябре он написал, пожалуй, меньше, чем в любой другой месяц своей жизни: лишь коротенькое предисловие к «Материализму...», письмо немецким и французским рабочим по поводу прений на Втором конгрессе Коминтерна да еще одну небольшую статью — ответ корреспонденту газеты «Дейли ньюс» господину Сегрю.

Этот господин Сегрю прислал Ленину письмо, в котором иронически утверждал, что отчеты иностранных рабочих делегаций, побывавших в Советской России, принесли большевизму больше вреда, чем вся антибольшевистская пропаганда.

«Давайте заключим договор,— с веселой усмешкой ответил на это Ленин.— Вы — от имени антибольшевистской буржуазии всех стран, я — от имени Советской республики России. Пусть по этому договору к нам в Россию посылаются из всех стран делегации из рабочих и мелких крестьян (то есть из трудящихся, из тех, кто своим трудом создает прибыль на капитал) с тем, чтобы каждая делегация прожила в России месяца по два. Если отчеты таких делегаций полезны для дела антибольшевистской пропаганды, то все расходы по их посылке должна бы взять на себя международная буржуазия».

«Однако,— добавил Ленин,— принимая во внимание, что эта буржуазия во всех странах мира крайне слаба и бедна, мы же в России богаты и сильны, я соглашаюсь исхлопотать от Советского правительства такую льготу, чтобы $\frac{3}{4}$ расходов оно взяло на себя и только $\frac{1}{4}$ легла на миллионеров всех стран».

В Москве смеялись, вспоминали чье-то двестише:

А в Кремле лукавый кто-то
Щурит умный острый глаз...

То же веселое, энергичное настроение чувствуется в ответах, которые дал Ленин в анкете проводившейся тогда перерегистрации членов партии — той самой перерегистрации, о которой писал в «Правду» рабочий-корреспондент из Мызы Раево.

На вопросы анкеты Ленин ответил: пятьдесят лет, русский; какие знает языки? — французский, немецкий, английский, плохо все три (это он, свободно делавший доклады на всех этих языках!); кончил гимназию; сдал экстерном в 1891 году университетский экзамен по юридическому факультету, за границей был в 1895, 1900—1905, 1907—1917 годах, в эмиграции (Швейцария, Франция, Англия, Германия, Галиция); в России жил только на Волге и в столицах; какая основная профессия? — литератор; где работает? — в Совнаркоме.

С какого времени состоит в РКП?

С основания и раньше (1893).

Подвергались ли партийному суду, когда и за что?

Меньшевиками в РСДРП при расколах.

Какие документы или удостоверения имеются у Вас, указывающие на Ваше пребывание в нашей нелегальной партийной организации?

История партии — документ.

Что прочитано Вами из сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, Каутского и Плеханова?

Почти все (подчеркнутых авторов).

Пишете ли Вы статьи в газеты, где и на какие темы?

Редко, на политические темы.

Можете ли писать листовки, воззвания и что Вами написано в этой области?

Да. Перечислить нельзя, было многовато.

В какой области знания чувствуете себя особенно сильным и по каким вопросам можете читать лекции и вести занятия?

Больше по политическим вопросам.

4

Вышло так, что тогда, осенью двадцатого года, Ленина видели три человека, прибывшие в нашу страну из-за рубежа, и все трое оставили о своих встречах с Лениным подробные записи. Первый человек — женщина и революционерка. Второй — мужчина, писатель, считавший себя социалистом. Третий... Впрочем, о третьем мы скажем в свое время.

В один из этих осенних дней в Кремле, в круглом зале здания судебных установлений, который носит теперь имя Якова Михайловича Свердлова, шло заседание IX Всероссийской партийной конференции. Секретарь ЦК Николай Николаевич Крестинский делал отчет об организационной работе Центрального Комитета партии. Но растворилась боковая дверь, и в зал вошла белоснежно-седая женщина с горящими темными глазами — «юная старуха», как прозвали ее товарищи.

Крестинский умолк. Все поднялись. Раздался гром аплодисментов. Ленин, который вел заседание, выбежал из президиума и бросился ей навстречу, радостно ее обнял.

Эта женщина — Клара Цеткин.

Два дня назад она приехала из Германии в Советскую Россию. Из-за войны с Польшей ехала через Латвию и Эстонию. В Петрограде ее ждала торжественная встреча. Она провела там день. Посетила текстильную фабрику. Присутствовала на собрании в Смольном. Побывала на Островах, в первых в Советской России домах отдыха для рабочих.

Поздно вечером Клара выехала в Москву. Там снова многотысячная толпа, запрудившая площадь, алые знамена, приветствия.

И вот Клара в Кремле. И видит Ленина.

Вспоминая об этих минутах, Клара потом рассказывала, что Ленин показался ей совсем таким, каким видела она его в последний раз, за несколько лет до этого, не изменившимся, не постаревшим. И она могла бы поклясться, что одет он был в тот же скромный, тщательно вычищенный пиджак, что был на нем при первой их встрече в 1907 году на Штутгартском конгрессе Второго Интернационала.

«Взгляни хорошенько на этого человека. — Сказала ей тогда Роза Люксембург. — Это — Ленин. Обрати внимание на его упрямую, своевольную голову».

Сейчас, сидя в президиуме Всероссийской партийной конференции, которая продолжала свою работу, Клара Цеткин снова видела эту могучую, прекрасно вылепленную голову.

Клара наблюдала за каждым движением Ленина. Отметила, что он, как и раньше, во время конгрессов Второго Интернационала, проявляет чрезвычайное внимание к ходу прений, порой становившихся очень оживленными. Полон самообладания и спокойствия, в которых чувствуется внутренняя сосредоточенность. Ничто не ускользает от его острого взгляда и ясного ума.

На следующий день Клара выступила перед конференцией с большой речью. Автор газетного отчета пишет, что это была «речь, полная огня», — и слова эти не метафора, которая может показаться банальной. Клара, активно участвовавшая на протяжении четырех десятилетий в международном рабочем движении, знавшая Фридриха Энгельса, Вильгельма Либкнехта, Августа Бебеля, дочь Маркса Лауру и ее мужа Поля Лафарга, соратница Карла Либкнехта и Розы Люксембург, увидела в Советской России воплощение тех идеалов, которым посвятили всю свою жизнь и она, и ее великие друзья. И все ее речи, обращенные к русским рабочим и крестьянам, к руководителям нашей страны и ее рядовым труженикам, действительно были полны огня.

«Я глубокая старуха, — говорила она в одной из этих речей. — Я боролась всю жизнь и делала это потому, что иначе не могла. Как поет птица, как течет вода, так боролась я, ибо это отвечало моей природе... И я хочу умереть не иначе, как на посту в революционной борьбе!»

Во время конференции Клара обменялась с Лениным лишь несколькими словами. Чтоб поговорить с ней по-настоящему, Ленин пригласил ее к себе домой.

Первое, что отметила про себя Клара, придя в кремлевскую квартиру Ленина, была непритязательность ее убранства.

Ленина в это время дома не было, были Надежда Константиновна и Мария Ильинична. Они пригласили Клару поужинать. Теперь она про себя отметила, что весь их ужин состоит из чая, черного хлеба, масла и сыра. Потом пришел Владимир Ильич. Следом шествовал пушистый кот, весело приветствуемый всей семьей.

Этот кот был любимцем Владимира Ильича, и на нескольких фотографиях того времени мы видим, как Ленин, разговаривая, сидит в кресле, ласково поглаживая свернувшегося у него на коленях сонного зверька.

Надежда Константиновна налила Ленину чаю. Завязался общий разговор.

В тот же вечер Клара набросала на бумаге подробную запись этого разговора.

Когда же он происходил? Когда Клара была у Ленина?

Не раньше 23 сентября, ибо 23 сентября Клара приехала в Москву. Но и не позже 26-го, ибо по всему рассказу Клары видно, что в тот вечер в семье Владимира Ильича было спокойное, ровное, счастливое настроение.

Между тем в ночь с 26 на 27 сентября на эту семью обрушилось тяжелое горе, надолго омрачившее ее жизнь. Горе, о котором Клара не могла бы не знать и которое не могла не почувствовать.

Но сперва о разговоре, который происходил в тот вечер.

Ленин вошел в комнату в минуту, когда Клара говорила о восторге и изумлении, испытываемых ею перед единственной в истории, поистине титанической культурной работой большевиков, а также перед расцветом творческих сил, стремящихся проложить новые пути в искусстве и в воспитании народа.

Со свойственной ей прямоотой Клара говорила и об иных своих впе-

чатлениях — о том, что в первых пробных шагах молодого Советского государства в области искусства, по ее мнению, много неуверенности и неясных нащупываний. Что наряду со страстными поисками нового содержания, новых форм имеет место нарочитое «модничание».

Клара провела в Советской России лишь два или три дня, так что ее впечатления об искусстве нашей страны могли сложиться только из увиденных ею ярких, пестрых пятен, ломаных линий, кубов и квадратов, которыми кубисты и футуристы расписали деревянные лавчонки Охотного ряда и стены Страстного монастыря.

Вот с этих-то замечаний Клары и начался тот широко известный, большой, глубокий разговор ее с Лениным об искусстве — разговор, в котором Ленин говорил, что искусство принадлежит народу и его глубочайшие корни должны проникнуть в самую толщу трудящихся масс. Что оно должно объединять чувства, мысли и волю масс, пробуждать в них эстетические начала, развивать и поднимать массы.

Именно поднимать! Непременно поднимать. Популярность состоит не в популярничанье, а в доступности миллионам, подчеркивал Ленин в одной из статей, написанных вскоре после разговора с Кларой Цеткин. «Не опускаться до неразвитого читателя, а неуклонно — с очень осторожной постепенностью — поднимать его развитие».

Чтобы искусство пришло к народу и народ пришел к искусству (в широко распространенном русском переводе тут употреблен глагол «приблизиться», тогда как в немецком оригинале сказано «kommen», что в данном контексте должно быть переведено именно глаголом «прийти»), для этого, говорил Ленин Кларе, надо повысить общий образовательный и культурный уровень народа, а это будет достигнуто только тогда, когда художники будут говорить ради рабочих и крестьян.

Разговор Ленина и Цеткин не ограничился одними лишь проблемами культуры и искусства. В Кларе Ленин видел самого близкого своего друга в международном рабочем движении и поделился с нею своими заботами и тревогами.

Такой тревогой, которая всегда была для него словно занозой в сердце и не покидала его до самой смерти, был бюрократизм.

— Я его от души ненавижу! — воскликнул Ленин и пояснил, что он имеет в виду не того или иного чиновника, который может быть дельным работником, а бюрократическую государственную систему.

— Ибо, — как говорил Ленин Кларе, — она парализует и вносит разврат как внизу, так и наверху.

(Заметим в скобках, что распространенный русский перевод в данном случае неправильно передает «Bürokrat» немецкого оригинала как «бюрократ». Слово «Bürokrat» в немецком языке имеет два значения — чиновник и бюрократ, в то время как русское слово бюрократ приобрело специфический смысл: бездушный чиновник, чиновник-формалист. Если б Ленин говорил с Кларой по-русски, он никогда не сказал бы — как то приписывает ему русский перевод, — что бюрократ может быть дельным работником.)

Одним из важнейших, решающих факторов преодоления и искоренения бюрократизма Ленин считал самое широкое образование народа и повышение его культуры.

И тут он вновь и вновь возвращался к преобразующей мир силе искусства, к тому, насколько жизненно необходимо для построения коммунизма просвещение народных масс и создание действительно нового, великого коммунистического искусства, форма которого будет соответствовать его содержанию. Поняв и решив эту задачу, интеллигенция выполнит свой долг по отношению к пролетарской революции, раскрывшей перед нею вольные творческие просторы.

Поздней холодной ночью по пути в гостиницу Клара думала обо всем, что было сказано в этот незабываемый вечер, о Ленине, о том, как непохож он на вождей, которые рассматривают людей лишь в качестве «исторических категорий» и бесстрастно играют ими, словно бездумными и бессловесными «шариками».

5

Быть может, в эту ночь, быть может, в следующую в Москву пришла телеграмма с Северного Кавказа.

В ней было всего полторы строки:

«Товарищ Инесса умерла спасти не удалось».

И чья-то незнакомая подпись, видимо перепутанная.

До чего жестока бывает судьба! После многих лет такой работы, о которой она говорила дочерям: «Мостовую мостить и то, наверно, легче...» — Инесса Федоровна Арманд поехала на Кавказ отдохнуть и подлечить больного сына. Жили они в Кисловодске. Но в окрестностях Кисловодска появились контрреволюционные банды. Тогда они переехали в Нальчик. Там Инесса заболела холерой и умерла.

Словно она сама отыскала свою смерть.

Ее любили партия и рабочие нашей страны. И при жизни и после смерти все звали ее просто по имени, просто Инесса.

И не только любили ее, но были в нее влюблены. Все — молодые и старые, мужчины и женщины. Ибо нельзя было не влюбиться в эту обворожительно прекрасную женщину, покорявшую окружающих и своим темпераментом революционерки, и блестящим умом, и прелестью необыкновенных глаз, то серых, то зеленоватых. Недаром тогда бытовала шутка, что товарищ Инесса являет собой редкостный случай полного единства формы и содержания и в качестве такого примера должна быть включена в программы по диалектике.

С Надеждой Константиновной и Владимиром Ильичем Инессу связывала верная дружба, пронесенная через долгие, трудные годы.

И вот страшная телеграмма: «Товарищ Инесса умерла спасти не удалось»...

Невозможно было поверить, что Инессы нет в живых. Невозможно примириться с мыслью, что местом последнего ее успокоения будет могила на далеком, неизвестном кладбище.

«Мы похороним ее под Кремлевской стеной», — писала Надежда Константиновна.

Но похороны состоялись не скоро: чтобы доставить гроб с телом Инессы из Нальчика в Москву, потребовалось без малого две недели.

Как раз в эти дни я приехала в Москву. Когда я пришла в районный комитет партии, чтобы встать на учет, меня тут же мобилизовали в отряд особого назначения. Всех мобилизованных собрали в районном партийном клубе, где Ф. Э. Дзержинский выступил с сообщением, что, по полученным ВЧК сведениям, в Советскую Россию недавно прибыл представитель Савинкова, который устроил совещание со своей агентурой. На этом совещании решено воспользоваться усталостью масс и продовольственными затруднениями, чтобы подготовить ряд террористических актов против вождей революции и свергнуть советскую власть. Выступление савинковцев назначено в ночь с 19 на 20 октября.

Мобилизованные коммунисты были переведены на казарменное положение. Снова, как это бывало не раз, мы патрулировали по ночным улицам Москвы.

Вечером 10 октября патрульная группа, в которую входила я, вышла на дежурство.

Ночь была по-осеннему сырой и темной. Мы сильно продрогли и с нетерпением ждали утра.

Уже почти рассвело, когда, дойдя до Почтамта, мы увидели двигавшуюся нам навстречу похоронную процессию. Черные худые лошади, запряженные цугом, с трудом тащили черный катафалк, на котором стоял очень большой и поэтому особенно страшный длинный цинковый ящик, отсвечивающий тусклым блеском.

Стоя у обочины, мы пропустили мимо себя этих еле переставлявших ноги костлявых лошадей, этот катафалк, покрытый облезшей черной краской, и увидели шедшего за ним Владимира Ильича, а рядом с ним Надежду Константиновну, которая поддерживала его под руку. Было что-то невыразимо скорбное в его опущенных плечах и низко склоненной голове. Мы поняли, что в этом страшном ящике находится гроб с телом Инессы.

Ее хоронили на следующий день на Красной площади. Среди венков, возложенных на ее могилу, был венок из живых белых цветов с надписью на траурной ленте: «Товарищу Инессе от В. И. Ленина».

6

В эти тяжелые для Ленина недели события шли своей непрерывной чередой.

Вопросом всех вопросов в то время были пан и барон.

В первую голову пан.

Весной двадцатого года Польша, подстрекаемая империалистами Антанты, напала на Советскую Россию. Польские войска вторглись в пределы Украины и захватили Киев. В ответ на это наши армии перешли в контрнаступление.

Как в периоды военных побед, так и во время поражений Советская Россия стремилась как можно скорее закончить войну и заключить мир. Пусть более выгодный для Польши и только приемлемый для нас. Обращаясь к красноармейцам, отправлявшимся на польский фронт, Ленин призывал их помнить, что с польскими крестьянами и рабочими у нас нет ссор. Солдаты Красной Армии идут в Польшу не как угнетатели, а как освободители...

Пилсудский и те, чью волю он выполнял, искали мира, когда им изменяло военное счастье. Но стоило этому счастью повернуться в их сторону, они срывали мирные переговоры.

Ценой огромных усилий Советское правительство добилось того, что в конце сентября в Риге открылась советско-польская конференция для переговоров о перемирии и предварительных условиях мира.

Решение Советского правительства вступить в мирные переговоры с Польшей было принято не без борьбы в руководящих партийных кругах.

— Известно ли вам, — рассказывал Ленин Кларе Цеткин, — что заключение мира с Польшей сначала встретило большое сопротивление, точно так же, как это было при заключении Брест-Литовского мира? Мне пришлось выдержать жесточайший бой, так как я стоял за принятие мирных условий, которые безусловно были благоприятны для Польши и очень тяжелы для нас...

Доводы противников мира с Польшей были либо плодом зазнайства военных начальников, либо простым перепевом идей «левых коммунистов»: никаких уступок белопольскому правительству, никаких договоров с классовым врагом.

Однако в отличие от времен Бреста в партии не возникло дискуссии. Партия сразу приняла правоту ленинской точки зрения.

Объясняя Кларе свою позицию, Ленин говорил:

— Наше положение вовсе не обязывало нас заключать мир какой угодно ценой. Мы могли зиму продержаться. Но я считал, что с политической точки зрения разумнее пойти навстречу врагу, временные жертвы тяжелого мира казались мне дешевле продолжения войны... Могли ли мы без самой крайней нужды обречь русский народ на ужасы и страдания еще одной зимней кампании? Могли ли мы послать наших героев-красноармейцев, наших рабочих и крестьян, которые вынесли столько лишений и столько терпели, опять на фронт? После ряда лет империалистической и гражданской войны — новая зимняя кампания, во время которой миллионы людей будут голодать, замерзать, погибать в немом отчаянии... Нет, мысль об ужасах зимней кампании была для меня невыносима. Мы должны были заключить мир...

Польская сторона, начав переговоры, все время их затягивала, вновь и вновь подсчитывая свои козыри против Советской России — Врангеля, засуху, тиф, голод и холод.

В ближайшие дни должно было стать ясно: быть или не быть зимней кампании.

Именно в это время Ленину сообщили, что в Советскую Россию приехал английский писатель Герберт Уэллс и желает его видеть.

7

Свою книгу о поездке в Советскую Россию Герберт Уэллс назвал «Россия во мгле».

Некоторые наши кинематографисты поняли слова о «мгле» буквально и, воссоздавая обстановку дней, в которые происходила встреча Ленина с Уэллсом, напустили на экраны мрак, зимнюю ночь, мороз, снег, сугробы.

Не было тогда мрака. Не было зимы. Не было снега и сугробов. Не было и быть не могло уже по одному тому, что Уэллс приехал в Советскую Россию 26 сентября, и, по его собственному свидетельству, во время его двухнедельного пребывания в России стояли необычайно ясные и теплые дни золотой осени.

Мгла, образ которой возник в душе Уэллса, была в ином.

Он приехал тем единственным путем, которым можно было тогда приехать с Запада в нашу страну, тем, которым за пять дней до него приехала Клара Цеткин, — через Эстонию и Петроград. Он ходил по тем же улицам, по которым ходила Клара, видел те же дома, те же мостовые, тех же прохожих, которых видела она. Быть может, один и тот же корреспондент РОСТА задал им один и тот же вопрос: «Каковы ваши впечатления от Советской России?»

«Неподалеку от Путиловского завода я видела развороченную мостовую и баррикаду, сложенную из камней в дни наступления Юденича. Перед моим внутренним взором возникли баррикады Парижской коммуны. О, священные камни революции!» — так отвечала на этот вопрос Клара Цеткин.

«Улицы... находятся в ужасающем состоянии... Они изрыты ямами... Кое-где мостовая провалилась... Автомобильная езда состоит из чудовищных толчков и резких поворотов» — так ответил на него Уэллс.

И ведь не был же он обывателем или вульгарным мещанином, ведь способен был он и на смелую мысль, и на экстравагантные высказыва-

ния. Но вот он оказался в стране пролетарской революции на исходе третьего года ее существования. Что же он увидел?

— Русская революция обнимает работу целых столетий. Она — триумф духа и воли над «косностью материи», над неблагоприятными обстоятельствами. Она — утро дня творения новых общественных отношений.

Нет, это сказал не Уэллс. Это сказала великая революционерка Клара Цеткин.

Уэллс сказал другое. Он сказал, что три года русской революции — это долгие, мрачные годы, в которые Россия неуклонно спускалась с одной ступени бедствий на другую, все ниже и ниже в непроглядную тьму.

Дальнейший путь России был ему неясен. Ее будущее затянуто мраком.

Вот откуда родился созданный Уэллсом образ мглы, окутавшей Россию.

8

Из Петрограда Уэллс поехал в Москву. Ленин принял его утром 6 октября.

«Он не очень похож на свои фотографии,— писал потом Уэллс,— потому что он из тех людей, у которых смена выражения гораздо существеннее, чем самые черты лица; во время разговора он слегка жестикулировал, говорил быстро, с увлечением, совершенно откровенно и прямо, без всякой позы...»

Идя к Ленину, Уэллс ждал, что увидит марксистского начетчика, и собирался вступить с этим воображаемым начетчиком в схватку, рассчитывая без труда взять над ним верх. Вышло иное. «Должен признаться,— писал в своей книге Уэллс,— что в споре мне пришлось очень трудно».

Разговор шел в стремительном темпе. Собеседники задавали друг другу вопросы, иногда отвечали, иногда парировали контрвопросами.

О содержании этого разговора мы знаем только по записи Уэллса.

Как и всякая такая запись, она весьма субъективна. Наиболее интересно в ней широко известное место, в котором Уэллс излагает свои впечатления о ленинском плане электрификации.

«Дело в том,— пишет Уэллс,— что Ленин, который, как подлинный марксист, отвергает всех «утопистов», в конце концов сам впал в утопию, утопию электрификации... Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной, равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами... не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасли торговля и промышленность?»

Такие проекты, по убеждению Уэллса, реальны лишь для густонаселенных стран с высокоразвитой промышленностью. Но осуществление их в России «можно представить себе только с помощью сверхфантазии».

«В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего,— писал он,— но невысокий человек в Кремле обладает таким даром. Он видит, как вместо разрушенных железных дорог появляются новые, электрифицированные. Он видит, как новые шоссе-ные дороги прорезают всю страну, как подымается обновленная и счастливая, индустриализированная коммунистическая держава. И во время разговора со мной ему почти удалось убедить меня в реальности своего провидения».

Муза истории — божественная Клио — позволяет себе иногда такие

выходки, которые в руках любого художника выглядели бы «нажимом» и даже примитивной подтасовкой. Так и здесь: она взяла писателя, прославившегося своей безграничной и неисчерпаемой фантазией, послала его в тогдашнюю Россию, свела его с Лениным, дала ему услышать из уст Ленина план электрификации и коммунистического возрождения нашей разоренной страны, а потом сунула ему в руки перо, чтобы он, и м е н н о о н, этот непревзойденный фантаст, объявил ленинский план электрификации «сверхфантазией», осуществление которой нельзя увидеть ни в каком волшебном зеркале. Сколько ни читай об этом, каждый раз удивишься наново!

Вечером того же дня Герберт Уэллс уехал в Петроград. Он торопился, чтоб не опоздать на пароход, уходивший из Ревеля (Таллина) в Стокгольм, но до отъезда из Советской России успел побывать на заседании Петроградского Совета.

Заседание это происходило в Таврическом дворце. Зал был полон; две или три тысячи человек занимали не только кресла, но все проходы, лестницы и хоры. Все это, как свидетельствует Уэллс, создавало обстановку «многолюдного, шумного, по-особому волнующего массового митинга».

После обсуждения вопроса о мире с Польшей председатель объявил, что слово предоставляется присутствующему в зале знаменитому английскому писателю товарищу Уэллсу. Именно так: т о в а р и щ у У э л л с у.

В своей книге Уэллс рассказывает об этом своем выступлении предельно сдержанно и иронично.

«Прежде всего,— пишет он,— я совершенно недвусмысленно заявил, что я не марксист и не коммунист, а коллективист и что русским следует ждать мира и помощи в своих бедствиях не от социальной революции в Европе, а от либерально настроенных умеренных кругов Запада. Я сказал, что народы западных стран решительно стоят за мир с Россией, чтоб она могла идти своим собственным путем, но что их развитие может пойти иным, совершенно отличным от России путем».

И все! Больше об этой своей речи Уэллс в книге не упоминает.

На деле «товарищ Уэллс» сказал не только это. До нас дошел подлинный, заверенный им перед сдачей в петроградские газеты текст его речи, в которой звучат по-настоящему глубокие и прекрасные слова.

«Вы стоите перед созидательной работой, изумительной своим бесстрашием и силой,— говорил он.— Эта работа не имеет себе равной в истории человечества. В ней — выражение той гениальной способности России, которая давно проявлена русской литературой,— я говорю о бесстрашии мысли и безграничном напряжении сил».

Обращаясь к мужчинам и женщинам, которые слушали его с глубоким вниманием, Уэллс не читал им мелких нотаций, как то можно подумать по его книге. Нет, он говорил о преступных действиях интервентов, ввергших Россию в ее бедствия, он обещал приложить все свои усилия, чтобы покончить с войной против Советской России.

«Способность прощать характерна для великого народа,— говорил он.— И все, что я видел и слышал в России, убеждает меня, что Россия и Англия, несмотря на все взаимные прегрешения, могут любить и понимать друг друга и вместе работать для человечества и для того нового мира, который рождается среди мрака и бедствий. Дайте мне еще раз сказать вам, что английский народ хочет мира, добывается мира и не успокоится до тех пор, пока не добьется мира...»

Так говорил Герберт Уэллс на следующий день после своей встречи с Владимиром Ильичем Лениным.

Теперь о третьем иностранном госте, побывавшем в эти дни у Ленина.

В русском издании книги Уэллса «Россия во мгле» мы читаем, что, будучи в Москве, он жил в одном доме с «предприимчивым английским скульптором, каким-то образом попавшим в Москву», и что, придя от Ленина, он завтракал «с господином Вандерлипом и молодым скульптором из Лондона».

Как гласит известная шутка, английский парламент может сделать все на свете, кроме одного: превратить мужчину в женщину и женщину в мужчину. Но переводчики книги Уэллса оказались сильнее английского парламента, ибо этим «молодым скульптором» была женщина — притом прелестная женщина! — Клэр Консуэло Шеридан.

Прелестная и отважная. Надо было обладать незаурядной смелостью и бесстрашием, чтобы тогда, осенью двадцатого года, поехать в Советскую Россию, о которой приезжавшие оттуда англичане рассказывали, будто они собственными глазами видели в общественных столовых отрубленные человеческие пальцы, плававшие в супе.

Что же заставило ее совершить этот смелый поступок? Когда сейчас, почти полвека спустя, я читаю дневники, которые вела Клэр Шеридан во время своего путешествия в Советскую Россию, я нахожу ответ на этот вопрос не в тех словесных объяснениях, что дает себе и людям сама Клэр, а в скульптуре, которую она тогда только что закончила и которую назвала «Победа, 1918».

Горькая, страшная это победа! Нагая человеческая фигура. Полузакрытые глаза. Лицо, полное трагической скорби. В правой безвольно опущенной руке — меч. Спина согблена, голова слегка откинута назад, каждая линия худого, истощенного тела выражает предел человеческой муки.

«Я мало знала и еще меньше понимала как в коммунизме, так и в условиях, вызвавших его к жизни», — пишет о себе Клэр. И что и как могла знать о коммунизме эта английская аристократка, близкая родственница Уинстона Черчилля? Но муж Клэр — Уилфрид — погиб на войне. Но у нее рос сын Дик, и она с тревогой думала о его будущем. Советская Россия отвечала тому главному чувству, которым она тогда жила: жажде мира.

«Я была убеждена, — писала о себе Клэр, — как убеждена и до сих пор... что новая Россия не пойдет ни на какие военные агрессии. Красная Армия существует для обороны. В необходимости иметь армию для обороны страны новая Россия убедилась на опыте, но каждый красный русский солдат знает, что его никогда не пошлют поддерживать агрессивные действия за пределами родины.

Мое сердце постоянно, с тех пор как родился Дик, полно страха и ужаса перед войной. Что, если в один прекрасный день его заберут, чтоб превратить в пушечное мясо, или заклеят как труса? Что, если на его долю выпадет худшее, чем смерть: слепота, отравление газом, уродство?.. Когда я слышу, как маршируют солдаты, я всегда думаю о Дике и об Уилфриде, об Уилфриде, который был так ужасно обманут и отдал свою жизнь в надежде, что это была последняя война, «война за то, чтобы положить конец войнам».

Клэр была в Москве, когда туда приехал Герберт Уэллс, и жила в том же доме на Софийской набережной, где он остановился. Они вместе позавтракали и долго разговаривали. Уэллс жаловался на бесконечные лишения, которые он переносил в Петрограде: по утрам он не мог принимать горячую ванну, почтальон не приносил газет, за завтраком он не наедался досыта. «Нет! — восклицал он. — Без всего этого я не могу

жить и работать!» С юмором и даже сарказмом высмеивал он многое из того, что видел в России.

«Ах, дорогой мистер Уэллс! — записывала в своем дневнике Клэр. — Я очень вас люблю... Но если вы не можете жить без утренней ванны, сытного завтрака и газет, вам нечего делать в сегодняшней России!»

И она, страдавшая от отсутствия житейских удобств не меньше, чем Уэллс, желала остаться в России, чтоб принять участие в ее возрождении. Она хотела, чтобы именно в России росли и получили образование ее дети.

Главной целью, которую ставила перед собой Клэр, когда ехала в Москву, было создать скульптурный портрет Ленина.

Через несколько дней после ее приезда комендант Кремля передал, что завтра с одиннадцати часов утра до четырех дня она сможет работать в кабинете Ленина.

Всю ночь она не могла сомкнуть глаз. Утром пошла в Кремль. Шла в страхе и глубоком волнении, чувствуя, что ей предстоит сейчас самая ответственная работа в ее жизни.

Ленин сидел за письменным столом, заваленным книгами и бумагами. Когда вошла Клэр, он взглянул на нее, улыбнулся, встал, пошел навстречу. Она принесла извинения, что беспокоит его. Он рассмеялся и сказал по-английски, что она может работать, сколько ей понадобится, но при одном условии: что и сам он будет работать за своим письменным столом.

Клэр провела в кабинете Ленина два полных рабочих дня. Работа потребовала от нее напряжения всех сил. «Никогда не видела я столько перемен выражения на одном лице, — записывала она потом. — Ленин то смеялся, то хмурился, казался задумчивым и печальным, грустным и насмешливым, все подряд. Я наблюдала за этой сменой выражений его лица, выжидала, колебалась — и вдруг, стремительно, в каком-то неистовом воодушевлении сделала выбор. Да, я должна показать его внимательно прищуренный, как бы ввинчивающийся в собеседника (screwed up) взгляд... Это будет замечательно! Ни у кого нет такого взгляда! Это его взгляд. Его, и только его!»

В комнате все дышало покоем. Ленин полностью ушел в свою работу. Когда входили секретари с пакетами, он не глядя расписывался. Время от времени раздавалось жужжанье телефона, и одновременно над столом загоралась маленькая электрическая лампочка. Когда Ленин говорил по телефону, лицо его становилось особенно оживленным. Кончив разговор, он снова погружался в работу.

Часы проходили в молчании. Лишь изредка Ленин и Клэр обменивались немногословными фразами. Ленин спросил, верно ли, что Клэр близкая родственница Черчилля? Она ответила, что да, но зато другой ее дядя — ирландский революционер-синфейнер.

— Напишите письмо Черчиллю, я его передам, — предложила Клэр.

(В своей политической наивности она даже не подозревала, что, узнав об ее отъезде в Россию к этим «кровавым большевикам», ее семья пришла в бешенство, а Уинстон Черчилль заявил, что никогда не будет с ней разговаривать.)

— К чему? — спросил Ленин. — Я уже послал ему письмо с нашей делегацией, и он мне ответил, правда, не прямо, а через газеты, статьей, в которой заявил, что я чудовище, а наша армия... — Тут Ленин забыл нужное ему английское слово и, вопросительно глядя на Клэр, сказал по-французски: — ...l'armée de puces...

— ...of fleas, — подсказала ему Клэр.

— Совершенно верно, an army of fleas, блошиная армия. Но я доволен этим ответом. Черчилль показал, что мое письмо его задело.

В другой раз разговор начала Клэр. Она спросила Ленина, почему все его секретари — женщины. Он сказал: потому что мужчины на войне. Они заговорили о войне с Польшей. Клэр предполагала, что мир уже подписан.

— Нет,— сказал Ленин,— существуют силы, которые стремятся сорвать мирные переговоры. Положение продолжает оставаться крайне трудным. К тому же, после того как мы уладим дела с Польшей, нам предстоит еще разделиться с Врангелем.

Клэр показала Ленину фотографии нескольких своих работ. Это послужило поводом для разговора об искусстве. Если верить Клэр, все сказанное по этому поводу Лениным сводилось к нападкам на буржуазное искусство. Но, видимо, она не поняла или не сумела передать мысли своего собеседника, ибо как раз в те дни, когда Клэр работала в его кабинете, Ленин писал в проекте резолюции о пролетарской культуре:

«Марксизм завоевал себе свое всемирно-историческое значение как идеологии революционного пролетариата тем, что марксизм отнюдь не отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры».

Эти слова для Ленина не случайны. Вспомним хотя бы то, что говорил он за несколько дней до того Кларе Цеткин. Вспомним его речь на Третьем съезде комсомола.

После того, как скульптура была готова (разумеется, настолько, насколько она могла быть готова в тех сложных условиях), Ленин тепло пожал руку Клэр и сказал, что она хорошо выполнила свою работу.

Когда смотришь на фотографические снимки скульптурного портрета, созданного Клэр Шеридан, чувствуешь, что художник показал Ленина в минуту, когда тот был один, наедине с собой. Ленин приподнял голову, чуть прищурился, вот-вот протянет руку, чтоб взять перо и записать возникшую у него мысль.

«Лицо его выражало скорее глубокую думу, чем властность,— писала потом Клэр.— Мне он представлялся живым воплощением мыслителя».

Таким запечатлелся Ленин в памяти трех свидетелей, видевших его ранней осенью двадцатого года.

Эти трое были очень разными, даже контрастными людьми. Тем примечательнее, что и страстная Клара Цеткин с ее пылкой душой революционерки, и воспринимающая мир глазами художника, вдовы, матери впечатлительная Клэр Консуэло Шеридан, и полный скепсиса и иронии Герберт Уэллс увидели в Ленине одного и того же человека, поразившего их духовной глубиной и силой интеллекта. Уж на что предубежден был Уэллс, но и тот признал: «Встреча с этим изумительным человеком, который отдает себе ясный отчет в колоссальной трудности и сложности построения коммунизма и безраздельно посвящает все свои силы его осуществлению, действовала на меня живительным образом. Он во всяком случае видит мир будущего, преображенный и построенный заново».

Им бросились в глаза его энергия и работоспособность. Одна лишь Клэр Шеридан пронизательным взором художника подметила, что Ленин выгладит очень больным, лицо его бледно и даже желтовато, как слоновая кость.

Она решила, что эта бледность — последствие ранения 1918 года. Возможно, что это было так. Но возможно, что причиной было иное.

ЗИМНИЙ ПЕРЕВАЛ

I

Уж близок был тот долгожданный час, о котором в течение трех лет с таким нетерпением мечтал наш народ, час, когда где-то в Крыму последняя пушка выпустила последний снаряд гражданской войны и оставшийся неизвестным красноармеец воткнул штык в землю, сказав: «Все! Наша взяла!» Правда, впереди еще оставались бои в Приморье и ликвидация зеленых и белых банд в Белоруссии, на Украине, на Тамбовщине. Однако основная борьба против российских белогвардейцев и иностранной интервенции была победоносно завершена. Страна могла приступить к мирному строительству.

Но что представляла собой страна? Мы привыкли, как к прописи, к словам, порой скользящим мимо сознания: «разоренная войной», «страдающая от разрухи» и прочее в этом же роде.

Там, где стерлись слова, иногда обретают силу цифры.

По всему Уралу — повторяем: по всему Уралу! — в декабре двадцатого года работало девять домен, десять мартеновских печей, два рельсо-прокатных стана, один трубопрокатный, три листовых, один проволоочный, десять кровельных. Общий же объем валовой продукции крупной промышленности по стране составлял к этому времени восемнадцать процентов довоенного, а сбор хлебов — шестьдесят два процента.

Не нужно напрягать воображение, чтобы увидеть за этими цифрами незасеянные поля, омертвевшие заводы, окоченевшие паровозы и вагоны, печать голода на лицах рабочих и работниц.

Под угрюмым зимним небом лежала израненная, голодная, холодная, босая, прикрытая рваным рубищем Россия.

В эту Россию пролетарская революция должна была вдохнуть силы и жизнь. Но как?

Чтобы восстановить железные дороги, нужно было топливо. А подвезти топливо было невозможно, пока не будет восстановлен транспорт.

Города голодали, деревня изнемогала под бременем разверстки. Уменьшишь разверстку — деревне станет легче, но города будут обречены на еще более тяжкие муки голода. Увеличишь разверстку — в городах станет сытнее, но деревня будет полностью опустошена.

Можно получить из деревни какое-то количество хлеба с помощью товарообмена. Но для товарообмена нужны ситцы, спички, деготь, сапоги. Куда же отдать с трудом добытые вагоны угля и дров — на восстановление ситценабивных фабрик или на ремонт паровозов? Будут паровозы — не будет ситца. Будет ситец — не будет паровозов. Каким же образом наладить товарообмен?

Каждый день возникали вопросы, которые требовали немедленного, безотлагательнейшего решения. И каждый из этих вопросов вырастал в неразрешимую дилемму, в заколдованный круг.

Ленина мучила бессонница. Снотворные не помогали. Усталый, вымотанный за день напряженной работы, поздней ночью он подолгу ходил по тихому в эти часы, безлюдному Кремлю. Повстречав товарищей, которые бывали на фабриках и заводах, выпытывал у них, каково настроение рабочих. Слушал, задумчиво склонив голову.

Где же, где был выход из туго душившей цепи заколдованных кругов?

«Раз политика требует решительной перемены, гибкости, умелого перехода, — говорил Ленин, — руководители должны это понять».

Выход был только один: тот крутой поворот в экономической политике, который был найден Лениным и впоследствии назван «новой экономической политикой».

2

«Найден Лениным...»

Тут хочется прервать повествование и, не ставя целью полное всестороннее решение, подумать, какую роль играет и может играть в истории отдельная человеческая личность.

Посоветуемся об этом с Лениным. Мы знаем, как высоко оценивает он историческую деятельность народных масс. Политика для него начинается «не там, где тысячи, а там, где миллионы».

Но вместе с этим подчеркивает: «История вся состоит из действий личностей...» И видит задачу общественной науки в том, чтобы «объяснить эти действия».

Вот Ленин анализирует сложнейший момент в истории России девятнадцатого века, так называемую «крестьянскую реформу». Показав путаницу, которая царит по этому поводу в головах г. Кривенко и прочих «друзей народа», Ленин пишет:

«Нужна была именно гениальность Чернышевского, чтобы тогда, в эпоху самого совершения крестьянской реформы (когда еще не была достаточно освещена она даже на Западе), понимать с такой ясностью ее основной буржуазный характер...»

Вот Ленин размышляет о Толстом:

«Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества».

Вот он провожает в последний путь Якова Михайловича Свердлов и говорит у его открытой могилы:

«История давно уже показывала, что великие революции в ходе своей борьбы выдвигают великих людей и развертывают такие таланты, которые раньше казались невозможными».

Вот Ленин перечитывает письмо Маркса к Кугельману, в котором Маркс пишет, что история имела бы мистический характер, если бы «случайности» не играли в ней никакой роли. В числе этих «случайностей» Маркс называет «характер людей», стоящих во главе движения,— и Ленин отмечает эти слова.

Вспомним все это и не станем докучать читателю разжевывающей скукой комментариев.

3

В тот год зима ударила рано. Ноябрь едва настал, но улицы уже утопали в сугробах. Из оконных форточек торчали трубы самодельных печек — «буржук», густые струи вонючего дыма оседали на карнизах и стенах замерзших домов.

По обледеневшей тропе, то появлявшейся, то исчезающей среди снежных ущелий, посередине мостовой пробирались Борис Пастернак и Илья Эренбург. Ночи были темные, фонари не перебивали сияния северных звезд. Борис Пастернак не замечал ни льда, ни дыма, ни копоти. Его духовный взор был обращен к видению, столь зримому, как если бы оно обрело живую плоть реальности: Кремль, который среди замерзшей и голодной Москвы снимался с места, словно корабль, гонимый ветром истории...

«Мы слышали скрип снастей»,— говорил, вспоминая эту ночь, Эренбург.

Мороз, снег. Из-за отсутствия топлива работа электростанций почти замерла. Большинство домов погружено в темноту. В том числе и дом на Мясницкой, в котором одетые в шубы, шапки, перчатки люди при свете коптилок, именуемых то «моргалками», то «мышинным глазком»,

склоняются над чертежами с надписью: «План электрификации РСФСР».

Перед главой комиссии по электрификации Глебом Максимилиановичем Кржижановским лежит сводный план. На оборотной стороне старого, ненужного чертежа Кржижановский набрасывает основные мысли своего будущего доклада на Восьмом съезде Советов. Записывает слова, которые он скажет на съезде: «Люди — как тени, дела их — как скалы».

4

Крым был еще в руках Врангеля, линия Южного фронта проходила в Северной Таврии, до штурма Перекопа предстоял почти месяц упорных кровавых боев, а Ленин уже напряженно раздумывал над главными вопросами, которые встанут перед партией и народом по окончании войны с Врангелем. Это — укрепление социалистического фундамента, борьба с бюрократизмом, развитие самостоятельности семи миллионов членов профсоюзов, укрепление связи советской власти с крестьянством, тракторы и колхозы.

Пока Ленин только перечислял проблемы, но не указывал их решения. Это впереди. А сейчас в одной из служебных комнат Совета Народных Комиссаров заседает комиссия. Она носит название Комиссии по отмене денежных налогов, но замыслы ее членов идут дальше: видя в деньгах последний пережиток частнособственнических отношений, они считают делом ближайшего же будущего полное исчезновение денег. Один из членов этой комиссии, Ю. Ларин, на страницах газет призывает полностью уничтожить «денежный туман». «Успехи наши в строительстве социализма, — пишет он, — можно измерять, между прочим, степенью отмирания значения денег в нашей жизни».

Ленин знает о существовании этой комиссии и умонастроениях ее участников, но пока не требует прекращения ее деятельности. Он сделает это три месяца спустя, когда будет решено отменить разверстку, заменив ее натуральным налогом. Но уже сейчас он призывает членов комиссии к сугубой осторожности:

«Надо побольше вдуматься (и детальнее изучить соответствующие факты) в условия переходной эпохи... — пишет он на имя комиссии. — Отменить суррогат (деньги), пока крестьянству не дали еще того, что устраняет надобность в суррогате, экономически неправильно.

Надо это обдумать очень серьезно».

Ленин вслушивается в то, о чем говорит деревня, он прислушивается к ее стону, шепоту, молчанию. Неурожай, бескормица, падеж скота. Засуха и пожары. И разверстка, разверстка, разверстка — прямо невмочь. «Не двадцать у нас шкур, а одна, да и та дырявая».

Площадь посева повсюду падает, урожай сам-три, а то и сам-два. Деревня почти не сеет ни льна, ни конопли, ни подсолнуха, а хлеба старается сеять ровно столько, сколько нужно для собственного прокорма. Крестьянское хозяйство, по выражению того времени, сделалось «самоедским». «И чего нам спину гнуть, все равно выметут все под метелку. Отсеемся по ленивке, наволоком, прямо по жнивью, пусть и на том спасибо скажут». И тут же: «Имеем по декрету, живем по секрету». Внешне покоряясь требованиям города, порожденным суровой обстановкой гражданской войны, деревня создала свою особую, подпольную экономику, символом которой было не истребимое никакими силами и никакими средствами мешочничество.

Где же выход? Как возродить у мелкого производителя поблекшие, а то и вовсе увядшие стимулы к посеву сверх его личной потребительской

нормы и нужд его хозяйства? Чем предупредить утечку продуктов по каналам мешочничества и спекуляции?

Выражая настроения продовольственных и земельных «аппаратных» работников, да и не их одних, Валериан Оболенский (Н. Осинский) выступает на страницах «Правды» с рядом статей, в которых предлагает ту же и ту же закручивать пресс. Государственное регулирование, доведенное до каждого крестьянского двора, — вот спасение от всех бед.

Но раздаются и иные голоса: партийные работники Сибири и ряда других мест предлагают заменить разверстку продовольственным налогом, при котором государство будет брать у крестьянина не все излишки его хозяйства, а лишь определенную часть урожая.

Эта же мысль все чаще встречается в письмах крестьян, которые почта каждый день приносит Ленину. Описав все бедствия, которые они испытывают от «разверсточной паутины», крестьяне Панфиловской волости, Грязовецкого уезда, Вологодской губернии, в длиннейшем послании, в котором нет ни единой точки и запятой, пишут Ленину, что вся посевная кампания будет «ни к чему», если вместо разверстки крестьян не обложить «податью, только не денежной, а хлебной». «Когда крестьянин будет знать свою норму налога и время его, — говорится в этом письме, — тогда не нужно будет держать в волости десятки продагентов».

С особой силой тревога и боль звучат в письмах деревенских коммунистов. «Я — коммунист с 1918 года, — пишет один из них. — Мои убеждения ничто не изменит. Коммунистический дух во мне крепок. Но сердце разрывается на части, когда я гляжу на то, что творится у нас в деревне...»

Ленин упорно раздумывает над политикой советской власти по отношению к крестьянству. Копии с полученных им крестьянских писем он рассылает товарищам, направляет для обсуждения и напечатания в газету «Беднота». Больше всего остерегается он поспешности, поверхностных, скоропалительных выводов. Он ищет, пробует, советуется, взвешивает, прикидывает.

5

В дошедших до нас «Философских тетрадях» Ленина сохранился фрагмент, сделанный им для самого себя на заключительном этапе работы над философскими проблемами в 1914—1915 годах. Он озаглавлен: «План диалектики (логики) Гегеля». В нем Ленин показывает последовательные ступени ведущей мыслью от ее зарождения до полного развития, как бы приоткрывая тайник, в котором формировались его собственные идеи и мысли.

«Сначала мелькают впечатления, — так начинает Ленин эту запись, —

затем выделяется нечто, —

потом развиваются понятия качества # (определения вещи или явления) и количества.

Затем изучение и размышление направляют мысль к познанию тождества — различия — основы — сущности versus¹ явления, — причинности etc.

Все эти моменты (шаги, ступени, процессы) познания направляются от субъекта к объекту, проверяясь практикой и приходя через эту проверку к истине...»².

«Приходя через эту проверку к истине...!»

И тут великолепную последовательность этого анализа хочется —

¹ Против, с другой стороны (лат.).

² Разбивка ленинской записи на абзацы сделана нами.

сколь ни неожиданным может показаться это на первый взгляд — продолжить признаниями другого гения:

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны...
Куда ж нам плыть?..

Полный работы мысли, Ленин пришел на Восьмой съезд Советов, надеясь во встречах и общении с делегатами съезда — и в первую очередь с беспартийными крестьянами — найти искомую им истину.

6

Этот съезд вошел в историю в образе парившей над сценой Большого театра и словно летевшей в будущее карты России, усыпанной огнями электрических станций, сооружаемых по плану электрификации нашей страны.

И сам план электрификации, и обстановка, в которой он был принят, так необыкновенны, что не только потомки, но и современники и даже непосредственные участники событий как-то забыли о сложнейшем сгустке исполненных драматизма событий, с которыми был связан этот съезд.

На нем были приняты предложения Ленина о премиривании крестьянских хозяйств. Это было первым шагом на пути перехода к новой экономической политике.

Во время этого съезда Троцкий выступил со своей платформой по вопросу о задачах профессиональных союзов, после чего партия была свергнута в острейшую внутрипартийную дискуссию.

Тотчас же после съезда Ленин в речи «О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках т. Троцкого» дал глубочайший анализ сущности Советского государства, его взаимных отношений с рабочим классом в переходный период и в «переходный период в переходном периоде».

И все это — от доклада о международном и внутреннем положении и плане электрификации и до заключительных слов в речи об ошибках Троцкого — на предельно коротком отрезке времени, всего в девять дней.

Дорого дались Ленину эти немногие дни: выступая перед делегатами съезда, Ленин впервые сказал, что он болен.

7

Снова Большой театр. Заседает беспартийное совещание крестьян — делегатов Восьмого съезда Советов, созванное Михаилом Ивановичем Калининным по просьбе Ленина. Передние ряды занимает бордатовая хозяйствующая деревня.

Все одеты в обычную крестьянскую одежду того времени — армяки, зипуны, полушубки, в темные дерюжные куртки. Лишь немногие обуты в сапоги, на большинстве лапти и онучи, ловко подвязанные оборками впереплет, накрест, до колена.

Сбоку, совсем неприметно, сидит Ленин. Слушая ораторов, он делает в своем блокноте быстрые, беглые записи. После совещания он поручит секретарям размножить эти записи и разослать их членам ЦК и наркомам с пометкой:

«К осведомлению цекистов и наркомов.

Следующие заметки о прениях и заявлениях на беспартийном совещании крестьян составлены Лениным, который просит ознакомиться с ними».

Делая запись, Ленин указывает не фамилию оратора, а губернию, из которой тот приехал. Записи его предельно лаконичны, но в то же время передают своеобразие крестьянских речей; тщательно записывает Ленин крестьянские жалобы и замечания крестьян о советских рабочих: «Более к жизни близко и к сердцу бедных крестьян...» — «Заинтересовать надо крестьянина. Иначе не выйдет. Я дрова пилю из-под палки. Но сельское хозяйство из-под палки вести нельзя». — «Скот берут чрезмерно. Берут помольные сборы. Берут за дезертира. Непосильные сборы уменьшить». — «Перехозяйствовали банды весь транспорт. Разруха. Надо строить государственную жизнь». — «Мы три года равнялись. Как заинтересовать? Просто: процентную разверстку хлеба, как на скот». — «Пусть будет палка, но для нашего содействия. Чтобы старательный нажал на нестарательного». — «Лодыря подстегнуть...» — «Просим... семян. А люди только носят портфель, а ничего не сделали». — «Комиссия свата брата защитят».

На следующий день после этого совещания, выступая на съезде Советов с заключительным словом по отчету ВЦИК и СНК, Ленин говорит:

«Я вчера имел удовольствие присутствовать... на небольшом частном совещании беспартийных делегатов нашего съезда — крестьян и вынес чрезвычайно много из их дебатов по самым больным вопросам деревенской жизни, по вопросам продовольствия, разорения, нужды, которые вы все знаете».

Десять лет спустя, в сентябре 1930 года, Надежда Константиновна Крупская в письме к Михаилу Степановичу Ольминскому вспоминала, как много дала Владимиру Ильичу встреча с беспартийными крестьянами — делегатами Восьмого съезда Советов.

«Сила Ильича,— писала Надежда Константиновна,— была именно в том, что он умел слышать голос жизни в ничего не значащих словах людей с мест, умел, как бы это выразиться, прикладывать ухо к земле... Перед нэпом Ильич попросил Калинина собрать беспартийных крестьян... просил их ответить на ряд вопросов и внимательно прослушал их выступления. После этого собрания он много решительнее стал высказываться за нэп. Что же, какой отсюда вывод?.. Что Ильич умел слушать и беспартийных, мелкособственнически настроенных и слышать то, чего не слышали другие, умел из их разговоров делать свои выводы».

Раздумывая над поворотом экономической политики, Ленин уже в последние месяцы двадцатого года проделал основную часть работы мысли. Однако довести ее до конца он тогда не успел.

Этому помешали события, разыгравшиеся буквально в канун нового, двадцать первого года.

8

Только вчера звучали слова торжественного обращения Восьмого съезда Советов: «К труду же, Рабоче-крестьянская Россия!» Сегодня же, 30 декабря двадцатого года, звучали иные речи — шла дискуссия о роли и задачах профессиональных союзов, главным застрельщиком которой был Троцкий.

Началось это в первые дни ноября. Троцкий руководил тогда Народным комиссариатом путей сообщения.

Придя на железнодорожный транспорт, он застал там существовавший еще с девятнадцатого года Главный политический отдел — Главполитпуть и так называемый Цектран — милитаризованный профсоюз транспортных рабочих. Созданные как временные политические органы для проведения чрезвычайных мер, которые спасли бы транспорт от разрухи и полного развала, Главполитпуть и Цектран ввели на железных дорогах военную дисциплину и всецело подчинили их задачам военного времени.

В тех исключительных обстоятельствах такие чрезвычайные меры были необходимы. Но, как и сами исключительные обстоятельства, они были бедой. Троцкий возвел эту беду в достоинство и даже в общий закон. В его глазах и в глазах его сторонников обычные демократические формы работы профсоюзов выглядели, как «кустарничество, комитетчина, бессистемность и безвластие», с которыми необходимо покончить, и чем скорее, тем лучше, заменив профсоюзы институтом политических комиссаров, проводящих неустанный напор и нажим на рабочую массу. Этот напор и нажим Троцкий и те, кто его поддерживал, именovali «реальной политикой», которая «не останавливается ни перед какими методами» для насаждения «беспощадной дисциплины по отношению к рабочим массам, тянущим нас назад». Поэтому профсоюзы надо основательно «перетряхнуть», выкинув из них людей, «не способных освоить наши тенденции».

Понятна страстность, с которой выступил Ленин против позиции Троцкого: во внешне узком споре о Цектране речь шла о коренном вопросе революции — об отношениях партии и рабочего класса. Как должна партия осуществлять свое руководство массами? Каково соотношение методов убеждения и принуждения? Какое место занимают народные массы и прежде всего рабочий класс в социалистическом преобразовании общества?

Вопрос о роли профсоюзов перешел в Центральный Комитет партии. Там он породил острейшие прения. В итоге тезисы Троцкого были отклонены. Десятью голосами против четырех была принята резолюция Ленина. В ней подчеркивалось, что «время специфических методов управления... начинает проходить» и что «необходима самая энергичная и планомерная борьба с вырождением централизма и милитаризованных форм работы в бюрократизм, самодурство, казенщину...». В ответ на это Троцкий отказался работать в созданной ЦК комиссии по профсоюзам, членом которой он был избран.

Именно этот поступок, ведущий к фракционности, Ленин прежде всего ставил в вину Троцкому.

— Без этого шага,— говорил он,— ошибка т. Троцкого (предложение неправильных тезисов) — самая небольшая, такая, которую случилось делать всем цекистам без всякого изъятия... Если Цектран сделал ошибку,— каждому случается увлекаться,— надо было ее исправлять. Но когда эту ошибку начинают защищать, то это делается источником политической опасности.

Уже отказ войти в комиссию, созданную ЦК, был со стороны Троцкого срывом партийной дисциплины. Но на этом он не остановился. Все более и более оформляясь в особую фракцию, он и его сторонники перешли от теоретических рассуждений к прямым фракционным действиям.

Положение усугубилось тем, что многие члены ЦК партии заняли в дискуссии неустойчивую, колеблющуюся позицию. Ленин не раз оставался в меньшинстве. На пленумах ЦК (Ленин назвал их потом «печальными пленумами») голоса делились на «семерки» и «восьмерки». Бухарин создал «буферную грушу» якобы для примирения позиций

Ленина и Троцкого, на деле же целиком поддерживающую Троцкого, что дало Ленину повод высмеять этот буфер, который, по его словам, следовало бы изображать так: перед пылающим огнем стоит человек с ведром керосина, на котором написано: «Буферный керосин» — и подливает этот керосин в огонь.

В итоге, как говорил Ленин, «получилась в Центральном Комитете каша и кутерьма; это в первый раз в истории нашей партии во время революции, и это опасно».

Самое опасное в фракционной борьбе то, что фракционные ингересы становятся для ее участников превыше всего. Так было и на этот раз.

Двадцать пятого декабря сторонники Троцкого распространили среди делегатов Восьмого съезда Советов написанную Троцким «брошюру-платформу» о задачах профсоюзов, а 30 декабря по их требованию было созвано объединенное собрание коммунистов — делегатов съезда и членов Всероссийского и Московского Советов профессиональных союзов.

Дискуссия вышла за рамки Центрального Комитета.

9

И вот на широкое обсуждение были вынесены вопросы, от правильного или неправильного решения которых зависело, будут или же не будут найдены правильные методы подхода к массе, овладения массой, связи с массой. А следовательно, будут ли претворены в жизнь те великие идеи, которые были провозглашены накануне в обращении Восьмого съезда Советов к трудящимся России.

Электричество горело в полнакала. Только помост, на котором стоял стол президиума, был ярко освещен лампочками, горевшими снизу. У самого края помоста — кафедра. Рядом с нею — Троцкий.

— Профсоюзы переживают кризис...— говорит он.— И, чтобы преодолеть этот кризис, надо покончить с тем, что профсоюзы в нашем рабочем государстве считают своей задачей защиту интересов рабочих от пролетарского государства...

У Троцкого отработанные жест и модуляции голоса. Когда он жил в Париже, он брал уроки у профессора ораторского искусства.

Повелительный голос рассекает молчание зала. Порой кажется, что здесь происходит не обсуждение и собравшиеся пришли сюда лишь выслушать директивы и приказы: «Пора положить конец...», «Нельзя дольше терпеть...»

— Надо покончить с тем, что профессиональные союзы существуют отдельно, независимо от государственных органов,— говорит Троцкий.— Их нужно слить воедино, произведя сращивание профсоюзов и государственного аппарата, огосударствив профсоюзы, превратив их в аппарат рабочего государства, управляющий производством...

Когда он заканчивает свою речь, его провожают негустые, но очень громкие хлопки части зала. Большинство погружено в невеселое раздумье.

Внешне в концепции Троцкого все словно бы подчинено той цели, во имя которой готов отдать жизнь каждый присутствующий: построению социализма. Но как холоден, чужд этот военно-административный социализм, в котором действуют не люди, а покорные множества: «Die erste Kolonne marschiert... Die zweite Kolonne marschiert...» («Первая колонна марширует... Вторая колонна марширует...»). Социализм, лишенный того, что Н. К. Крупская так прекрасно назвала тайной одухотворения, очеловечения масс, когда жизнь очищается, осмысливается, преобразуется благодаря таланту, энергии, высоким идеалам тех, кто ее творит...

Троцкий покидает трибуну и идет к столу президиума. В это время — уже около полуночи — появляется сильно опоздавший к началу собрания Ленин.

Наклонившись к кому-то, сидящему с краю, Ленин, видимо, спрашивает о том, что было на собрании до его прихода. Потом поднимает голову. Пристально смотрит на приближающегося к нему Троцкого.

Председательствующий предоставляет слово Ленину.

— Товарищи,— говорит Ленин,— я должен прежде всего извиниться, что я нарушаю порядок, ибо для участия в прениях, конечно, следовало слушать доклад, содоклад и прения. К сожалению, я чувствую себя настолько нездоровым, что не в состоянии выполнить этого...

И сразу приступает к существу дела.

— Основным моим материалом является брошюра товарища Троцкого «О роли и задачах профсоюзов»... Я удивляюсь, какое количество теоретических ошибок и вопиющих неправильностей сконцентрировано в ней...

Сначала Ленин говорил с трудом, голос его звучал глуховато, руки недвижно покоились на кафедре. Чувствовалось, что он устал, нездоров. Но по мере того, как он говорил, усталость, видимо, отступала, и он, все более увлеченный, становился таким, каким всегда бывал на ораторской трибуне: весь в своей речи, в ее содержании, в ее идеях.

Во всех речах и статьях, относящихся к этой дискуссии, Ленин требует от партии диалектического подхода к предмету спора, стремления охватить, изучить все стороны вопроса, все связи и «опосредствования», ибо только всесторонность предостережет от ошибок и омертвления.

Сохранился набросанный Лениным конспект его речи о профессиональных союзах, произнесенной на собрании 30 декабря двадцатого года. Видимо, это те самые листки, которые он держал, когда подходил к кафедре. Он положил их на пюпитр и ни разу в них не заглядывал, а уходя, небрежно сунул в карман.

Если сопоставить этот конспект с той речью, которая была произнесена Лениным, нельзя не поразиться тому, как он сумел, ни разу не посмотрев в конспект, столь точно следовать намеченному плану и в то же время в процессе самой речи найти столь много новых образов, сравнений, характеристик.

И в конспекте и в речи говорится, что профсоюзы — это почти головная организация индустриального пролетариата, притом организация своеобразная. Это организация правящего, господствующего, правительствующего класса, но не организация принуждения, не государственная организация — это организация воспитания, вовлечения, обучения, школа управления, школа хозяйничания, школа коммунизма.

Но образ «ряда зубчатых колес», «сложной системы нескольких зубчатых колес», «приводов» от авангарда к массе передового класса, а от него к массе трудящихся, без которых нельзя осуществлять диктатуру пролетариата в крестьянской стране,— этот образ родился уже во время речи.

И точно так же в процессе речи — быть может, под влиянием ответного движения, которое возникло в это время в зале,— краткая запись конспекта:

«Союзы в рабочем государстве»? А в рабочем государстве с бюрократическими и з в рабоче-крестьянском государстве?
вращениями?

Есть от кого защищаться!

— эта конспективная запись вырастает в следующую развернутую характеристику:

«У него (Троцкого.— *Е. Д.*) выходит, что защита материальных и духовных интересов рабочего класса не есть роль профсоюзов в рабочем государстве. Это ошибка. Тов. Троцкий говорит о «рабочем государстве». Позвольте, это абстракция. Когда мы в 1917 году писали о рабочем государстве, то это было понятно; но теперь, когда нам говорят: «Зачем защищать, от кого защищать рабочий класс, так как буржуазии нет, так как государство рабочее», то тут делают явную ошибку. Не совсем рабочее, в том-то и штука... У нас государство на деле не рабочее, а рабоче-крестьянское — это во-первых. А из этого очень многое вытекает. (Бухарин: Какое? Рабоче-крестьянское?) И хотя т. Бухарин сзади кричит: «Какое? Рабоче-крестьянское?», но на это я отвечать ему не стану. А кто желает, пусть припомнит только что закончившийся съезд Советов, и в этом уже будет ответ.

Но мало этого. Из нашей партийной программы... видно, что государство у нас рабочее с бюрократическим извращением. И мы этот печальный,— как бы это сказать? — ярлык, что ли, должны были на него навесить. Вот вам реальность перехода».

Отсюда Ленин делает вывод: при такого рода практически сложившемся государстве рассуждения, что профсоюзам нечего защищать, что в заботе о материальных и духовных интересах пролетариата без них можно обойтись,— это рассуждение теоретически неверно и переносит нас в область абстракции или идеала, которого мы достигнем через пятнадцать—двадцать лет...

И добавляет: «но я и в этом не уверен, что достигнем в такой именно срок».

10

Итак, вопреки предостережениям Ленина, спор о роли профсоюзов все же вышел за рамки Центрального Комитета партии.

Такого не было еще никогда. Волна, шквал, ураган дискуссий. Рождающиеся чуть ли не каждый день «платформы» и «платформочки». Утопающие в облаках табачного дыма собрания. И споры, споры с утра до вечера и с вечера до утра.

В бурном процессе «тезисотворчества» за каких-нибудь две недели на свет появилось не меньше восьми «платформ» («тезисы» тож) со всяческими нюансами, оттенками, отточками, в которых сам черт мог сломить ногу,— и неискушенные в этих тонкостях товарищи должны были тратить время и ломать в этой «чехарде платформ» головы, чтоб отличить одну «платформу» от другой. Хотя многие из этих «платформ» ни на одном собрании не получали ни одного голоса, они упорно выдвигались и защищались их авторами.

Потом произошел как бы естественный отбор — и все оппозиционные группы стянулись к двум полюсам: на одном Троцкий с «перетряхиванием» и «срашиванием» профсоюзов, на другом — «рабочая оппозиция» с анархо-синдикалистской идеей: «управление народным хозяйством должно принадлежать самим производителям».

И против всего этого фронта «платформ» и «платформочек» — Ленин. И с ним — все более и более явное большинство партии.

11

В субботу 1 января 1921 года Ленин уехал в Горки. Считалось, что он по случаю нездоровья находится в отпуску, на отдыхе.

Но и там, в Горках, его, видимо, не покидала тревога. порожденная дискуссией. Как-то на дороге, ведущей в парк, его встретил отдыхавший

в санатории В. Г. Сорин и обратил внимание на то, какое у него озабоченное лицо. Сорин на ходу стал расспрашивать о подробностях дискуссии. По поводу какого-то, видимо, не очень ясно сформулированного им вопроса Владимир Ильич переспросил:

— Вы имеете в виду опасность раскола?

На деле Сорин о расколе не думал, даже мысли такой у него не было. Но, опасаясь показаться в глазах Владимира Ильича недостаточно вдумчивым, он поспешил заявить, что да, да, именно такова его мысль.

— Нет, не думаю,— сказал Владимир Ильич.

Быть может (Сорин не ручался за точность передачи слов Ленина, но отлично помнил их смысл), Владимир Ильич формулировал свой ответ чуть-чуть иначе:

— Не допускаю мысли...

Но если «не думал», «не допускал мысли», то, значит, не раз думал, взвешивал, оценивал все «за» и «против» такой возможности.

Об этом свидетельствует еще один небольшой эпизод.

Из хроники жизни и деятельности Ленина, составленной сотрудницей его секретариата Марией Игнатьевной Гляссер, видно, что за время этого «отдыха» в Горках был только один день, когда он не работал: 16 января.

По-видимому, к этому дню относится рассказ моего отца Сергея Ивановича Гусева о том, как он по просьбе Надежды Константиновны приехал в Горки: она знала, что Владимир Ильич очень любил слушать его пение, и хотела таким, как она выразилась — «форсмажорным», способом заставить Владимира Ильича хотя бы один день не работать.

Отправился отец туда еще в субботу после обеда вместе с Николаем Васильевичем Крыленко. Приехали уже вечером. Владимир Ильич стал их о чем-то расспрашивать, но они заявили: «О делах ни слова». Владимир Ильич засмеялся: «Попробуем».

Уговор был выдержан, но, видимо, только насчет слов, а не мыслей. Потому что, когда Владимир Ильич уселся с Крыленко за шахматы, в самый разгар игры он вместо шаха королеве объявил: «Шах Коллонтай». (Александра Михайловна Коллонтай была одним из лидеров «рабочей оппозиции».)

В тот вечер отец много пел. А утром, еще затемно, они отправились втроем на охоту.

Охотничье счастье им не улыбнулось, дичи было мало, да и стреляли они плохо, больше мазали. Только Крыленко подстрелил пару зайчишек.

Возвращались напрямик через лес. Шли и пели: «Смело, товарищи, в ногу...»

12

Двадцать второго января Ленин вернулся в Москву, и, как пишет М. И. Гляссер, «с этого времени начинается снова «бешеный» темп его работы: приемы, выступления, заседания, ежедневные комиссии и т. д.».

Некоторое улучшение с поступлением продовольствия и топлива в конце двадцатого года сменилось новым ухудшением. «...У нас продовольственный кризис отчаянный и прямо опасный»,— сообщает в те дни Ленин в телеграмме к украинским товарищам.

Где же искать выход? На старых путях? Еще круче завинчивать гайки военного коммунизма?

Нет!

Ленину ясно, что вырваться из этого положения, говоря словами Дзержинского, нельзя «без хирургии, без смелости, без молнии...».

К необходимости крутого поворота подводило все услышанное на Восьмом съезде Советов. О нем говорили и сообщения с мест, и беседы с крестьянами, и письма коммунистов, болевших за дело партии и народа и делившихся с Лениным своими сомнениями и тревогами.

Перед Лениным сидел член Сибирского ревкома Василий Николаевич Соколов, который предлагал теперь же, еще до посева, объявить, что на Сибирь устанавливается разверстка в сто миллионов пудов, а весь хлеб, который крестьяне соберут сверх этого, останется в их полном распоряжении.

— Вы полагаете, что тут можно ограничиться Сибирью? — быстро спросил его Ленин.

— Нет, Владимир Ильич, — отвечал Соколов. — Сибирь — начало, подход, опыт...

— А как вы думаете: если объявить все это заранее, будут сеять больше?

— Несомненно, будут, Владимир Ильич. Хозяйственный инстинкт.

Крестьяне-коммунисты из Бакурской волости, Сердобского уезда, Саратовской губернии, писали Ленину, что, по их мнению, советская власть, чтобы выйти из хозяйственной разрухи, должна опираться на крестьянство, «как на костыль».

«Это совершенно верно, — отвечал им Ленин. — Об этом сказано в нашей партийной программе и в постановлениях партийных съездов».

Он выступил на широкой беспартийной конференции рабочих-металлистов Московского района, созванной для обсуждения продовольственного положения и вопроса о тарифах.

Конференция заседала в Колонном зале Дома Союзов. Присутствовало на ней около тысячи делегатов. Заседала она три дня — и все эти три дня бурлила, кипела, хлопотала, металась, заходила в крике, слушала только тех, кто раздраженно и гневно бичевал недостатки советской власти, требовала всех поравнять, всех накормить, удовлетворить нужды города, но не трогать при этом деревню, хлеб дать, но хлеб не отбирать. Не верила никому — ни правлению профсоюза, ни избранному ею же самому президиуму, ни результатам голосования, ни даже себе самой — и несколько раз прерывала заседания, чтобы делегаты занялись взаимной проверкой мандатов.

Эти настроения неистово подогревали меньшевики и эсеры, которые, прикинувшись «беспартийными», проникли на конференцию.

Основной докладчик по вопросам продовольствия и снабжения, представитель Наркомпрода А. Я. Вышинский не сумел найти с рабочими общего языка. В результате после его заключительного слова конференция заявила, что доклад Вышинского ее не удовлетворил и она требует, чтобы перед ней выступил Ленин.

Владимир Ильич появился в зале заседания во время речи рабочего Левшева, обличавшего действия посевных комитетов. Воспаленность и раздражение конференции к этому времени достигли высшей точки.

Стенограмма речи Ленина не велась, до нас дошла лишь ее краткая протокольная запись.

— Я извиняюсь, что не могу участвовать в работе конференции, — начал он, — а только изложу свой взгляд.

И конференция, которая только что устраивала обструкции всем ораторам и заявляла, что она не верит никому, кроме беспартийных, услышав эти слова, стала с напряженным вниманием слушать Ленина.

Он не сулил рабочим никаких благ в сколько-нибудь близком будущем, он прямо говорил:

— Мы не обещали легкую власть... Мы не обещаем молочных рек...

Совершенно откровенно он признавал:

— Никто так не страдал, как рабочий... Рабочий класс за три года обессилел, а для крестьян настала самая тяжелая весна.

Сила Ленина, как и всегда, была в том, что он говорил людям правду. И пока он говорил, настроение конференции менялось буквально на глазах. А закончил он под дружные аплодисменты и пение «Интернационала».

Конференция приняла резолюцию, в которой одобряла политику Советского правительства. По отношению к крестьянству она признала необходимым перейти от разверстки к налогу.

Во время заседания Политбюро 16 февраля Ленин получил записку от секретаря ЦК Н. Н. Крестинского, участвовавшего в этом заседании. Крестинский писал Ленину, что в «Правду» поступила статья о преимуществах продналога перед продразверсткой; ее авторы — московский губпродкомиссар П. Сорокин и заведующий московским губземотделом М. Рогов. Член редколлегии «Правды» Н. Мещеряков сомневается в необходимости срочной публикации этой статьи. Он, Крестинский, согласен с Мещеряковым.

Ленин запиской ответил, что статьи не читал, но подает голос за то, чтобы печатать ее завтра же, опубликовав как статью частных литераторов, а не должностных лиц и сделав при этом оговорку, что статья дискуссионная.

На это Крестинский написал Ленину:

«Сталин считает стратегически невыгодным, чтобы канву для неизбежной дискуссии дали не мы; поэтому он за то, чтобы этой статье не печатать без предварительного просмотра ее нами».

Однако Ленин и Политбюро не согласились с этим и приняли решение, что статью надо печатать.

В статье «Разверстка или налог», появившейся в «Правде» на следующий день, П. Сорокин и М. Рогов, подвергнув критике систему разверстки, указывали на необходимость «найти такие формы, при которых наша продовольственная работа в деревне не убивала бы в производителе желание увеличить и развить свое производство».

Такой формой они считали налоговую систему на все виды продовольствия, сырья и фуража.

Коммунист Дмитрий Иванович Гразкин, побывав в Вологодской губернии, прислал М. И. Калинину и Н. Н. Крестинскому большое письмо. В нем он рассказывал, что крестьяне его деревни и соседних деревень прямо говорят: «Нет никакого смысла подымать хозяйство, когда все отбирают». Поэтому Д. И. Гразкин предлагал установить «процентную норму» взимания продуктов.

Два-три дня спустя раздался телефонный звонок. Звонили от Ленина. Он пригласил Гразкина к себе.

— Вы в письме предлагаете заранее установить норму взимания продуктов с крестьянского хозяйства, — сказал Ленин. — А куда крестьяне будут продавать излишки? Продавать? Значит, нужна торговля?

И он вызвал члена президиума ВСНХ Владимира Павловича Милютина. Осторожно, очень осторожно расспрашивал, как тот относится к допущению «местного рынка».

В числе людей, с которыми беседовал в эти дни Ленин, был секретарь Тамбовского губернского комитета партии Николай Михайлович Немцов, командированный в Москву по решению губкома.

Беседа продолжалась около часа. Немцов рассказал Ленину о положении, сложившемся на Тамбовщине. В губернии орудуют банды Антонова. Они бесчинствуют, грабят крестьян и в то же время всячески разжигают недовольство методами разверстки. Особая трудность борьбы с антоновцами в том, что они могут мгновенно и пухнуть и хиреть: сегодня их тысячи, завтра десятки — и наоборот. Они быстро перескакивают с места на место и укрываются по своим избам.

К антоновцам примкнуло немало случайно вовлеченных в банды крестьян. Поэтому губком партии постановил на заседании 8 февраля снять с губернии продовольственную разверстку и освободить из тюрем крестьян, попавших к антоновцам по принуждению либо по темноте.

Ленин подробно расспрашивал Немцова. Взял у него письменный доклад и привезенные им материалы, обещал тщательно их просмотреть и дать оценку политической линии Тамбовского губкома.

Вечером того же дня он снова принял Немцова, на этот раз вместе с группой крестьян, только что освобожденных из Тамбовской губчека.

Как рассказывает принимавший участие в этой встрече тамбовский работник Михаил Федорович Беляков, Ленин еще во время Восьмого съезда Советов просил привести к нему крестьян, сочувствующих антоновцам, и желательно авторитетных, пожилых, тех, кого тогда называли «бородачами».

Двое из этих крестьян, прибывших в Москву по просьбе Ленина, были бедняки, двое середняки, двое кулаки.

По воспоминаниям Немцова, разговор крестьян с Лениным был страстным и предельно откровенным.

— Мы советскую власть признаем, Владимир Ильич, — говорили крестьяне. — Мы ее любим. Но нельзя же нас так обижать.

Особенно горяч был один из середняков, мужик лет шестидесяти:

— Мало того, Владимир Ильич, что возьмут хлеб у тебя и не поверят в той или иной части, но еще и изгиляются над тобой — вот что нестерпимо.

Разделяя возмущение, которое вызывали у крестьян незаконные действия местных властей, Ленин с присущей ему прямоотой напомнил собеседникам, что государству нужен хлеб, а дать его, кроме как крестьянам, никому («Крестьянин должен несколько поголодать, чтобы тем самым избавить от полного голода фабрики и города», — так высказал Ленин эту мысль на Десятом съезде партии).

— Да мы-то понимаем, что хлеб нужен, — отвечал на это середняк, — и не только понимаем, но и дадим его. На крышах будем сеять, а государству, советской власти хлеб дадим, но только пусть над нами не изгибаются.

Кулак все время перебивал середняка, твердя одно: «Торговлишку бы. Владимир Ильич, открыли...», — а бедняк одергивал кулака: «Да отстань ты со своей торговлей, дай послушать...»

Владимир Ильич объяснял крестьянам, что разверстка — явление временное, она была нужна, чтобы кормить рабочих, и скоро будет заменена налогом. Когда он это сказал, крестьяне придвинулись к нему поближе и слушали затаив дыхание.

По словам Немцова, крестьяне были «обворожены» Лениным. Вернувшись домой, они стали нашими лучшими агитаторами за советскую власть.

Что до решения, принятого Тамбовским губкомом, Ленин одобрил линию губкома и признал ее политически правильной.

Долго беседовал он и с крестьянином из Владимирской губернии Иваном Афанасьевичем Чекуновым. Тот сказал, что крестьяне потеряли доверие к советской власти. Ленин спросил, можно ли поправить дело налогом. Чекунов сказал, что, по его мнению, да, можно.

В поисках правильной линии по отношению к крестьянству Ленин выслушивал представителей разных, порой противоположных мнений, протщупывал позицию самых различных людей.

Н. Осинский, бывший тогда заместителем наркомзема и стоявший за государственное регулирование крестьянского хозяйства как за единственный возможный выход из переживаемого им кризиса, рассказывает в своей автобиографии о том, как заинтересовался Ленин его соображениями, но «в конце концов это последовательное социально-политическое построение было использовано им в другом смысле»: оно, как подчеркнул Н. Осинский, «дало материал для выявления необходимости вовсе оставить систему военного коммунизма».

Вслушиваясь во все эти голоса, советуясь со сторонниками перемены политики партии в деревне и с ее противниками, вникая в их мысли, обобщая и переосмысливая то, что ему говорили, Ленин не только сделал вывод о необходимости крутого поворота экономической политики, но все более ясно видел, какой именно поворот и каким именно образом надо совершить.

Вспоминая свою беседу с Лениным, Н. М. Немцов говорил, что у него создалось впечатление, что в тот момент у Ленина уже сложилась будущая концепция нэпа.

Так оно и было. В тот самый день, 8 февраля, в который Тамбовский губком принял свое решение относительно хлебной разверстки, Ленин во время заседания Политбюро, где рассматривался вопрос о весенней посевной кампании и положении крестьянства, формулировал «Предварительный, черновой набросок тезисов насчет крестьян», в котором писал о необходимости «удовлетворить желание беспартийного крестьянства о замене разверстки (в смысле изъятия излишков) хлебным налогом».

Этот «предварительный, черновой набросок», принципиально принятый Политбюро, был первым документом, намечающим конкретный переход от военного коммунизма к новой экономической политике.

13

Обсуждение этого вопроса на Политбюро протекало бурно. «Началось заседание...— рассказывает в своих воспоминаниях Александр Дмитриевич Цюрупа, который был тогда народным комиссаром продовольствия.— Владимир Ильич ругал нас бюрократами, распекал нас. Говорил: «Вы ошибаетесь; то, что раньше было правильным, теперь уже не подходит!» Оказалось, что я был не прав... Владимир Ильич выступал три раза, я тоже... Однако эта перебранка совершенно не повлияла на наши отношения. Итак, Политбюро решило отменить продразверстку и перейти к продналогу... Владимир Ильич заходил к нам на квартиру и по полтора-два часа просиживал с нами, доказывая необходимость введения продналога. Я говорил: «Владимир Ильич, я не буду делать доклада, а выступлю лишь содокладчиком к вашему докладу». Он сказал: «А все-таки между прочим скажите, что вы за свободу торговли».

Решение Политбюро о переходе от разверстки к налогу было принято 24 февраля и должно было быть утверждено партийным съездом, назначенным на начало марта.

14

Трудность положения в стране в десятки, в сотни раз усугублялась положением в партии.

«Надо иметь мужество смотреть прямо в лицо горькой истине,— писал Ленин в статье «Кризис партии» за три дня до своего возвращения из Горок в Москву.— Партия больна. Партию треплет лихорадка».

Несмотря на то, что уже со всей очевидностью выявилась победа ленинской точки зрения, поддержанной основной массой партии, все оппозиционные группы продолжали свою активнейшую деятельность, размножали все новые и новые «тезисы», рассылали по всей стране докладчиков, стараясь как можно сильнее раздуть огонь дискуссии.

Еще 19 января Ленин предупреждал, что болезнью нашей партии, несомненно, попытаются воспользоваться и капиталисты Антанты для нового нашествия, и эсеры для устройства заговоров и восстаний.

Говоря это, он тут же выражал глубокое убеждение, что нам это не страшно, «ибо мы сплотимся все, как один, не боясь признать болезни, но сознавая, что она требует от всех большей дисциплины, большей выдержки, большей твердости на всяком посту. Партия не ослабнет, а окрепнет к мартовскому X съезду РКП и после него».

Прошло всего полтора месяца — и под гром кронштадтских пушек подтвердилась правильность обоих прогнозов Ленина.

15

Еще в конце января из Петрограда начали поступать тревожные сообщения: с хлебом и топливом очень плохо. Часть заводов, видимо, придется закрыть. Рабочие сильно возбуждены отсутствием хлеба и закрытием заводов. Возбуждение разжигают вынырнувшие из щелей и закоулков эсеры и меньшевики.

Ленин поставил вопрос о Петрограде на Совете Труда и Оборона. Решено было закупить за границей восемнадцать с половиной миллионов пудов угля и принять героические меры, чтобы довести до максимума погрузку и отправку хлеба пролетарским центрам из Сибири и с Кавказа. В течение месяца Ленин буквально бомбардировал сибирских и кавказских работников телеграммами, требуя сделать все возможное, дабы ускорить отправку хлебных эшелонов. В конце февраля Совет Труда и Оборона принял внесенное Лениным предложение ассигновать до десяти миллионов рублей золотом на покупку за границей хлеба и предметов первой необходимости и немедленно же послать туда закупочную комиссию.

Как ни энергичны были эти решения, на то, чтобы хлеб и уголь дошли до Петрограда, требовалось время, и к тому же немалое. Между тем на некоторых петроградских заводах началось то, что было прозвано метким словом «волынка». Это была своеобразная форма ничегонеделания: рабочие не бастовали, но и не работали. Они приходили на заводы, целыми днями митинговали. Ораторов, прямо призывавших к свержению советской власти, гнали с трибуны, но и коммунистам зачастую не давали открыть рта.

В шумной, бурлящей толпе то на одном, то на другом заводе появлялись меньшевистские и эсеровские лидеры — тайно приехавший в Петроград видный меньшевик Дан и эмиссары правозэсеровского центра. Распространялась составленная Даном листовка, обращенная к «голодающим и зябнущим питерским рабочим». В ней говорилось, что дело не в отдельных заминках и перебоях, а в «крахе коммунистического эксперимента». Штопаньем и заплаточками ничего не исправишь. Рабочие

и крестьяне не должны больше жить по большевистской указке. Пусть они требуют освобождения всех арестованных социалистов, свободы слова, печати и собраний, пусть будут немедленно произведены полные перевыборы Советов, завкомов и профсоюзов. Эсеровская листовка, повторяя меньшевистскую, требовала также созыва Учредительного собрания.

Оживились и открыто черносотенные элементы: по ночам на стенах домов и на заборах расклеивались прокламации, подписанные «истинно русскими людьми» и какой-то «Партией «Лови момент», а также обычные в таких случаях лозунги: «Долой комиссародержавие!» и «Бей жидов, спасай Россию!»

Призывы и требования в том виде, в каком их вносили посланцы антисоветского подполья, не были приняты нигде. Но то, что говорилось в распространявшихся по городу листовках о холоде и голоде, нашло отклик. В Питере действительно было люто голодно, люто холодно.

Когда все это заварилось, в Петроград по предложению Ленина поехал Михаил Иванович Калинин, который обладал огромным талантом душевного разговора с рабочими.

Михаил Иванович проработал в Питере без малого три десятилетия, хорошо знал город, питерские заводы, старых питерских пролетариев. А уж его-то каждый кадровый питерский рабочий знал наверняка. И самым тяжелым из всего, что выпало ему на долю в этот приезд в Питер — а тяжелого выпало немало, — было, пожалуй, то, что, когда он пришел на «вольнившие» заводы, он увидел вокруг себя чужие, незнакомые лица. Питер опустел; как образно сказал Калинин, он оголел. Он потерял самое дорогое, что у него было: цвет петроградского пролетариата. Ибо в годы гражданской войны не было фронта, на котором не сражались бы петроградские пролетарии, трудом, кровью, самой жизнью своей завоевавшие победу революции.

Петроградские пролетарии и кронштадтские матросы...

К концу февраля напряженность положения в Петрограде несколько ослабела: большую роль тут сыграла работа коммунистов и приезд Калинина. Имело значение и появившееся в газетах сообщение, что продовольственная разверстка будет заменена натуральным налогом. Но вечером 28 февраля стало известно, что на стоящем на кронштадтском рейде линкоре «Петропавловск» чуть ли не двое суток подряд идет непрерывный митинг и принята враждебная советской власти резолюция.

Два дня спустя в кабинете Ленина раздался телефонный звонок. Звонивший в крайнем волнении сообщил о последних событиях в Кронштадте: на Якорной площади состоялось общегородское собрание матросов, рабочих и красноармейцев; принята резолюция, предложенная писарем с «Петропавловска» Петриченко. Приехавшего в Кронштадт Калинина встретили дружелюбно, но слушать не захотели; Кронштадт отказался признавать Советское правительство; образован мятежный «Временный революционный комитет»; большую роль в событиях играет бывший царский генерал Козловский, который, по всей видимости, одна из главных фигур заговора; в городе Кронштадте и крепости происходят аресты коммунистов.

Третьего марта газеты вышли с напечатанным на первых полосах правительственным сообщением о новом белогвардейском заговоре и мятеже, поднятом в Кронштадте генералом Козловским и линейным кораблем «Петропавловск», а несколько часов спустя по улицам Москвы по направлению к Петроградскому вокзалу уже шагали отряды коммунистов, отправлявшиеся под Кронштадт. С одним из этих отрядов шагла и я.

В нетопленном вагоне поезда — из тех, что носили еще с дореволюционных лет прозвище «Максим Горький», — было темно, сквозь щели тянуло холодом. Поезд шел медленно. Разгулялась метель, путь заносило снегом. До Ораниенбаума, где находился штаб Южной группы войск, действовавших против мятежников, поезд так и не дотянул, а остановился верстах в двух, в чистом поле.

Железнодорожная линия шла у самой кромки берега Финского залива. Слева от нее взбирались на пологие холмы дома Ораниенбаума. Справа был лед. А вддали, за снежной пеленой, — погруженный в пред-рассветный сумрак Кронштадт.

История, которая щедра на сложные, насыщенные драматические ситуации, придала событиям весны двадцать первого года предельно выразительную, поистине трагедийную форму. Словно стянув воедино противоречия эпохи, она избрала местом взрыва против революции Кронштадт — расположенную в непосредственном соседстве с границей морскую крепость, окруженную со всех сторон ледовым полем, а временем взрыва — канун весны, когда лед должен был вот-вот растаять, открыв для иностранных военных кораблей прямой путь к мятежной крепости, а за нею — к Петрограду. Она, история, откровенно и даже грубо обнажила нити, тянувшиеся от горлопанивших о «третьей революции» кронштадтцев к золотым погонам истинных вдохновителей мятежа. Почти за месяц до того, как они произошли в действительности, кронштадтские события были точно и последовательно описаны на страницах зарубежных белогвардейских газет: и матросский митинг, и отказ Кронштадта подчиняться центральной власти, и арест комиссара Балтийского флота Кузьмина, и решение мятежного «ревкома» повернуть пушки стоящих на кронштадтском рейде военных кораблей, нацелив эти пушки на Петроград. Столь точная информация не могла быть обычной газетной «уткой»: заговорщики просто выболтали свои планы.

С такой же наглядностью история продемонстрировала последствия «передвижки власти» от Советов к другим силам, о которой Ленин на Десятом съезде партии говорил, что, как бы ни мала или ни велика была вначале эта передвижка, как бы незначительны ни были поправки, сделанные кронштадтскими рабочими и матросами (казалось бы, и лозунги остались прежние: «советская власть» с небольшим изменением или только исправленная), на самом деле мятежники послужили здесь только подножкой, ступенькой, мостиком, по которому явились белогвардейцы. Это совершенно неизбежно политически, сказал Ленин. Вот почему новая форма контрреволюции — контрреволюция мелкобуржуазная — в стране, где пролетариат составляет меньшинство, «более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые».

И как бы желая еще раз подчеркнуть всю чудовищную нелепость того, что совершили запутавшиеся в клубке противоречий кронштадтские матросы, история устроила так, что они восстали в момент, когда Ленин и партия, видя боль и страдания народа, пришли к выводу о необходимости крутого поворота в политике. Отмена тягот военного коммунизма, послуживших истинной причиной волнения масс, была уже решена Центральным Комитетом партии и лишь ждала утверждения партийного съезда, собиравшегося в Москве.

Четвертого марта Петроградский Совет обратился с воззванием «К обманутым кронштадтцам», в котором призывал рядовых участников мятежа немедленно сложить оружие. На следующий день мятежному «ревкому» был предъявлен ультиматум: в двадцать четыре часа сдать и выдать зачинщиков, в противном случае мятеж будет подав-

лен вооруженной силой. Командующим Седьмой армией, на которую возложен был разгром мятежников, был назначен Михаил Николаевич Тухачевский.

Ультиматум не возымел действия. Он был продлен еще на двадцать четыре часа. Срок его истекал утром 7 марта.

Утром 8 марта в Москве начал свою работу Десятый съезд партии. Он открылся в тот самый день, когда наши части сделали первую попытку овладеть мятежным Кронштадтом. Последнее его заседание состоялось в канун решающего штурма.

Выступая в день открытия съезда с отчетом Центрального Комитета партии, Ленин выразил надежду, что восстание в Кронштадте будет ликвидировано в ближайшие дни, если не в ближайшие часы. Эта надежда не оправдалась. Пользуясь туманом и метелью, наши части — слабые и немногочисленные — подползли по льду к самым стенам Кронштадта, однако были обнаружены прожекторами противника, который открыл интенсивный огонь. Наши ворвались в город, но были быстро оттеснены.

Победа над мятежной крепостью требовала иных средств.

Вскоре после съезда Ленин писал в одном из писем: «Съезд Коммунистической партии отнял у меня так много времени и сил, что я теперь очень устал и болен».

Когда вспоминаешь то время, когда читаешь оставшиеся после него документы и думаешь о Ленине в те дни, понимаешь, каким сверхчеловеческим напряжением порождено это скупое признание.

Близко наблюдавший Ленина в дни съезда Карл Христианович Данишевский рассказывает, что Ленин был весь в движении, быстр, иногда даже нервен, зол, резок. Эти настроения сменялись в течение короткого времени в зависимости от темы разговора, от собеседника, от только что полученных сведений. Он часто уходил, накинув на плечи старенькое, изношенное пальто. Неожиданно появлялся в президиуме. Выступал в комиссиях по резолюциям; совещался с товарищами, с представителями отдельных делегаций, с ближайшими друзьями. Просматривал материалы о положении на местах, о сборе продразверстки и настроениях деревни, которые привезли с собой делегаты съезда; прислушивался к их раздумьям, как же быть дальше.

Ни одна даже самая лучшая стенограмма не способна передать живую ленинскую речь — так много значили в этой речи интонация, тембр, жест. Но когда читаешь отчеты Десятого съезда партии, словно видишь, как Ленин, получив слово, торопливо выходит на трибуну; как, не дождавшись конца приветственных аплодисментов, начинает говорить; как он прикрепил к ладони левой руки карманные часы и поглядывает на них, чтобы не нарушить регламент и в то же время успеть сказать все главное и основное.

Видишь Ленина — и слышишь. Слышишь горечь, которая звучит в его голосе, когда он называет дискуссию, два месяца трепавшую партию, «непомерной роскошью», совершенно непозволительной для партии, окруженной врагами, «могущественнейшими и сильнейшими врагами, объединяющими весь капиталистический мир»; партии, которая несет на себе «неслыханное бремя». Слышишь паузу, сделанную им перед тем, как произнести: «Я не знаю, как вы оцените теперь это. Вполне ли, по вашему, соответствует эта роскошь нашим богатствам и материальным и духовным? От вас зависит оценить это». И чувствуешь непреклонную убежденность, с которой он произносит: «Я должен сказать одно, что

здесь, на этом съезде, мы должны поставить своим лозунгом, своей главной целью и задачей, которую мы во что бы то ни стало должны осуществить, это — чтобы из дискуссии и споров выйти более крепкими, нежели тогда, когда мы их начали».

С присущим ему политическим бесстрашием Ленин говорит съезду: мы сделали такие-то ошибки (именно мы: никогда Ленин не сваливает вину на других, но прежде всего берет ее на себя); перед нами стоят такие-то трудности; мы добились таких-то изменений к лучшему; теперь мы должны решить такие-то задачи; главный политический урок Кронштадта — больше сплоченности и дисциплины внутри партии; главный экономический вывод — не довольствоваться тем, что сделано для соглашения рабочего класса с крестьянством, искать новых путей, применять и испытывать это новое, удовлетворить возможно больше среднее крестьянство.

Уже задолго до съезда отчетливо выявилось, что в дискуссии о роли и задачах профсоюзов подавляющее большинство партии — с Лениным. На съезде были произнесены последние речи этой дискуссии, проведены последние голосования. Ленинская «платформа десяти» собрала триста тридцать шесть голосов, платформа Троцкого и Бухарина — пятьдесят, резолюция «рабочей оппозиции» — восемнадцать.

До наших дней сохранилась «общая» ученическая тетрадь в черном клеенчатом переплете, заполненная записями, сделанными характерным женским почерком. Это дневник Александры Михайловны Коллонтай.

Неделю спустя после окончания съезда Коллонтай записала в этом дневнике:

«X съезд партии. «Рабочая оппозиция» выступила оформленной группой... Спешно издали мою брошюру: «Что такое «рабочая оппозиция»?» Атмосфера сгущенная и трудная: за несколько дней до съезда — Кронштадтское восстание. Съезд идет под знаком тяжелых событий. Моя брошюра в руках Ленина. Он быстро, быстро листает ее и качает неодобрительно головой. Гроза грянула: речь Ленина на три четверти громит «рабочую оппозицию» и мою брошюру. Я сижу... Владимир Ильич подходит: «Понимаете, что вы наделали? Ведь это призыв к расколу. Это платформа новой партии... И в такой момент!»

16

Да, в такой момент!

Наша разведка обнаружила на льду накатанные колен, ведущие из мятежного Кронштадта к берегам Финляндии. Зарубежная печать полна была сообщениями о вооруженных силах, медикаментах, продовольствии, направляемых мятежникам. Военные флоты западных держав уже готовились к «походу на Восток», который должен был начаться, едва Балтика и Финский залив очистятся от льда. Если бы эти замыслы удалась, Кронштадт превратился бы в мощный плацдарм для новых белогвардейских ударов, наносимых Советской России.

Командование Красной Армии приняло решение: овладеть Кронштадтом до того, как вскроется лед. Нашим войскам предстояло решить задачу, подобной которой не знала история войн: взять первоклассную морскую крепость силами пехоты. Взять, несмотря на огромное материальное превосходство противника в артиллерии и его выгодные оборонительные позиции. Взять, наступая по открытому, насквозь просматриваемому, насквозь простреливаемому хрупкому, ломкому ледяному полю.

На беду, весна в тот год выдалась небывало ранняя. Подготовка наступления и штурм Кронштадта должны были быть осуществлены буквально в считанные дни и даже часы.

Среди тех, кому предстояло овладеть Кронштадтом, было несколько

сот делегатов Десятого съезда партии, которые отправились под Кронштадт в качестве рядовых бойцов.

С того заседания партийного съезда, на котором происходило голосование по вопросу о роли и задачах профсоюзов, мой отец вышел вместе с Лениным. Ленин предложил ему пройтись по Кремлю, подышать свежим воздухом.

Сперва они шли молча, потом Ленин заговорил, и отец впервые узнал от него широко известную теперь по рассказу Н. К. Крупской историю о том, как в девятьсот седьмом году он уходил из России во вторую свою эмиграцию

Жил он тогда в Финляндии, снимал комнату у двух сестер-финок, целыми днями сидел дома и работал, на улицу почти не выходил, но тем особым чувством, которое вырабатывается у революционера-подпольщика, ощущал, как теснее и теснее сжимается вокруг него кольцо полицейской слежки. Вести из России приходили грустные. Ясно было, что реакция затянется надолго и что снова суждена постылая эмиграция.

Владимир Ильич условился с Надеждой Константиновной, которую задерживали дела в Питере, что они встретятся в Стокгольме. чтоб оттуда уехать в Швейцарию, и стал собираться в путь-дорогу. Но к этому времени кольцо полицейской слежки сомкнулось настолько тесно, что ехать обычным путем — пароходом, отходившим из Або, — значило почти наверняка быть арестованным; в Або было уже несколько случаев ареста при посадке на пароход. Тут кому-то из финских товарищей пришла в голову мысль: садиться на пароход не в Або, а на одном из ближайших островов, добравшись до него пешком, по льду Ботнического залива. Ленин сразу согласился, остановка была за проводниками. Дело произошло в декабре, но зима в тот год выдалась поздняя, лед еще плохо схватился. Однако Ленин в сопровождении двух спутников-финнов двинулся в путь.

Вышли они ночью. Стоял густой туман, позади переливчато светились расплывшиеся в белесой мгле огни Або, а впереди не было ничего, кроме непроглядной тьмы.

У берега лед был крепкий. Но потом стало слышно, как он потрескивает и слабо шуршит, кое-где на его смутной белизне проступила черным блеском вода. Вдруг лед начал уходить из-под ног. К счастью, лед, осев, не проломился, и Ленин и его спутники хоть и с трудом, но выбрались.

— Вот так я узнал, что значит идти по неверному льду, — закончил свой рассказ Ленин.

И когда он произнес эти слова, отец понял, что и воспоминание это, и весь рассказ Ленина возникли из не покидающей его ни на минуту заботы, как разрешить кризис, созданный мятежом, по возможности малой кровью.

С присущей ему быстротой переходов мысли по путям отдаленных ассоциаций Ленин сказал:

— Только одного этого голосования по вопросу о профсоюзах нам мало. Дискуссия нас слишком искромсала. Тут нужно что-то еще. К примеру, решение, особое решение съезда о единстве партии. — И, повернувшись к отцу всем корпусом, спросил: — А как бы вы, Сергей Иванович, отнеслись к совещанию делегатов съезда — подпольщиков? Встретиться да потолковать по душам... Как вы думаете?

Такое совещание состоялось. В продолговатом Митрофаниевском зале в Кремле задолго до назначенного часа собрались те, что вступили в партию еще в годы, когда она была нелегальной.

Владимир Ильич пришел перед самым началом. Быстро, пальто внакидку, прошел через зал до мест президиума, на мгновение, мельком

вскинул глаза на кафедру и сел, как он любил, на приступках лесенки, ведущей на помост. «Так просто это было, так сближающе,— рассказывает об этом К. Х. Данишевский.— Все сразу почувствовали себя в старой подпольной среде».

Собрание открылось. Владимир Ильич произнес вступительное слово, затем выступили представители оппозиции, затем Ленин выступил еще раз, с заключительным словом.

Разговор шел «начистоту». Стенограммы или хотя бы секретарской записи не велось. Единственное, что осталось после этого совещания,— написанные Лениным первоначальные проекты резолюций, одобрения которых Ленин просил у старейших деятелей партии: о единстве партии и о синдикалистском и анархистском уклоне.

По этим документам и по воспоминаниям участников совещания видно, что разговор там велся о том же, о чем на съезде: о положении в партии и стране, об опасностях, которыми угрожают пролетарской революции колебания мелкобуржуазной стихии, но прежде всего, больше всего, раньше всего — о единстве партии!

Мы никогда не узнаем в точности, что именно говорил об этом Ленин и как он говорил. Но едва ли сказанное им могло быть много сильнее и горше того, что он сказал на съезде. Почему же совещание старых подпольщиков и Ленин, каким он был на этом совещании, так по-особенному запомнились всем, там присутствовавшим?

Несколько лет спустя я задала этот вопрос моему отцу. Он ответил:

— Это трудно объяснить... Я почувствовал, как ему тяжело... Мне стало страшно, что придет час, когда его не будет с нами...

17

Вопрос о переходе от разверстки к налогу не вызвал на съезде каких-либо споров. Решение было принято единодушно.

Это единодушие не было пассивным: Ленин получил огромное количество записок с вопросами и недоумениями. Ораторы высказали ряд критических замечаний по поводу отдельных положений его доклада. Но в основном — в том, что разверстка должна быть отменена, что вместо разверстки должен быть введен налог,— согласие было полным.

В конце утреннего заседания 16 марта председательствующий объявил:

— Все заявления заслушаны. Съезд исчерпал свою работу. Мы переходим к моменту закрытия съезда. Я предоставляю слово товарищу Ленину.

Речь Ленина была короткой. Он напомнил, что съезд собрался в момент, чрезвычайно важный для судеб революции. Подчеркнул опасность мелкобуржуазной стихии, когда страна доведена до неслыханной нужды, разорения, отчаяния. Еще и еще раз остановился на необходимости сделать все, чтобы создать крестьянству условия прочного хозяйствования. Призвал, не закрывая глаза на опасности, в то же время твердо и уверенно рассчитывать на сплоченность пролетариата и его авангарда, этой единственной силы, способной объединить миллионы распыленных земледельцев. Задержался на событиях в Кронштадте, на тех надеждах, которые возлагают на мятеж зарубежные белогвардейские и интервенционистские круги. Выразил уверенность, что партия, сплотившись на этом съезде, выйдет из пережитых ею разногласий абсолютно единой и закаленной и поведет страну к все более и более решительным победам.

Слова Ленина были покрыты бурными аплодисментами всего съезда.

По одному из совпадений, которыми так богато это насыщенное событиями время, Ленин выступал со своей заключительной речью в тот

самый час, когда командарм-7 Тухачевский отдал по войскам Седьмой армии боевой приказ литер «Б» 534/0444: «В ночь с шестнадцатого на семнадцатое марта стремительным штурмом овладеть крепостью Кронштадт».

Каждый, кто был там, от командующего войсками до рядовой санитарки вроде меня, навеки запомнил эту ночь, этот бой, этот штурм — бескрайнее ледовое поле, туман, тишину, шорох полозьев, шушанье шагов, бесплотные белые тени красноармейцев, белые по белому, как туман по льду, двигающиеся туда, к неизвестным фортам, к окутанному ночью Кронштадту. И вдруг — огонь, гром, орудийные залпы, слепящий блеск прожекторов, внезапно возникший из мглы, опоясанный огненной лентой Кронштадт, визг шрапнели, вой тяжелых орудий, столбы воды, черные полыньи на месте разрывов, отчаянное ржанье раненых лошадей, глухой гул и треск подламывающегося льда. И наше неуклонное движение вперед и вперед, навстречу огню, навстречу снарядам, навстречу стреляющим из каждой своей щели и амбразуры крепостным стенам Кронштадта, к бою, штурму, победе.

Кронштадтский мятеж был подавлен. По одному из тех же удивительных совпадений это произошло в день пятидесятилетия Парижской коммуны.

Наступило время, которое в учебниках называют переходом к новой экономической политике.

Кстати, об этом выражении: «новая экономическая политика». Оно родилось на свет значительно позже, чем сама новая политика. Сначала эту политику называли «новым режимом», «новыми формами».

Впервые оно было употреблено Лениным в его докладе на X Всероссийской партийной конференции в мае двадцать первого года, но сказано мимоходом. Есть оно и в резолюции конференции, однако сама резолюция называется «Об экономической политике». Закрепилось оно лишь летом и осенью. Сначала в кавычках, потом кавычки исчезли.

Что же до сокращенного термина «нэп», то он родился на свет еще позже, да и то не сразу. Еще в январе 1922 года, набрасывая план своих «Заметок публициста», Ленин отметил: «Русский язык прогрессирует в сторону английского. Нэпо,— ком,— проф,— сов,— рабкооп etc.».

Здесь Ленин привел сложившееся к тому времени сокращение «нэпо». Окончательная же форма — «нэп» — утвердилась и прочно вошла в быт еще позже, лишь к весне двадцать второго года.

18

Крутой поворот в экономической политике советской власти, естественно, вызвал живую реакцию за рубежом. И буржуазная и социалистическая печать была единодушна в своих оценках: «Нэп — банкротство коммунизма», «Экономическая система большевизма списывается в расход», «Приятно убеждаться, что большевики, пытавшиеся насаждать коммунизм, стали насаждать капитализм», «Ленин отступает и собственноручно расписывается в крахе большевистского эксперимента».

Малодушные в такой ситуации предпочли бы не говорить всю правду, ссылаясь на то, что нас слушают враги. Но не Ленин. Гневно обрушивается он на людей, «которые под политикой понимают мелкие приемы, сводящиеся иногда чуть ли не к обману». Подобные люди «должны встречать в нашей среде самое решительное осуждение... Классы обмануть нельзя».

В речах и статьях этого периода он особенно упорно и настойчиво требует «называть вещи своими именами», «говорить начистоту», «уметь признать зло безбоязненно», «не закрывать глаза», «не прятать голо-

ву под крыло», «не бояться посмотреть прямо в лицо опасности». «Не страшно отступление, страшны иллюзии и самообманы, губительна боязнь истины».

Решительно отвергает он мнение, что, критикуя свои недостатки и откровенно говоря о своих ошибках, мы ослабляем, а не усиливаем наши позиции.

«Мы не должны скрывать наши ошибки перед врагом,— говорит он.— Кто этого боится, тот не революционер. Наоборот, если мы открыто заявим рабочим: «Да, мы совершили ошибки», то это значит, что впредь они не будут повторяться...»

Прямоте и бесстрашию идеи соответствуют прямота и бесстрашие действия.

Решения Десятого съезда партии должны быть как можно более быстро и как можно более полно претворены в жизнь. Тотчас после партийного съезда Ленин рассылает на места телеграмму, подписанную им самим и заместителем наркома земледелия Н. Осинским.

Местным органам власти предписывается:

при определении плана засева согласовывать его через сельские комитеты, сообразуясь с условиями каждого селения; заданий, не исполнимых по условиям местности или из-за отсутствия соответствующих семян, не предъявлять;

обращать внимание прежде всего на полный засев земли согласно общей цифре плана;

настаивая на выполнении плана по ударным культурам, строго считаться с условиями местности, с наличием соответствующих семян; ни в коем случае не допускать того, чтобы земля оставалась незасеянной только потому, что посевком требовал засева именно данной культурой, семян которой не оказалось;

при проведении плана засева совершенно отказаться от приемов, напоминающих проведение продрозверстки; помнить, что натуральный налог сам по себе создает могущественный побудитель к расширению посевов; поэтому основной задачей советских органов на местах является правильное сочетание государственного плана, помощи крестьянству, руководства крестьянством с самодеятельностью самого крестьянства.

Телеграмма заканчивается грозным предупреждением: «Центр будет беспощадно преследовать все случаи несоблюдения этих условий».

Телеграмма эта была не просто разослана: она была опубликована в газетах — и в Москве и на местах.

19

Так же напрямик и начистоту ведет Ленин разговор с каждым своим собеседником, с каждым собранием, на котором он выступает. И едва он начинает говорить, слышится шуршание бумаги, скрип карандашей, треск вырываемых из тетрадей и блокнотов листов — и со всех концов зала к Ленину бегут записки, вырастая в гору, белеющую перед ним на столе. Как рассказывает тогдашний московский партийный работник Борис Григорьевич Скундин, на одной только конференции московского партийного актива их было подано более ста. Никогда, наверно, Ленин не получал столько записок, как при переходе к новой экономической политике.

«Вы открываете настежь двери для развития буржуазии и капиталистических отношений», — пишут в одной записке. «Я, товарищ Ленин, человек деревенский, из лаптя вырос, полагаю, что устремление ваше правильное», — говорится в другой. «То, что вы предлагаете, есть отступление на позиции буржуазной революции. Но тогда надо прямо при-

знать, что в Октябре мы сделали ошибку», — утверждает автор третьей. «Да разве ж, товарищ Ленин, мы для того кровь проливали, для того Перекоп брали, чтоб власть отошла обратно к буржую? — с отчаянием спрашивает автор четвертой записки. — Товарищ Ленин, вы только поглядите на Москву!»

«Поглядите на Москву!»

Известный русский историк Василий Осипович Ключевский уподобил переломные моменты истории буре, во время которой листья деревьев поворачиваются изнанкой. Так же на переломах истории поворачивается народная жизнь.

Нечто подобное произошло в начале нэпа. И откуда все это вылезло, откуда напоззло?

Ну, была раньше Сухаревка, знаменитая на Россию, живучая и неистребимая Сухаревка. Ее запрещали декретами, по ней молотили облавами, но толку от всего этого было не больше, чем от попыток перерезать кисель бритвой: сколько ни режь хоть вдоль, хоть поперек, он все равно сойдется как ни в чем не бывало.

Еще только начиналась разработка законов, устанавливающих новые порядки, еще не сложилось название этих порядков — «новая экономическая политика», — а уже, словно перестоявшаяся опара из квашни, изо всех щелей повылезли торговцы, спекулянты, дельцы, подрядчики, валютчики, комиссионеры, арендаторы, перекупщики, знавшие только один девиз: «Рви!»

Мощные булыжником, все в ямах и выбоинах, заплыванные, грязные привокзальные площади день и ночь запружены шумной толпой, ручными тележками, салазками, саночками, пролетками, на козлах которых восседали извозчики в помятых цилиндрах и широких кафтанах, перетянутых чеканными поясами. Все здесь вопит, галдит, хватается мешки, шарахается от вокзала к вокзалу, устремляется к пролетам под железнодорожным мостом, а оттуда — на Зацепу, Трубу, Сухаревку.

Тут происходит поистине столпотворение. Сплошной волной, плечо к плечу, образуя заторы и водовороты, двигается оголтелое человеческое месиво, горластое, орущее, ругающееся, лузгающее семечки, поминающее бога, черта, родителей и пресвятителей. Не поймешь, кто тут продает, кто покупает, несть числа и счета ларькам, лоткам, палаткам, санкам, ящикам, стульям, табуреткам, сундукам, кошелкам, корзинам, кузовам. «А вот колбасы своего припасу!» — «Спички есть! Спички!» — «Кавказская медовая халва, прямо мед, клади в рот, сам бы ел, да хозяин не велел!» «Булки, белые булки!» — верещит баба в цветастом платке и полукафтанчике: булки в корзине покрыты холстом, а поверх холста положена булка «для щупа»: помяв ее, покупатель познает качество товара.

Но что Сухаревка? Требуха, обжорка... То ли дело протянувшийся на месте нынешней гостиницы «Москва» Охотный ряд: двойная линия вросших в землю ларьков и домишек — колбасных, мясных, сырных, молочных, овощных лавок, выстроившихся сплошной стеной у кромки тротуара, лицом и задом к улице.

Здесь не еда, а снедь — выхоленная, выхоженная, взлелеянная. Здесь ежели сыр, то со слезой; если икра, то жемчугом; если ветчина, то розовой атласа.

И не поймешь, откуда все это в нищей, голодной, кровоточащей стране? Где, в каких щелях прятались все эти годы вот этот выжига-купец, пошелкивающий на счетах, или же это идолище с заплывшими жиром глазами, посверкивающими в сумраке лавки?

От Лубянки можно свернуть вниз, к Ильинке, этому ристалищу валютчиков и спекулянтов. Кругом только и слышится: «Продаю...», «По-

купаю...», «Даю франки, беру доллары...» В старый биржевой жаргон влетают новые словечки: «Два лимона...», «Пятьсот косых...», «Три лимонарда...», «Сорвал...», «Спекульнул...», «Частно договоримся...»

Но можно от Охотного подняться и вверх по Тверской, к Страстной площади и к Садово-Триумфальной.

Пусть тротуары Тверской узки и шербаты, пусть она скудно освещена слабыми, мигающими фонарями, пусть по ней плетутся извозчики и лишь изредка мелькнет лихач на дутых шинах, но в подвальчиках и полуподвальчиках уже успели расположиться всяческие «Коробочки» и «Кривые Джимми», слышится взвизгивающая музыка, сквозь запотевшие окна ресторанов видны кадки с пальмами, сверкающие люстры, столики, покрытые крахмальными скатертями, на подносах — снедь из Охотного, за столиками — дельцы с Ильинки...

— И это — нэп?

— Да, это нэп.

— В чем же суть этого нэпа?

— В том, что он — не нэп.

— ????

— Помните ли вы замечание, которое сделал Ленин, когда размышлял над учением Гегеля о сущности?

«...несущественное, кажущееся, поверхностное чаще исчезает, не так «плотно» держится, не так «крепко сидит», как «сущность», — писал Ленин. — Например: движение реки — пена сверху и глубокие течения внизу. Но и пена есть выражение сущности!»

Тот нэп, который мы видели на Сухаревке и в Охотном, был пеной, черной пеной. Что до самой сущности нэпа, его глубинных течений, они были заключены в отношениях, в которых находятся между собой рабочий класс и крестьянство.

20

Перефразируя любимые им слова Дантона: «Смелость, смелость и еще раз смелость», — Ленин восклицает:

— Именно так: рабочий класс — и крестьянство, крестьянство и еще раз крестьянство...

Его устные и письменные выступления этого времени представляют собою как бы непрерывный разговор с собеседником, чьи вопросы то зримо проступают сквозь ткань ленинской мысли, то звучат в ее подтексте. Возьмем ли мы его доклад о замене разверстки натуральным налогом на Десятом съезде партии или речи на Всероссийском съезде транспортных рабочих и Коммунистической фракции ВЦСПС, его брошюру «О продовольственном налоге», статью «Новые времена, старые ошибки в новом виде» и вообще любую речь и любую статью того времени — везде мы как бы слышим вопросы этого незримого многоликого собеседника и ответы Ленина.

Попробуем же, опираясь на подлинные высказывания Ленина, выстроить этот внутренний диалог в последовательный ряд вопросов и ответов.

Вопрос: Товарищ Ленин! Раньше наша политика была другая, и вы считали ее правильной, а теперь считаете правильной эту. Как же это так получается?

Ответ: Вы ошибаетесь: ту политику, которую мы сейчас начинаем проводить, мы наметили еще весной 1918 года. Три года тому назад! В первые же месяцы большевистской победы! Но начавшаяся гражданская война заставила нас от нее отойти. Мы жили в условиях такой бешеной, неслыханно трудной войны, когда ничего, кроме действия по-

военному, нам не оставалось. Но дальше на той политике, которую мы проводили во время войны, держаться нельзя.

В о п р о с: Почему советская власть, которая является диктатурой пролетариата, пошла вдруг по пути уступок?

О т в е т: Потому, что крестьянство формой отношений, которая установилась с рабочим классом, недовольно. Мы с этим должны считаться. Мы должны сказать крестьянам: «Хотите вы назад идти, хотите вы реставрировать частную собственность и свободную торговлю целиком — тогда это значит скатываться под власть помещиков и капиталистов неминуемо и неизбежно. Давайте же разбираться, расчет ли крестьянству расходиться с пролетариатом так, чтобы покатиться назад — и позволить стране откатываться — до власти капиталистов и помещиков, или не расчет?» Мы думаем, что если рассчитывать правильно, то расчет крестьянина будет в нашу пользу.

В о п р о с: Как вы теперь оцениваете резолюции Девятого съезда партии, обещавшие переход к коммунизму в ближайшем же будущем?

О т в е т: Резолюции Девятого съезда предполагали, что наше движение будет идти по прямой линии. Оказалось, как оказывалось постоянно в истории революций, что движение пошло зигзагами. И только соглашение с крестьянством может спасти революцию в России, пока не наступила революция в других странах.

В о п р о с: Выходит, что коммунистическая советская власть способствует развитию свободной торговли? Разве свобода торговли не ведет к развитию капитализма в деревне? И как удержать власть рабочего класса при развитии капитализма?

О т в е т: Свобода торговли безусловно означает: назад к капитализму. Но можно ли в известной степени восстановить свободу капитализма для мелких земледельцев, не подрывая этим самым корень политической власти пролетариата? Да, можно, ибо вопрос — в мере. Если бы мы оказались в состоянии получить хотя бы небольшое количество товаров и держали бы их в руках государства, в руках имеющего политическую власть пролетариата, и могли бы пустить эти товары в оборот, мы бы как государство к политической власти своей прибавили бы экономическую власть.

В о п р о с: И все-таки, товарищ Ленин, я не согласен! Я считаю, что мы должны лучше еще потерпеть, но не идти на уступки капиталу.

О т в е т: Нет, терпеть так дальше мы не можем. У нас нужда отчаянная, всюду голод и нищета. Нам нужно, чтобы чуточку облегчилось положение. Нам необходим год или два отдыха от голода, не меньше. С точки зрения истории это ничтожный срок, а в наших условиях это срок большой. Год или два отдыха от голода, год или два правильного снабжения топливом, чтобы фабрики работали...

В о п р о с: Товарищ Ленин, ответьте, пожалуйста: разве не страшен для социализма индивидуализм крестьянина?

О т в е т: Мерило тут — электрификация. Если электрификация через десять—двадцать лет, индивидуализм мелкого земледельца и свободная торговля его в местном обороте ни капли не страшны. Если не электрификация, все равно неизбежен возврат к капитализму. Вообще же десять—двадцать лет правильных отношений с крестьянством — и обеспечена победа во всемирном масштабе (даже при задержке пролетарских революций, кои растут), иначе двадцать—сорок лет мучений белогвардейского террора. Aut—aut. Tertium non datur¹.

В о п р о с: Энгельс в брошюре «Крестьянская война в Германии» пишет: «Самым худшим из всего, что может предстать вождю крайней

¹ Или — или. Третье не дано (лат.).

партии, является вынужденная необходимость обладать властью в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представленного им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство». Не считаете ли вы, что это произошло в нашей революции?

Ответ: На Энгельса вы ссылаетесь зря. Зряшная ссылка, если не хуже еще, чем зряшная. Пахнет доктринерством. Похоже на отчаяние. А нам отчаиваться либо смешно, либо позорно.

Российский пролетариат поднялся в своей революции на гигантскую высоту не только по сравнению с 1789 и 1793 годами, но и по сравнению с 1871 годом, с Парижской коммуной. В четыре года мы очистились от навоза, накопившегося за четыре столетия. И сейчас нужны не нытье, не отчаяние, а трудовая дисциплина, повышение производительности труда, увеличение количества продуктов, беспощадная борьба с разгильдяйством и бюрократизмом.

Сим победиши!

Вопрос: Не приведет ли этот поворот к гибели советской власти от мелкобуржуазной стихии?

Ответ: Нисколько не закрывая глаз на опасность, ни капельки не впадая в какой-либо оптимизм, мы прямо говорим себе и своим товарищам, что опасность велика. В то же время мы твердо и уверенно считываем на сплоченность авангарда пролетариата. Мы уверены, что из опыта борьбы, из тяжелого опыта революции передовая часть рабочего класса вышла достаточно закаленной, чтобы противостоять всем тяжелым испытаниям и новым трудностям. И на вопрос, пессимизм или оптимизм, мы отвечаем: трезвейшая оценка зла и трудностей, бесшная страстность и беззаветность в борьбе — вот в чем залог победы нашей революции!

В каждый период своей истории наша партия находила крылатое слово, предельно точно выражавшее главное и основное в задачах, которые она должна была решить. Чаще всего эти слова рождались в речах и выступлениях Ленина.

При переходе к эпохе такими словами стали: единство — для партии, в с е р ь е з и н а д о л г о — для новой экономической политики, с м ы ч к а — для отношений между рабочим классом и крестьянством.

21

В любой день и час этих труднейших месяцев Ленин — весь движенье мысли. Во всяком вопросе находит он тысячу самых неожиданных аспектов. Незначительный на первый взгляд повод превращается в исходный пункт для обобщений огромного размаха и глубины.

Вот он пришел на Всероссийский съезд транспортных рабочих, увидел стоящий в углу запыленный плакат с надписью: «Царству рабочих и крестьян не будет конца». Тут же он отказывается от задуманного плана и произносит другую речь, от первого слова и до последнего связанную с этой надписью: о классовых силах, борьба которых определяет судьбу советской власти; о политическом положении в стране; об отношениях между городом и деревней, между рабочим классом и крестьянством; о международном положении — и каждая мысль этой речи тем или иным поворотом подводит к тому, насколько абсурдна и нелепа самая идея «царства рабочих и крестьян», которому к тому же «не будет конца».

Он выступает по какому-либо конкретному вопросу, например о профсоюзах. Не о «профсоюзах вообще», а о наших конкретных профсоюзах, живущих и действующих в конкретной обстановке того времени.

Но взгляните на примечание к этому выступлению в Собрании его сочинений. Вы прочтете в одном из них: «В. И. Ленин имеет в виду книгу Гегеля: «Wissenschaft der Logik» Band IV. I Theil. Die objektive Logik. II Abtheilung: Die Lehre vom Wesen»¹.

Дальше вы снова прочтете: «В. И. Ленин, по-видимому, имеет в виду следующее место у Гегеля: «Мысль не должна оставаться отвлеченною и пустою: в этом случае она будет разрывать содержание истины; — напротив, она должна сделаться конкретною мыслью, т. е. знанием, проникающим в сущность вещей» (см. Гегель, «Философия духа»)».

И это, повторяю, по вопросу о работе профсоюзов!

Недаром так часто в его речах и статьях мы встречаем упоминания о теории: «Теоретически говоря...», «Мы все, кто учился хотя бы азбуке марксизма...», «Теоретически это мыслимо...», «Это мы прекрасно знаем теоретически...» — все это сказано в пределах двух-трех страниц печатного текста.

А рядом с величественным зданием теории — вечнозеленое дерево жизни.

Практика, практика, практика! «Практика должна показать...», «Как это сделать — это дело практики...», «Вы скажете, что это неопределенно. Да, и надо, чтобы это было до известной степени неопределенно. Почему это надо? Потому что, чтобы было вполне определено, надо до конца знать, что мы сделаем на весь год. Кто это знает? Никто не знает и знать не может».

Переход к новой экономической политике требует от пролетарского государства сложных мер — «целой системы сложных переходных мер», говорит Ленин. Надо приспособиться к экономическим условиям мелкого хозяина и так рассчитывать при этом общегосударственное хозяйство, чтобы обеспечить как можно более быстрое развитие крупной социалистической промышленности.

Для Ленина решение этой задачи означает работу, снова работу и еще тысячу раз работу.

Десятый съезд партии одобрил в основном внесенные ЦК положения о замене разверстки натуральным налогом. В основном — «слово очень многоречивое и многозначашее», заметил в своей речи на съезде Ленин. Теперь это «многоречивое и многозначашее» слово предстояло претворить в законы и в то, что Г. М. Кржижановский удачно назвал «стремительной практикой».

Этой работой Ленин занят весну и лето двадцать первого года. Вслед за партийным съездом принят декрет о переходе к налогу и подписанное Лениным, Калининским и всеми народными комиссарами обращение к крестьянству. Затем разработан ряд уточняющих декретов и инструкций по поводу налога. Потом, когда вопросы сельского хозяйства были в основе решены, пришла пора вплотную взяться за промышленность.

Весна и лето двадцать первого года проходили под знаком отступления по всему экономическому фронту.

Отступление — вещь тяжелая. Тяжелая и опасная. Клаузевиц, чей ум так уважал Ленин, считал момент перехода армии в оборону или в отступление самым грозным и опасным моментом войны. Даже когда силы наступающего исчерпаны, ему порой легче двигаться вперед, чем останавливаться, ибо, пока он идет вперед, его поддерживают нравственные силы, свойственные преимущественно наступающему. Остановиться

¹ Гегель. Наука логики, т. IV. Первая часть. Объективная логика. Раздел второй. Учение о сущности.

ему так же трудно, как трудно остановиться лошади, везущей в гору тяжело нагруженный воз.

Если таков закон для кадровых армий, то сколь сильнее его действие для страны с многомиллионным, в значительной части разрозненным населением; страны, перенесшей ни с чем не соизмеримые страдания во имя близкой победы,— и в минуту, когда победа, казалось, была уже завоевана, вынужденной отступить, не зная даже, когда кончится это отступление и где пролегают его границы.

«Не опасно ли это отступление? — спрашивал Ленин.— Не усиливает ли оно врага?»

«Das Element des Krieges ist die Gefahr»¹. — Да, опасно. Да, усиливает. Но всякая иная стратегия не только усилит врага, но даст ему победу...»

Уча партию и народ терпению, выдержке, маневру, отходу, борясь за каждую пядь, за полпяди, за четверть пяди социалистического сектора, отступая там, где нужно было отступать, проявляя непоколебимую решительность там, где отступать было нельзя, ведя жестокую борьбу со всяческими «прожектами», не прикрашивая суровую действительность, но не падая при этом духом, Ленин спокойно и твердо отвел армию пролетариата на новые позиции, сохранив ее боевой дух и способность к наступательным действиям.

22

Мне в то время довелось слышать Ленина дважды: на собрании секретарей ячеек Московской организации — эта речь его напечатана в Собрании сочинений — и еще на одном собрании, упоминаний о котором я нигде не нашла.

Что это было за собрание, я точно не помню. Помню, что присутствовало человек полтора — двести. Помню, что основную массу присутствовавших составляла партийная молодежь, те, кого тогда нередко называли старинным русским словом молодшая часть партии. Возможно, что это было не особое собрание, а встреча Ленина с молодыми членами партии и участниками подавления Кронштадтского мятежа, устроенная после собрания секретарей ячеек Московской организации. Помню не особенно большую, тускло освещенную комнату, невысокий помост. И отчетливо, очень отчетливо помню Ленина. Помню так отчетливо потому, что впервые слышала Ленина после всего пережитого на кронштадтском льду. И потому, что после этого я слышала его еще только один раз. А также и потому, что Ленин на этом собрании не просто рассказывал о переходе к новой экономической политике, но ему пришлось убеждать многих из нас, помогая понять и осмыслить необходимость такого перехода.

Ох, как тогда было трудно! Если даже многие товарищи старшего поколения нелегко пережили этот переход — свидетельством тому прения на партийных съездах и конференциях,— то особенно трудно дался он молодым, не знавшим будней подполья с его терпеливой повседневной работой «кротов революции». Тем, для кого революция явилась в образе великолепнейшей красногвардейской атаки на все в старом мире — на бога, на черта, на дьявола!!! На дворянские особняки и банкирские конторы; на семь слонов и слоников мещанства — от первого до последнего. Кому если поэзия, так «Левый марш» или же: «И пусть пространство Лобачевского летит с знамен ночного Невского». Ежели любовь, так та, которая «и жжет, и губит». Если пушкинская годовщина, то прямые ассоциации: «Истлевают Дантесов скелет, но бароны пока еще живы. Не они ли теперь для поживы поднимают на нас пистолет?»

¹ «Стихия войны есть опасность» (нем.).

«Торговать» в наших глазах было почти равносильно тому, что воровать. Правда, случалось, что ранним утром, пока еще не развиднелось, кто-нибудь отправлялся на Сухаревку, засунув подмышку залатанную кофту или старые брюки, и возвращался оттуда с краюхой хлеба или куском сала. Но операция протекала по формуле Маркса для простого товарного производства: «Т—Т» («Товар—Товар»), а не по формуле капиталистического производства: «Т—Д» («Товар—Деньги»), и уж во всяком случае не по формуле «Д—Т—Д+д» («Деньги—Товар—Деньги+деньги», то есть плюс прибыль), то самое проклятое Д+д, которое вопило на Ильинке и Сухаревке и о котором Ленин — подумать только: Ленин! — говорил сейчас, что нам надо у него учиться — и чему же? — учиться торговать!!!

Мы видели в себе поколение, на долю которого выпала величайшая историческая задача: подорвать последние устои капиталистического строя и воздвигнуть на его обломках новый мир, мир коммунизма. И хотя мы жили и работали в самой гуще народа, порой мы плохо видели мир реальных фактов и, говоря словами Герцена, больше жили в алгебре идей с ее легкими и всеобщими формулами и выводами, чем в мастерской, где трение и температура, дурной закал и раковины в металле меняют простоту механического закона и тормозят его быстрый ход.

Теперь Ленин звал нас в этот мир фактов, в котором в качестве измерителей действуют пуды, фунты, золотники или же аршины и вершки; где у крестьянина две души: одна — собственническая, другая — трудовая; где по лабиринту жизни ведут тысячи извилистых тропинок; где на каждом шагу подстерегают опасные пороги — и, чтобы не разбиться на них, надо брать «низкие истины» каковы они есть и беспощадно изгонять «возвышающие обманы»; трезво, без иллюзий, без самообольщения учитывать действительность; готовить себя не только к победам, но и к отступлениям; не впадать в панику, уныние, неверие и «левую» истерику; приучить себя к мысли, что в великой революционной войне, которая растянется не на одно десятилетие и которая безусловно приведет нас к полной победе, неизбежны частичные и временные поражения, порой очень тяжелые; понимать, что в каждом таком поражении заложены элементы победы; не падать духом, но сохранять спокойствие, черпая в поражениях новые силы и новую уверенность в победе. Трудности необъятны. Но наша партия привыкла бороться с необъятными трудностями.

Обо всем этом и говорил нам Ленин. Говорил прямо, резко, без утайки, без поблажек, беспощадно показывая разворачивающиеся под нами пропасти и расщелины, над которыми до сих пор мы шагали, не глядя под ноги, и готовы были шагать дальше. Все в нем дышало мыслью, волей, напором. Каждое движение его было исполнено энергией и жизнью.

Терпеливо вникая в наши доводы и заблуждения, Ленин как бы разматывал нитку за ниткой в запутавшемся клубке и говорил нам о том, что нэп — это не конец революции, а переход ее с третьего на четвертый курс. Что нужно учиться торговать, но неверно думать, будто впереди нас ждет только торговля. Нет, впереди есть и будет борьба, строительство, новые подвиги. И хотя то, что нам предстоит пережить в ближайшие годы, не есть последний и решительный бой, но этот бой, если смотреть на события в историческом масштабе, а не с колокольни ближайших лет, близок. Мы должны знать и помнить, что путь к коммунизму длинен и длинен, что нам предстоят многие и долгие битвы. И именно нашему поколению и тем, что придут вслед за нами, предстоит осмыслить пережитое в наши дни и показать народам путь к свободе.

Кончая свою речь, Ленин сделал небольшую паузу, обвел собрание взглядом и мягко сказал:

— Мужайся, молодое племя!

Слова эти принадлежат поэту-шестидесятнику Василию Курочкину. Ими он заканчивает стихотворение «Тик-так! Тик-так!»:

Мы слышим в звуках всем понятных
Закон явлений мировых:
В природе нет шагов попятных,
Нет остановок никаких!
Мужайся, молодое племя...

Обычно после собраний тишина сменялась шумом голосов, все говорили зараз, яростно спорили, возбужденно переговаривались.

На этот раз было иначе. На этот раз слишком сильны были впечатления. За час-полтора мы повзрослели.

Возвращались мы молча. Говорить не хотелось. Быть может, впервые поняли мы, на какую высокую ступень мы должны подняться, чтоб выполнить долг, возложенный на наше поколение историей.

Охваченные своими мыслями, мы не сразу обратили внимание на то странное, что происходило вокруг нас: по небу, как дым, быстро неслись низкие серо-желтые тучи. Было не по времени темно и как-то смутно и тревожно-жарко.

— Наверно, горят леса,— сказал кто-то.

Но это не горели леса. Это до Москвы донеслось с востока знойное дыхание суховея.

ЧЕРНАЯ ГОДИНА

1

Уже в двадцатом году выпало мало дождей, и, говоря языком летописей, «бысть жары велицы и сухмень через все лето». Снова Россия, как это столько раз бывало в ее истории, вступала в пору засухи, неурожая и голода.

Зима двадцатого — двадцать первого года даже в северных губерниях выдалась малоснежная. С первых дней марта начались сильные пригревы. Недаром под Кронштадтом, у кромки льда Финского залива, нас обступали тревожные приметы ранней весны: все, все предвещало, что весна наступает раньше срока.

Возле Москвы к двадцатым числам марта полностью сошел снег и установилась теплая бездождная погода.

В низовых губерниях Поволжья — и з о в ы м и называли тогда Татарскую республику и Симбирскую, Самарскую, Саратовскую, Астраханскую губернии — весна пришла тоже рано, но в первое время тепла не было, дули сильные восточные ветры, а по утрам стояли густые туманы. Крестьяне поначалу медлили с севом, ожидая потепления, но, не дождавшись, в половине апреля начали сеять.

И тут-то ударила жара — небывалая, непрерывно усиливающаяся. В апреле средняя температура вместо четырех градусов была выше семнадцати, в мае вместо четырнадцати около двадцати пяти. Старики не помнили такой жары, такой суши. Из-за жары и бездождья крестьяне не смогли закончить весенний сев и почти не посадили картофеля.

К концу мая хлеба стали желтеть и быстро колоситься, но колос сох, как в чахотке. Жара и отсутствие дождя превратили траву в сухие былки, уныло торчащие из выжженной, растрескавшейся земли. Листья деревьев свернулись и побурели. Только горькая полынь и колючий мордвинник росли как ни в чем не бывало.

В июне жара усилилась: средняя температура месяца была такой, как в Каире. Сухость воздуха необычайная. В лесных губерниях горели

леса, пламя перебрасывалось с ветки на ветку, и с быстротою ветра весь лес превращался в пылающий костер; в степях огонь бежал по сухой траве. Горели и выгорали целые села.

Беда беду приводит. Засуха привела с собою большеголовую саранчу-кобылку с круглыми невидящими глазами. А вслед за саранчой вместе с юго-восточным ветром появились по́мохи — так называют в Поволжье пагубную для хлебов мглу и горькую росу, которая ведет к пустоколосью.

В июле жара не стала сильнее, но дождя все не было — и засуха добила, и поздние культуры. Луга сгорели дотла, редкие корявые кустики проса лежали на боку, выкинув обнаженные корешки, стелившиеся по иссохшей земле.

«В тысяча девятьсот двадцать первом году, — писали в своем коллективном письме поволжские крестьяне, — на наших полях выросло только одно растение — голод».

Едва обозначилась угроза голода в Поволжье, Ленин мобилизовал все и вся, чтоб предотвратить или хотя бы ослабить надвигающееся бедствие.

Еще в ноябре двадцатого года, получив присланные ему наркомом земледелия С. П. Середой статьи профессора Михельсона, в которых тот предсказывал грядущую засуху, он написал Середе, что считает эти статьи «архиважными», необходимо их напечатать в «Известиях» и в «Правде», сопроводив послесловием о практических выводах, которые надо из них сделать

Когда ранний приход весны подтвердил прогнозы профессора Михельсона, Ленин тотчас подумал о закупке хлеба и продовольствия за границей. «Улучшение положения рабочих и крестьян абсолютно необходимо», — телеграфировал он в Лондон ведущему там торговые переговоры Красину. Выражая опасение, что «мы зря проедем или проторгует весь наш небольшой золотой фонд», он предупреждал Красина: «За бережливость отвечаете Вы». И давал директивы: закупить семенной картофель, немедленно произвести закупку двух миллионов пудов хлеба, «не стесняясь ценой».

Примерно в это время, весной двадцать первого года, на квартире Ленина в Кремле состоялось первое организационное собрание редакции журнала «Красная новь». Кроме Ленина, на нем присутствовали Надежда Константиновна Крупская, Максим Горький и будущий редактор этого журнала Александр Константинович Воронский.

Сначала Воронский сделал доклад о задачах и планах будущего журнала. Потом разговор перешел на пачку книг, которые принес с собой Горький.

Книги эти были изданы в Берлине известным в ту пору издателем Гржебиным при содействии Советского правительства. Ленин бегло их просмотрел, одобрил книгу о паровозах. Потом взял в руки сборник древних индийских сказок, перелистал, сказал стоявшему рядом с ним Горькому:

- По-моему, это преждевременно.
- Это очень хорошие сказки, — ответил Горький.
- На это тратятся деньги, — сказал Ленин.
- Книга дешевая, денег ушло на нее немного, — возразил Горький.
- Да, — сказал Ленин. — Но за это мы платим золотой валютой.

В этом году у нас будет голод.

Вспоминая этот разговор, Воронский писал:

«Мне показалось тогда, что столкнулись две правды: один как бы говорил: «Не о хлебе едином жив будет человек», другой отвечал: «А если нет хлеба...» И после, находясь на стыке между художественным словом и практической работой Коммунистической партии и советских организаций, я неоднократно вспоминал об этих двух правдах, и всегда мне казалось, что вторая правда, правда Владимира Ильича, сильнее первой правды».

По рассказу М. И. Калинина, в тот год сводки о ходе весны, поступавшие Советскому правительству от Наркомзема и метеорологических станций, читались, как некогда читались сводки с фронтов гражданской войны. С каждым днем эти сводки рисовали все более безотрадную картину. К июлю окончательно выяснилось, что огромная часть Советской России, и притом наиболее хлебородные губернии, поражена небывалым неурожаем и голодом.

В июле считалось, что число голодающих составляет около десяти миллионов. Однако эта страшная цифра была далека от еще более страшной действительности. Каждый месяц она разрасталась, набухала, становилась все огромнее, все страшнее. К концу года число голодающих определялось в двадцать пять миллионов, а к весне двадцать второго года — в тридцать семь миллионов.

2

Уже на исходе весны двадцать первого года хлеб во многих волостях подобрался до крошки. Народ теснился в сельсоветах, словно здесь хранились ключи от «хлябей небесных». Жгли свечи у икон «чудотворцев», служили молебны о «ниспослании влаги», поднимали иконы, устраивали крестные ходы.

Длинен скорбный перечень того, что пошло в пищу в выжженном Поволжье: колосья, солома, лебеда, колючка, желуди, корни, опилки, глина, известь, выветрившиеся кости. Все это перемальвалось или толклось в ступе и вместе с водой и добавленной «для связи» щепоткой ржаной муки вымешивалось в тесто, из которого пекли «бедовую еду» — то черные, как земля, то зеленые, как трава, горькие лепешки... У людей, которые ели эти лепешки, животы раздувались и становились багровыми.

А рядом с людьми бродила голодная скотина — с облезшей шкурой, отвислыми губами, с выступающими, как обручи на бочке, ребрами.

Пока был хоть какой-то подножный корм, скотину пытались сохранить. А потом стали забивать.

Это произошло в конце июля. С ужасом видя надвигающуюся голодную смерть, население голодных губерний, распродавая «почем зря» все, на что только нашлись покупатели, бросая то, чем никто не прельстился, целыми улицами заколачивая избы, сорвалось с насиженных мест и кинулось прочь от страшной своей судьбы. Одни вверх по Волге, другие вниз, кто на запад, кто на восток. Неизвестно куда, неизвестно к кому, лишь бы спастись, лишь бы найти кусок хлеба.

Тащились со всем скарбом — на волах, на лошадях, на верблюдах; впрягали жалких, изможденных коров, шли пешком, еле переступая распухшими ногами и отменяя пройденный путь безымянными людскими могилами и трупами павших животных.

3

В июле в Москву приехал из Лондона Леонид Борисович Красин. Главной причиной его приезда был голод в Поволжье, потребовавший полного пересмотра всех планов внешней торговли.

«Когда я пришел к Владимиру Ильичу в его кабинет,— рассказывает Красин,— я застал его в тревожном настроении, он все время поглядывал на знойное, раскаленное небо, очевидно, в ожидании, не появится ли, наконец, долгожданное дождевое облако, и много раз спрашивал меня: «А сможем ли мы закупить за границей хлеб? Пропустит ли в Россию хлеб Антанта?»»

Весь наш импортный план был опрокинут, и по возвращении в Англию пришлось в больших размерах организовать закупку хлеба и семян, разумеется, за счет золотого запаса, так как вывоза у нас в то время еще почти никакого не было. Владимир Ильич лично следил чуть ли не за каждым отходящим из-за границы пароходом и буквально бомбардировал нас письмами и записками, умоляя сделать все возможное, чтобы скорее помочь голодающим районам».

К осени двадцать первого года Советская Россия оказалась перед огромным голодным фронтом, охватившим ее полукольцом с востока и юга. Именно фронтом.

— Выражаясь военными терминами,— говорил тогда М. И. Калинин,— штурм для нападения на крестьянство и русский рабочий класс подготовлялся долголетней осадой. Еще в империалистическую войну сельское хозяйство было подточено и этим подготовлено было то бедствие, которое мы сейчас переживаем. Потом наступила гражданская война. По губерниям, которые голодают, прошли белые и красные армии. От всего этого слабость крестьянского хозяйства и его неспособность к сопротивлению стихийным бедствиям невероятно возросли.

Для организации помощи голодающим Всероссийский центральный исполнительный комитет создал Помгол — Центральную комиссию помощи голодающим, возглавляемую М. И. Калининым. Ленин заявил, что советская власть делала, делает и будет делать для помощи голодающим «все возможное и кое-что невозможное».

В начале августа М. И. Калинин выехал в Самару. Он увидел там страшную картину. «Голод в Поволжье,— телеграфировал он в Москву,— тяжелее, чем можно себе представить».

Повсюду на пристанях прямо на голой земле, в грязи, в пыли, среди остатков погасших костров целыми деревнями валялись беженцы — взрослые и дети, живые и мертвые, люди и животные. Лишь немногие еще рвались в богатую хлебом обетованную землю. Остальные уже ничего не ждали, ни на что не надеялись. Они все потеряли. У них не осталось ничего, кроме отчаяния и ключев одежды на мертвеющем теле.

4

Голод в Поволжье вновь возродил надежды тех, кто недавно потерпел поражение под Кронштадтом. Они решили использовать обрушившееся на Россию страшное бедствие в своих собственных далеко идущих политических целях.

Министр торговли Соединенных Штатов Америки Герберт Гувер, выступая от имени так называемой «Американской организации помощи» («American Relief Administration»), сокращенно именуемой «АРА»; предложил Советскому правительству хлеб при условии, что оно пойдет на политические уступки США и допустит их вмешательство во внутренние дела России. Американские бизнесмены, которые, чтобы сохранить высокие цены на зерно, жгли пшеницу в паровозных топках, оттягивали и затягивали посылку хлеба умирающим от голода и вели гнусные торжки и переторжки, лишь бы выгоднее сбыть продовольствие, которое они решили отправить в Россию.

Во французских правительственных сферах разрабатывались планы создания специального эмиссионного банка, банкноты которого должны были заменить русскую денежную валюту. Председателем созданной по решению верховного совета Антанты Международной комиссии помощи России по борьбе с голодом был назначен один из крупнейших организаторов контрреволюционных заговоров и иностранной интервенции в России, бывший французский посол Жорж Нуланс.

«Тут игра архисложная идет,— писал в те дни Ленин.— Подлость Америки, Гувера и Совета Лиги наций сугубая».

Оживились и русские антисоветские круги. Группа «общественных деятелей», состоявшая из кадетов и околокадетов, заверяя, что она действует «только во имя человеколюбия без каких бы то ни было политических расчетов», создала с разрешения Советского правительства Комитет помощи голодающим. История с ее любовью к грубоватой, полной глубокого смысла шутке сделала руководителями этого комитета Прокоповича, Кускову, Кишкина, будто нарочно подобрав их так, чтобы начальные слоги их фамилий образовали выразительное слово «Прокукиш».

В особняке на Собачьей площадке, где обосновался этот самый «Прокукиш», меньше всего думали о помощи голодающим. Там были озабочены другим — установлением связей с заграницей, превращением «Прокукиша» в ядро будущего правительства, которое займет место Советского.

Заграничная печать была уверена в близком падении большевиков. По страницам эмигрантских газет кочевало стихотворение Зинаиды Гиппиус: «Не нужно много шума и криков ликований; веревку уготовив, повесим их в молчании». Белогвардейцы считали дело решенным: «А царь все-таки будет!» Однако некоторые опасались, что одного голода не хватит, и возносили молитвы: «О, спаси нас, великая, единственная русская вошь!»

Когда вопрос о помощи голодающим был поставлен на заседании Лиги наций, с места поднялся сербский делегат Сполайкович.

— Я предпочел бы,— сказал он,— чтоб вымер весь русский народ, чем рискнул бы оказать какую бы то ни было поддержку Советскому правительству...

Но были и иные люди. Такие, как Фритьоф Хансен.

Осенью двадцать первого года он совершил поездку по России и посетил голодные места. Побывал в детских приемниках и в детских домах, на питательных пунктах и в детских больницах. Заходил в деревенские избы, пробовал то, что служило единственной пищей крестьян, видел целые семьи в агонии голода, а рядом с умирающими — уже застывших мертвецов. И когда он приехал в большое самарское волостное село Дубовый Омет и увидел, как со всех сторон к нему не идут, а ползут по земле матери с детьми и припадают к его ногам, моля о помощи, этот человек, который столько раз без страха глядел в глаза смерти, заплакал.

Обо всем виденном в Поволжье он рассказал заседанию Лиги наций. Великий полярный исследователь выступал как председатель Международного комитета помощи детям.

«Во имя человечества, во имя всего, что для вас свято, я апеллирую к вам, имеющим жен и детей,— взывал Хансен.— Я хочу, чтобы вы поняли, что значит видеть миллионы гибнущих женщин и детей. С этого места я обращаюсь к правительствам, к народам, ко всему миру и зову на помощь. И я спрашиваю: неужели на этом собрании найдется человек, который посмел бы сказать, что пусть лучше погибнут двадцать

миллионов человек, чем оказать помощь Советскому правительству? Я требую от этого собрания ответа на мой вопрос...»

Лига наций постановила: в отпуске средств отказать... Во всем мире создавались организации помощи голодающим Поволжья. В них входили лучшие умы и сердца человечества: Альберт Эйнштейн, Анатолий Франс, Бернард Шоу, Линкольн Стеффенс. Вступил в действие великий закон пролетарской солидарности: по фабрикам и заводам, рабочим поселкам и рабочим районам проводились сборы продуктов, вещей, денег для отправки голодающим.

Для помощи голодающим был создан Международный рабочий комитет (Межрабпомгол), который отправил в Советскую Россию около двух миллионов долларов и тридцать тысяч тонн продовольствия и медикаментов. Не было ни одной страны, рабочие которой не внесли бы лепты в это святое дело.

А приговоренный к смерти югославский коммунист Алия-Алияш (возможно, что тогдашние газеты не вполне точно назвали его имя) перед казнью передал своему адвокату завещание, в котором просил, чтоб после того, как он будет казнен, оставшаяся после него одежда и книги были проданы и полученные от продажи деньги отправлены русским голодающим детям.

5

Там, где дело шло о спасении умирающих с голоду, Ленин готов был лавировать, идти на уступки, вести переговоры с самим дьяволом, лишь бы получить хоть вагон, хоть полвагона хлеба.

Когда представители «АРА» стали затягивать посылку продовольствия в Поволжье под предлогом, что они не имеют, мол, достаточных гарантий, что Советское правительство оплатит это продовольствие, Ленин написал Чичерину и Каменеву:

«Ввиду того, что подлые американские торгаши хотят создать видимость того, будто мы способны кого-нибудь надуть, предлагаю формально предложить им тотчас по телеграфу от имени правительства за подписью Каменева и Чичерина (а если надо, и моей и Калинина) следующее:

мы депонируем золотом в Нью-Йоркском банке сумму, составляющую 120% того, что они в течение месяца дают на миллион голодных детей и больных...

Этим предложением мы утрем нос торгашам и впоследствии осраим их перед всем миром».

Ему был дорог каждый кусок хлеба, которым можно помочь голодающим. Поэтому когда «АРА» внесла проект соглашения об организации продовольственных посылок в Россию от американских граждан, и Сталин, ссылаясь на то, что, по его мнению, тут не благотворительность, а торговля, предложил взимать плату за провоз посылок от границы и за пользование складами, Ленин, возражая Сталину, написал:

«Если даже цель — торговля, то мы должны сделать этот опыт, ибо нам дают чистую прибыль голодающим... Посему брать плату за провоз и за склады не следует».

Узнав же, что в Англии некоторые частные лица хотят отправлять в Россию посылки с продовольствием, он телеграфировал Красину: «...мы должны, разумеется, облегчить и поощрить получение подобных посылок».

И даже когда французские ростовщики заявили, что они отпустят продовольствие для голодающих лишь при условии, что Советское правительство признает царские долги, Ленин предложил вступить в пере-

говору об этих проклятых долгах, хотя даже многие буржуазные газеты признавали чудовищность требования французских шейлоков.

Но уступки уступкам рознь. Одно дело отдать бандиту кошелек, другое — позволить ему хозяйничать в твоём доме.

Поэтому, когда заправила «Прокукиша» отказались отправиться в охваченные голодом губернии и потребовали, чтобы их немедленно пустили за границу, Советское правительство распустило этот комитет. А когда Нуланс направил Советскому правительству ноту, требуя, чтобы в России была допущена «комиссия экспертов» для расследования положения на месте и контроля над распределением продуктов, Ленин заявил, что Нуланс «нагл до безобразия», и предложил не впускать в Советскую Россию эту «комиссию шпииков под названием комиссии экспертов».

Были товарищи, считавшие линию Ленина излишне резкой. Один из них послал Ленину письмо, в котором высказывал сомнения в целесообразности роспуска кусковского комитета и ареста его членов, считая, что это может отрицательно отразиться на отношениях с Францией.

Отвечая ему, Ленин писал:

«Прочел Ваше письмо. Вы ошибаетесь. Наша политика не сорвет сношения (торговые) с Францией, а ускорит их.

Мы уже выиграли, отбив Францию от планов интервенции, и выиграем еще больше.

Пути к торговым переговорам с Францией у нас есть.

С коммунистическим приветом
Ленин».

Как-то — было это, вероятно, в начале октября,— проходя по Кремлю, я увидела Ленина. Он шел, глубоко задумавшись. Сколько лет прошло, но и сейчас я помню его бледное, измученное лицо...

6

Надо было спасти население голодных районов от смерти, от истощения и эпидемий; надо было доставить ему семена для осеннего посева и этим, как писала «Правда», «отодвинуть людей из области смерти на границу смерти»; надо было остановить безумное, слепое бегство, вести переселение в организованное русло, успокоить людей, положить конец слухам и панике.

«Дорогие товарищи! — писал Центральный Комитет партии, обращаясь ко всем членам партии, ко всем партпйным организациям.— Громадное стихийное бедствие обрушилось на Советскую Россию... Оно имеет такие огромные размеры, что справиться с ним можно только при единодушном напряжении всех организованных сил Советской Республики.

Коммунисты всюду должны взять на себя почин в этом деле».

Что же должны делать коммунисты, чтобы по-настоящему организовать дело помощи?

Не сеять иллюзий о возможности массового переселения, а создавать уверенность, что путем крепчайшей организации, общими усилиями можно будет преодолеть бедствие, оставаясь на местах, которые оно постигло.

Вовлекать крестьянское и рабочее население в дело помощи голодающим. Пробуждать общественную инициативу, привлекать всех, кто своим опытом и энергией может помочь голодающим.

Пробудить у людей волю к жизни. Вести всю работу помощи так, чтобы еще больше сблизиться с народными массами, еще сильнее укрепить в них сознание, что только советская власть может вывести их из тяжелого положения.

Мы слишком мало знаем об одной из самых героических страниц в истории нашей партии и народа: о поистине потрясающей борьбе за спасение миллионов умирающих с голоду. О продовольственных рабочих, собиравших продналог зачастую под бандитскими пулями. О рабочих, давно уже забывших, что это такое быть сытым, но отчислявших для голодных часть своего скудного пайка. О самоотверженнейших усилиях, ценой которых к началу сентября двадцать первого года было собрано и отправлено в Поволжье около девяти миллионов пудов семенного зерна. И о людях, которые работали в голодающих районах, рискуя каждый день, каждый час, каждую минуту своей жизнью.

Мне выпало на долю горе и счастье узнать этих людей, когда в тот страшный год я побывала в Поволжье.

Было это в самой середине зимы — в декабре, в январе. Как-то, придя домой, я нашла письмо в самодельном конверте из оберточной бумаги. Письмо было от пожилого красноармейца Флегонтыча, который был у меня ездовым, когда я была санитаркой под Кронштадтом. По окончании гражданской войны он демобилизовался и уехал домой, в Самарскую губернию. Оттуда прислал мне несколько писем, по-крестьянски заполненных поклонами. Лишь раз-другой промелькнули в них короткие фразы, что дождя нет и хлеба повыжгло.

Когда начался голод, мы с мамой отправили ему несколько посылок. Он за них благодарил, но письма его совсем переменились: стали короткими, поклоны исчезли. И вдруг пришло большое письмо, написанное, по-видимому, не в один присест. До ужаса просто он написал, что семья его «ушла в смертную дорогу», его час тоже близок, но, как коммунист, он не позволяет себе слечь, а работает и будет работать до последнего часа, письмо же это пишет предсмертное, прощальное!

Я тотчас решила к нему поехать. Отец устроил меня в штабной вагон, который шел в Ташкент и должен был потом вернуться в Москву.

Всю дорогу я со страхом думала о том, что ждет меня впереди. В Самару мы прибыли днем. Незадолго до того выпал снег. Легкой белой пеленой лежал он на земле, на крышах, на страшных черных штабелях, из которых торчали желтые голые ноги.

Не помню уж, как я добралась до города Пугачева, а оттуда до деревни Таволожка, где жил Флегонтыч. Помню лишь, как шла по беззвучной деревне, как увидела человека, который брел посередине улицы, тяжело переступая распухшими, негнушимися ногами, пошатываясь, словно колос, раскачиваемый ветром; но оставалось в его шатающемся теле что-то от воинской выправки — быть может, прямизна спины, быть может, руки, слабо взмахивавшие в такт шагу.

Он подходил все ближе и ближе. Теперь я уже хорошо видела его будто налитое водой желто-серое лицо, сглаженное сплошным отеком в тугую, плоскую маску. Но даже когда он вплотную подошел ко мне, даже когда окликнул меня сиплым, сдавленным голосом, я его не узнала — до того он переменился, до того стал непохож на себя.

А потом была долгая-долгая неделя — быть может, самая страшная в моей жизни неделя, которую я провела в Таволожке, Пугачеве и Самаре, слушая ровный, однотонный рассказ о лете, об осени и зиме; как ели сначала траву, потом суррогаты, а теперь и суррогатов нет, стали есть падаль; и слова, что голодающих в селе, почитай, нет, а

остались только умершие и умирающие; как сперва крестьяне бросались к Совету, требовали хлеба, кричали, а потом, увидев, что в Совете хлеба нет и что, как выразился Флегонтыч, «сама власть» тоже перешла на лист и молотые кости, «утишились». Я узнала веющее смертью слово «лег», которое означает, что человек слег и больше не встанет. И дикий крик помешавшейся с голоду женщины: «Глядите! Глядите! Пирогидут! На ножках! В сапожках топают! Идите сюда, идите, пирожки милые!» И восковые уже, не бледные, а белые детские лица с глазами, в которых, как у кукол, нет взгляда.

А потом Пугачев и Самара. «Музей голода», где выставлена коллекция суррогатов хлеба — серые, бурые, красные, желтые комки с этикетками: «глина», «земля», «навоз», «стружка», «щепки»; даже с химическим анализом, в котором можно найти все, кроме белков, жиров и углеводов; фотографии похожих на тени людей, порой с надписью: «трупоед», «людоед». Пройдем, не оглядываясь, мимо этих фотографий. Большинство тех, что дошли до трупоедства и людоедства, сами чуть ли не на следующий день погибали голодной смертью.

И дети, дети, дети — подкинутые, подброшенные, редко плачущие, чаще равнодушные, как маленькие покойники, вынутые из гроба. В приемнике на пятьдесят мест их около пятисот. Они лежат вповалку на голом полу, оборваны до последней нитки, всюду светится голое тело, всех бьет частая дрожь.

А среди всего этого ужаса люди, о подвиге которых невозможно рассказать, для этого в человеческом языке нет слов.

Кто они, эти люди? Врачи, сестры, няни. Работники детских приемников и детских домов.

Флегонтыч, раздававший все, что мы с мамой ему посылали, и то, что я ему привезла: «Все равно я помру, а они, может, дотянут». Отказался, сколько я его ни уговаривала, уехать в Москву: «Ведь я ж один на селе живой коммунист остался». Не уехал — и умер.

Доктор Фрильоф Нансен, который, невзирая на клевету буржуазной печати, что он «продался» большевикам, просил, требовал, добивался средств, покупал продовольствие, отправлял его голодающим детям Поволжья, не жалея для этого ни сил, ни времени, ни здоровья, и которого трудящиеся Москвы избрали почетным членом Московского Совета.

Помощник Нансена доктор Феррер, скончавшийся в январе двадцать второго года от сыпного тифа.

Коммунист Иоганн Юльевич Пальмер, погибший при объезде питательных пунктов.

Работники питательных пунктов, в том числе немало работников «АРА», проявивших истинное человеколюбие и преданность людям.

Два человека, имена которых знала вся Самара: один — Бергер, бывший австрийский военнопленный, коммунист, оставшийся в Советской России, худенький человек с огромными глазами, какие бывают у потомков десятков поколений, проведших всю жизнь в еврейских гетто. На протяжении многих месяцев он не уходил ни днем, ни ночью со своего поста в губернской комиссии помощи голодающим.

Второй человек — быстрый, стремительный, переносящийся из конца в конец губернии, чтобы ускорить, подтолкнуть, помочь, спасти. В Самаре вольно или невольно переименовывали его имя, называя его Антон Осейнный или Антон Весенний. Это был Владимир Александрович Антонов-Овсеенко.

Желая показать, что за человек он был, обычно говорят: «Он брал Зимний». Правильнее было бы говорить иначе: «Он брал Зимний и возглавлял борьбу с голодом в Самаре».

7

Весной двадцать второго года, выступая при открытии Одиннадцатого съезда партии, Владимир Ильич сказал:

— Бедствия, которые обрушились на нас в этом году, были едва ли еще не более тяжелыми, чем в предыдущие годы.

Точно все последствия войны империалистической и той войны, которую нам навязывали капиталисты, точно все они собрались вместе и обрушились на нас голодом и самым отчаянным разорением...

Но не только собравшимся здесь товарищам — он никому не сказал, сколько ночей провел он без сна, думая о голодающем Поволжье, как мучили его головные боли, как трудно было ему пережить всю эту зиму. Мы знаем об этом только по прорывавшимся у него порой коротким фразам, в которых он — такой сдержанный и замкнутый во всем, что касалось лично его, — говорил о своей болезни.

Не случайно на исходе зимы этого года у Владимира Ильича произошел первый тяжелый приступ, приведший его потом к смерти.

ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

1

Из всех дошедших до нас ленинских фотографий больше всего я люблю те, что сделаны во время Третьего конгресса Коминтерна: мы видим Ленина в минуты, когда он сидит на ступеньках лестницы, ведущей в президиум, держит карандаш, что-то пишет; иногда, подняв голову, смотрит на оратора, и по лицу его, повороту плеч, выражению чуть прищуренных глаз чувствуешь внимание, с которым он слушает.

Конгресс этот собрался летом двадцать первого года. Задачей его было определить стратегию и тактику коммунистических партий в новой мировой обстановке, когда стало ясно, что революционная волна пошла на убыль и вместо прямого штурма крепостей противника коммунистическим партиям предстоит затяжная осада и повседневные бои, победы в которых можно добиться, лишь завоевав на свою сторону большинство рабочего класса.

Основной спор на конгрессе шел с «левыми» — итальянскими, германскими, австрийскими, французскими, прочими. «Левые» проповедовали «теорию наступательной борьбы». Тактику, не направленную на немедленную схватку с буржуазией, считали оппортунизмом. Держались «левые» вызывающе, смотрели на себя как на единственных носителей идей рабочего класса.

«Нам, русским, эти левые фразы уже до тошноты надоели», — отвечал на это Ленин. Показывал «левым» авантюристичность их теории и тактики. Напомнил французскую пословицу: «Il faut reculer pour mieux sauter» («Нужно отступить, чтоб лучше прыгнуть»), говорил: «Чем правее сейчас, тем вернее завтра». Когда придет это «завтра»? «Ueber Nacht» möglich, aber auch 2-3 Jahre möglich». — «Может быть, на исходе этой ночи», но, может быть, также и через два-три года». Рекомендовал не бояться по возвращении из Москвы сказать своим партиям: «Мы все вернулись из Москвы... осторожнее, умнее, благоразумнее, «правее». Это стратегически правильно».

Конгресс абсолютным большинством одобрил ленинские предложения и высказался за тактику терпеливого завоевания большинства рабочего класса.

Это было 5 июля. Прервав ход прений, председательствующий зво-

ном колокольчика призвал собравшихся к вниманию и объявил, что в этот день товарищу Кларе Цеткин исполняется шестьдесят четыре года.

— Для Коммунистического Интернационала,— сказал он,— Клара Цеткин — программа.

Ответом была бурная овация. Таким уважением и любовью, как она, в международном коммунистическом движении не пользовался никто, кроме Ленина.

Ко всему, что было сделано ею за сорок с лишним лет революционных битв, недавно добавилась новая блистательная страница.

В конце двадцатого года в Туре собрался съезд французской социалистической партии. Большинство составляли сторонники присоединения к Коммунистическому Интернационалу. Известно было, что в его работе должна принять участие Клара Цеткин. Об этом узнала французская полиция. Министр внутренних дел запретил Кларе въезд во Францию.

Каково же было всеобщее изумление, когда Клара появилась на трибуне съезда!

— Друзья мои! — начала она свою речь, встреченную аплодисментами.— Хотя мне отказали в паспорте, я решилась прийти к вам, чтобы своим примером старого борца пригласить вас презирать те преграды, когорые ставит на нашем пути буржуазное государство...

Закончила она пламенным призывом:

— Да здравствует революция в России! Да здравствует пролетарская революция!

Едва она провозгласила эти слова, погас свет — и Клара исчезла так же таинственно, как явилась.

Ее появление, ее речь потрясли съезд. Но потрясли они и французскую полицию, и правящие круги Франции. Как она смогла приехать? Ведь были приняты все меры предосторожности! Пробралась ли она на автомобиле? Или на пароходе? Быть может, на аэроплане? Переодетой? Загримированной? По подложному паспорту? В мужской одежде?

Клара, весело посмеиваясь, разослала по газетам письмо, в котором заявила, что она не намерена помогать французской полиции в поисках разгадки, но сообщает, что она не маскировалась, не обзаводилась фальшивыми бумагами. «Пусть противники сочиняют роман о моем приезде во Францию, я же ставлю себе реальные задачи».

Монархист Вала потребовал от министра внутренних дел объяснений. Министр что-то лепетал, на правых скамьях шикали и свистели.

Тогда слово взял коммунист Марсель Кашен.

— Я преклоняюсь перед этой женщиной,— сказал он.

— Перед Лениным! — закричали справа.

— Да, и перед Лениным.— ответил Кашен. И продолжал, не скрывая иронии:— Я хочу оказать министру внутренних дел поддержку и заверяю палату депутатов, что как господин министр, так и его подчиненные сделали все, чтобы помешать въезду Клары Цеткин во Францию. Если им это не удалось, не их вина. И я пользуюсь случаем, чтоб еще раз выразить восхищение поступком старой женщины, доказавшей, что, когда душа полна горячей любви к человечеству, нет препятствий, которые невозможно преодолеть!

И вот сейчас в Москве бледная, растроганная, снежно-седая Клара стояла перед приветствующими ее товарищами по революционной борьбе.

— У меня есть только одно желание.— говорила она,— желание, идущее из глубины сердца: работать и бороться, чтоб до того, как я сойду в могилу, увидеть революцию в Германии. Венцом моей работы, моей

борьбы может быть только пролетарская революция, только победа революционного пролетариата.

Затем слово для доклада о тактике Российской Коммунистической партии было предоставлено Ленину. Выступая перед представителями революционного пролетариата всего мира, он объяснял, как русские коммунисты приспособляют свою тактику к зигзагообразной линии истории, почему они отступили, почему не только можно, но и необходимо «торговать и революцию делать».

Выступление Ленина на конгрессе напечатано в Собрании его сочинений. Но это лишь стенограмма. Клара Цеткин, сама слышавшая Ленина, вспоминая эту речь, пишет:

«Первая волна мировой революции спала, вторая же еще не поднялась,— говорил Ленин.— Было бы опасно, если бы мы на этот счет делали себе иллюзии. Мы не царь Ксеркс, который велел высечь море цепями. Но разве констатировать факты — значит оставаться бездеятельным, то есть отказаться от борьбы? Ничуть. Учитесь, учитесь, учитесь! Действовать, действовать, действовать!»

Существует карандашный портрет Ленина, сделанный художником Леонидом Пастернаком во время Третьего конгресса. быть может, в ту минуту, когда он произносил слова, запечатленные Кларой. Ленин стоит на трибуне. Глаза его чуть прикрыты. Тело устремлено вперед. Весь он — сила, напор, воля к борьбе.

Среди присутствующих в зале была Александра Михайловна Коллонтай.

Когда Десятый съезд партии признал, что пропаганда идей «рабочей оппозиции» несовместима с принадлежностью к коммунистической партии, лидеры «рабочей оппозиции» заявили, что они опротестуют это решение перед лицом международного пролетариата. Сейчас Коллонтай по поручению своих соратников должна была выступить с этим протестом перед конгрессом Коминтерна.

«Я стояла и мучилась,— записывала в тот же день А. М. Коллонтай в своем дневнике.— Смолчать — не есть ли это просто трусость!»

Она подсела к Владимиру Ильичу.

— Владимир Ильич,— сказала она.— Я хочу нарушить партийную дисциплину и взять слово.

Ленин резко к ней повернулся.

— Нарушить партийную дисциплину? И вы на это спрашиваете моего благословения? Это делают, но об этом заранее не говорят.

— Ловлю вас на слове, Владимир Ильич,— попыталась свести дело к шутке Коллонтай.— Не спрашиваю и записываюсь...

На глазах у Ленина она вырвала из блокнота листок бумаги и написала: «Прошу слова. Александра Коллонтай».

Он попытался удержать ее, как не раз уже пытался удерживать участников «рабочей оппозиции». Слишком хорошо он знал, что если они не остановятся, то покатаются по наклонной плоскости ожесточения, остановиться на которой будет уже невозможно.

— Не надо, Александра Михайловна! Честное слово, не надо.— сказал он.— Поезжайте лучше, посмотрите, что мы делаем, как разворачиваем в Кашире. И все ваши сомнения отпадут.

Но Коллонтай не вняла его совету.

«...Выступления закончились,— писала она потом в своем дневнике.— Я иду через зал к выходу. Никто меня не замечает. Я знала, что это будет. Но это больно. Очень больно... На душе у меня темно и тяжело. Ничего нет страшнее, больнее, чем разлад с партией. И зачем я выступила?»

Конгресс в своем решении заявил, что он с восхищением взирает на борьбу российского пролетариата и единодушно одобряет политику Российской Коммунистической партии, которая с самого начала и во всяком положении правильно усматривала грозящие опасности и всегда находила средства предотвратить их, оставаясь верной принципам революционного марксизма.

2

Перенесемся снова в холодную, голодную зиму двадцать первого года. Москва. Кремль. Длинный зал заседаний Совета Народных Комиссаров, кажущийся еще более длинным потому, что во всю длину его стоит длинный-длинный стол. Заседание должно начаться. Часы бьют шесть ударов. Растворяется дверь, входит Ленин.

Он приходит минута в минуту. Садится в деревянное кресло с соломенным сиденьем. Открывает заседание.

Быстро течет река докладов. По выражению А. В. Луначарского, кажется, что самое время сделалось более плотным — так много фактов, мыслей, дел вмещается в каждое мгновение.

Ленин внимательно следит за ходом заседания, записывает. Он то весел, шутит, смеется. То слушает с гневной молнией в глазах, негодует, вступает в доказательный спор.

Когда вопрос становится ясен, предлагает прекратить прения. Если кто-нибудь внес целесообразное решение, быстро его схватывает и говорит: «Ну, диктуйте, это у вас хорошо сказанулось».

Сам он говорит сжато, короткими фразами. Его меткие, емкие слова обладают особой силой убеждения. А. З. Гольцману запомнилось, какое сильное впечатление произвело на него выражение «безрукие люди», которое употребил Ленин, возмущаясь бездеятельностью профсоюзных работников в вопросе, касавшемся нужд рабочих-торфяников. И другой случай, который произошел при обсуждении порядка натурального премирования рабочих, перевыполнивших нормы. Чтоб премия воспринималась не как простая добавка к скудному пайку, но человек чувствовал бы, что к ней надо подтянуться, Ленин нашел выразительную формулу: «Нужно, чтобы премия висела высоко».

3

Несколько лет спустя после смерти Ленина Яков Аркадьевич Яковлев, который на протяжении ряда лет работал в непосредственной близости к Владимиру Ильичу, задумался над вопросом: почему, когда читаешь и перечитываешь Ленина и читаешь как будто бы давно знакомые слова, всегда открываешь бесконечно много нового? Ведь большая часть того, что писал и говорил Владимир Ильич, посвящена вопросам, давно отошедшим в область истории и потерявшим для нынешнего дня свое прежнее значение. И все же каждое слово Ленина живет полноценной жизнью, каждая мысль его свежа и современна, будто в первый раз прочитана, будто только что высказана, будто отвечает на вопросы сегодняшнего дня.

Так было пять лет спустя после смерти Ленина. Так остается и поныне, после того миновали еще четыре десятилетия.

Бесконечно далеко ушло от нас и кажется даже неправдоподобным время, когда главным видом топлива в нашей стране были дрова, и Ленин, взвешивая хозяйственные возможности ближайшего будущего, говорил: «Нужно поднятие промышленности, а для этого нужно топливо... нужно рассчитывать на дрова, а рассчитывать на дрова — значит рассчитывать на крестьянина и его лошадь».

Есть ли у нас сегодня хотя бы одно промышленное предприятие, которое работает на дровах? Кто помнит топливные «двухнедельники» и «трехнедельники»? Кто знает про такое учреждение — Главлеском, ведавшее заготовкой и подвозом дров?

Но возьмите письмо Ленина к товарищам, мобилизованным на топливный трехнедельник. Он просит их, чтобы они обратили особое внимание на проверку отчетности по заготовке и вывозу дров, ибо, наблюдая снизу, на месте, тщательно изучив дело, они смогут помочь Совету Труда и Оборона, который видит, что дело стоит плохо, но не знает, как его улучшить.

Давно забыты электроплуги Фаулера, интересовавшие Ленина. Техническая мысль пошла по линии иных решений. Но разве не прежней силой и убедительностью звучат слова Ленина о волоките, сопровождавшей изготовление этих электроплугов: «...с точки зрения принципа необходимо такие дела не оставлять в пределах бюрократических учреждений, а выносить на публичный суд, не столько ради строгого наказания (может быть, достаточно будет выговора), но ради публичной огласки и разрушения всеобщего убеждения в ненаказуемости виновных».

Так узкие, частные вопросы превращаются в общие и принципиальные.

Анна Ильинична Елизарова спрашивает Ленина, как ей быть: она не работала со своей заместительницей. Ленин отвечает:

«Основной принцип управления, по духу всех решений РКП и центральных советских учреждений,— определенное лицо целиком отвечает за ведение определенной работы».

Ленин пишет управляющему делами Совнаркома Николаю Петровичу Горбунову свои соображения по поводу работы Чрезвычайной комиссии по экспорту:

«По каждому «делу» надо от времени до времени... производить проверку реального выполнения. Это самое важное и самое необходимое».

У замнаркомзема Н. Осинского сложились нездоровые отношения с коллегией наркомата.

«...чтобы вести такой наркомат, как Наркомзем, в таких дьявольски трудных условиях,— пишет ему Ленин,— надо не видеть «интригу» или «противовес» в инакомыслящих или инакоподходящих к делу, а ценить самостоятельных людей».

Евгению Варге поручено организовать в Берлине Информационное бюро для сбора материалов о современном империализме и международном рабочем движении. Варга обратился к Ленину с вопросом, для кого должен собираться этот материал.

«Я считаю постановку вопроса (информировать И К К И¹ или рабочую прессу или обоих?) неправильной,— отвечает Ленин.— Нам нужна полная и правдивая информация. А правда не должна зависеть от того, кому она должна служить».

4

Не следует представлять себе дело так, будто все проходило без трений и шероховатостей, будто Ленин никогда не оставался в меньшинстве, что слово его всегда оказывалось сразу и абсолютно решающим и будто бы ЦК и Ленин представляли собой одно и то же.

«Вы ошибаетесь, повторяя (неоднократно), что «Цека, это я»,— указывал Ленин в письме к Иоффе.— Это можно писать только в состоянии большого нервного раздражения и переутомления. Старый Цека

¹ Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала.

(1919—1920) побил меня по одному из гигантски важных вопросов, что вы знаете из дискуссии¹. По вопросам организационным и персональным несть числа случаям, когда я бывал в меньшинстве. Вы сами видели примеры тому много раз, когда были членом ЦК.

Зачем же так нервничать, что писать совершенно невозможную, совершенно невозможную фразу, будто Цека, это я...»

Нет, ЦК это не был Ленин. Ни ЦК, ни Совнарком, ни Совет Труда и Обороны, все это были органы партии и советской власти. В них работали люди, имевшие свои достоинства и недостатки, свои характеры, порой весьма норовистые, свои заблуждения; люди, которые глубочайшим образом уважали Ленина, но вели при этом самостоятельную работу, искали самостоятельных решений, нередко вступали с Лениным в спор. Помимо своих отношений с Лениным, они находились во взаимных отношениях между собой — дурных, хороших, всяких. Эти отношения не всегда были чисто личными, они определялись деловой и политической борьбой или же согласием. «Новый Цека только вчера конституировался и «вработается» не сразу», — писал, например, Ленин о ЦК, созданном на Десятом съезде партии. И сверх всей своей огромной работы Ленин должен был постоянно примирять, успокаивать, сглаживать углы в отношениях между товарищами, помогать преодолеть обиды и конфликты и найти общую почву для работы.

Порой это давалось весьма нелегко.

«Помню, как сейчас, всю картину моего спора с В. А. Аванесовым и Н. П. Брюхановым, — рассказывает Сергей Малышев, вспоминая, как Владимир Ильич редактировал проект постановления об организации передвижных хлебозакупочных и товарных пунктов. — Под давлением Аванесова Владимир Ильич переписал один пункт этого постановления. Я видел, что из-за этого пункта возникнут большие затруднения, будет стеснена инициатива, и запротестовал.

— Ну, как же вам написать? — спросил меня Владимир Ильич. — Так выйдет?..

— Нет.

— Почему?

Доказываю...

— Ну, а так выйдет?

— И так не выйдет, Владимир Ильич. Напишите так, как было.

— Надо же соблюдать интересы ведомств. — замечает мне Владимир Ильич. — Ведь они возражают. Ну, вот так, давайте напишем, как указал Брюханов.

Я говорю:

— Нет, я не ручаюсь, что из этого что-нибудь выйдет.

— Ну, вот еще слово прибавим...

Наконец я не вытерпел... Говорю:

— Да, господа, ведь ничего же не выйдет из этого...

Владимир Ильич полусутопя-полусерьезно прикрикнул на меня:

— Ну, господа, господа... Как же вам написать? Ну, ладно, вот так напишем. Хорошо?

— Теперь вот хорошо, Владимир Ильич.

— Ну вот, — господа, господа. — И, положив карандаш, сказал: — Ну, конечно... Конечно...»

Даже явная неправота по отношению к нему не вызывает со стороны Ленина грома и молний. Характерна приписка, сделанная им в

¹ Ленин, видимо, имеет в виду Пленум ЦК 7 декабря 1920 года, на котором он остался в меньшинстве и была принята резолюция, внесенная Бухаринным.

письме к начальнику Центрального Статистического Управления П. И. Попову.

«...Ваше письмо слишком полемично, — пишет он. — Я не против полемики, но ее надо выделять особо. Вы спорите против того, чего я не говорил и не думаю. Вы спорите так, будто я отрицаю пользу сделанного и т. п. Но я этого не говорил и не думаю...»

Рядом с ним люди росли. Он не подавлял работников, а помогал им становиться умнее и деловитее, достигая этого прежде всего тем, что доверял им.

Людям, которые с ним общались, всегда было с ним интересно. Даже выслушав суровый разнос, человек не обижался, ибо знал, что за этим не стоит ничего личного, мелкого, мстительного; знал, что, как только он исправит свою ошибку, Ленин о ней не помянет и во всяком случае никогда ею не попрекнет.

Весь двадцать первый и большая часть двадцать второго года были заполнены выработкой начал новой экономической политики. Когда речь шла о деревне, Ленин требовал действовать «...с величайшей, тройной осторожностью», «шаг за шагом, вершок за вершком», по правилу «семь раз примерь, один — отрежь», подходя даже к самым деловым, сугубо практическим вопросам — таким, к примеру, как работа продовольственных агентов, — с тончайшим проникновением в условия крестьянской жизни.

«Чтобы свобода была на практике похожа на свободу, — писал, например, он, — надо, чтобы взимание налога произошло быстро, чтобы взysкатель налога недолго стоял над крестьянином...»

В письме Ленину крестьяне Урусовской волости, Веневского уезда, Тульской губернии, писали, что, когда стало известно об отмене разверстки и переходе к налогу, «в деревне будто постом наступила пасха». «Иная старуха всю зиму не подходила к окну, а тут на радостях даже на крылечко вылезла».

Настроение деревни явно менялось. «Голосов против Советской власти уже не слышно, — писали крестьяне в газету «Беднота». — Все заботы только об одном: как бы улучшить свое хозяйство и, узнавши наверняка о налоговом законе, посеять побольше, чтобы быть с излишками».

Если раньше в деревне было немало крестьян, которые со столь свойственной русскому крестьянину любовью к игре словом говорили: «Я был зеленым, покамест красные не сделали меня белым», то теперь отчетливо наметилась перемена уонастроения тех, кто волей ли, неволей был втянут в контрреволюционные банды.

Вот один из них — Иван Евдокимов. В дошедшем до нас, совершенно истершемся на сгибах письме в Глуховский уездный военный комиссариат он пишет: «Препровождаю при сем винтовку и патроны, прошу вас — примите мое оружие и меня в Красную Армию, но только дайте мне такую бумагу, чтобы меня не трогали, и еще прошу вас с настоящего времени не считайте меня бандитом, так как я сознал, что ничего хорошего мы не сделаем... Я служил в Красной Армии, по несчастному случаю стал дезертиром, но бандиты заявили, что, кто пойдет в Красную Армию, того убьют... Прошу вас, напишите мне, что мне делать, и я послушаю вашего доброго совета, и еще прошу вас на недельку отпуску накрыть хату. Сознавший Советскую власть Иван Евдокимов».

Разумеется, настроение это было отнюдь не всеобщим. Не говоря о тех, кто был заведомо враждебен любому мероприятию, если только

оно исходило от советской власти, было немало «пережидающих», смотревших искоса и недоверчиво, опасавшихся, «а вдруг политика обманет», говоривших: «На посуле, что на стуле, далеко не уедешь».

Надо было убедить крестьянина, что партия признает новую экономическую политику, как то говорил Ленин на X партийной конференции в мае двадцать первого года, «установленной на долгий, рядом лет измеряемый, период времени», «всерьез и надолго».

В телеграммах, рассылаемых на места, в письмах к местным партийным организациям Ленин и Центральный Комитет ставили перед ними задачу: всколыхнуть деревенские низы, донеся до сел и деревень понимание того, что делает советская власть, чтобы восстановить крестьянское хозяйство.

Наилучший путь к этому—беспартийные крестьянские конференции и деревенские сходы. Не бояться выборов беспартийного президиума. Коммунист на сходе должен ставить вопросы практически, охватывая интересы данной деревни, села, волости, вовлекая крестьянство в обсуждение докладов. Он обязан найти с крестьянином общий язык, вызывать крестьян на вопросы и внимать не собственным резонам, а вслушиваться заботливо в то, о чем думают и что говорят крестьяне. Работу вести так, чтобы она дала приток в советскую работу свежих беспартийных сил.

Вытравить «разверсточный азарт», как называли тогда въевшуюся привычку командовать крестьянином, было нелегко.

«С мест несутся жалобы на политику земельных отделов и других органов Советской власти,— писал Ленину заместитель наркома юстиции П. А. Красиков.—...Ваше правило щадить середняка не соблюдается».

«Знаю,—отвечал Ленин.—Безобразие. Что еще придумать? «Манифест»? Или особый «декрет»? Или в суд?»

Ленин, автор глубокого исследования капиталистического развития России, по-новому вскрывшего процессы расслоения деревни, знал, как никто, русского крестьянина, видел двойственность души середняка, понимал все опасности роста кулачества в условиях нэпа, напоминал, что в переходное от капитализма к коммунизму время добиться, чтобы крестьянин сдал налог без принуждения, невозможно. И вместе с этим крестьянство, по удачному определению А. В. Луначарского, было для Ленина не только объектом политики, но и ее субъектом, родной ему частью российской революции.

Только болея душой за крестьянина, можно, как это сделал Ленин в разговоре с выходцем из вологодской деревни Д. И. Гразкиным, происходившем в тяжелое начало двадцать первого года, подробно расспрашивать, какие типы крестьянских хозяйств существуют в местах, откуда родом Гразкин, в каком положении жили крестьяне прежде, до войны, и как живут теперь. Велики ли наделы? Сколько в надел входит земли: пахотной, сенокосной, пастбищной? Много ли леса и неудобных земель? Какая почва преобладает? Какие культуры выращиваются? Каков урожай?

Узнав, что урожай «сам-пят», «сам-шест», а «сам-сём» считается хорошим, Ленин горестно воскликнул:

— Какое варварское хозяйство! Сколько отнимает труда, а результат ничтожный.— И тут же спросил:— Может ли такое хозяйство обеспечить крестьянина?

Гразкин ответил, что в их местах крестьяне живут не так хлебопашеством, как молочным хозяйством.

— А какие удои? Куда сбывалось молоко?

Выяснилось, что скупщики законтрактовывали молоко со всей деревней.

— Сколько же они платили?

— Около полтинника за пуд.

— Да это же прямой грабеж!— возмутился Ленин.— Сколько же скупщик наживал на молоке?

На это Гразкин сказал, что скупщик наживался не только на молоке. Он держал лавчонку, в которой крестьяне обязаны были втридорога брать залежалые товары за сданное молоко. Такие же порядки были установлены на лесозаготовках.

Владимир Ильич взял блокнот, начал подсчитывать, попутно задавая уточняющие вопросы. Подвел итог.

— Доходы неправдоподобно малы. Как же жили крестьяне?— И добавил:— Сколько же было около крестьянина загробасных рук, разных колупаевых и разубаевых...

Ленин знал и любил русского крестьянина, крестьянский ум, крестьянский разговор, тех крестьян, что у него бывали. Без такой любви, одной лишь голой мыслью, голой политикой, голым историческим расчетом Ленин не смог бы создать свое учение о крестьянстве как союзнике пролетариата.

Даже когда он считал, что крестьянство не право, как это было, например, в октябре 1917 года при выработке Декрета о земле, Ленин полагал долгом пролетарской революции идти не наперекор, а навстречу крестьянским чаяниям.

«Жизнь,— говорил он,— лучший учитель, а она укажет, кто прав, и пусть крестьяне с одного конца, а мы с другого конца будем разрешать этот вопрос. Жизнь заставит нас сблизиться в общем потоке революционного творчества, в выработке новых государственных форм. Мы должны следовать за жизнью, мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам».

В этой любви не было умиления, сюсюканья, слюнявого преклонения перед «расейством», невежеством, дикостью, азиатчиной.

Нет, это была любовь требовательная, любовь взыскательная. Только благодаря такой любви расслышал Ленин в метаниях и гении Льва Толстого голос крестьянской революции, стихийное чувство негодования, накопленное веками,— и в то же время слабость и наивность нашего крестьянского восстания, его желание уйти от мира, «непротивление злу», бессилие проклятий против «власти денег», против капитализма.

«Протест миллионов крестьян и их отчаяние — вот что слилось в учении Толстого».

Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич рассказывает, как он, проходя по Кремлю, встретил Ленина. Они остановились у памятника Александру II, залюбовались открывавшимся от него видом Замоскворечья.

Вдруг Ленин круто повернулся и, глядя в сторону Ивана Великого и Успенского собора, спросил:

— Толстого где предавали анафеме, когда отлучали от церкви?

— В Успенском соборе прежде всего,— сказал Бонч-Бруевич.— А потом, как полагается, во всех церквях.

— Вот тут-то бы и надо поставить ему памятник,— сказал Ленин.— Вот этого снести,— он указал на порфиноносную фигуру Александра II,— все это преобразить — и сюда Толстого, обличающего церковь, громящего царей, бичующего богатство, собственность, роскошь...

При выработке законов, отвечающих основам нэпа, чрезвычайно важно было, чтобы новые законы не напластовывались на старые, образуя «декретную чересполосицу», а представляли собой элементы действительно нового, притом стройного, ясного и единого законодательства. И, наверно, нигде это не было столь насущно, как в запутанном издревле, а после революции еще более запутавшемся крестьянском землеустройстве.

Вопрос о новом своде законов о земле в конце двадцать первого года был поставлен на рассмотрение Девятого съезда Советов, но предварительно его обсуждали на совещании беспартийных делегатов. Среди них были двое или трое рабочих, остальные же — крестьяне от сохи. Именно от сохи, от деревянной сохи, носившей почему-то прозвище Андреевна.

Мне не пришлось быть на этом совещании, но существует его стенограмма, сохранились живые и яркие воспоминания участников, несколько репортерских отчетов.

Происходило оно в Кремле. Поначалу все так шумели, так перебивали друг друга, что кто-то даже закричал:

— Товарищи, да на волостном сходе не бывает такого беспорядка!

И когда появился Калинин, попросили его взять на себя председательство.

Калинин произнес короткое слово. Сказал:

— Рабочий и крестьянин стоят друг против друга. Один говорит: «Дай хлеба!» Другой говорит: «Дай товаров!» Но каждый крестьянин знает, что прежде, чем ехать, надо кормить лошадь. Рабочему надо дать хлеб — тогда производство поднимется. Крестьянское хозяйство тоже нуждается в восстановлении. Об этом и пойдет речь на съезде...

Если за год до того крестьянских делегатов волновала разверстка, то теперь больше всего нареканий вызывала гужевая повинность. Поэтому первое слово на совещании беспартийных крестьян было представлено начальнику отдела повинностей Наркомтруда товарищу Лембергу.

— С волнением в душе от выпавшей на мою долю великой чести докладывать хозяевам земли приступил я к докладу, — писал Лемберг под свежим впечатлением только что закончившегося совещания. — Я кратко рассказал о повинностях в царское время, об усилении повинностей в годы гражданской войны, о бессистемности трудовой разверстки и круговой поруки, о том, что повинность в течение шести дней в году необходима и не обременительна.

В середине доклада Лемберга вошел Ленин. Зал сразу его узнал, зааплодировал. Старик с бородой до пояса громко сказал:

— Уж тут мы поговорим, все выложим.

Когда дошло до прений, посыпались бесконечные жалобы на действия местных властей. Деревню, мол, замучили, как Варвару-великому-ченицу; комтруды¹ безобразят, не выполняют законы центра — так что ж с того, что законы хороши?

— Разве нам жалко работать? — говорил делегат из Смоленской губернии. — Работали на царя, работали на помещика, ужели для своего государства пожалеем шесть дней в году? Лишь бы мы знали, что только это и нужно и что не вовремя от своей работы нас не оторвут.

Ленин выступал на совещании трижды: два раза при обсуждении вопроса о трудгужналоге и раз в конце прений по земельному вопросу.

¹ Комтруды и желескомы — органы, ведавшие гужевой, дровяной и прочими трудовыми повинностями.

— Мое дело здесь,— сказал он,— как я понимаю, больше слушать и записывать...

Он сидел не в президиуме, а в переднем ряду. Хмуро и сосредоточенно слушал, иногда переспрашивал. Быстро заполнял характерным, словно летящим почерком листки блокнота.

«Бумажная волокита; от нее избавиться... Железкомы тяжелы, мучают людей, не дают того, что полагается. Обманывают. В рабочую пору зря требуют работу, которую нельзя сделать иначе, как в другую пору... 100 лошадей убилося. Кто вознаградит?.. Избавиться от круговой поруки. Каждый за себя отвечает... Налог путь правильный... Буржуев уничтожать нетрудно и хорошо. Но у нас кабала: труд превратился в кабалу... Объявляют дезертиром, когда сбежит мокрый, голодный, не получивший ни одежды, ни платы. Работы в праздник заставляют делать, а соль не выдают «из-за праздника»... Укомтруд не нравится. Надо трудналог... Отменить трудповинность, чтобы был вольный труд».

Прения затягивались. М. И. Калинин внес предложение их прекратить. Собрание взбунтовалось, послышались возгласы:

— Нет уж! Добрались, так надо выложить до конца!

— Мир уполномочил, надо будет ответ держать!

— Привел господь-бог товарища Ленина увидеть, хотим все ему высказать.

Делегаты просили Ленина ответить на их вопросы.

— ...Все вопросы, которые здесь были заданы, я записываю... но без точной справки соответственного учреждения... я сейчас ответить не могу,— сказал он.— Сможем ли мы помочь и насколько помочь? Повторяю, что я сейчас ответа дать не могу... Указания на неправильности и злоупотребления железкомов я считаю, в общем, несомненно, правильными... Я все указания, которые здесь делаются, записываю и о каждом из них в соответственный наркомат или совнархоз напишу, для того чтобы можно было принять меры...

Эти меры были приняты, и несколько времени спустя после съезда трудгужналог заменен денежным обложением.

6

Не менее страстны были прения о едином земельном законодательстве, но тон и содержание их были уже иными: не жалобы на тяжелую крестьянскую долю, а раздумья, как эту долю улучшить.

Снова полились крестьянские речи. Кто говорил, что землеустройство ведется еще со времен Екатерины, но больше похоже на землерасстройство. Кто вспоминал, как при Столыпине создавались хутора и отруба, на которых устраивались кулаки, теперь же каждый имеет право получить равную долю, какую полагается на душу. Крестьянин Гусев из Тверской губернии сказал, что закон о новых формах землепользования он считает фундаментом возрождения хозяйства. Государство должно только вести агитацию за лучшие способы землепользования, а выбор его формы предоставить крестьянам. Крестьянин Фомин из Рязанской губернии говорил, что без знания ничего не делается, крестьяне рвутся работать — дайте нам дело, дайте правильную форму землепользования.

Особое внимание привлекло выступление делегата Московской губернии Головкина, седобородого старика в дубленном желтом полушубке и теплых катанках.

— Пережил я трех царей,— сказал Головкин.— И Александра-освободителя, и Александра-миротворца, и Николая-винооторговца —

и говорю, что слава богу, что этих помазанников больше нет. Пока они были, я сидел за печкой с тараканами, ни земли, ни хлеба у меня не было, а теперь гляди, где я сижу — в президиуме Всероссийского съезда. И говорю я вам: наше советское хозяйство мы наладим обязательно. Построим мы скромно, честно, чисто, только не забывайте Карла Маркса. Дело это простое: вот у человека две руки, и он обязан одной работать для государства, а другой для себя, и тогда все пойдет очень хорошо благодаря новой экономической политике. При старой разверстке я сам зарывал в землю хлеб, а теперь все держу открыто, не боюсь, так как продналог уплатил. Надо крестьянина больше удовлетворять, а он все даст своему государству. Крестьянство — это основа. Вот как в этом театре: стены — это крестьяне, крыша — рабочий, а окна и двери — интеллигенция. Подкопайте стены — рухнет все здание, сломается крыша, лопнут окна и двери. Погибнет крестьянин — все погибнет.

В своем постановлении Девятый съезд Советов поручил Наркомзему срочно пересмотреть земельное законодательство, согласовав его с основами нэпа и превратив в ясный, доступный пониманию каждого крестьянина свод законов о земле.

Выступая потом на сельских сходах, крестьяне, отзываясь о земельном кодексе, говорили:

— Правительство сплело на нашу ногу лапоть — это закон о землеустройстве — и ждет, чтоб мы посоветовали ему, как поудобнее сшить и штаны, добравшись потом и до шапки...

Единый кодекс законов о земле, которому суждено было заменить все действовавшие в этой сфере законы, был утвержден Совнаркомом в конце октября двадцать второго года на заседании, происходившем под председательством Ленина, а затем принят ВЦИК и Десятым съездом Советов.

Основную концепцию земельного закона составляло признание государства верховным собственником и распорядителем земли, а отдельных хозяйств и сельских общин — лишь пользователями государственной землей.

Частная собственность на землю отменена навсегда. Каждому трудящемуся без различия пола, национальности и вероисповедания предоставлено право на землю, если он хочет обрабатывать ее своим трудом. Право на землю бессрочно и может быть прекращено только по основаниям, указанным в законе: добровольного отказа от земли всех членов двора, выморочности двора, лишения права пользования землей по суду; занятия земли в установленном порядке для государственных надобностей.

Крестьянину предоставлялась свобода выбора форм землепользования и свобода выхода из общины во время общих переделов. Чтоб создать условия для устойчивого трудового землепользования, закон указывал, что общие переделы должны происходить не чаще трехкратного чередования севооборота, то есть девяти лет, — так, чтобы каждый землепользователь мог в течение этих лет спокойно пользоваться предоставленной ему землей.

Все это, разумеется, при условии, что крестьянин будет хозяйственно ее обрабатывать. И не утаивать пашню. И честно вносить натуральный хлебный налог. И не превратит землю в средство кабалы и эксплуатации.

«Вопрос о земле, — говорил Ленин о новом земельном кодексе на сессии ВЦИК, — вопрос об устройстве быта громадного большинства населения — крестьянского населения — для нас вопрос коренной».

Его увлекала мысль о преобразовании земли. Вследствие своей болезни он не смог ее развить и изложить на бумаге, но Н. П. Горбунов

запомнил, как Владимир Ильич несколько раз возвращался к идее обновления земли. Тогда человек, вооруженный научными знаниями, извлекает из земли максимум пользы, все более повышая ее производительность.

7

Для такого преобразования, говорил Ленин, необходимо прочно обеспечить «дальнейший переход» крестьянского хозяйства, при котором «наименее выгодное и наиболее отсталое, мелкое, обособленное крестьянское хозяйство постепенно объединялось, организовало бы общественное, крупное земледельческое хозяйство».

Только тогда миллионные массы крестьянства будут избавлены от нищеты и разорения.

Всячески поощряя объединение крестьянских хозяйств в общественные крупные хозяйства, представители советской власти не должны при этом допускать ни малейшего принуждения. «Лишь те объединения цены, — подчеркивал Ленин, — которые проведены самими крестьянами по их свободному почину и выгоды коих проверены ими на практике. Чрезмерная торопливость в этом деле вредна, ибо способна лишь усиливать предубеждения среднего крестьянина против новшеств».

8

Есть у Ленина образ, навеянный изречением первого из плеяды великих физиков прошлого: «Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!»

Это не простая перефразировка слов Архимеда. Убеждение, что малая действующая сила, будучи верно приложена, способна преодолеть несоизмеримо большую силу сопротивления, пронизывает и учение Ленина о партии и ее роли в революции, и постановку вопроса об отношениях рабочего класса и крестьянства, о значении крупной промышленности, об электрификации и многом другом.

Сегодня мысль, что крупная машинная индустрия — основа социализма, выглядит как школьная истина. Тогда Ленину приходилось ее формулировать, доказывать, отстаивать.

Искони на Россию смотрели как на страну аграрную, самое большее — аграрно-индустриальную. Да так оно и было. Достаточно вспомнить, что, по данным переписи двадцатого года, из ста двадцати миллионов населения страны лишь двадцать миллионов жило в городах, а сто миллионов — в деревне.

Многим экономистам, сидевшим в наших плановых органах, представлялось, что так всему суждено остаться и впредь. Если России и нужна промышленность, то лишь на то, чтоб обслуживать нужды деревни — ткать ситцы, выдувать бутылки, выпузыривать самовары, изготавливать гвозди, косы, серпы, плуги. Именно такую промышленность увидел в будущей России известный экономист народнического толка, совершивший в своих мечтаниях путешествие в «Страну Крестьянской Утопии».

Когда подумаешь, с чего и как мы начинали нашу крупную индустрию, прямо оторопь берет.

Вот несколько фактов, выхваченных со страниц газет того времени. В Екатеринбург (нынешний Свердловск) из-за границы (!!) прибыло три рядовых сеялки из числа сельскохозяйственных машин и орудий, закупленных для Урала Внешторгом. Событие это столь значительно, что собственный корреспондент сообщает о нем «Правде», а «Правда» печатает это сообщение.

Весь коммунальный транспорт Петрограда состоит из 4462 лошадей и 402 автомашин «на ходу» грузоподъемностью в 772 тонны. Этим хозяйством управляют четыреста (!) транспортных подотделов, каждый из которых действует сам по себе. Автогужевой инвентарь распылен: там, где есть лошади, нет сбруи; где есть сбруя, нет качек; где качки, нет дуг; где есть грузовики, нет шин.

На Мытищинском вагоностроительном заводе нет ни одной автомашины и лишь десять лошадей.

Обуховский завод выпустил за 1920 год три трактора, в 1921 году собирался выполнить программу, которую газетный корреспондент называет «грандиозной»: тридцать шесть тракторов!

Ленин лучше, чем кто бы то ни было, знает все трудности и болезни нашего хозяйства. Но уже в августе двадцать первого года он со спокойной уверенностью говорит:

«Нужда и бедствия велики.

Голод 1921 года их усилил дьявольски.

Вылезем с трудом чертовским, но вылезем. И начали уже вылезать».

Так «трудно дьявольски» было не только из-за сокращения объема производства. Дело обстояло много сложнее.

В годы военного коммунизма разорвались хозяйственные и финансовые связи предприятий. Товарные фонды превратились в случайное сборище самых разнообразных фабрикатов, полуфабрикатов и сырья — нужных и никуда не годных, — в самых фантастических пропорциях и самых парадоксальных ассортиментах. Вести хозяйство в таких условиях было все равно что топить котел, который из тысячи отверстий выпускает пар.

Хуже всего обстояло с топливом, запасы его приближались к нулю. Фабричные здания по большей части сохранились, но были совершенно запущены. Паросиловое хозяйство дошло до полного развала.

Вдобавок к материальным трудностям промышленность унаследовала от времен военного коммунизма бюрократическую систему управления. В заработной плате преобладала натуральная часть, в учете — цифирная тьма, хозяйственного расчета не существовало, хозяйственные нули числились хозяйственными единицами.

И все это — посреди половодья первых лет нэпа, в условиях общей нищеты и катастрофического падения ценности бумажных денег.

Но когда промышленность начерно подсчитала свои ресурсы, обнаружилось неожиданное обстоятельство: фабричное и заводское оборудование сохранилось сравнительно неплохо.

Сберегли его рабочие — те, что звали себя «чистыми пролетариями» и в самое тяжелое время не расползлись по деревням, не покинули свои предприятия, охраняли их, подчас не получая ни пайка, ни заработной платы. Чем они жили? Что ели их дети?

Бывало и так: на Катав-Ивановском заводе белые, уходя, пытались «раздеть» завод и увезти оборудование, упаковав его в ящики. Но рабочие вместо станков стали набивать ящики камнями, тряпьем, песком, всякой дрянью. Не одного из них белые на этом поймали. Расстреляли.

Единственный путь к тому, чтоб возродить промышленное производство и добиться развития производительных сил, Ленин видит в перестройке промышленности на началах новой экономической политики.

На протяжении весны и лета двадцать первого года он уделяет этому огромное внимание. Не раз встречается с хозяйственными и партийными работниками. Пишет проекты правительственных постановлений. Изучает предложения товарищей. Подвергает разрабатываемые до-

кументы новой и новой правке. Вносит их для обсуждения в ЦК партии, в Совнарком, в ВСНХ. Проводит совещания с профсоюзами.

Итог этой работы — ряд важнейших документов: «Наказ СТО», «Постановление о местных экономических совещаниях» и развивающие их «Основные положения о мерах к восстановлению крупной промышленности и поднятию и развитию производства».

Каковы идеи этих документов? Чего требуют они от тех, к кому обращены?

Прежде всего понять, что поворот в экономической политике — это не шаг назад, а шаг вперед, что он соответствует объективному положению страны и интересам мировой революции. Помнить, что косность и нерешительность в проведении новой политики — наши злейшие враги.

Быстро и радикально перестроить хозяйство.

Покончить с распылением сил и средств, с выбрасыванием их на ветер. В кратчайший срок отобрать жизнеспособные предприятия и отрасли промышленности, добиться их максимального производственного уплотнения, работоспособности, рационального ведения хозяйства.

Сосредоточить общегосударственные ресурсы на важнейших предприятиях и отраслях промышленности, в первую очередь обеспечив восстановление крупной промышленности — основы социализма.

Оставить на государственном снабжении только минимум наилучше оборудованных, имеющих запасы сырья и топлива фабрик, заводов, рудников, переводя их на точный хозяйственный расчет. Хилые и безнадежные предприятия снять со снабжения и либо сдать в аренду кооперативам, товариществам, частным лицам, либо законсервировать.

Расширить права государственных предприятий, предоставив им право самостоятельной заготовки сырья и топлива, а также право расходования по собственному усмотрению, под их ответственность, отпускаемых им средств по различным статьям в пределах общей сметы.

Покончить с мертвящей кззенщиной в управлении промышленностью. Избавить промышленность от пут переписки и волокиты, а равно от мелочной опеки над отдельными сторонами ее повседневной деятельности.

Объявив войну безответственности за ведение хозяйства, сделать невозможным, чтоб управляющие тем или иным заводом могли находить тысячи отговорок для оправдания своего бездействия. Возложить на них всю полноту ответственности за правильное ведение дела.

Предельно расширить инициативу мест. Довести до наибольшей степени простоту и ясность управления. Приспособить это управление к тому, чтобы как можно быстрее возродить крупную государственную промышленность.

Разумно продуманной системой заработной платы и снабжения добиться повышения интенсивности и производительности труда, а также самоорганизации пролетариата вокруг ведущих предприятий государственной промышленности.

Как великолепно найдено и сформулировано это понятие — с а м о мобилизация пролетариата!

Именно самоорганизация! Не полумилитаризованные формы труда, задуманные Троцким в его плане создания «трудоармий», не стихийный «наем рабсилы», не приказ, не указ, не прикрепление, а глубокий процесс с а м о м о б и л и з а ц и и рабочего класса вокруг заводов, где создана обстановка, при которой завод становится для рабочего его домом, его жизнью, его счастьем!

Товарищи, участвовавшие в разработке документов о перестройке промышленности на новый лад, отмечают увлеченность, с которой работал над ними Владимир Ильич. «Он звонил мне по нескольку раз в день, а то и среди ночи,— рассказывал В. П. Милютин, который был членом комиссии по разработке «Наказа».— Спрашивал: «А что, ежели нам сделать так? А если повернуть вот этак?»

«В обсуждении проекта «Наказа» принимали участие работники с мест,— вспоминает Г. В. Цыперович.— По существу возражений ни у кого не было, но зато много спорили о том, можно ли при отсутствии необходимых средств «на местах» и при слабости плановых аппаратов справиться с изучением экономической жизни с такой обстоятельностью, какую требовал проект «Наказа». Владимир Ильич заметно волновался, так как придавал «Наказу» большое значение, уговаривал «Наказ» не сокращать. Когда голосовали по пунктам и разделам, стремительно выбрасывал руку вверх, словно боясь, что миг промедления может повредить «Наказу»...»

9

Центральной фигурой восстановления промышленности был русский рабочий. Тот рабочий, о котором А. В. Луначарский так хорошо сказал, что им «строится русская земля».

Нет и не было в истории класса, который проявил бы столько мужества, бесстрашия, такую способность вопреки неслыханным трудностям вести до конца бой во имя великих целей, так подняться из глубин нищеты и эксплуатации до положения авангарда человечества.

И нет в мире класса, который обладал бы таким чувством международного братства. Перелистайте газеты тех лет. Выберите самые трудные дни — те, в которые по рабочим карточкам выдавали «осьмушку» (пятьдесят граммов) хлеба или только горсть овса. И в каждый из этих дней вы встретите скупые сообщения о субботниках, денежных отчислениях, о сборах теплых вещей и продуктов, проводимых рабочими в пользу бастующих английских, болгарских, итальянских, германских, испанских пролетариев.

Выступая на съезде профсоюза текстильщиков с приветствием от имени Центрального Комитета партии, М. И. Калинин напомнил, что в 1855 году, при осаде Севастополя, каждому солдату месяц осады засчитывался за год службы.

— Та осада, те тяжести и подвиги, которые вынесли русские рабочие,— сказал Калинин,— не меньше, а значительно больше, чем выпавшие на долю севастопольских солдат.

Теперь, после полной героизма гражданской войны, российский пролетариат оказался на аванпостах нового фронта — фронта хозяйственного. Он должен был построить основу социализма — крупную индустрию.

Каждый шаг давался огромным трудом. Даже ничтожно малый успех был величайшей радостью.

Заводы приходилось восстанавливать буквально по кирпичу, по гаечке. Оборудование свозили к заводам на лошадях, а то и на себе, впрягаясь в телеги или таща волоком. Особенно много хлопот и трудов доставляли приводные ремни: при тогдашней технике каждому станку необходимы были кожаные или брезентовые приводные ремни. Они быстро снашивались, достать их было негде, приходилось без конца чинить, чинить и снова чинить.

И так во всем: простой топор представлял собой проблему, ручная пила или дрель — инструмент, добываемый с превеликим трудом. Но ка-

ким праздником для всего рабочего коллектива бывали дни, когда какой-нибудь трясущийся, тархтящий станок, вот-вот готовый замереть в предсмертном хрипе, оживал и начинал давать продукцию!

Была в подвиге российского пролетариата еще одна сторона: он выдвинул из своих рядов людей, которые взвалили на свои плечи управление промышленностью и добились ее возрождения.

В те годы «Правда» уделяла много внимания письмам рабочих и печатала их на своих страницах. Большое место среди них занимали письма о «красных директорах».

Разные это были люди, с разным опытом, разным характером, разной повадкой, разным жизненным путем.

Встречались среди них такие, о которых рабочие говорили: «Отогрели змейку на свою шейку». Из их числа наиболее прославился Фирсов — директор ситценабивной фабрики (бывшей Цинделя). Спевшись с бандой хапуг, Фирсов возглавил травлю рабочего-корреспондента Спиридонова. Травля эта привела к убийству Спиридонова. Так имя Фирсова на годы стало нарицательным для явления, прозванного «фирсовщина».

«Если рабочий пришел к нашему директору даже по делу, директор глух и нем,— пишут рабочие об одном из таких директоров.— Чтобы дожидаться ответа, к нему нужно ходить поевши». «Электричество себе в свинной хлев провел, а в рабочей бане нет света». «Наш директор, кроме своего отдельного кабинета, нигде не бывает и не знает, где хорошо и где плохо в его хозяйстве». «На все отвечает: «Пошли к чертовой бабушке!»

Но несравненно больше было таких, как С. М. Максимов, рабочий Саввинской мануфактуры, ставший ее директором, о котором рабочие фабрики писали в «Правду», что «действительно настал час освобождения рабочего класса, если во главе нас стоят такие люди. Пусть весь рабочий класс знает, что недаром была пролита наша кровь и рабочие достигли своих долгожданных целей». Или тульский рабочий, старый большевик, делегат Второго съезда партии Сергей Иванович Степанов — директор Тульского оружейного завода. «Он нам и друг, и отец, и учитель, и воспитатель, и советник,— пишут о нем рабочие.— Жизнь его — пример честной трудовой доли рабочего». Или крестьянка из деревни Оголаховки Аграфена Кожанова: молодой женщиной, разорившись после деревенского пожара, она отправилась искать счастья в Иваново-Вознесенск, поступила на фабрику Щербаковых в Кохме, после революции сделалась председателем фабричного комитета, а с переходом к нэпу — директором фабрики. Но и когда стала директором, рабочие по-старому звали ее Груней.

Портреты тех, кого рабочие считают лучшими директорами, подлинными хозяйственниками ленинской школы, при всей краткости, богаты живыми чертами.

«Чем завоевал наш директор любовь рабочих? Тем, что с головой ушел в работу. Везде и всегда он первый. Только еще рабочие собираются на работу, а он уже тут — обходит корпуса, наблюдает за работой». «Никогда не забуду, как наш директор при первом появлении у нас на фабрике объяснил, что я пришел к вам работать не для того, чтобы вы, рабочие, были голодны, а накормить вас и ваших детей, а раз накормим, то я спрошу работу. Его первые слова оказались справедливыми, и все слова, какие бы он ни говорил, встав на тяжелый пост директора, были верны». «Сам дрова таскал с рабочими из вагонов. Всю неправду усматривал и разбирал». «Поднял на ноги спящую фабрику». «Это заслуга коммунистической партии — иметь таких товарищей, как он». «Чистый, без примеси коммунист».

Определяя роль и задачи профессиональных союзов в новых условиях, Ленин подчеркивал, что для успешного восстановления крупной промышленности необходимо сосредоточить всю полноту власти в руках заводоуправления. Поэтому «самым существенным является то, чтобы профсоюзы сознательно и решительно перешли от причинившего немало вреда непосредственного, неподготовленного, некомпетентного, безответственного вмешательства в управление к упорной, деловой, рассчитанной на долгий ряд лет работе практического обучения рабочих и всех трудящихся управлять народным хозяйством целой страны». Теперь стало особенно отчетливо видно, как далеко заглядывал Ленин, когда, формулируя свою позицию во время дискуссии о профсоюзах, говорил о них как о школе коммунизма.

Возвращаясь вновь к этому вопросу после года нэпа, Ленин с еще большей силой подтвердил прежнюю формулу и записал в плане тезисов о роли и задачах профсоюзов в условиях новой экономической политики часто цитируемые слова:

«Связь с массой.

Жить в гуще.

Знать настроения.

Знать все.

Понимать массу.

Уметь подойти.

Завоевать ее АБСОЛЮТНОЕ доверие.

Не оторваться руководителям от руководимой массы, авангарду от армии труда...»

Эти ленинские слова относятся не только к профсоюзам и не только к первым годам нэпа.

10

Как рассказывают товарищи, работавшие вместе с Лениным, встретившись с новым для него вопросом, Владимир Ильич нередко говорил: «Надо вникнуть».

Попробуем восстановить один из случаев такого ленинского «вникания».

Летом двадцать первого года Малый Совнарком поручил Народно-му комиссариату юстиции обследовать деятельность Межкома (Межведомственной комиссии по ликвидации иностранного имущества при особом отделе Управления распределения Наркомпрода). Обследование вел следователь ВЧК Васильев.

Три месяца спустя Малый Совнарком, заслушав доклад ВЧК о ходе обследования, нашел, что Васильев отнесся к данному ему поручению недостаточно вдумчиво и внимательно, и постановил: «Предложить ВЧК отстранить следователя Васильева от ведения дела и заменить его другим лицом».

Решение это было принято после жарких прений. И ВЧК, и часть членов Малого Совнаркома резко против него возражали, считая, что, вынеся его, Малый Совнарком превысил свои права. Ввиду этого дело перешло в Большой Совнарком.

Для представителей ВЧК и членов Малого Совнаркома — как для тех, что были за это решение, так и для тех, что против, — вопрос сводился к одному: правомочен или же не правомочен Малый Совнарком принимать подобные решения?

Под таким углом зрения ведет свой рассказ об этом случае председатель Малого Совнаркома Г. М. Леплевский, с чьих слов мы знаем об этом эпизоде. Он вспоминает, какой огромный интерес проявил к этому делу Ленин. Рассказывает, что вопрос рассматривался в Большом Сов-

наркоме три раза (случай редчайший!), что страсти накалились до предела. И до самого конца своего рассказа он видит на первом плане все ту же проблему: «компетенция — не компетенция». Читаешь воспоминания Леплевского — и не понимаешь, почему же эта бюрократическая канитель могла привлечь к себе столь напряженное внимание Ленина.

Попробуем разобраться.

Когда Большой Совнарком приступил к рассмотрению дела, Ленин предложил представителям ВЧК изложить мотивы, по которым они с такой решительностью протестовали против решения Малого Совнаркома. Выслушав их объяснения, он тут же подверг допросу «с пристрастием» члена коллегии Наркомата юстиции Саврасова, который входил в коллегию ВЧК для установления контакта между Наркомюстом и ВЧК. Но Ленина интересовала не проблема «компетенции», а другое: он добивался от Саврасова, чтоб тот ясно и точно ответил, когда и по каким делам он как представитель Наркомюста опротестовывал действия ВЧК? Оказалось, что таких протестов не было.

— Почему не было? Потому, что ВЧК не нарушала законы? — спрашивал Ленин.

— Нет, не поэтому, — отвечал Саврасов. И утверждал, что по своему положению он не мог опротестовать действия следственного аппарата.

Как же это «не мог»? Ведь это было его прямой обязанностью!

Ленин подверг объяснения Саврасова жестокому обстрелу и предложил наркому юстиции Д. И. Курскому подготовить к следующему заседанию Совнаркома общий доклад о том:

1. Какие нормы советского законодательства регулируют надзор за следственным аппаратом в общих судах и за следственным аппаратом ВЧК?

2. Не нуждаются ли эти нормы в дополнениях и изменениях, а если нуждаются, то в каких?

Что же до следствия по делу Межкома, Ленин поручил заместителю председателя ВЧК И. С. Уншлихту его продолжать, взяв под личное наблюдение, а Д. И. Курскому — сделать доклад о заключении следствия.

Но тут возник новый вопрос, быть может, разбуженный этим: вопрос о взаимоотношениях между партийными и судебно-следственными органами.

На этот раз инициатива принадлежала Наркомюсту, опротестовавшему два параграфа циркуляра Центрального Комитета партии об отношениях партийных и судебно-следственных учреждений.

Народный комиссариат юстиции просил исключить из циркуляра параграф четвертый, который обязывал судебные власти освобождать на поруки привлеченных к суду коммунистов под персональное поручительство лиц, уполномоченных на то партийными комитетами, а также параграф пятый, предоставлявший партийным комитетам право знакомиться с делами привлеченных к судебной ответственности коммунистов и выносить по ним решения, которые являлись бы партийной директивой для суда и предопределяли судебный приговор.

Узнав об этом, Ленин написал Молотову:

«Как стоит это дело?»

§§ 4 и 5, по-моему, вредны...»

В ответ на свою записку Владимир Ильич получил постановление Оргбюро об утверждении циркуляра и письмо Молотова, в котором говорилось, что циркуляр изменен и вопрос можно считать исчерпанным.

Однако «изменения», внесенные в циркуляр, не коснулись главного. И Владимир Ильич написал Молотову новое письмо:

«Я переносу этот вопрос в Политбюро.

Вообще неправильно такие вопросы решать в Оргбюро: это чисто политический, всецело политический вопрос.

И решить его надо иначе.

Прошу заказать секретарше на 1 листе старую и новую редакцию.

(1) Надо, по-моему, отменить § 4

(2) — усилить судебную ответственность коммунистов

(3) «суждения» парткома допустить только с направлением в центр и с проверкой ЦКК».

Вопрос был перенесен в Политбюро и рассматривался на заседании, на котором присутствовал Ленин.

Политбюро постановило: пересмотреть циркуляр в целом, устранив всякую возможность использования положения господствующей партии для ослабления ответственности. Более того: усилить ответственность членов партии в случае совершения ими проступков, подлежащих ведению судов и трибуналов.

Тем временем следствие по делу Межкома подошло к концу. Как рассказывает Г. М. Леплевский, вопрос приобрел такую остроту, что, когда он рассматривался в последний — третий! — раз, на заседание явились Калинин, Каменев, Сталин.

Прения были весьма бурными. Сначала был рассмотрен вопрос о следователе Васильеве и постановлении Малого Совнаркома. семью голосами против шести постановление Малого Совнаркома было отменено, так что Ленин оказался в меньшинстве.

Затем на обсуждение был поставлен общий вопрос — о надзоре за деятельностью следственного аппарата и за соблюдением революционной законности. После доклада Д. И. Курского существовавший к тому времени порядок был признан неудовлетворительным и было принято предложение Ленина: создать комиссию для разработки вопроса по существу.

Пока работала эта комиссия, всплыл еще один вопрос, непосредственно связанный с работой следственных органов: о наказаниях за ложные доносы.

Проект декрета был разработан Наркомюстом. Познакомившись с ним, Ленин предложил дополнить его «мерой усиления наказания», изменив формулировку: «Лишение свободы на такой-то срок» — другой: «Лишение свободы не меньше столько-то лет».

Совнарком согласился с поправками Ленина и постановил ввести кару по суду за ложные доносы и за ложные показания.

Специальное примечание оговаривает, что мера наказания усиливается в случаях:

- а) ложного обвинения в тяжком преступлении;
- б) корыстных мотивов доноса и показаний на следствии;
- в) искусственного создания доказательств обвинения.

Декрет этот был подписан В. И. Лениным и опубликован в газетах 1 декабря двадцать первого года.

Интересно применение, которое нашел этот декрет полгода спустя, во время крупнейшего политического процесса тех лет — суда над правыми эсерами.

Допрошенный в качестве свидетеля бывший военный министр Временного правительства Верховский заявил суду, что во время предварительного следствия допрашивавший его следователь ГПУ Агранов сказал ему, что он, Агранов, уполномочен Центральным Комитетом партии и коллегией ГПУ сообщить свидетелю, что процесс правых эсеров не

преследует карательных целей, и те показания, которые даст свидетель об известной ему контрреволюционной деятельности правых эсеров, нужны как бы для того, чтобы нарисовать широкое историческое полотно. Это и побудило свидетеля дать чистосердечные показания.

Верховный трибунал придал заявлению Верховского большое значение. Он запросил ЦК партии и коллегия ГПУ и на оба запроса получил ответ, что никаких постановлений подобного рода или близких к нему они не выносили и никаких поручений, которые могли бы быть истолкованы в подобном смысле, следователю Агранову, ни кому бы то ни было другому не давали и не могли дать.

Параллельно этому Трибунал проверил материалы предварительного следствия и установил по протоколам, скрепленным подписями Верховского и Агранова, что Агранов действительно заявил Верховскому, будто допрашивает его только для научного изучения тактики партии правых эсеров.

Действия следователя Агранова Трибунал признал неправильными и постановил довести о них до сведения Народного комиссариата юстиции для принятия надлежащих мер в порядке надзора за следственными действиями ГПУ.

Вместе с тем Трибунал счел неправомерным поведение свидетеля Верховского, который, будучи советским гражданином и служащим Красной Армии, считал своим правом давать или не давать соответствующим органам Рабоче-крестьянской республики сведения о ее врагах в зависимости от того, послужат ли эти сведения для прямой борьбы с врагами или только для политического осведомления.

Но вернемся к основной линии нашего рассказа.

В тот же день, 1 декабря двадцать первого года, когда был опубликован декрет об ответственности за ложные доносы и создание ложных доказательств обвинения, Ленин внес в Политбюро предложение преобразовать ВЧК, сузить круг ее деятельности и ее компетенции, сузить право ареста, повысить роль судов, усилить начала революционной законности, провести через ВЦИК общее положение об изменении «в смысле серьезных умягчений».

Насколько Ленина заботил этот вопрос, видно по набросанному им плану доклада о внутренней и внешней политике на Девятом съезде Советов. Вопрос о ВЧК в этом плане занимает только одну строку — но какая это строка! Подчеркнутая дважды, трижды, четырежды! Чтоб передать ее, составители соответствующего тома сочинений Ленина должны были прибегнуть к самому жирному шрифту, к самой отчетливой разрядке:

**«В ВЧК:
ПОВЫШЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ВЧК И ЕЕ РЕ-
ФОРМА».**

Так совершенно узкий, чисто «ведомственный» вопрос о работе Межкома, когда в него «вник» Ленин, послужил толчком для решения первостепенной политической важности.

Если б Ленину предложили заполнить шутивную анкету, подобную той, какую дали своему отцу дочери Маркса, то на вопрос: «Что вы больше всего ненавидите?» — он почти наверняка ответил бы: «Бюрократизм!» Во всяком случае ничто не рождало у него такого гнева, как проявления бюрократизма, «который нас душит», который «в нашем госу-

дарственным строе получил значение такой болячки, что о нем говорит наша государственная программа».

Без пощады обрушивается он на тех, что предаются «игре в бюрократическую переписку бумажек», «комвранью», «сладенькому чиновно-коммунистическому вранью». Требуется: «открытыми глазами через все комвранье смотреть на правду», искать и находить людей, способных ставить и проверять работу, закрывать бюрократически-коммунистические «потемкинские деревни». Иначе вся работа — «нуль, хуже нуля, самообольщение новой бюрократической погрешкой»...

Подходя к решению новых хозяйственных и политических задач, Ленин более всего опасается того, чтоб оно не приняло административно-бюрократический характер.

«Ужасно боюсь, — пишет он Г. Я. Сокольникову, — что мы околеем от переорганизаций, не доводя до конца ни одной практической работы... Я смертельно боюсь переорганизаций. Мы все время реорганизуемся, а практического дела не делаем... Ей-ей, боюсь смертельно: не впадите Вы в эту слабость, а то мы крахнем...»

Он требует «тащить волокиту на суд гласности»: «Только так мы эту болезнь всерьез вылечим». Считает, что в делах, связанных с волокитой и бюрократизмом, общественное значение открытого суда «в 1000 раз больше, чем келейно-партийно-цекистски-идиотское притушение поганого дела о поганой волоките без гласности». Решительно отменяет доводы сторонников закрытого рассмотрения подобных дел. «Мы не умеем, — пишет он, — гласно судить за поганую волокиту: за это нас всех и Наркомюст сугубо надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что нас когда-нибудь за это по делом повесят».

Будучи непримиримо резок ко всем и всяческим проявлениям бюрократизма, он видел, однако, решение связанных с ним проблем не просто в том, чтоб «сбросить главки», как предлагали некоторые «левые» товарищи.

«Бюрократы — ловкачи, многие — мерзавцы из них, архипроядохи, их голыми руками не возьмешь», — отвечал он на подобные предложения. «Главки» «сбросить»? Пустяки. Что вы поставите вместо них? Вы этого не знаете. Не сбрасывать, а чистить, лечить, лечить и чистить десять и сто раз. И не падать духом».

С законным возмущением работающего, думающего человека, болеющего душой за дело, относился он к тем, кто подвергал всю советскую работу «вселенской смази» и, стоя в сторонке, ничего практически не делая, принимал позы «критически-мыслящих личностей».

Обращаясь к одному такому критику, Ленин спрашивал:

«Где вы указали Центральному Комитету такое-то злоупотребление? и такое-то средство его исправить, искоренить?»

Ни разу.

Ни единого разу.

Вы увидели кучу бедствий и болезней, впали в отчаяние и бросились в чужие объятия... А мой совет в отчаяние и панику не впадать...»

12

Как ни трудна была зима двадцать первого — двадцать второго года, однако подошел ее конец. Но если старая народная пословица говорит: «Весна красна, да голодна», то для весны двадцать второго года эта истина была верна, как никогда.

Голод в Поволжье достиг предела, а с приближением весны надвинулась задача не только кормить людей, но и в кратчайшие сроки обеспечить голодающие губернии семенным зерном.

Государство уже отправило туда около пятнадцати миллионов пудов для сева озимых, теперь надо было собрать, подвезти и раздать семена для ярового сева.

Где было их взять? В Сибири? Но единственная, постоянно заметаемая снежными заносами железная дорога не справлялась с перевозками. Чтобы наладить бесперебойную работу транспорта, партия послала в Сибирь Феликса Эдмундовича Дзержинского.

Взять хлеб на Украине?

Но убедить украинских крестьян, по земле которых столько раз прокатывалась гражданская война, чтоб они поделились с голодающими Поволжья своим — тоже ведь последним — куском хлеба, мог лишь человек, пользующийся особенным доверием народа. Партия послала туда Михаила Ивановича Калинина.

Когда Михаила Ивановича спрашивали, в чем состоит секрет умения разговаривать с людьми, он отвечал: «В том, чтоб подразумевать в собеседнике не меньшее количество ума, сообразительности и понимания своих интересов, чем в нас самих».

Наконец можно было закупить зерно за границей. Но добиться того, чтобы это зерно не было расхищено, заражено, испорчено, чтоб оно было немедленно разгружено и немедленно же отправлено по назначению, способен был только человек редкой честности и преданности этому делу. Ленин доверил его питерскому рабочему Николаю Александровичу Емельянову, у которого он скрывался в семнадцатом году в Разливе и к которому относился с особой любовью и уважением.

Разумеется, и Дзержинский, и Калинин, и Емельянов действовали не в одиночку.

Дзержинский взял с собой группу сильных работников. Вместе с Калининым поехали крестьяне из голодающих деревень, выступали на митингах, рассказывали об ужасах голода. Емельянов подобрал себе помощников из петроградских рабочих.

Как ни напряженно все они работали, зерна не хватало. Необходимо было расширить закупки за границей. Но где взять необходимое на это золото? Золотой запас республики подходил к концу. Между тем в стране имелось огромное количество золота, серебра, драгоценных камней, накопленных веками за счет грошей и копеек, собиравшихся с народа.

Это были церковные ценности.

Первые решения, требовавшие передать церковные ценности на покупку хлеба голодающим, были вынесены прихожанами сельских церквей. Вслед за этим волость за волостью стала выносить такие же решения. Со всех концов советской земли в Москву потянулись ходоки, посыпались телеграммы и резолюции, к которым присоединилась и часть низового священства.

Мертвые руки голодных стучались в двери церковных сокровищниц, и Советское правительство приняло декрет об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих. В ответ на это патриарх Тихон разослал обращение к духовенству и верующим, в котором объявил изъятие и даже добровольное пожертвование церковного имущества святотатством, которое карается отлучением от церкви и анафемой, и призвал подняться против «миродержателей тьмы», чтоб «с помощью божьей иссеци сей лукавый и прелюбодейный род, дерзновенно восставший на неотъемлемое достояние наше».

Помню, солнечным весенним днем я проходила по Пятницкой. Пахло талым снегом, лужи отсвечивали голубизной, и от этого света и блес-

ка особенно дико было видеть вылезавших из кривых переулков Замо-скворечья сморщенных, сгорбленных старух, одинаково повязанных черными глухими платками, одинаково одетых в черные глухие платья до пят. Крестьясь мелким дробным крестом, они сползались к церкви у Кузнецкой улицы, а там на паперти черный поп накликал проклятия на работавшую в церкви комиссию по изъятию ценностей, и старухи стоном вздыхали и вскрикивали: «Разрази их, господи!», «Пригвозди охульников, господи!», «Пошли на них дождь смертоносный, о господи!», «Пролей грозу огненную, иссуши им руки, отыми у них ноги, вырви им глаза, господи!»

Но вот одна из старух, зайдясь криком, упала на землю и забилась в припадке, за ней — другая. И уже чуть ли не все они катались по земле.

Как-то странно встает в памяти та весна.словно долгий, запутанный сон, в котором идешь-идешь по длинной улице посреди сплошных деревянных заборов, сверху донизу залепленных налезающими друг на друга пестрыми афишами. Кино сулит любовные трагедии или же обещает «комические боевики». Кабаре и варьете зывают на «Флирт богов», рестораны приглашают на блины, расстегаи, водки, вина, на танцы до утра.

А над всем этим блудом бьет по сердцу плакат: черный фон, белый, иссохший от голода старик, воздетые в мольбе руки: «Помогите!»

К середине мая советская власть доставила в Поволжье двадцать пять миллионов пудов семенного зерна. Сто пять процентов задания!

И произошло чудо: лежавшая пластом деревня собрала остаток своих сил и поднялась. На пункты раздачи семян потянулись не люди, а тети с мешками за спиной.

Редко у кого была — также похожая на тень — лошаденка. Семена тащили на себе и пахали на себе, впрягаясь в соху по десять человек. Падали, лежали на пашне, поднимались, снова пахали. Если не могли тянуть соху, ковыряли землю лопатами.

Когда в Поволжье посылали семенное зерно, кое-кто предполагал, что не меньше третьей его части, а то и половину крестьяне съедят: «Это неизбежно, инстинкт жизни заставит».

Эти люди не знали русского крестьянина, его чувства к земле. В деревне ели молотые камни, помет, падаль, но высеяли все семена.

Весна в тот год выдалась не ранняя и не поздняя. Перед самым севом прошли обильные дожди. Быстро зазеленели густые всходы. Все обещало хороший урожай. И те, кто буквально кровью своей оживил эти поля, мечтали об одном: дожить до нового хлеба!

Хотя в ту зиму Владимир Ильич и сказал в одной из своих речей, что его болезнь несколько месяцев не давала ему возможности непосредственно участвовать в политических делах и вовсе не позволяла исполнять советскую должность, на которую он поставлен, но когда пытаешься охватить взглядом все, что сделано им за это время, то — в который уже раз! — потрясает огромность и неисчерпаемое богатство того, что им написано, сказано и претворено в жизнь за столь короткий срок.

Ровно за год — с 27 марта 1921 года (дата первого большого выступления Ленина после Десятого съезда партии) по 27 марта 1922 года (день, в который состоялось открытие Одиннадцатого партийного съез-

да) — статьи Ленина, планы к ним, важнейшие письма и стенограммы его речей занимают в пятом издании Собрания его сочинений около тысячи страниц убористого печатного текста.

Но дело не только в количестве страниц. Это особенные статьи и особенные речи: в них Ленин обогащает учение о построении социализма разработкой положений, которые получили наименование новой экономической политики.

14

В конце марта в Москве открылся Одиннадцатый съезд партии. Последний съезд, в работах которого принимал непосредственное участие Ленин.

Каждое историческое событие происходит в свой месяц и час. В этот же месяц и час происходят положенные этому месяцу и времени года явления в мире природы. Было бы глупо устанавливать между этими двумя рядами событий и явлений причинную или иную связь. И в то же время порой невозможно отделаться от какого-то подсознательного ощущения, что природа, подобно художнику, подбирает наиболее выразительные фоны и обрамление для деяний человеческой истории: вспомним хотя бы бурные порывы октябрьского ветра в незабываемую осень семнадцатого года; вспомним ливни и летние грозы в дни, когда в Москве заседал Пятый съезд Советов и левые эсеры подняли свой мятеж; вспомним неверную белизну и полыньи кронштадтского ледового поля во время Десятого съезда партии; вспомним мороз, намертво сковавший землю в дни, когда Россия прощалась с Лениным.

Одиннадцатый съезд партии связан в моей памяти с приходом весны — русской весны, которая долго подступает тихими шагами, а потом словно в одну ночь наполняет мир пением птиц и шумом вешних вод.

Почему ж пришло чувство внутренней связи между поэтическим расцветом русской весны и, казалось бы, сугубой прозой вопросов, которые обсуждал Одиннадцатый съезд партии? Не потому ли, что съезд этот происходил весной? Нет! Десятый съезд тоже ведь происходил весной.

Причина иная! Причина в том, что зимний перевал был преодолен. Впереди — весна.

И таким же весенним был доклад Ленина.

«Речь товарища Ленина,— писал в отчетной корреспонденции сотрудник «Известий»,— дышала его обычным оптимизмом, несмотря на ряд упреков, которые он бросал по адресу нашей неумелости, несуразности и бестолковщины. Ряд остроумных шуток, характерных интонаций и жестов способствовали установлению внимательной и товарищеской связи между докладчиком и аудиторией. Съезд проводил товарища Ленина дружными аплодисментами».

Так говорил об этой речи человек, который только что ее слышал. Такое же чувство вызывает она, когда перечитываешь ее сейчас.

Между тем Владимир Ильич в эти дни писал товарищам: «Я болен. Совершенно не в состоянии взять на себя какую-либо работу... Нервы у меня все еще болят, и головные боли не проходят». Он чувствовал себя настолько плохо, что даже просил Центральный Комитет партии назначить на съезд запасного докладчика, ибо не был уверен, что у него самого хватит сил, чтобы сделать этот доклад.

Он догадывался об истинном характере своей болезни, хотя врачи убеждали его, что она вызвана только переутомлением. Словно предчувствуя, что ему недолго осталось жить, он торопился сказать и сделать как можно больше. Выступал. Писал. Неустанно набрасывал планы, зачины и фрагменты будущих статей — иногда один лишь намек,

лишь несколько фраз, содержавших новые повороты, переходы, переливы, оттенки мысли, новые вехи на еще не исследованной тропе.

И выступил на съезде. Выступил так, что никто из присутствующих не мог и подумать, что он болен.

Его выступление трудно даже назвать речью: скорее это была свободная, непринужденно разворачивающаяся беседа в доверительном, разговорном тоне. Ленин тщательно продумал свой доклад, до нас дошло четыре варианта составленного им плана, но говорил он без бумаги — и у слушателей создавалось ощущение вольной импровизации, в которой идеи и мысли рождаются у них на глазах.

Щедро прибегал Ленин в своей речи к столь любимому им столкновению далеких понятий, проникая в суть явлений во всем самодвижении, противоречиях, уничтожении старого и рождении нового и взаимосвязанности живой жизни. Сопоставлял коммуниста, сделавшего величайшую революцию, «на которого смотрят если не сорок пирамид, то сорок европейских стран с надеждой на избавление от капитализма», своего до того, что «в рай живым просится», и рядового приказчика, который бегал в лабаз десять лет, остался беспартийным, а может быть, и даже наверно белогвардейцем, и теперь спрашивал коммуниста: «А дело делать умеете?» И Ленин отвечал: в отличие от «приказчика, который это дело знает, он, ответственный коммунист и преданный революционер, не только этого не знает, но даже не знает и того, что этого не знает».

С естественной простотой, источником которой была его постоянная близость к народу, Ленин пересыпал свою речь обыденными словами, оборотами, выражениями, что делало ее особенно впечатляющей: «плохенький», «малюсенький», «загвоздка», «навоз», «шумиха», «трескотня», «бестолковщина», «безалаберщина», «сутолока, суматоха и ерунда», «деляги и мошенники», «пересол», «гвоздь вопроса», «у нас направо и налево махают приказами и декретами, и выходит совсем не то, чего хотят», «погрязем, потопая в мелких интригах», «откуда это вытекает? Это откуда не вытекает», «либо мы это докажем, либо он нас пошлет ко всем чертям»... А рядом с этими словами и оборотами, почерпнутыми из обиходной русской речи, прибегал к словечкам, которые придумывал сам, подтрунивая при этом над тем, до чего довели всяческими сокращениями великий русский язык.

Если попытаться свести к сжатою пересказу все богатство поставленных Лениным вопросов и выплывавших из них обобщений и выводов, то он говорил в этом своем докладе о Генуэзской конференции («Мы себя в обиду не дадим. Нас не побили — и не побьют, не обманут») и об итогах первого года новой экономической политики. Снова и снова подчеркивал, что новая экономическая политика важна нам прежде всего как проверка того, что мы действительно достигли смычки между социалистической работой по крупной промышленности и сельскому хозяйству с той работой, которую занят каждый крестьянин.

— Надо показать эту смычку, чтобы мы ее ясно видели, — подчеркивал он, — чтобы весь народ ее видел и чтобы вся крестьянская масса видела, что между ее тяжелой, неслыханно разоренной, неслыханно нищенской, мучительной жизнью теперь и той работой, которую ведут во имя отдаленных социалистических идеалов, есть связь... Наша цель... — доказать крестьянину делами, что мы умеем ему помочь... что коммунисты... ему сейчас помогают на деле... Вот какой экзамен на нас неминуемо надвигается, и он, этот экзамен, все решит в последнем счете: и судьбу нэпа, и судьбу коммунистической власти в России.

Но достичь этого, напоминал Ленин, можно, лишь умея хозяйничать. А мы умеем хозяйничать?

— Нет,— отвечал Ленин,— мы хозяйничать не умеем.

Не страшась горькой правды, он обрушивался на обломовщину и на тягу к администрированию и реорганизациям, при которых «...все суетятся, получается кутерьма; практического дела никто не делает, а все рассуждают...».

— В новом, необыкновенно трудном деле надо уметь начинать сначала несколько раз,— говорил он,— начали, уперлись в тупик — начинай снова,— и так десять раз переделывай, но добейся своего, не важничай, не чванься, что ты коммунист...

Требовал от партии бережного отношения к людям, к их труду и творческим возможностям. Ко всем — в том числе к бывшим буржуям.

— Это еще полдела, если мы ударим эксплуататора по рукам, обезвредим и доконаем,— говорил он.— А у нас, в Москве, из ответственных работников около девяноста человек из ста воображают, что в этом все дело, то есть в том, чтоб доконать, обезвредить, ударить по рукам.

И ставил всем в пример весьегонского коммуниста Александра Ивановича Тодорского, рассказавшего в своей книге «Год—с винтовкой и плугом», как весьегонские партийцы в восемнадцатом году, приступая к оборудованию двух советских заводов, привлекли к работе бывших буржуев.

Снова и снова повторял Ленин мысль, что построить коммунистическое общество руками одних только коммунистов невозможно. С презрением отзывался о тех, кто думает о народе свысока: неразвитой, мол, народ, не учился, мол, коммунизму.

— Нет, извините,— отвечал на это Ленин,— не в том дело, что крестьянин, беспартийный рабочий не учились коммунизму, а в том дело, что миновали времена, когда нужно было развить программу и призвать народ к выполнению этой великой программы. Это время прошло, теперь нужно доказать, что вы при нынешнем трудном положении умеете практически помочь хозяйству рабочего и мужика...

Несколько раз возникает в его речи любимый им образ цепи и ее звеньев.

— Политические события всегда очень запутаны и сложны,— говорил он.— Их можно сравнить с цепью. Чтобы удержать всю цепь, надо уцепиться за основное звено...

Но чем-то этот образ его не удовлетворяет. Он ищет другой. Находит. Записывает в план речи: «Гвоздь момента» (звено цепи)...

В различной связи, поворачивая то так, то этак, возвращается он к этому образу, чтоб при закрытии съезда сказать:

— Весь гвоздь теперь в том, чтобы авангард не побоялся поработать над самим собой, переделать самого себя, признать открыто свою недостаточную подготовленность, недостаточное умение. Весь гвоздь в том, чтобы двигаться теперь вперед несравненно более широкой и мощной массой, не иначе как вместе с крестьянством, доказывая ему делом, практикой, опытом, что мы учимся и научимся ему помогать, его вести вперед. Такую задачу при данном международном положении, при данном состоянии производительных сил России можно решить, лишь решая ее очень медленно, осторожно, деловито, тысячу раз проверяя практически каждый свой шаг...

Партия в целом теперь поняла и делами теперь докажет, что поняла необходимость строить свою работу именно так и только так. А раз мы это поняли, мы сумеем добиться своей цели!..

В числе представителей иностранной печати, зафиксировавших впечатления, произведенные на них Одиннадцатым съездом партии, был один из наиболее талантливых и проницательных журналистов того времени Максимилиан Гарден, которого по праву звали «великаном» германской публицистики. Не коммунист, не социал-демократ, но левый радикал, он прославился смелыми разоблачениями германской придворной среды и верхов буржуазии. Немецкие шовинисты не могли ему этого простить и в середине двадцатых годов пытались его убить.

По духу, по темпераменту, по мировоззрению он принадлежал к породе обличителей. Статьи его исполнены насмешкой, гневом, сарказмом. Но то, что он пишет о Ленине, — в его деятельности редкое, быть может, почти единственное исключение.

«Тот самый Ленин, — писал он, — который немилосердно высмеял призыв Струве «идти на выучку к капитализму», произнес, при совершенно другой обстановке, можно сказать — под другим небом, знаменитые слова: у каждого дюжинного приказчика мы можем и должны учиться. Он никогда не был более велик, чем в этой своей речи на Одиннадцатом съезде партии, в этой величественно-жестокой откровенности своего признания... Болезнь уже подтачивала его тогда. Но прежде, чем закатилось его солнце, небо еще раз загорелось от блеска — и ни утро, ни полдень его дней не расточали столь ослепительного великолепия...»

Я пытаюсь вспомнить Ленина на этом съезде — я видела его тогда в последний раз.

Он был такой же, как всегда, — быстрый, подвижный, веселый, со смелыми и сияющими глазами.

И съезд был веселый, хотя кругом еще стоял густой частокол опасностей и трудностей.

Почему ж так было? Думается мне, потому, что как ни полна была речь Владимира Ильича суровой, хлещущей правды, но ее «подпочвой», говоря словами Ленина, была мысль, которую он уже высказал незадолго до того и снова повторил на съезде и которая для всех нас была так же радостна, как победа в боях гражданской войны: отступление окончено!

Та цель, которая преследовалась при переходе к нэпу экономическим отступлением, была достигнута. Маневр отступления для будущего наступления — отступить, чтоб получить разбег для нового прыжка, — завершен.

Подводя итог этому отступлению, Ленин говорил:

— Вполне достаточно у нас средств для победы в нэпе: и политических и экономических. Вопрос «только» в культурности!»

И отсюда следовало: «Наше экономическое отступление мы теперь можем остановить. Достаточно. Дальше назад мы не пойдем...»

В самом ритме этих слов заложен веселый звон: «Дальше назад мы не пойдем!»

Мне вспоминается теплый синий вечер, полный многоголосого шума. Любимое место Москвы, которое на тогдашнем «телеграфном» языке молодежи называлось «Твербуль у Пампуша» (Тверской бульвар у памятника Пушкину). Церковный благовест. Слабый запах весны.

Только что мы устроили у себя в студенческом общежитии роскошный пир: в складчину купили на два миллиона рублей селедок, на миллион заварку чая, на три миллиона белого хлеба. Пир на весь мир в

честь того, что отступление окончено, дальше назад мы не пойдём, пойдём вперед, только вперед!

Счастливые и сытые, сидим мы на Твербуле у Пампуша. С добродушным презрением посмеиваемся над проплывающими мимо нас нэпманами и нэпманшами. Раскачиваемся в такт перезвону колоколов ближней церкви. Складываем строфы чего-то, что, как и все церковное, именуем «акафистом»:

Радуйся диалектике Гегеля, тобой углубленной,
с головы на ноги установленной,
Радуйся, о Марксе, чудотворец великий!
Радуйся, Энгельс, братаго Маркса вернейший
сподвижник!
Радуйся ты, о Ильич, великий и мудрый, к Октябрю
нас победно приведший,
Нэп породивший, но нэпову скверну аду предавший...

Политически и поэтически весьма малограмотно. Но нашим чувствам вполне соответствует...



МИХАИЛ ЛУКОНИН

★

МОИ ТОВАРИЩИ

А жизнь сверх меры —
 празднество и мука.
Когда толкнула пуля горячо,
Я над землею выгнулся упруго,
Не слыша ничего.
А что еще?
А то,
Что с той минуты
 в сорок первом
Живу, живу, случайностью храним.
Веду перерасчет всем старым мерам,
И верам,
И невериям своим.
Живу, живу, а кажется, что брежу.
Иду, иду, а кажется — стою.
И все неубедительней,
Все реже
Снюсь сам себе у смерти на краю.
Я знаю,
 удивляетесь чему-то —
Так странно я вздыхаю и смеюсь.
А у меня в глазах все та минута,
Я ничего на свете не боюсь.

Смеюсь над мельтешением наивным,
Вздыхаю о товарищах своих.
Они звучат во мне неслышным гимном,
Смотрю на вас,
А думаю о них.
Ничем я не увенчан, не украшен —
Винтовка на брезентовом ремне.
Не знаю, как оно —
 бессмертье ваше,
Мне моего
Достаточно вполне.
Как под огнем прицельным,
 перекрестным
Стой, обелиск.
Не отвожу лица.
Он вам, живым, остался Неизвестным,
А я-то видел этого бойца.

Живу сверх меры —
 празднично
 и трудно.
И славлю жизнь на вечные года.
И надо бы мне уходить оттуда,
А я иду. иду, иду туда,
Туда, где смерть померилась
 со мною,
Где,
Как тогда,
Прислушаюсь к огню,
Последний раз
 спружиню над землею
И всех своих безвестных догоню.



И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

★

ЗВУКИ ЗЕМЛИ

Жаворонок

Из множества звуков земли: пения птиц, трепетанья листвы на деревьях, треска кузнечиков, журчанья лесного ручья — самый веселый и радостный звук — песня полевых и луговых жаворонков. Еще ранней весной, когда на полях лежит рыхлый снег, но уже кое-где на пригреве образовались первые темные проталины, — прилетают и начинают петь наши ранние весенние гости жаворонки. Столбом поднимаясь в небо, трепеща крылышками, насквозь пронизанными солнечным светом, выше и выше взлетает в небо жаворонок, исчезает в сияющей голубизне. Удивительно красива, звонка песня жаворонка, приветствующего приход весны. На дыхание пробудившейся земли похожа эта радостная песня.

Многие великие композиторы в своих музыкальных произведениях старались изобразить эту радостную песню. Даже неопытные городские люди, живущие далеко от природы, выезжая за город, слышали веселые песни жаворонков. Только самые тупые из них, оглушенные грохотом машин и современной шумной музыкой, не способны слышать радостных звуков земли.

Еще в далеком деревенском детстве моем я любил слушать песни жаворонков. Идешь по тропинке во ржи, любясь синими васильками. Справа и слева взлетают, с песнями поднимаются в небо жаворонки. Чудесною музыкой наполнен небесный простор. Звонко стрекочут кузнечики, на опушке ближнего леса воркуют горлинки. Идешь, идешь, ляжешь спиной на землю, через тонкую ткань рубашки чувствуя материнское ее тепло. Глядишь и не наглядишься в высокое летнее небо, на склоненные над лицом колосья.

С теплой землею связана жизнь жаворонков. На обработанных человеком полях, среди зеленеющих хлебных всходов делают они свои скрытые гнезда, выводят и выкармливают птенцов. Жаворонки никогда не садятся на высокие деревья, избегают густых, темных лесов. От берегов теплого моря до таежных лесов живут на обработанных человеком полях жаворонки. Над широкой степью, над полями и лугами почти все лето слышны их радостные песни.

В прошлые времена в весенний праздничный день матери наши пекли в русских печах слепленных из теста жаворонков. Хорошо помню, как вынимала мать из печи подрумяненных тестяных жаворонков. Мы радовались русскому весеннему празднику. С жаворонками в руках весело выбегали на берег реки смотреть, как пробуждается земля, слушать весенние ее звуки.

Соловьи

О соловьях, о их пении рассказано и написано так много, что трудно сказать новое, никому не известное. Кто не слышал соловьиного пения, не удивлялся силе голоса маленького лесного певца? Несколько лет назад у самого крыльца нашего лесного домика в кустах черемухи каждую весну распевал соловей. Я присаживался на ступеньку, закуривал трубочку и слушал. Иногда нам удавалось близко видеть певца. Соловей обычно сидел на низкой ветке черемухи, скрытой зеленой молодой листвою. Видно было, как дрожит тельце маленького невзрачного певца. Было трудно донять, откуда у крошечной птички такая необычайная сила голоса. Он пел почти без перерыва всю ночь, и чудесное пение далеко разносилось по округе. В те времена мы не держали кошек и наш певец чувствовал себя в безопасности. Людей он почти не боялся. Вместе с маленьким моим внуком, случалось, мы подходили к нему вплотную.

Хорошо известно, что соловьи поют неодинаково. Есть отменные, особенно талантливые певцы. Есть певцы поплоче и послабее. Наш соловей был, по-видимому, из опытных старых певцов. У таких старых соловьев учатся петь молодые. Когда-то соловьиное пение очень ценилось. На Руси были большие знатоки этого пения. В давние годы особенно славились курские и киевские соловьи. За отменных певцов богатые люди — купцы и помещики — плачивали до тысячи рублей. Их держали в особых клетках с полотняными потолками, кормили муравьиными яйцами, которые собирали в лесу в пустые бутылки. Пойманный соловей быстро привыкал к людям и в жилище человека пел так же громко и красиво, как пел некогда в лесу. Я и теперь люблю слушать соловьев, хотя у самого нашего домика давно нет знакомого нам певца. По-видимому, гнездо соловья разорили кошки, которых пришлось завести в доме, так как в комнатах и в подполье развелось много мышей.

Теперь я хожу слушать соловья на край березовой рощи, окружающей наш дом. Особенно нравится мне ночное пение соловья, когда над головою светят звезды и все в лесу примолкает. Хороша и вечерняя и утренняя песня соловьев, радостно встречающих вместе с другими певчими птицами восход солнца.

Вам, наверное, известно, что немудреные свои гнезда соловьи вьют на земле под кустами. Домашним кошкам и лесным хищникам легко разорить соловьиное гнездо. Соловьи живут в старых усадебных парках и даже в городах, где есть деревья, вода и заросли кустарника. В Ленинграде я слушал соловьев в парке Победы на шумном Московском проспекте. Там соловьи пели и гнездились на небольших, заросших кустарником островках, со всех сторон окруженных водою.

Ни кошке, ни человеку на эти островки проникнуть невозможно.

Соловьи широко распространены по всей нашей русской земле, где есть сады, рощи, вода и поля. Вряд ли есть на всей земле другая птица, умеющая так звонко и красиво петь, как поет наш русский соловей.

Забуть не могу, как однажды возвращался я с весенней охоты по старому Ладожскому каналу. На утреннем рассвете старый маленький пароходик тихо плыл по каналу, берега которого заросли густыми кустами. Боже мой! Сколько собралось здесь соловьев! Казалось, мы двигались по нескончаемой соловьиной дороге.

Я сидел на палубе парохода и слушал хор соловьев. Голоса бесчисленных соловьев звучали справа и слева, сзади и впереди тихо плывшего парохода. Такого количества соловьев мне еще не приходилось слышать, и я навсегда запомнил — весеннее раннее утро, мое возвращение с охоты, звонкую соловьиную дорогу.

Весной соловьи прилетают, когда начинает одеваться лес, цветет черемуха. Первыми прилетают самцы соловьев. Темною ночью они селятся в кустах, по берегам рек, на опушках березовых рощ, в садах и парках. Приманивая соловьев-самок, они поют всю ночь непрестанно. Услаждая сидящих на гнездах самочек, самцы-соловьи поют долго, до лета. В самое это время искусные ловцы ночью ловили в сети доверчивых певцов. Поймать соловья нетрудно. Нужно терпение, опыт и некоторая охотничья смекалка.

Теперь уже не держат в клетках соловьев. Но все же приятно послушать пение соловья, вырвавшись на денек из городского громкого шума.

Рассказывая о соловьях, не могу не вспомнить об удивительном случае, происшедшем прошлой весной.

В день моего рождения, утром, под окно моей комнатки прилетел и долго пел соловей. Мы слушали прилетевшего поздравлять меня соловья и дивились. Появление соловья в памятный день было лучшим подарком.

Журавли

В далеком детстве с особенным радостным чувством встречали мы весной журавлей, возвращавшихся на свою родину. Услышав их голоса, доносившиеся с высокого неба, мы оставляли наши игры и, подняв головы, глядели в голубую небесную высь.

— Журавли! Журавли! — громко кричали мы, радуясь прилету весенних гостей.

Журавли летели стройными косяками. Они возвращались из далеких теплых стран. Покружив над болотом или над берегом реки, они иногда садились, чтобы отдохнуть и подкрепить свои силы после далекого пути.

Во время прилета журавлей уже оживала, теплым дыханием дышала земля. На полях, поднимаясь в небо, трепеща крылышками, заливались песнями жаворонки, цвела черемуха, над золотыми пуховками ивы гудели пчелы. Журавли летели на север, к знакомым родным болотам, где каждый год они выводили и выращивали своих долгоногих птенцов.

Уже поздней осенью, когда с деревьев опадал золотой и багряный лист, журавли возвращались на юг. Они летели такими же стройными косяками, и нам казались печальными прощальными их голоса.

— Прощайте!.. Прощайте!.. — кричали нам с неба улетающие журавли.

Некогда мне довелось близко наблюдать журавлей. Я охотился на глухаринном току возле большого, зыбкого, почти непроходимого болота. Ночуя в лесу, много раз на рассвете я слышал, как водят хороводы, громко кричат на болоте журавли. Пробравшись к болоту, спрятавшись в густых кустах, я наблюдал в бинокль за журавлями. Собралшись в широкий круг, размахивая сильными крыльями, журавли трубили и плясали. Это был весенний свадебный журавлиный праздник. Я не тревожил журавлей, готовивших свои семейные гнезда. В летние и осенние ясные дни в поисках корма журавли вылетали с болота на соседние крестьянские поля, бродили по ним вместе с деревенским стадом.

Пойманного молодого журавля очень легко приручить. Ручные журавли ходят вместе с курами и другими домашними птицами. В прежние времена таких ручных журавлей нередко держали для охраны домашних молодых птиц. Зоркий, наблюдательный журавль не позволял крылатому хищнику — ястребу или вороне — убить или похитить цыпленка. Ступая на длинных своих ногах, одним глазом все время погля-

дывал ручной журавль в небо. И если показывалась хищная пгица, издавал тревожный крик, который куры, индюшки, цыплята хорошо понимали.

Путешествуя некогда по северу нашей страны, на лесном аэродроме, где стояли небольшие самолеты, я увидел ручного журавля. Он безбоязненно ходил по аэродрому, как бы следя за общим порядком. Иногда он улетал в лес на болота и скоро возвращался. Об этом ручном журавле мне уже приходилось однажды писать. Знакомые летчики рассказали мне, что в осенние дни, когда над аэродромом пролетали косяки журавлей, их любимец-журавль беспокоился, издавал призывный крик. Журавлиные стаи кружили над аэродромом, и однажды ручной журавль не выдержал — поднялся в небо, улетел на юг вместе с земляками.

Лебеди

Прошло много лет, когда почти каждой весной я уезжал охотиться на волховские широкие разливы. Найдя удобное местечко на каком-нибудь островке, окруженном водою, я старательно устраивал шалаш, вытаскивал из воды и прятал в кустах лодку. Выпустив подсадную утку, забирался в шалаш и терпеливо ждал добычи. Подсадная ручная утка плавала, охорашивалась и, поглядывая одним глазком ввысь, начинала призывно и страстно кричать. На ее зов откуда-то с небес, свистя крыльями, падали красавцы женихи — селезни, начинали ухаживать за коварно призывавшей их уткой. Выждав некоторое время, я осторожно высовывал из шалаша стволы ружья, прицеливался и стрелял в красавцев селезней-ухажеров. Теперь мне стыдно вспоминать об этой весенней жестокой охоте. Подсадная утка продолжала призывно кричать, а вокруг нее плавали мертвые ее женихи. Я не выходил из шалаша, пока над разливом не поднималось солнце, и утренняя охота кончалась.

Засев однажды в шалаше, уютно устроившись, я был удивлен необычайным и еще не виданным мною чудесным зрелищем. Многочисленная стая лебедей, возвращавшихся с далекого юга на север, стала кружить над разливом. Я видел освещенные зарею розоватые распластанные крылья, длинные вытянутые шеи, слушал их голоса. Лебеди долго и низко кружили над разливом, стали садиться на воду. Еще никогда не видел я такой чудесной, почти сказочной картины. Я сидел на маленьком островке в своем тесном шалаше и, затаив дыхание, слушал и наблюдал. Изогнув длинные шеи, лебеди близко плавали вокруг островка. Разумеется, я забыл о ружье и любовался невиданным зрелищем, напоминавшим мне дивные пушкинские сказки. Не замечая меня, лебеди плавали, купались, переговаривались, и я мог близко наблюдать этих чудесных птиц. Я долго не выходил из шалаша, пока по какому-то знаку, шумя крыльями, брызгая водою, лебеди вдруг стали подниматься и, собравшись в стаю, потянули дальше на север. Я остался с моей подсадной уткой и уже больше ничем не интересовался.

На всей земле вряд ли есть птицы красивее наших северных лебедей. Весною и осенью пролетных лебедей можно видеть у берегов Финского залива под Ленинградом, где иной раз они собираются в большие стаи. Недаром одно из рыбацких селений на берегу залива и теперь называется Лебяжьем. Над берегом моря прелегает воздушный путь птиц. В темные ночи лебеди пролетают над освещенными городами, над широкой Невою и Ладожским озером.

Некогда, уже в давние времена, путешествуя по пустынному Заонежью, где еще не было проезжих дорог, а нетронутые топором и пилою старые деревья умирали своей естественной смертью, на маленьких и

больших лесных озерах я не раз любовался гнездившимися там лебедями. Вечером по узкой лесной тропинке я подходил к древней Даниловской Пустыни, где в петровские времена скрывались от гонений раскольники-староверы. Надо мной высились огромные мертвые, пропитанные смолою сосны с сухими сучьями, обломанными ветрами. Как в настоящей сказке, над самой моей головой бесшумно пролетали огромные филины с кошачьими круглыми головами. Я долго бродил по Заонежью, любуясь древними шатровыми церквушками, расписными могильными крестиками на старых кладбищах, лебяжьими чистыми озерами, встречался с людьми, помнившими старинные русские песни и сказки.

Жители Заонежья, еще сохранявшие быт и уклад старинной жизни, любовно рассказывали мне о лебедях, о привязанности их к родным озеркам, что на каждом озерке живет лишь одна пара лебедей и что других лебедей на свое озерко они не пускают. Рассказывали и о супружеской верности лебедей, о том, что, если один лебедь погибнет, другой никогда его не забывает и долго печально кружит над родным озерком. Лесные жители-охотники никогда не стреляют прекрасных лебедей, считая убийство лебедя большим грехом. Рука не поднималась и у меня на прекрасную сказочную птицу, и за всю мою охотничью жизнь я не сделал ни одного выстрела по лебедям.

Прилет лебедей доводилось мне наблюдать и на далеком Севере, в Лапландском заповеднике, куда они прилетели в самом начале северной поздней весны. Они грациозно плавали в первых открывшихся полыньях, иногда выходили на покрытый снегом лед, теряя свою грациозность. Весною я один жил в маленьком домике на берегу озера Чуна и всякий день любовался плававшими в полынье лебедями. Сотрудники заповедника в начале лета находили гнезда лебедей, расположенные в скрытых местах на кочках и островках, окруженных водою. Открытое людьми гнездо лебеди иногда покидали. Молодые подрастающие лебеди непохожи на взрослых лебедей. Они покрыты сероватым оперением и не так грациозны.

На птичьих зимовках у Ленкорани зимою я наблюдал много лебедей, спокойно плававших по широкому птичьему заливу. В районе заповедника лебеди почти не боялись людей. Молодые, еще не совсем побелевшие лебедята жались к береговым отмелям, мешаясь с другими бесчисленными птицами.

На самый дальний Север, на озера полярной тундры, лебеди не долетают. Они гнездятся лишь на лесных закрытых таежных глухих озерах.

Недалеко от Ленинграда, у восточной части Ладожского озера, я знал небольшое глухое лесное озерко, на котором из года в год гнездилась пара лебедей. К сожалению, эту пару убили безжалостные охотники-браконьеры, и лебедей я больше там не видел.

Ласточки и стрижи

Еще в детстве я очень любил смотреть на веселых быстрокрылых ласточек. Спрячешься, бывало, в жаркий июльский день в высокой дозревающей ржи или на берегу реки в душистой траве посреди нескошенного цветущего луга, глядишь не наглядишься на голубое летнее небо, по которому тихо плывут пушистые белые облака. Высоко-высоко под облаками кружат, купаются в воздухе белогрудые быстрые ласточки, со звонким свистом проносятся острокрылые стрижи.

Качаются над головою золотые и белые луговые цветы, порхают

бабочки, трепещут прозрачными крылышками, недвижно повисая в воздухе, легкие стрекозы, стрекохут кузнечики. А по зеленым стеблям растений ползают красные и желтые с черными крапинками маленькие жучки—божьи коровки. У самых корней растений пробегают по невидимым тропинкам хлопотливые муравьи.

Каждое лето под высоким карнизом дома, в котором проходило мое детство, белогрудые веселые ласточки лепили свои гнезда. Я внимательно наблюдал, как с краев непросохшей лужи носят они в клювах липкую грязь, клеят из нее свои маленькие и опрятные жилища. Любовался потом, как выводят и кормят птенцов. Проснешься на сеновале, где под соломенной крышей на деревянных стропилах касатки слепили из грязи свои открытые, похожие на чашечки гнезда. Нырряя в ворота, над самую голову, то и дело пролетают длиннохвостые птички. Я близко видел, как, уцепившись за край гнезда, они кормят своих детей, приветствующих родителей веселым и бодрым писком.

Всем, наверное, хорошо известно, что есть ласточки городские и ласточки деревенские — касатки. Жизнь ласточек связана с жизнью человека. Городские белогрудые ласточки лепят свои уютные закрытые гнездышки под карнизами каменных и деревянных домов. Ласточки-касатки гнездятся под крышами деревянных сараев, хлевов и овинов. Свои открытые, слепленные из грязи гнезда они прикрепляют к деревянным стропилам, к выступам деревянных стен и крыш. Ласточки-касатки ловко ныряют в открытые ворота и двери, в открытые окна пустующих старых построек. И городские и деревенские ласточки-касатки питаются исключительно насекомыми. Почти всю свою жизнь проводят они в воздухе — в полете. Широким своим ртом они ловко ловят летающих насекомых.

Особенно красивы деревенские ласточки-касатки. Хвост касатки украшен двумя длинными косицами. Ласточки-касатки умеют красиво петь. Усядется касатка на конец крыши, потряхивая длинными косицами, начинает щебетать свою несложную, но очень приятную песенку. Помню, песенку эту, добродушно посмеиваясь над женами, деревенские люди так переводили на человеческий язык:

Мужики в поле, мужики в поле —
Бабы — за яшенку...
Мужики в поле, мужики в поле —
Бабы — за яшенку...

Городские ласточки живут не только в городах, где много каменных домов и построек. Живут они и в деревнях вместе с ласточками-касатками. Между собою ласточки живут в большой дружбе, никогда не ссорятся, никогда не мешают друг дружке строить свои гнезда. Случается, что в гнездо ласточки заберется нахал воробей. Ласточки беспокойно вьются вокруг гнезда, стараясь выгнать незваного жильца. Иногда они бросают занятое воробьями гнездо и начинают лепить другое рядом.

Перед переменой погоды, перед грозой ласточки-касатки летают низко над землей. Идешь по дороге в поле — над самой дорогой быстро проносятся, лоя у земли насекомых, длиннохвостые ласточки-касатки. Часто можно видеть ласточек, летающих над самой поверхностью пруда или широкой спокойной реки. Своей грудкой они касаются воды, оставляя на ней расплывающиеся кружки. Так они купаются и пьют на лету воду. Я не знаю птичек милее наших ласточек. Быстрым полетом своим они оживляют дождливое хмурое или ясное летнее небо. Люди издавна относились к ласточкам с любовью, дали им ласкательное имя.

Кроме городских и деревенских ласточек, есть еще у нас ласточки-береговушки. Эти ласточки делают свои гнезда в береговых песчаных

крутых откосах, роют в них глубокие норы. Ласточки-береговушки обычно летают над самой водой. От обыкновенных городских ласточек и ласточек-касаток их можно отличить по сероватому оперению.

Зимуют ласточки в далекой Экваториальной Африке и каждый год возвращаются на свою родину. В конце лета, перед отлетом, они собираются в небольшие стайки, их можно видеть сидящими на телефонных и телеграфных проволочных проводах, на голых, склонившихся над водой сучьях. Возвращаются ласточки на свою родину позднее других перелетных птиц. «Ласточка на своем хвосте лето приносит»,— говорили, бывало, на деревне.

Помню, еще в далеком детстве увидел я однажды над крышею нашего дома, стоявшего среди большого леса, метавшихся в беспокойстве ласточек. Они то садились на крышу, то взлетали. Ясно было, что там что-то случилось. Приятель мой — пастушок Сашка забрался на крышу и увидел, что одна белогрудая птичка застряла лапкой в расщепе деревянной крыши. Другие ласточки беспокоились, старались ее спасти. Сашка снял с крыши застрявшую ласточку, спустил вниз. Мы увидели, что одна лапка сломана, беспомощно висит. Я перевязал тряпочкой лапку, положил ласточку в коробку, наполненную мягкой ватой. Некоторое время эта ласточка жила у меня, потом выпорхнула в окно, и я часто видел ее с повисшей, перевязанной мною сломанной лапкой, когда она подлетала к своему гнезду. Самое удивительное, что эта ласточка на следующее лето вернулась. Я узнал ее по сломанной висевшей лапке. Трудно понять, как многие перелетные птицы, в том числе и ласточки, находят путь к своим старым гнездам. Над лесами, над морями, над высокими горами, над обширной степью они пролетают многие тысячи верст, безошибочно находят место, где когда-то сами родились.

Кроме всем нам знакомых ласточек, городских и деревенских, можно наблюдать летом в небе быстро летающих черных стрижей. Эти длиннокрылые черные птички, со свистом летающие над нашими головами, также всю жизнь проводят в воздухе, на землю никогда не садятся. Если пойманного длиннокрылого стрижа посадить на голую землю, он не может взлететь. На коротеньких своих лапках стриж не умеет ходить по земле.

Обычно стрижи живут на высоких церковных колокольнях, на каменных зданиях и высоких деревьях. Чтобы взлететь, стриж падает в воздух из своего гнезда или с высокого карниза, расправляет в воздухе крылья и быстро, стремительно летит. Известно, что стрижи — самые быстрые птицы. Соперников в быстроте полета они не имеют. Прилетают к нам стрижи еще позднее ласточек, а в конце лета исчезают в один день, точно по данной кем-то команде.

Дергач

Почти все лето возле нашего домика на клеверном поле кричал дергач-коростель. По ночам я выходил на дорогу слушать его бодрый крик. Случалось, я подходил совсем близко. Влажный хриплый крик раздавался почти у самых ног. Я долго слушал громко звучащий в ночной тишине крик дергача, думал, что такой же крик, наверное, раздавался тысячу и десять тысяч лет назад, быть может, и в те времена, когда еще не было на земле человека.

Звездное небо широким шатром простиралось над моей головой. Казалось, я слышал живое дыхание земли. Я смотрел на звезды, на их тихий свет, и радостное чувство близости к матери-земле наполняло меня.

В хриплом крике дергача есть что-то гордое. Всю ночь дергач кричит неустанно, прославляя земное бытие. Я всегда любил этот с детства знакомый мне бодрый крик. Теперь вспоминаю росистое раннее утро, легкий туман, расстелившийся над лугами, крик дергачей. Вспоминаю мое детство, журчание чистой воды в маленькой речке, звуки пастушьей трубы пастуха Прокопа, выгоняющего на росу деревенское стадо. Вспоминаю восход солнца, пение птиц, торжественным гимном встречающих этот восход.

Из множества звуков земли крик скрытного дергача казался мне самым таинственным, сказочным звуком.

Редко кому удается близко увидеть быстроногого юркого дергача, живущего в некоси — высокой нескошенной траве — или в мелких зеленых кустарниках. Даже охотничьей легавой собаке не всегда удается заставить взлететь юркого дергача.

Летает дергач неумело. Смотришь, бывало, на летящего над травой дергача, на его вытянутую шею, висящие длинные ноги, короткий хвост и удивляешься неловкому его полету. О коростелях-дергачах рассказывают, будто весною и осенью они пешком совершают далекие путешествия. Осенью убегают в жаркие страны и весной возвращаются в родные края. Не очень верю таким рассказам, да и трудно поверить, что небольшая быстроногая птица может пешком добежать до берегов знойной Африки. Никто никогда не видел отлетающих на юг дергачей. Наверное, далекие путешествия свои совершают они в темные ночи, бесшумно и низко летя над землей.

У русского коренного человека, жизнь которого была связана с родной землей и ее живой природой, ночной мирный крик дергача неизменно вызывает поэтическое и радостное чувство.

Голуби

Сознаюсь — не очень люблю городских сизяков-голубей, под ногами прохожих ползающих по грязным асфальтовым тротуарам. Городские сизяки-голуби пачкают фасады домов, красивые памятники, которые приходится ограждать от них металлической сеткой. Городские голуби не умеют сами добывать себе корм, питаются подаянием. Никогда не садятся они на сучья зеленых деревьев. Сизяки-голуби не умеют ладить и вить опрятные гнезда, как это делают лесные вольные птицы. Свое некрасивое гнездо нередко устраивают под карнизом каменного дома на куче собственного затвердевшего помета. Здесь они выводят птенцов. Под рыхлым оперением городских голубей-сизяков кишат паразиты. Милее мне шустрый, бойкий воробей, не нуждающийся в подаяниях сердобольных старушек. Воробей умеет строить опрятное гнездо, сам добывает себе корм, садится на сучья зеленых деревьев. Повсюду следуя за человеком, воробьи остаются проворны и умны, уничтожают вредных насекомых, приносят пользу.

Разумеется, есть красивые, породистые голуби, которых любители голубиной охоты содержат в голубятнях, устроенных над крышами домов. Я не раз любовался полетом голубей-турманов, кувыркавшихся высоко в небе, совершавших там красивые мертвые петли. Любители голубиной охоты нередко устраивают соревнования между голубями.

Разводили и держали некогда почтовых голубей, заменявших в давние времена беспроволочный телеграф. Отвезенный даже на большое расстояние, за сотни километров, выпущенный почтовый голубь безошибочно находил путь к своей голубятне. Почтовыми голубями пользовались для пересылки срочных военных донесений. Их держали в осажден-

ных врагами крепостях, чтобы поддерживать связь со своими войсками. Породистые ручные белоснежные голуби в прошлые времена были живой изящной игрушкой для их владельцев.

Но как хороши, сильны и гордо красивы дикие голуби-витютни, живущие в наших лесах и полях на приволье! Редко удается близко наблюдать витютней — так они чутки и осторожны. На самых высоких деревьях вьют дикие голуби свои гнезда. В наши среднерусские леса, вместе с другими перелетными птицами, дикие голуби возвращаются ранней весной. Еще лежит белыми пятнами в лесу снег, а уже далеко слышно трубное воркованье диких голубей-витютней. Возвращаясь, бывало, ранним утром с глухариного тока, поднимается солнце, озаряя макушки высоких деревьев. Многоголосое, радостное слышится пение птиц. Свистят дрозды, заливаются над пробудившейся землей жаворонки, кукуют и перехохатываются в лесу кукушки. А гулче всех, всех призывнее раздается трубный голос дикого голубя-витютня. Подойдешь тихонько к высокой сосне, в самое небо раскинувшей свою зеленую вершину, присядешь на пень. В недосыгаемой вышине, весь в золотых лучах, радостно, трубно воркует витютень, приветствуя восход солнца.

В самом облике дикого голубя нет ничего общего с обликом городского голубя-сизяка. Голубь-витютень значительно крупнее, плотное оперение его красивого песчано-золотистого цвета. Трепетен и стремительно быстр его взлет. Идешь по лесу и вздрогнешь. Совсем рядом слышался громкий всплеск сильных крыльев, на мгновение увидишь кормившегося на земле дикого голубя, быстро исчезающего в зеленых макушках высоких деревьев. В конце лета диких голубей можно наблюдать на убранных хлебных полях, где они подбирают рассыпавшиеся из колосьев зерна. Собираясь к осеннему отлету, дикие голуби табуняются, полет их стремителен. Что-то гордое, сильное есть в облике вольного дикого голубя.

Кроме вяхирей-витютней, в средней России можно наблюдать небольших диких голубей, которых ласково называют в народе горлинками. Живут горлинки по опушкам наших березовых рош и зеленых дубрав. Нежное, приятное воркованье горлинок можно слышать весной и летом. Полет их легок и быстр. Особенно любят горлинки дубравы, покрытые зелеными плотными листьями дубы, на которых вьют свои гнезда.

Жизнь голубей диких, каждый год совершающих далекие воздушные путешествия, непохожа на домоседную жизнь городского голубя-сизяка. Несомненно, для многих художников прообразом голубя, вещающего людям мир и свободу, был дикий голубь, вольно и смело живущий в природе.

Цапли

Лето мы проводили на берегу глухой и очень рыбной небольшой реки Жиздры. В старинном сосновом бору там сохранилась большая колония цапель. В отличие от журавлей, живущих на глухих, недоступных болотах, цапли обычно гнездятся у берегов рек. Широкие, сплетенные из толстых прутьев гнезда цапли устраивали на самых высоких вершинах вековых сосен. Сколько лет существовала здесь колония цапель? Наверное, еще в давние времена стали селиться в сосновом бору цапли. Под высокими соснами, на которых жили цапли, скопилось много птичьего известкового помета.

Летом взрослые цапли улетали на реку ловить рыбу, приносили из леса в гнезда птенцам живых ужей, которыми изобилывала местность. Я часто видел на берегу реки цапель, неподвижно стоявших над бегу-

чей водою. Они терпеливо ждали добычу. При появлении лодки или идущего по берегу человека лениво взмахивали широкими крыльями и неторопливо отлетали на другое укромное место. В отличие от журавлей цапли плохо привыкают к человеку. Держать их в неволе не доставляет никакого удовольствия.

Однажды в бурную ветреную погоду из гнезда выпал оперившийся, но еще не умеющий летать птенец, почти ничем не отличавшийся от взрослых птиц. Я поймал этого птенца и, осторожно держа за длинный, острый, как шило, клюв, принес домой. Золотистые глаза молодой цапли казались недобрыми. Рукою я придерживал клюв пойманной цапли, опасаясь, что она может выколоть мне глаз. Молодую цаплю я устроил на небольшой застекленной веранде, где в одном углу на охапке сена помещалась моя легавая собака, коричневый пойнтер Фрам. Устроенная в другом углу цапля, казалось, ни малейшего внимания не обращала на Фрама. Она скоро привыкла к своему новому обиталищу и охотно глотала мелкую рыбешку, которую я приносил.

Когда Фраму в глиняной чашке приносили корм и он начинал обгладывать кости, повторялась смешная картина: цапля медленно выходила из своего угла и, не торопясь, направлялась к Фраму. Боже мой, что делалось с бедным Фрамом! Он поднимал на спине шерсть, грозно оскалывал зубы, рычал и лаял. Не обращая ни малейшего внимания на Фрама, цапля медленно приближалась к нему, внимательно осматривала чашку, разбросанные на полу кости, поворачивалась и так же медленно возвращалась в свой угол. Я недолго держал у себя злую цаплю, опасаясь, что она может поранить доверчиво подходивших к ней детей, выпустил ее на волю. Окрепшая молодая цапля взмахнула широкими крыльями, поднялась над деревьями и скоро исчезла.

Мы долго вспоминали цаплю, злые ее глаза, а добродушный Фрам продолжал поглядывать в опустевший угол, из которого к нему подходила недобрая, пугавшая его цапля.

Клесты

Из всех певчих птиц русского леса, пожалуй, самые интересные — клесты. Идешь, бывало, зимою на лыжах по тихому лесу, любишься сказочной его красотой. Высятся над головой темные ели, снежной белой навесью покрыты их ветви. Точно кружевные ворота, изогнулись под тяжестью снега тонкие стволы молодых берез. Зимнее низкое солнце освещает вершины деревьев. Почти ни единого звука не слышно в спящем зимнем лесу. Изредка простучит, перепорхнет меж стволами деревьев неумолимый труженик — дятел. С широкой еловой ветви упадет, алмазной пылью рассыплется ком легкого снега, закачается над головой точно ожившая, освобожденная от тяжести темно-зеленая ветвь. Тихо шуршат по пушистому снегу легкие лыжи. И еще безмолвнее кажется зимний лес.

Лесную тишину нарушат вдруг веселые негромкие птичьи голоса. Стайка клестов пронеслась над головою, красными яркими бусами обсыпала вершину украшенной лиловыми шишками ели. Удивительно красивы эти красногрудые птички, оживляющие тишину зимнего леса! Стоишь и любишься, как быстро и ловко теребят они тяжелые шишки, добывая из них семена. Одна за другой падают в снег растрепанные клестами шишки.

Замечательны клесты тем, что из всех зимующих в наших лесах птиц они вьют свои гнезда зимою и в лютую январскую и февральскую стужу выводят в этих гнездах птенцов. Зимнее теплое гнездо клестов грудно

увидеть: гнезда эти обычно скрыты в густых ветвях хвойных деревьев. Во время кладки яиц и высидывания птенцов самки клестов не вылетают из своих теплых, глубоких гнезд. Самец заботливо кормит сидящую в гнезде самку. Усевшись на вершине дерева, на котором свито гнездо, он улаживает свою подругу короткой веселой песенкой.

Однажды при мне лесорубы свалили зимой в лесу высокую ветвистую елку. Над поваленной елкой и головами людей беспокойно кружилась парочка клестов. Осмотрев хорошенько поваленную елку, в густых ее ветвях, у самого ствола, я увидел глубокое гнездо клестов. На мягкой и теплой подстилке в нем лежали три маленьких яичка. Жалко было кружившихся над людьми и поваленной елкой трудолюбивых маленьких птичек. Жалко было и поваленную зеленую красивую елку, дававшую приют клестам. Зимой единственный корм клестов — еловые и сосновые семена, которые они ловко добывают из шишек своим крестообразно устроенным клювом, немного похожим на клюв попугая.

Мне не приходилось держать в клетке веселых красивых клестов, но от опытных людей знаю хорошо, что в неволе клесты быстро привыкают к своему хозяину — человеку. Живущих в клетке клестов можно брать в руки. Подобно попугаям, они любят, когда хозяин легонько гладит пальцем по их маленькой головке. Клестам ежедневно подкладывают в клетку свежие еловые шишки, и на глазах своего хозяина они быстро расправляются с ними, выбирая из шишек легкие семена. Ручных клестов можно кормить и другими семенами, но, живя в неволе, самцы быстро теряют свою яркую, красивую окраску.

Наблюдательные люди давно заметили, что мертвые клесты, всю жизнь питавшиеся смолистыми семенами, долго не разлагаются. Тело мертвого клеста как бы набальзамировано смолой. Некогда простые люди считали клестов птицами святыми. Это народное поверие подтверждалось крестообразно устроенным клювом клеста.

Живущих в наших хвойных лесах веселых клестов разделяют на две породы. Есть клесты-еловики, живущие в еловых лесах, и есть клесты-сосновики, обитающие в высоких сосновых борах. Клесты-сосновики успешно справляются с крепкими сосновыми шишками, добывая из них семена.

Если вам придется побывать зимою в глухом еловом или сосновом лесу, вы почти наверняка увидите веселые стайки красивых клестов, услышите их приятные и тихие голоса. Разумеется, в лесу нужно ходить тихо и осторожно, прислушиваясь к каждому звуку, и тогда перед вами откроется много чудесных лесных тайн, совсем неизвестных городскому неопытному, оглушенному шумом и грохотом человеку.

Поползень

Сегодня к нам в форточку влетел поползень, небольшая, очень шустрая и смелая птичка. Несколько раз она пролетала над столом, где мы пили наш утренний чай. Моя жена Лидия Ивановна встревожилась. Ей казалось, что влетевший поползень, испугавшись людей, станет биться о стекла окон. Но он, не обращая на нас внимания, спокойно перелетал из угла в угол, обследуя наше зимнее жилище. Кто знает — в наше отсутствие, быть может, он уже не раз бывал внутри лесного домика и хорошо знал расположение комнат. Перелетая с места на место, он пробрался в маленькую кухню, где на полу были рассыпаны хлебные крошки, стал спокойно кормиться.

— Погляди, какая смелая птичка,— сказала жена, с удивлением глядя на храброго поползня.

Поползень долго оставался внутри нашего жилища, и мы не заметили, как и когда улетел он на волю в открытую форточку. Улетая, он оставил на память нам на чистой обеденной скатерти стола небольшую кучку помета. Жена, разумеется, рассердилась на невоспитанного поползня, ей пришлось замывать небольшое на скатерти пятнышко, но ее неудовольствие скоро сменилось желанием еще раз увидеть милого гостя.

Наверное, не все видели и знают эту небольшую, бойкую и очень веселую птичку. Поползни похожи на синиц и немного на дятлов. Можно наблюдать, как проворно ползают они по стволам деревьев, нередко вниз головою. Зимой, так же как синицы, они прибывают к человеческому жилью, живут в старых парках, в садах, возле протоптанных людьми дорожек. Я очень любил наблюдать ловких поползней, замечательных гимнастов. Подобно дятлам, они иногда начинают долбить кору деревьев. Стукотня поползня значительно тише громкой стукотни пестрого или черного дятла, издалека ее невозможно услышать.

Как-то зимою я устроил кормушку под самым окном нашего лесного домика. На кормушку каждый день слетались синицы и другие лесные птицы. Всякий раз неизменно появлялся и поползень. Он бесцеремонно разгонял синиц, усаживался на стволе дерева, казалось, гордился тем, что маленькие птички его боятся. Никакого вреда лесным птичкам поползень, впрочем, не причинял. С таким же удовольствием клевал приготовленный для птичек корм и, пообедав в одиночестве, улетал в лес.

Поползней, пожалуй, нельзя считать певчими птицами. Только ранней весной, когда поползни собираются жить семейно, самец поет свою несложную песенку, похожую на обыкновенный свист.

Мне никогда не приходилось держать поползней в клетке, но я не сомневаюсь, что они быстро привыкают к человеку и могут жить с ним в большой дружбе.

Поползень, несомненно, очень умная и полезная птичка. Так же как дятлы, поползни в лесу уничтожают вредных насекомых, забравшихся в щели древесной коры. Я всегда очень радуюсь, когда маленькие птички залетают в наш лесной домик, считаю их моими добрыми желанными гостями. Разумеется, мы стараемся не делать резких движений, чтобы не пугать наших лесных гостей.

Если вам придется зимою или ранней весной побывать в лесу или пригородном парке, приглядывайтесь хорошенько, и вам, наверное, удастся увидеть поползней, прыгающих по натоптаным дорожкам или ползающих по стволам ближних деревьев.



МАРИС ЧАКЛАЙС

★

ПОСТУПЬ

С латышского

*:**

По вечерам мельканье птиц
мимо окна ловлю,
как вычитание из нас
по дню,
по дню,
по дню.

Но забывается, о чем
ты тосковал в ночах,—
осколки солнца видишь ты
на выгнутых крылах.

И яблони через забор,
как тесто — из квашни.
Еще одну весну цветы
прозрачны и влажны.

Но вот осенний звон, но вот
стук яблок о крыльцо.
Но ствол наращивает в год
кольцо,
кольцо,
кольцо.

КАК СПЯТ ДЕТИ

Взгляните ночью,
невзначай взгляните ночью —
так дети спят,
что становится мировая война невозможной.

Руками обхватив
своих трусливых зайцев, храбрых мишек,
иль обхватив любимый
край подушки,
разметавшись, ножки разбросав,

в самых невообразимых позах спят
дети.

Это улыбка
ушедшего дня
или будущая боль
грядущего?
Кто знает,

но в уголках губ
присела пичуга —
нежные крылья спокойного сна.

Так доверчиво
спят дети,
что становится невозможной мировая
война.

И вообще любая война.

И поэтому
еще ужасней
ее возможность.

ОСЕННЕЙ НОЧЬЮ

Тмин позавчера осыпал свои семена,
вчера по холмам дети
несли желтые головы подсолнечников,
но сегодня ночью
ветер пришел
выстлать красными
листьями двор.

Что ты расскажешь нам, ночь?

Осенний ветер шумит, как и прошлой осенью,
и так же шумит наша кровь,
наши мысли, река и тростник.

Что ты расскажешь нам, ночь?

Расскажи, куда ушел поезд,
который кричал только что на вокзале?
Расскажи о кленах,
которые сбрасывают листья, как грусть.
Расскажи обо всем, что меняется и течет,
но не говори нам, ночь, о зиме.

Говорят —
из птиц, которые не улетают,
выживает каждая десятая.

Ночь, не говори нам о зиме, ночи!

В ЧАС ВОРОВ

В час воров, когда воры спят,
мир дышит дыханием лошади,
милым глупым прошедшим,

в час воров, когда воры спят,
земля ощущает свою тленность,
жизнь — свою пульсирующую краткость,

в час воров, когда воры спят,
я однажды украл тебя у тебя.
Каждый раз, когда я тебя люблю,
я краду тебя у тупой боли,

в час воров, когда воры спят,
сквозь пальцы мои твои волосы льются
и уплывают цвести пшеницей,—

это музыка, единственно способная удержать
время и пространство и нас в этом времени
и пространстве —

эту счастливую возможность,
одну из сотен, одну из тысяч.

Перевел Петр Вегин.



А. КУРГАТНИКОВ

★

НА ФАКУЛЬТЕТЕ

Рассказ

— **М**огу вам сказать только одно: если вы будете так же отвечать на экзамене, я не гарантирую даже тройки. Вам прекрасно известно, что к экзамену по языку за три дня не подготовишься; в году вы не работали, и вы это отлично знаете, так что теперь извольте расхлебывать сами, вы люди взрослые в конце концов!

У Егоровой в глазах стояли слезы — ее основное экзаменационное оружие; Сорокин угрюмо смотрел в окно. И с какой стати его понесло на языковое отделение? Ни склонности, ни данных; в двадцать с лишним можно бы составить более трезвое представление о себе самом.

Я бросила в сумку книжки, по которым они сдавали домашнее чтение, и вышла из аудитории. Целый год воевала с этими двумя остолопами. Исключили бы их после первого семестра — полгода сберегли бы. И им и мне. Но Камилла Анатольевна твердо убеждена, что Сорокин — способный мальчик (мальчик!), его только лень губит. Лень — одна из форм неспособности, по крайней мере в языке. Но у него дело даже не в лени, а просто в элементарной тупости.

Коридор красили. Ремонты всегда совпадают с весенней сессией, когда факультет и без того весь в суете. Под потолком летали, сбрасывая брызги, малярные кисти, на самом проходе торчали стояки, хлопали доски, навстречу друг другу двигались потоки людей; один из потоков вынес меня на площадку, и я остановилась у зеркала. Не понимаю, чего ради я надела сегодня эту кофту и вообще зачем я ее купила; у меня в ней какой-то подозрительно молодящийся вид. Особенно эти розовенькие пуговицы под перламутр.

У меня было «окно» — среда (мой самый неудачный день, весь разбит), и я решила пойти в буфет. Поправляя волосы, я увидела в зеркале Камиллу Анатольевну. Медленно и величественно сходила она по ступенькам, занимая все пространство между перилами и стеной не столько даже своей фигурой, достаточно, впрочем, полной и крупной, сколько излучаемой ею и почти материализовавшейся важностью и значительностью.

Какой-то первокурсник, еще совсем зеленый, школьного вида — не с нашего отделения, наш бы не решился, — попробовал обойти ее сначала с одного боку, потом с другого; пространства вроде хватало, но что-то не пускало его, и, смирившись, он поплелся сзади.

На резком, все еще красивом лице Камиллы затвердело выражение строгой озабоченности, этому выражению вполне отвечали серый английский костюм и белая блузка с твердым черным бантиком; английский костюм и блузка так и остались для Камиллы образцом акаде-

мической элегантности; сколько я ее помню — а помню я ее, слава богу, уже лет двадцать пять, — она всегда появляется на факультете в этой форме. Когда я поступала, наше отделение только закладывалось, вернее она его закладывала, и с тех пор неизменно им руководит. Я обернулась, поздоровалась.

— Верочка, милая, здравствуйте. — Она взяла меня под руку. — Вы мне ужасно нужны. Я сегодня всю ночь не сомкнула глаз. Представьте, звонит мне и говорит: «Камилла Анатольевна, в таком случае нам придется обратиться к горьковчанам». Нет, вы подумайте! Я ему сказала: «Как хотите. Больше специалистов мы вам дать не можем». Он очень приятный молодой человек, такой внимательный, он был ко мне так внимателен, когда я ездила в министерство. На совещании мы сидим, и он говорит: «Ваш учебник невозможно достать. Второе издание совершенно необходимо. Это насущная необходимость». Боже мой, я лучше кого бы то ни было знаю, что это насущная необходимость. Но я же не полиграфист, в самом деле.

Я догадалась, что «он» — представитель министерства, который приехал к нам по поводу распределения, и сказала, что, по-моему, министерство предлагает нашим выпускникам отличные места и было бы непростительно их прозевать. Впрочем, я это уже говорила.

— И вы тоже так думаете, Верочка? Боже мой, все мне твердят одно и то же. Разумеется, я могу ошибаться, вы же знаете, я никогда ничего не решаю единолично; но у этого выпуска такие блестящие перспективы.

Я знала, что Камилла просто пыжится, набивает цену, но в результате представитель министерства и вправду мог обратиться в другое место и наши выпускники остались бы с носом. Я боялась, что так и получится.

— Разумеется, я еще ничего окончательно не сказала. Я просто не хотела сразу давать согласие. — Она высоко подняла брови и округлила глаза. — Права я или не права, как вы считаете?

У Камиллы две манеры держаться — царственно-холодная и царственно-милая. Сейчас она была царственно-милой.

— Как ваше горло, Верочка? Сегодня такой резкий ветер. Вы должны следить за собой, мы все должны следить за собой. Представьте, что будет, если мы все свалимся?

Я поняла, что сейчас последует что-нибудь, с чем, она знает, я не согласна. Собственно, не что-нибудь, а разговоры о том, что в аспирантуру надо брать не Тарасова, а Белявского.

Почему надо взять в аспирантуру Тарасова, я знаю. Потому что он прирожденный лингвист. Потому что все пять лет он не просто делал все, что полагается по программе, и прекрасно делал, а он делал еще многое сверх всяких программ, и тоже прекрасно делал. Потому что для него аспирантура — не ступенька, не лестное звание, а возможность работать, делать то, что он любит и умеет.

Почему нужно брать Белявского, я не знаю. Вернее, знаю, но мне противно об этом думать.

— ...Мы все страдаем склонностью преувеличивать. Все. И я тоже, я тоже. Нет, поймите меня правильно, я сознаю, что виновата не меньше других. Мы должны быть предельно строги к себе. Пре-дель-но. Тарасов, ну что — Тарасов? — Камилла вытянула перед собой ладони и качнула ими, словно взвешивая Тарасова. — Тарасов не лишен способностей, но мы их, безусловно, преувеличили. И он распустился. Распустился! — повторила она, опять вздернув брови и округлив глаза с видом человека, только что открывшего истину. — Верочка, милая, мы должны смотреть вперед. Дело не только в том, какой студент, дело в

том, какой человек. Человек, вы поймите, че-ло-век. У Белявского авторитет на курсе. Он прекрасно держится, вообще на него можно положиться. Студент, который рисует на лекциях, который смотрит в сторону, когда с ним говорят...

Дело, конечно, не в том, что Тарасов рисует на лекциях. Я достаточно хорошо знаю старуху: она ищет себе какое-то эмоциональное оправдание, ищет, за что бы Тарасова пообоснованнее невзлюбить. И все-таки почему его не предупредили, что нельзя на ее лекциях рисовать? У нее мания — думает, что все рисуют на нее карикатуры. А у него действительно привычка циркать на полях. Совершенно автоматическая, я еще на первом курсе заметила.

Камилла Анатольевна говорила и говорила, тон ее из непринужденно-доверительного становился обиженным, почти капризным, потом категорически утверждающим, даже негодующе-удивленным; я чувствовала, как на суть дела наматывается плотный клубок словесной чепухи; наконец она перевела дыхание, и тут я успела втиснуть:

— Камилла Анатольевна, вам мое мнение известно, я его не изменила.

Камилла Анатольевна мученически вздохнула.

— Вера Антоновна, вы прекрасно знаете, свою точку зрения я никому не навязываю. Никогда и никому. Во всяком случае тем, кто не хочет меня верно понять. Кстати, вы не забыли, что сегодня секция? Нам необходимо обсудить массу вопросов. И, пожалуйста, чтобы все отчеты по курсам были подготовлены.

Камилла оскорбленно повернулась к зеркалу и сочувственно покивала своему отражению, отражение тоже сочувственно покивало ей, удивляясь ее долготерпению и сдержанности. В молодости Камилла Анатольевна была красавицей, я застала ее еще очень эффектно: пожилой женщиной, да и сейчас она выглядит куда моложе своих лет. Я бывала у нее, знаю ее мужа; Камилла — счастливая женщина: Валентин Викторович на редкость славный человек и до сих пор живет в непрерывном обожании красавицы жены и во всем ей покорствуется.

Зеркало умиротворило Камиллу, она сказала:

— Так не забудьте, Верочка, в три секция. — Потом предостерегающе подняла палец: — Только прошу вас — никаких разговоров о Тарасове и Белявском, я твердо убеждена, твердо, что, если вы хорошенько подумаете, вы со мной согласитесь.

Какие разговоры, с кем? Всем все известно. Я пошла в буфет.

В буфете было густо надышано, пахло масляной краской, сардельками. Я стала в очередь. Передо мною стояли два парня, по-видимому, старшекурсники, один, длинный, стриженный ежиком, в глухом. по горло, черном свитере и белых штанах, говорил другому:

— Последнее время я читаю в основном Гераклита, он мне очень много дает, ты не можешь себе представить. Такие вещи надо читать.

— «Все течет, все изменяется»?

— Вот знаешь, ты меня прости, но такое я не могу слышать. К каждому имени — карточка с цитатой. Если Гераклит — «все течет», если Галилей — «она вертится». Вот послушай, я тебе прочту.

Он достал из кармана записную книжку, стал листать. Я тоже знала о Гераклите только, что «все течет», и про реку, мне было интересно. Парень прочел:

— «Тот, кто не ожидает неожиданного, не найдет сокровенного и трудно находимого». «От остальных же людей скрыто то, что они делают, бодрствуя, точно так же, как они свои сны забывают».

— Первое — да, — сказал приятель. — А второе я что-то не понял.

Парень с ежиком стал объяснять, все время перебивая себя и

удивляясь тому, что уже в шестом веке до нашей эры кто-то думал так же, как он. Его удивление мне было понятно, я, помню, испытывала то же, когда обнаруживала, что сто или тысячу лет назад уже «всё знали», но я в таких случаях, пожалуй, огорчалась, что «мое» успели сказать до меня; бескорыстное восхищение парня с ежиком мне нравилось.

Очередь парня с ежиком подошла, он сказал небрежно:

— Мне, как всегда.

— Что «как всегда»? Вы думаете, я вас всех помню? Вас тут тысячи ходят!

Настасья Ивановна не приняла фразу и погубила эффект. Парню с ежиком пришлось объяснить, что он всегда берет тройной черный без сахара. И больше ничего. Его собеседник, румяный, в сером костюмчике, взял кофе с молоком и три пирожка.

Когда я расплачивалась, меня окликнул преподаватель с нашей кафедры Олег Алексеевич Бухвалов и попросил взять кофе и еще что-нибудь на его долю. Олег торопился и, пока я устроивалась, стоя, белыми крепкими зубами отхватил полпирожка, как отрезал.

— Понимаешь,— начал он и, улыбаясь, помотал головой: полпирожка мешали ему говорить,— понимаешь, выскочил на минутку, мои там над контрольной трудятся уже четвертый час; посадил к ним Наташу, чтоб постерегла, и сюда. Боюсь только, Наташа по доброте душевной и в память о собственных недавних мучениях,— (Наташа — наша лаборантка, кончившая в прошлом году),— будет не столько стеречь, сколько консультировать.

Я засмеялась: так оно наверняка и было.

Мы с Олегом друзья со студенческих времен, хотя он был тремя курсами моложе меня. На первом курсе, чуть не в первый же месяц, он, ко всеобщему ужасу, женился; все предрекали скорый развод, но вот уже двадцать лет прошло — и ничего, живут.

Я спросила Олега, читал ли он новую грамматику, о ней было много толков; и он сказал, что это самая заурядная грамматика.

— Кстати,— сказал Олег,— мне тут в одном тексте примеры попались, как раз по твоей теме, занятные. Напомни потом, они у меня в портфеле.

Он еще успел рассказать, что будет тренировать баскетбольную команду в школе дочери, прикончил последний пирожок и убежал; я даже не начала есть — все ждала, пока остынет кофе.

Я глотнула кофе; не сообразила, надо было поговорить о Тарасове с Олегом, он его знает, он их обоих прекрасно знает с первого курса. И курсовые оба у него писали. Хотя что, собственно, говорить. В аспирантуру по нашей специальности берет фактически не факультет, не кафедра, а Камилла Анатольевна. У нее научное имя. Она основала наше отделение. Такие вопросы она вправе решать сама. Во всяком случае не спрашивая нашего мнения. И сегодня на секции мы будем обсуждать все что угодно, кроме того, что действительно следует обсудить.

И тут я подумала: чем толочь воду в ступе, надо хоть раз поговорить о деле. Встану и скажу.

Следующие часы у меня были на третьем этаже, и я отправилась наверх. По пути я остановилась у телефона-автомата, позвонила домой сыну, сказала, что задержусь и где стоит еда. Славка только что отболел ангиной, и я давала ему некоторые общеизвестные наставления, оскорблявшие его пятнадцатилетний жизненный опыт (в ответ слышалось «ну ясно», «понятно», «ну конечно»), когда я почувствовала на своих плечах чьи-то руки.

Я резко обернулась — Моханова.

— Солнышко, какая у тебя кофточка! Нет, я до конца жизни останусь женщиной — не могу смотреть равнодушно на тряпки. Идет потрясающе, это твой оттенок. А шерсть какая мягкая, слушай, нет, это не шерсть, это орлон, да? Веруна, чье это производство? Где достала?

Ее короткие пухлые пальчики щекотали мне шею, нащупывая этикетку за воротом. Я сказала, что кофточка японская, купила в магазине. При этом я снова подумала, что не стоило ее надевать и покупать не стоило.

— Солнышко, она тебя чуть-чуть полнит.— Моханова еще раз обещала вокруг меня.— Но вообще самую капельку, не страшно. И как ты умудряешься доставать такие вещи, у меня семья съедает все время, абсолютно, не только на тряпки — на научную работу не хватает. Тебе хорошо, у тебя хозяйство несложное... Солнышко, ты что на меня так смотришь, я вся в мелу, да?

Я сказала, что она действительно вся в мелу. Она затрепыхала своими короткими пухленькими ручками, отряхиваясь.

Моханова — ненавистный мне человек. Она, наверное, что-то чувствует, но не умеет говорить со мною иначе, чем она привыкла говорить и говорит со всеми.

Значительным шепотом Моханова сообщила, что намечается годичная стажировка во Франции, что того-то и того-то уже оформляют, она с ним говорила, человек совершенно не хочет ехать, а есть люди, которые хотят и заслужили... Во всей повадке Мохановой, в том, как она конспиративно понижает голос, подается вперед, к собеседнику, есть что-то интриганское, когда все определяется не здравым смыслом, не справедливостью, не элементарной логикой наконец, а путаницей внеделовых причин, каких-то побочных соображений, расчетов, связей, чьих-то милостей или немилостей. Я сказала, что мне пора на занятия.

Пятикурсники писали предэкзаменационное сочинение. Я было достала книгу, попыталась читать, но мне не читалось; некоторое время я развлекалась тем, что наблюдала за студентами, размышляя о том, как виден характер каждого студента в манере писать контрольную. Но потом подумала, что все это чепуха, характер если и сказывается, то только одной какой-то своей стороной.

Тарасов кончил, собрал листки, подошел к моему столу, положил, сказал: «До свидания, Вера Антоновна» — и стремительно пошел к двери, маленький, с непроницаемо-решительным и вместе каким-то петушиным видом; у самой двери он обнаружил, что забыл портфель, резко и мгновенно покраснел, вернулся к своему месту, схватил портфель, проворчал еще одно «до свидания» и вышел.

Ему, конечно, известно, что сейчас выбирают между ним и Белявским, это всем известно, и последнее время он стал держаться не так, как раньше. Раньше мы с ним часто разговаривали на переменах и после занятий и на филологические темы, и о жизни вообще. Теперь он старательно избегает этих разговоров и, по-видимому, стремится как можно реже попадаться на глаза преподавателям. Я понимаю, он хочет показать, что вмешиваться не собирается и ничье расположение ему не нужно. Но это часто выходит у него по-мальчишечьи резко, нелепо: вот сейчас с портфелем — чего ему было краснеть, теряться, а ведь, наверное, до сих пор пережевывает эту ерунду.

Сколько раз я твердила Камилле, что нельзя обещать, пока нет полной уверенности: нет, обещает со второго курса, обещает твердо, определенно. По-моему, вообще нельзя такие вещи обещать заранее, тем более мальчишке-второкурснику. Сейчас он, конечно, говорит себе что-нибудь вроде: «Очень не жна мне ваша аспирантура, как-нибудь без нее проживу» — и действительно, может быть, проживет, наверняка прожи-

вет, но в лучшем случае потеряет время, а в худшем... Добро бы места не было, но брать Белявского... Нет, непременно сегодня скажу.

Я начинаю спорить с Камиллой — ответы ее я слышу, слышу вплоть до интонации, — ищу даже не аргументы (аргументов больше чем достаточно), она не то что не может понять — не хочет. А я ищу, чем бы ее пронять. Пусть тридцать лет назад, но написала же она приличную грамматику, стоящий учебник, должна же она понять — и были случаи, когда понимала; были, но давно, чем дальше, тем с ней труднее, теперь становится совсем невозможно.

Прозвенел звонок, я сложила в сумку листки с сочинениями, дождалась, пока Буткевич в четырнадцатый раз перечитает свой увраж, ответила ей, что за грязь снижать не буду и за качество бумаги тоже не буду, а за ошибки буду, и пошла в кабинет нашей кафедры, где мы должны были заседать.

В кабинете было полно народу, и студентов и преподавателей. Я села за стол у окна и занялась сочинениями, поглядывая в сторону двери всякий раз, когда слышала, что она открывается: я надеялась, что появится Олег, мне все-таки хотелось с ним поговорить.

Солнце било прямо в стекло, комната прогрелась, и в душном, спрессовавшемся воздухе особенно утомителен был гул от разговоров. У меня разболелась голова и устали глаза, я вспомнила, как сидела, как будто у этого же самого окна, на заседании кафедры, меня так же немилосердно пекло, я ничего не слышала и все думала, придет муж сегодня или не придет. Он написал, что придет, но я почему-то вбила себе в голову, что он может не приехать, и как на иголках ждала конца заседания. По дороге домой я все время уговаривала себя, что ничего не может произойти, что он придет, но все доводы мгновенно уничтожались моей беспричинной тревогой. Чем ближе к дому я подходила, тем сильнее меня лихорадило. Я не стала открывать дверь своим ключом, а позвонила. Мне открыл муж. Я почувствовала такую радость, словно его приезд был неожиданностью. Это было десять лет назад, за два года до его смерти.

— Вера Антоновна, можно, я к вам подсяду? У вас не занято?

Людочка села рядом со мною, вынула из сумки блокнот и авто-ручку.

— Вера Антоновна, вот посмотрите, я правильно сделала перечень фонетических текстов для второго курса?

На аккуратно разграфленных листах черной тушью были переписаны тексты, которые даются из года в год и существуют на факультете в энном количестве экземпляров.

— Людочка, милая, зачем вы все это переписывали? Дали бы список по заглавиям, если уж кому-то понадобилось. Это же мартышкин труд.

— Я думала, так лучше... Мне Камилла Анатольевна сказала.

Людочка всегда была очень старательна — такая тихая, милая, старательная студентка. Когда она кончила, ее оставили на кафедре, и теперь она так же старательно пишет отчеты, планы научной работы, учебной работы, кураторской работы, линует, разграфляет, заполняет опросные листы, сдает кандидатские экзамены — тихая, милая и неизменно скучная. Раньше в ее старательности было что-то школьное, ребячье, а теперь она как будто непрерывно напоминает, что еще нужно сделать, написать, сдать. Студенты на ее занятия ходят плохо, она пишет рапорты то мне, то Камилле, то в деканат, они, естественно, все равно не ходят. Людочка плачет в кабинете за шкафом, я утешаю ее и при этом думаю, что ей следовало работать в другом месте, где достаточно было бы ее старательности и добросовестности.

Без пяти три пришла Камилла и повела сложные переговоры с лаборанткой Наташей о том, где добыть стулья и как расставить столы, чтобы всем было удобно, а она могла всех видеть. Собрались почти все наши женщины (женщины, потому что из мужчин у нас один Олег).

— А почему я не вижу Бухвалова? И где Анна Кирилловна Некрасова? Кто-нибудь видел сегодня Некрасову?

Вошла Некрасова. Некрасова у нас недавно, до этого она много лет работала переводчиком в отделе технической информации при одном НИИ. Некрасова ведет грамматику-аспект, который мало у кого получается, а у нее получается превосходно. Ей даже внешне идет преподавать, у нее и тип красоты чисто преподавательский: высокая (завидую всем высоким), черты правильные, четкие, темный узел на затылке. Человек она замкнутый, немногословный, но работать с ней легко.

Камилла Анатольевна опустила в глубокое кожаное кресло. Это ее постоянное кресло. оно стоит так, что видно всю комнату, единственное кожаное кресло в кабинете, все в золотых гвоздиках, огромное и торжественное, как трон.

— Наташа, дайте Вере Антоновне чистой бумаги. Боже мой, обо всем нужно напоминать.

Я всегда пишу протоколы: Камилла не любит менять заведенный порядок.

— Анна Кирилловна, сядьте сюда, нет, нет, сюда, пожалуйста, за первый стол, мне вас совсем не видно. Людочка, что вы пишете, все уже давным-давно должно быть написано.

Камилла утомленно прикрыла глаза, потом открыла.

— Ну, теперь, полагаю, я могу начать?— Потом она заговорила:— Товарищи, мы сегодня собрались, чтобы решить, собственно, один вопрос, но это большой вопрос, собственно, ради этого мы трудились весь семестр. Сессия есть сессия, с этим нельзя не согласиться.— Камилла вытянула на подлокотнике руку.— Да тут две стороны одного вопроса, мы должны подготовиться сами и должны подготовить студентов. Кстати, я не понимаю, эта история, почему никто не вмешался — проглядели!— а мне из деканата сообщают, что собираются отчислить Сорокина за непосещаемость. Это и наша вина, товарищи. У мальчика тяжелые обстоятельства...

— Камилла Анатольевна, это в протокол вносить?

— Верочка, нет, конечно. боже мой, просто мы должны написать ходатайство. Мы не можем оставаться равнодушными. Решается судьба человека.

Судьбу этого человека давно следовало решить. Никаких тяжелых обстоятельств у него нет, Камилла по каким-то причинам хочет, чтобы он все-таки кончил; ну, кончит, будет одной бездарностью больше в нашей специальности. И нахальной бездарностью. Все привыкли посмеиваться над речами Камиллы, студенты увешали ее прозвищами, как елку игрушками, мы тоже шутим, спасаем шутками свое самолюбие, а ведь делается-то все так, как она хочет.

Вошел Олег.

— Олег Алексеевич, вы почему опоздали?

— Да там задержали.— Олег неопределенно махнул и сел на стул в закутке между торцом шкафа и дверью. Он всегда садится там, поближе к выходу, и время от времени выскакивает в коридор покурить, это его признанное всеми мужское право.

Камилла Анатольевна поговорила с Сорокине, о лингафонной лаборатории, о том, что студенты пишут без полей, и о дескриптивной грамматике. Я чувствовала, что конца этому не будет, всем надоело, все устали,

в кабинете стоял легкий шелестящий шумок, как бывает в школе на контрольных. Я положила авторучку на лист бумаги — это получилось неожиданно громко — и встала; Камилла как раз сделала паузу.

— Камилла Анатольевна, можно мне?

— Пожалуйста.— Камилла удивленно взглянула на меня и разрешающе повела рукою.

— Я хотела бы, чтобы на этой секции мы обсудили вопрос о том, кто будет рекомендован в аспирантуру — Белявский или Тарасов.

Камилла Анатольевна резко выпрямилась в кресле.

— Боже мой, но какое это имеет отношение к нашему заседанию? Вам следовало ознакомиться с повесткой. Вы сбиваете план работы.

Не знаю, слышали ли другие наш диалог или нет, но шелестящий шумок вроде прекратился. Я продолжала. Я сказала все, что имела сказать, и как будто без эвфемизмов. Когда я говорила, что Тарасов — лучший студент отделения, Камилла все-таки перебила меня.

— Но ведь в последнее время он стал гораздо хуже учиться. Это может подтвердить любой из нас. Анна Кирилловна,— она посмотрела на Некрасову,— вот вы у них ведущий преподаватель, разве вы не находите, что Тарасов очень сдал?

Некрасова слегка пожала плечами:

— У меня Тарасов занимается прекрасно.

— То есть вы хотите сказать, что его надо брать в аспирантуру?

— Я хочу сказать то, что говорю. По моему аспекту он учится не хуже, чем раньше.

Не бог весть какая, но все-таки поддержка. Я закончила и села, перехватив испуганно-удивленный взгляд Людочки.

Камилла Анатольевна тяжело поднялась, всем корпусом повернулась ко мне.

— В конце концов мой опыт позволяет мне судить о том, кого брать в аспирантуру, а кого не брать. Должна сказать, что есть еще люди, которые относятся к моему мнению с уважением, Вера Антоновна...

Сейчас нас определенно слушали все, но все молчали.

— У меня буквально два слова.— Моханова оперлась руками о стол и наклонилась вперед.— Я считаю, мы перегибаем палку, кричим «способности, способности», мало ли у кого какие способности. У нас вообще или переоценивают, как с Тарасовым, или недооценивают. Везешь-везешь, тянешь-тянешь, а когда что-нибудь интересное, посылают кого угодно, человек, может, даже и не хочет. Вообще...

— Товарищи, мы и так потеряли много времени на разговоры, не имеющие никакого отношения к делу. Я не понимаю, мы говорим — дисциплина, а дисциплины/нет. Нет элементарной деловой дисциплины. Тратим время на какие-то мелочи, на какие-то, простите меня, мелочные препирательства. Вопрос о том, кого рекомендовать в аспирантуру, мы сейчас решать не будем, и незачем на этом останавливаться. Кроме того, этот вопрос ясен и без обсуждения. Я уверена, что в главном мы все сходимся. И прекрасно, и хватит об этом, мы и так слишком много потеряли времени, во второй группе третьего курса катастрофическое положение, товарищи...

Дальше я уже не слушала. Мне незачем было слушать. Перебить Камиллу Анатольевну невозможно не только потому, что перебивать невежливо и ничего, кроме унижительной перебранки, не получилось бы, но и потому, что говорит она уже о другом, и в кабинете снова шелестящий шумок, как в школе на контрольной.

Сейчас Камилла достигла арктической зоны своей царственной холодности. Она вздымалась на кожаном троне, а мы сидели перед нею, и

я думала: а мы что? двор? Как-то нелепо все получилось, я слишком быстро кончила, думала я, надо было... Что надо было? Все знают Тарасова, все знают Белявского, могли что-то сказать, та же Некрасова, умная, хорошая Некрасова, она сказала только половину того, что должна была сказать, и меньшую половину, а Людочка вон смотрит на меня овечьими глазами... Может быть, я не так за это взялась, вообще слишком пригляделась к Камилле. вижу ее, как мы все: Камилла чудит, очередной фортель Камиллы, кто принимает Камиллу всерьез? А как ее принимать? В конце концов так перестанешь принимать всерьез самого себя...

— Вера, ты чего сидишь как в воду опущенная?

Я не заметила, как Олег вместе со стулом перебрался поближе ко мне.

— У тебя вид какой-то убитый.

Я с изумлением посмотрела на Олега:

— Ты что, не слышал?

— Ну, как обычно, что-то там долетало... Понимаешь, я сидел прикидывал маршрут на субботу. Это не самое простое, когда тащишь в поход супругу и дочь с подружкой. Правда, я и прослушать мог, когда курил... А что было?

Александр Владимирович Кургатников родился в 1935 году. Живет в Ленинграде, работает старшим инженером-связистом в институте Гнпроспецгаз. Публикуемый рассказ — первое выступление А. В. Кургатникова в литературе.



РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН

★

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ*

Роман

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

После того, как в майское утро я посетил Анну Стентон, я ненадолго уехал из города, дней на восемь. В то утро я вышел из ее дома, отправился в банк, снял со счета немного денег, вывел из гаража машину, собрал чемодан и уехал. Я ехал по длинной белой дороге, прямой, как струна, гладкой, как стекло, глянцево-жидкой в мареве, гудящей под шинами, как оттянутый и опущенный нерв. Я делал семьдесят пять миль в час, но никак не мог догнать лужицу, блестящую впереди у самого горизонта. Позже солнце стало бить мне в глаза, потому что я ехал на Запад. Тогда я опустил козырек, сощурился и вдавил в пол педаль газа. И продолжал ехать на Запад. Потому что все мы собираемся когда-нибудь поехать на Запад. На Запад ты едешь, когда истощается почва и на старое поле наступают сосны. На Запад ты едешь, получив письмо со словами: беги, все открылось. На Запад ты едешь, когда, взглянув на нож в своей руке, видишь, что он в крови. На Запад ты едешь, когда тебе скажут, что ты пузырек в прибое империи. На Запад ты едешь, услышав, что там в горах полным-полно золота. На Запад ты едешь расти вместе со страной. На Запад ты едешь доживать свой век. Или просто едешь на Запад.

Я просто ехал на Запад.

На другой день я был в Техасе. Я пересек места, где обитают плоскостопные желчные баптисты, не расстающиеся с ножом. Затем я пересек места, где обитают кривонogie, мозолисто-задые сыны прерий, которые ходят на высоких каблуках, носят пистолеты и лужают человеческие жизни, а по субботам толпятся в аптеке или гурьбой валят за угол на третью серию «Мести на Уксусной Речке» с Джинном Отри в роли Буры Пита. Но и там и здесь небо в дневное время было высоким горячим медным куполом, а в ночное — черным бархатом и кока-кола — единственной потребностью человека. Затем Нью-Мексико — торжественная пустыня с маленькими белыми заправочными станциями, раскиданными по песку, словно выбеленные солнцем коровьи черепа у скотопрогонной группы, а дальше к северу на последнем своем биваке — доблестные потомки героев битвы при Монмауте, которые ходят в сандалиях и кованом серебре и пробуют завязать разговор на перекрестках с потомками хопи¹. Затем Аризона — величие и медлительный недоверчивый взгляд овцы — до самой пустыни Мохаве. Вы проезжаете Мохаве ночью, и даже ночью у вас дерет горло, словно вы шпагоглотатель, проглотивший по ошибке пилу, а в темноте маячат горбатые камни и высокие кактусы, словно фаллические образы фрейдистского кошмара.

Затем Калифорния.

* Продолжение. Начало см «Новый мир» №№ 7, 8, 9 с. г.

¹ Хопи — племя индейцев Пуэбло численностью около трех тысяч пятисот человек. Битва при Монмауте (28 июня 1778 г.) — одно из сражений американской революции.

Затем Лонг-Бич — квинтэссенция Калифорнии. Я говорю так потому, что из всей Калифорнии я видел только Лонг-Бич, и притязания других очевидцев не соблюют меня с толку. Я пробыл в Лонг-Биче тридцать шесть часов и провел их в номере гостиницы, если не считать сорока минут, которые я провел в парикмахерской гостиницы.

Утром я проколол шину и в Лонг-Бич попал только к вечеру. Я выпил молочный коктейль, купил бутылку виски и поднялся в номер. За все путешествие я не выпил ни капли. Мне не хотелось. Мне не хотелось ничего, кроме гудения мотора, покачивания машины, — и это я получил. Но теперь я чувствовал, что если не выпью виски, то, как только я лягу и закрою глаза, весь раскаленный колыхающийся континент навалится на меня из темноты. Я немного выпил, принял ванну, улегся в постель и, прикладываясь к бутылке, которую я ставил на пол у кровати, долго наблюдал, как неоновая реклама на другой стороне улицы вспыхивает и гаснет в такт моему сердцебиению.

После я хорошенько проспался. Встал в полдень. Заказал завтрак в номер и целую кипу газет, потому что было воскресенье. Прочел газеты, уяснив из них, что Калифорния ничем не отличается от других мест или по крайней мере хочет так о себе думать, а потом слушал радио, пока неоновая реклама снова не начала вспыхивать и гаснуть в такт моему сердцебиению, после чего я заказал ужин, съел его и снова улегся спать.

На следующее утро я поехал назад.

Я ехал назад и уже не вспоминал того, что вспоминал, уезжая.

Например.. Но я не могу привести вам пример. Тут важен не один какой-нибудь пример, не какое-нибудь одно событие, но поток. ткань событий, ибо смысл не в самом событии, а в движении через событие. Иначе мы могли бы выхватить какой-нибудь миг из события и сказать, что он и есть само событие. Его суть. Но сделать это мы не можем. Ибо важно только движение. И я двигался. Я двигался на Запад со скоростью семьдесят пять миль сквозь мелькание миллиондолларового пейзажа и героической истории — и двигался вспять сквозь время в глубину моей памяти. Говорят, что утопающий заново переживает всю свою жизнь. Правда, я тонул не в воде, но я тонул в Западе. Я погружался в Запад сквозь слои раскаленных медных дней и черных бархатных ночей. Мне понадобилось семьдесят восемь часов, чтобы утонуть. Чтобы мое тело погрузилось на самое дно Запада и легло в неподвижный ил Истории — голое, на гостиничной койке в Лонг-Биче, Калифорния.

Под баюкающий рокот мотора в памяти, как кинолента, разворачивалось прошлое. словно крутили семейную кинохронику вроде тех, о которых в рекламе пишут, что вы сможете запечатлеть день, когда сделала свои первые шажки Сюзи, когда пошел в детский садик Джонни, когда вы взошли на пик Пайк, день пикника на родительской ферме и день, когда вы стали начальником отдела сбыта и купили свой первый «бьюик». На рекламной картинке изображают седого добродушного джентльмена, такого же, как на рекламе виски (либо седую добродушную бабушку), который смотрит семейную кинохронику и с нежностью вспоминает минувшие годы. Поэтому, если вы когда-нибудь снимали такие фильмы, я искренне вам советую сжечь их и второй раз креститься, чтобы начать жизнь сначала.

Я с нежностью вспоминал минувшие годы. Я сидел на ковре у камина с цветными карандашами, а ко мне наклонялся плотный человек в очках и черном пиджаке и протягивал шоколадку: «Но только разок откуси, скоро ужин». Голубоглазая светловолосая женщина с худыми щеками тоже склонялась ко мне, целовала перед сном, и в комнате, где погасили на ночь свет, оставался после нее нежный запах. И судья Ирвин наклонялся ко мне в серенький рассветный час и говорил: «Ты веди за ней ствол, Джек. Надо вести ствол за уткой». И граф Ковелли прямо сидел на музейном стуле в длинной белой комнате, улыбаясь из-под черных подстриженных усиков. И держал в одной руке — небольшой сильной руке, от пожатия которой морщились мужчины — бокал, другой поглаживал сытого кота у себя на коленях. Был там и Молодой Администратор с волосами, как помадка, на круг-

лом черепе. И мы с Адамом Стентоном плыли далеко от берега в ялике: белые паруса безжизненно висели в неподвижном воздухе, море напоминало раскаленное стекло, а вечернее солнце пылало, как стог, на горизонте. И постоянно с нами была Анна Стентон.

Девочки носят белые расклешенные платья, из-под которых выглядывают смешные колени; тупоносые лакированные туфли с перепонкой на пуговке; намыливают белые носки, чтобы они не морщились, а волосы у них заплетены в косичку и перевязаны голубой лентой. Такой была Анна Стентон, когда в воскресенье шла в церковь и там сидела тихо, как мышь, задумчиво трогая кончиком языка то место, где только что выпал молочный зуб. Маленькие девочки сидят на подушке, задумчиво прижавшись щекой к папиному колену, а он гладит шелковистые локоны и читает вслух красивые сказки. Такой была Анна Стентон. Маленькие девочки такие бояки, они долго пробуют носком воду, в первый раз выйдя весной на пляж, а когда волна вдруг обдаст их до пояса, они визжат и подпрыгивают на тонких, как ходули, ножках. Такой была Анна Стентон. Маленькие девочки вымазывают нос сажей, когда жарят сосиски на костре, а ты — уже большой мальчик и не пачкаешь нос сажей, — ты показываешь на нее пальцем и дразнишь: «Клякса-вакса, черный нос». Но в один прекрасный день, когда ты дразнишь ее, она больше не огрызается, как бывало, а только поворачивает к тебе худенькое гладкое лицо и смотрит большими темными глазами. Губы ее дрожат, будто она сейчас заплачет, хотя она уже слишком взрослая, чтобы плакать, и под ее взглядом ухмылка слезает с твоего лица, ты поспешно отворачиваешься, делая вид, будто собираешь хворост. Такой была Анна Стентон.

Все солнечные дни у моря с просверком чаек в высоте были Анной Стентон. Но я этого не знал. И все пасмурные дни, когда с карнизов капало или с моря налетал шквал, а в камине трещал огонь, тоже были Анной Стентон. Но я и этого не знал. Потом пришло время, когда ночи стали Анной Стентон. Но это я уже знал.

Это началось летом, когда мне было двадцать один, а ей семнадцать. Я приехал из университета на каникулы уже взрослым, выдавшим виды мужчиной. Приехал я во второй половине дня, быстро выкупался в море, пообедал и понесся к Стентонам повидать Адама. Я нашел его на веранде, в сумерках, с книгой (помню, это был Гиббон). И увидел Анну. Я сидел с Адамом, когда она вышла из комнаты. Посмотрев на нее, я почувствовал, что прошла целая вечность с тех пор, как я видел ее на рождество, когда она приехала в Лендинг на каникулы из школы мисс Паунд. Теперь она явно не была той маленькой девочкой, которая носила тупоносые черные туфли с перепонкой и белые, слегка намыленные носки. На ней было прямое белое полотняное платье, но прямой покрой и жесткое полотно, как ни странно, только подчеркивали мягкие линии тела. Ее волосы, заколотые узлом на затылке, были перевязаны белой лентой. Она улыбнулась, и эта улыбка, знакомая мне с детства, вдруг показалась новой; она сказала «здравствуй, Джек», а я держал ее сильную узкую ладонь и думал, что вот настало лето.

Лето настало. И совсем не такое, как все, что были раньше, и все, что были потом. Днем я, как всегда, проводил много времени с Адамом, и, как всегда, Анна увязывалась за нами; она увязывалась за нами потому, что они с Адамом очень дружили. В то лето мы с Адамом играли в теннис по утрам, пока не начинало припекать, и Анна приходила с нами, садилась в ажурной тени мимоз и миртов, смотрела, как Адам гоняет меня по корту, и звонко хохотала, когда я спотыкался о собственную ракетку. Иногда она и сама гоняла меня, потому что играла она хорошо, а я плохо. Она и правда играла хорошо, несмотря на свою хрупкость; в ее круглых тонких руках была настоящая сила. И ноги у нее были быстрые; юбка захлестывала их, словно у танцовщицы, а белые туфли так и мелькали. Но лучше всего я помню ее в те утренние часы на задней линии корта, когда, поднявшись на цыпочки, она подавала мяч — ракетка занесена над

головой, откинута правая рука приподнимает грудь, а левая, из которой только что вылетел мяч, еще не опущена и словно что-то срывает в воздухе; лицо, строгое и сосредоточенное, обращено к яркому солнцу, широкому небу и белому мячику, повисшему в нем, словно земной шар в океане света. Да, это классическая поза, и очень жалко, что греки не играли в теннис, потому что, если бы они играли в теннис, они непременно изобразили бы на греческой вазе Анну Стентон. А впрочем, едва ли. Ведь в этот миг тело, несмотря на всю свою пластику, слишком воздушно, слишком напряжено. слишком на цыпочках. Это миг перед взрывом, а на вазах греки таких состояний не изображали. Вот почему этот миг и запечатлен не на вазе в музее, а в моем мозгу, где никто его не видит, кроме меня. Ибо это мгновение перед взрывом, и взрыв происходит. Мелькает ракетка, звенят овечьи жилы, и белый мячик несется на меня, а я, как водится, мажу; гейм кончен, сет кончен, и мы идем домой сквозь недвижный зной дня, ибо роса уже испарилась и утренний ветерок стих.

Но впереди у нас еще оставались послеполуденные часы. Во второй половине дня мы уходили купаться или сначала плавать под парусом, а потом купаться, все втроем, а иногда вместе с другими мальчиками и девочками, чьи родители жили на набережной или приезжали сюда погостить. После обеда мы снова собирались вместе и в потемках сидели на веранде — у Стентонов или у нас, — шли в кино либо купались при луне. Но как-то вечером, когда я пришел к ним, Адама не было — он повез куда-то отца, — и поэтому я пригласил Анну в кино. На обратном пути мы остановили машину — я взял открытую двухместную, потому что мать укатила с целой компанией на своей большой, — и любовались бухтой за мысом Хардин. Лунный свет протянулся по зыбкой воде холодной огненной межой. Казалось, этот белый огонь сейчас перекинется на весь океан, словно пожар в степи. Но сверкающая рябая полоса только чуть колыхалась и таяла у размытого светлого горизонта.

Мы сидели в машине, спорили о только что виденном фильме и смотрели на лунную дорожку. Постепенно разговор замер. Анна сползла на край сиденья, откинула голову на спинку и стала смотреть в небо — верх машины был опущен, и лицо ее при лунном свете казалось гладким, как мрамор. Я тоже сполз на край и стал смотреть в небо — не знаю уж, каким там казалось мое лицо при лунном свете. Я думал, что вот сейчас протяну руку и обниму ее. Взглянув на нее украдкой, я увидел ее мраморно-гладкое лицо и руки, лежавшие на коленях ладонями вверх, с чуть загнутыми пальцами, словно готовыми принять подарок. Мне было очень легко дотянуться до нее, взять ее за руку и, принявшись за дело, поглядеть, далеко ли мы зайдем. Ибо я мыслил именно такими понятиями — загасканными ходовыми понятиями университетского юнца, считающего себя дьявольски опытным мужчиной.

Но я не протянул руки. Тот маленький кусок кожаной обивки, на котором она лежала, подставив лунному свету лицо и уронив на колени руки, казалось, отделен от меня тысячей миль. Я сам не понимал, почему не протягиваю руку. Я уверял себя, что ничуть не робею, ничуть не боюсь, я говорил себе: черт, она ведь еще ребенок, чего я на самом деле тяну, ну рассердится на худой конец, тогда я больше не полезу. Да и не рассердится она, говорил я себе, что она, не знает, для чего мы остановились, для чего сидят с ребятами в машине — не для того же, чтобы в шахматы при луне играть. Ей не впервой небось, кто-нибудь перебирал уже клавиши этого инструмента. Сначала меня отвлекла эта мысль, но потом бросило в жар, я разозлился. Я приподнялся, чувствуя непонятное смещение.

— Анна... Анна... — начал я, не зная, что хочу сказать.

Она обернулась ко мне, не поднимая головы со спинки сиденья, — просто перекатила ее по кожаной подушке. Потом приложила палец к губам и сказала:

— Тс-с... тс-с-с-с.

Она отняла палец и улыбнулась мне открыто и простодушно через всю тысячу миль кожаной подушки, которая нас разделяла.

Я опустился на место. Мы долго еще лежали так, глядя на небо, омытое лунным светом, слушая, как вода тихо лижет гальку мыса. Чем дольше мы лежали, тем громднее казалось мне небо. Я снова украдкой взглянул на Анну. Глаза ее были закрыты, и когда я подумал, что она больше не смотрит вместе со мной на небо, я вдруг почувствовал себя одиноким, покинутым. Но она открыла глаза — я следил за ней и сразу это заметил — и опять стала смотреть на небо. Я лежал рядом, глядел вверх и ни о чем не думал.

В те годы мимо переезда за Бёрденс-Лендингом без четверти двенадцать ночи проходил поезд. У переезда он всегда гудел. Он загудел и в ту ночь, и я понял, что сейчас без четверти двенадцать. И что пора домой. Я сел, завел мотор, развернулся и поехал обратно. Мы не произнесли ни слова, пока не остановились у дома Стентонов. Там Анна мигом выскользнула из машины, на секунду замерла на ракушечной дорожке, тихо сказала: «Спокойной ночи, Джек» — и взбежала по ступенькам. Все это произошло прежде, чем я успел опомниться.

Я растерянно смотрел на черное отверстие двери — войдя, Анна не зажгла на веранде света — и напряженно вслушивался, словно ожидал сигнала. Но вокруг не раздавалось ни звука, если не считать непонятных шорохов ночи, слышных даже при полном безветрии и вдали от берега, где никогда не умолкает вода.

Через несколько минут я завел мотор и, со скрежетом разбрасывая шинами ракушки, вылетел из усадьбы Стентонов. На набережной я дал полный газ, чтобы эти сонные паразиты в белых виллах знали, где раки зимуют. Чтобы повскакивали в своих постелях, как ошпаренные. С ревом пролетев миль десять, я въехал в сосновый лес, где спугнуть можно было только филина да какого-нибудь одичавшего скваттера, который валяется в своей берлоге посреди топи, — божий дар малярийным комарам. Тут я сбросил газ, развернулся и, откинувшись на спинку, тихо поехал назад, словно в лодке по течению.

Но дома, стоило мне лечь в постель, как я вспомнил — нет, не вспомнил, а увидел — запрокинутое лицо Анны с закрытыми глазами, залитое лунным светом; и я вспомнил тот давний пикник, тот день, когда мы купались в море под грозовыми тучами и она лежала на спине, обратив лицо с закрытыми глазами к пурпурно-зеленому небу, а в высоте над ней пролетала белая чайка. До сих пор я, кажется, ни разу об этом не вспоминал, а если и вспоминал, то не придавал никакого значения; теперь же, в постели, я вдруг почувствовал, что стою на грани какого-то головокружительного открытия. Я понял: то, что было сегодня, — лишь продолжение того, что было тогда, на пикнике. и сегодняшнее все время жило в том, что было раньше, а я этого не знал, я пренебрег, упустил, отбросил, а ведь это все равно что бросить зерно и, вернувшись на то же место, увидеть растение в полном цвету, или все равно что бросить в огонь вместе с мусором бурую палочку, а она оказывается динамитом и все летит кувырком.

Все полетело кувырком. Я вскочил на кровати, как ошпаренный, не хуже тех сонных паразитов. Я сидел на кровати преисполненный безмерного восторга. Такого я еще никогда не испытывал. У меня сперло дыхание, вздулись жилы на лбу, будто я нырнул слишком глубоко и не знаю, выплыву ли наверх. Мне казалось, что сейчас я постигну последнюю всеобъемлющую истину. Еще миг — и постигну. Потом я перевел дух.

— Господи! — сказал я. — Господи! — И широко раскинул руки, словно мог охватить весь белый свет.

Потом я вспомнил ее лицо на воде, под хмурым пурпурно-зеленым небом, где пролетала белая чайка. Меня ошеломило это воспоминание, эта картина, снова возникшая перед моими глазами, ибо то, что вызвало у меня восторг, было забыто, заслонено самим чувством восторга, которое затопило весь мир. И когда эта картина возникла передо мной, ощущение восторга прошло, я почувствовал огромную нежность, нежность, пронизанную печалью, словно нежность была мясом, а печаль — нервами и сосудами моего тела. Это звучит нелепо, но так оно и было. Именно так.

Тогда я подумал очень объективно, будто наблюдал за состоянием постороннего человека: ты влюблен.

Меня смутила эта мысль. Что я влюблен. И что это совсем не так, как я себе представлял. Я удивился, оторопел, как человек, который вдруг узнает, что получил в наследство миллион и в любую минуту может взять его в банке, или, наоборот, как человек, узнавший, что маленькая горошина у него внутри — рак, и он носит в себе эту загадочную, набухающую апокалиптическую штуку, которая часть его самого и в то же время чужеродное тело, враг. Я осторожно встал с постели, подошел к окну, неся себя так бережно, будто я был корзиной яиц, и стал глядеть в залитую лунным светом ночь.

Итак, молодой студент, который считал себя дьявольски опытным, выдавшим виды мужчиной и, глядя в тот вечер на другой край кожаного сиденья в машине, позволял себе пошлые, затасканные мысли, как бы пытаюсь оправдать собственное представление о себе, — итак, он не протянул руки к другому краю сиденья и в результате стоял в чем мать родила у открытого окна темной комнаты и всматривался в беспредельную лунную ночь, где поблескивало море и пересмешник в зарослях мирта надрывно вещал о непререкаемой красоте и справедливости вселенной.

Вот так и ночи стали Анной Стентон. Потому что в ту ночь в машине Анна сыграла со мной хитрую штуку. Без рук и без слов, но руки и слова тут не понадобились. Повернув голову на кожаной спинке сиденья, она приложила палец к губам, сказала: «Тс-с, тс-с-с...» — и улыбнулась. И всадила свой гарпун глубже прежнего. Квикег¹ пронзил им двухметровый слой сала до самого нутра, но я этого не подозревал, пока не выбрали лить и зубцы не рванули живое мясо, которое и было мной. А я-то думал, что из сала целиком состою. И мог бы дальше так думать.

Да, Анна Стентон была моими ночами. И днями тоже, но в течение дня она была не всем его содержанием, а скорее привкусом, эссенцией, климатом, запахом, без которых все остальное ничего не стоит. С нами часто бывал Адам, а иногда и другие — с книгами, бутербродами и одеялами — в сосновом бору, на пляже, на корте, на тенистой веранде, где играл патефон, в лодке, в кино. Но иногда она роняла книгу на одеяло, ложилась на спину, глядя на высокий свод перепутавшихся сосновых веток, а я посматривал на нее украдкой и через минуту забывал о существовании Адама. Или на веранде она, бывало, смеется и болтает с другими под звуки патефона, и я вдруг замечу, что она затихла, задумалась, может, только на миг, и взгляд ее устремлен куда-то далеко за пределы веранды, двора, и снова на один этот миг ни Адама, ни остальных будто не существует.

А еще мы ездили в гостиницу, где была вышка для прыжков в воду — очень высокая, потому что гостиница была шикарной и время от времени устраивала выставки и скачки. В то лето Анна помешалась на прыжках в воду. Она влезала наверх — с каждым днем все выше — и замирала там на солнце у самого края. Когда она поднимала руки, я чувствовал, что внутри у меня сейчас что-то лопнет. Потом она летела вниз ласточкой, раскинув руки и выгнув узкое тело с крепкой грудью и плотно сдвинутыми длинными ногами. Она слетала вниз, освещенная солнцем, я смотрел на нее, и вокруг нас как будто не было никого. Я задерживал дыхание, пока внутри у меня не лопалось то, что должно было лопнуть. Она врезалась в воду, и сомкнутые пятки исчезали в венке пены и брызг. Адам злился, что она прыгает с такой высоты.

— Ну, Адам, — говорила она. — Ну, Адам, ничего, ведь это так здорово.

И — по лестнице вверх. Вверх — и прыжок. Вверх — и прыжок. Вверх — и прыжок. Снова и снова. Я думал — какое у нее лицо, когда она входит в воду? Что оно выражает?

Но иногда днем мы оставались совершенно одни. Иногда мы с ней удирали

¹ Персонаж из романа Г. Мелвилла «Моби Дик», гарпунщик.

в сосновый бор и бродили по глухому ковру игольника, держась за руки. Был у нас и маленький поплавок для ныряния, доска на якоре метрах в ста от берега, против причала Стентонов. Мы с ней уплывали туда, пока остальные дуррачились на пляже или когда никого не было. и лежали там на спине, закрыв глаза, касаясь друг друга только кончиками пальцев; пальцы покалывало, словно с них ободрали кожу и обнажили нервы, словно в них было сосредоточено все мое существо.

По вечерам мы бывали вдвоем довольно часто. Раньше вместе были Адам и я, а за нами увязывалась Анна, а теперь оказалось, что вместе — Анна и я, а за нами увязывается Адам. Но чаще он оставался дома и читал Гиббона или Тацита — в ту пору он бредил древним Римом. Перемена произошла с легкостью, какой я не ожидал. Наутро после нашей поездки в машине я, как всегда, играл с ними в теннис, а днем пошел с ними купаться. Я поймал себя на том, что не спускаю глаз с Анны, но больше никакой разницы я не заметил. В ней я не видел никакой перемены. Я стал сомневаться, произошло ли вообще что-нибудь, возил ли я ее вчера вечером в кино. Но сегодня вечером мне необходимо было ее видеть.

Я пошел к ним, когда стало смеркаться. Она сидела на веранде на скамье-качелях. Адам был наверху, писал письмо. Что-то для отца, сказала она. Спустится через несколько минут. Она предложила мне сесть, но я отказался. Я стоял в дверях, чувствуя неловкость, и не знал, что сказать. Наконец я выпалил:

— Пойдем к причалу, давай погуляем.— И неуверенно добавил: — Пока Адама нет.

Она встала, не говоря ни слова, и подала мне руку — первая, отчего в моем организме сразу заревели пожарные сирены, зазвенели звонки, забили колокола. Она пошла со мною вниз по лестнице, по дорожке, через шоссе, к причалу. Мы пробыли там очень долго. За это время Адам мог бы написать десяток писем. Но на причале ничего не произошло; мы просто сидели на краю, свесив ноги, держались за руки и смотрели на бухту.

Недалеко от бухты, у шоссе, как раз против дома Стентонов стояла густая миртовая роща. На обратном пути, когда мы подошли к ней, держась за руки, я остановился под деревьями, притянул Анну к себе — рывком, неловко, потому что задумал это еще по дороге к причалу и долго себя настраивал, — и поцеловал. Она не противилась, руки ее висели неподвижно, но на мой поцелуй она не ответила и лишь покорно приняла его, как пай-девочка. Я посмотрел ей в лицо: оно было спокойно, но затуманено раздумьем, как у ребенка, когда он решает, нравится ему новое кушанье или нет. И я подумал: боже мой, да она, наверно, еще не целовалась, хотя ей уже семнадцать или скоро семнадцать, — и чуть че расхохотался — такое смешное было у нее лицо и так я был счастлив. Я поцеловал ее опять. На этот раз она ответила поцелуем, правда робко, как бы пробуя, но ответила.

— Анна... — сказал я (сердце у меня прыгало, а голова кружилась), — Анна, я тебя люблю. страшно люблю...

Она держалась обеими руками за мой пиджак и слабо прижималась ко мне, склонив голову вниз и набок, словно просила прощения за какой-то проступок. Она не ответила на мои слова и, когда я попытался поднять ей голову, только сильнее прижалась к плечу и крепче ухватилась за пиджак. Я гладил ее волосы, вдыхая их свежий запах.

Через какое-то время, не знаю, долгое или короткое, она высвободилась и сделала шаг назад.

— Адам ждет, — сказала она. — Надо идти.

Я пошел за ней через шоссе к воротам Стентонов. Пройдя несколько шагов по дороге к дому, она помедлила, чтобы я мог ее догнать. Потом взяла меня за руку, и так, держась за руки, мы дошли до веранды, где должен был сидеть Адам.

Там он и сидел — я увидел, как разгорелся от длинной затяжки, а потом потемнел огонек его сигареты.

Держа меня за руку, но еще крепче, словно выполняя какое-то решение, она поднялась по ступенькам веранды, отворила свободной рукой дверь и вошла, ведя меня за собой. Мы постояли немного, держась за руки. Потом она сказала:

— Привет, Адам.

И я сказал:

— Привет, Адам.

— Привет, — сказал он.

Мы продолжали стоять, точно чего-то ждали. Потом она отпустила мою руку.

— Пойду наверх, — объявила она. — Спокойной ночи

И убежала, быстро, глухо пошлепывая резиновыми подошвами по дощатому полу веранды и прихожей.

А я все стоял.

Пока Адам не сказал мне:

— Какого черта ты не садишься?

Тогда я сел. Адам кинул мне пачку сигарет. Я вынул одну и стал искать в кармане спички, но не нашел. Он наклонился, зажег спичку и поднес к моей сигарете. Мне показалось, будто он нарочно осветил меня, чтобы разглядеть мое лицо, а свое прячет в тени. Я чуть было не отпрянул назад и не вытер рот рукой, чтобы проверить, нет ли там губной помады.

Сигарета зажглась, я убрал голову от огня и сказал:

— Спасибо.

— Пожалуйста, — ответил он, и на этом, в сущности, кончилась наша беседа в тот вечер. А нам было о чем поговорить. Он мог задать мне вопрос, который, я знаю, его волновал. Да и я мог ответить, не дожидаясь вопроса. Но ни один из нас не сказал того, что надо. Я боялся этого вопроса, и сколько бы я себя ни убеждал, что ну его к черту, не его это дело, я чувствовал себя виноватым, словно обокрал его. Но в то же время я был очень возбужден и хотел, чтобы он меня спросил, мне хотелось рассказать кому-нибудь, какая Анна Стентон замечательная и как я влюблен. Словно ощущение влюбленности не будет полным, пока я кому-нибудь не скажу: «Послушай, я ведь влюблен, будь я проклят, если вру». В этот миг полнота чувств требовала исповеди так же, как позднее она потребует жарких, потных объятий. И вот я сидел на темной веранде, поглощенный мыслью, что я влюблен, стремясь рассказать об этом, чтобы полнее пережить свое состояние, и прекрасно обходился в ту минуту без предмета своей любви. Анны, которая ушла к себе в комнату. Я был так поглощен своими переживаниями, что даже не задумался, почему она ушла наверх. Позже я решил, что она нарочно стояла перед Адамом и держала меня за руку, тем самым давая ему знать о новом строении нашего маленького кристалла, нашего мирка, а потом ушла к себе, чтобы он в одиночестве привык к этой мысли.

Но, быть может, решил я позже — гораздо позже, много лет спустя, когда казалось, что все это уже не имеет значения, — ей просто хотелось побыть одной, посидеть у окна без света или полежать на кровати, глядя в темный потолок, чтобы свыкнуться со своим новым «я», узнать, как живет в новой стихии, как дышится в новом воздухе, как плавается в приливе нового чувства. Может, она ушла наверх, чтобы побыть в одиночестве, поглощенная собой, как бывает поглощен ребенок видом кокона, выпускающего в сумерках красивую бабочку — все ту же сатурнию, зеленовато-серебристую, еще влажную, со смятыми крылышками, которые постепенно расправляются в полутьме и медленно веют, поднимая такой легкий ветерок, что, нагнувшись, его не почувствуешь и глазом. Если так, то она пошла к себе в комнату, чтобы разобраться, чем она стала, ибо когда вы влюблены, вы как бы рождаетесь заново. Тот, кто тебя любит, отбирает тебя из огромных залежей первозданной глины — человечества, чтобы сотворить из нее нечто, и ты, бесформенный комок этой глины, маешься, хочешь узнать, во что же тебя превратили. Но в то же время ты, любя кого-то, становишься одушевленным, перестаешь быть частью однородного первовещества, в тебя вселяется жизнь,

и ты начинаешься. Ты создаешь себя, творя другого, кто в свою очередь сотворил тебя, выбрал тебя, комок глины, из общей массы. Получаются два тебя: один, которого ты сам создаешь, влюбившись, и второй, которого создает твой любимый, полюбив тебя. И чем дальше отстоят друг от друга эти два твоих существа, тем натужнее скрипит мир на своей оси. Но если твоя любовь и любовь к тебе совершенны, разрыв между обоими твоими «я» исчезает, и они сливаются. Они совпадают полностью, они неразличимы, как два изображения в стереоскопе.

Так или иначе. Анна Стентон, семнадцати лет от роду, пошла наверх, чтобы побыть наедине с собой, вдруг почувствовав, что она влюблена. Она была влюблена в довольно высокого, нескладного, сутуловатого юношу двадцати одного года, с костлявым лошадиным лицом, большим, свернутым на сторону крючковатым носом, темными растрепанными волосами, темными глазами (но не глубокими и горящими, как у Касса Мастерна, а часто пустыми или невыразительными, воспаленными по утрам и блестевшими только от волнения), большими руками, которые мяли, тискали, дергали одна другую за пальцы у него на коленях, с косолапой, шаркающей походкой; в юношу, не обладавшего ни красотой, ни талантами, ни прилежанием, ни добротой, ни даже честолюбием, склонного ударяться в крайности, приходив в смятение, вечно кидаться от меланхолии к безпричинному буйству, из холода в пламень, от любопытства в апатию, от смирения к самовлюбленности, из вчерашнего дня в завтрашний. Что ей удалось сотворить из этого комка неблагодарной глины, так никто и не узнает.

Но в своей любви она создавала и себя заново и поэтому пошла наверх, чтобы побыть в темноте и выяснить, чем было ее новое «я». А тем временем мы с Адамом сидели внизу на веранде и молчали. В этот вечер Адам выбыл из игры на все будущие вечера — пошел вон, ты лишней!

Все остальные тоже выбыли из игры, потому что даже в те вечера, когда на веранде у Стентонов или у моей матери собиралась большая компания, заводила патефон и танцевала (а мальчики — многие из них уже отвоевались во Франции — то и дело бегали глотнуть из бутылки, спрятанной в дупле дуба), мы с Анной их в игру не принимали. Потому что органды и рогожка — тонкие материи, и единственный человек, с кем я прилично танцевал, была Анна Стентон, и ночи стояли теплые, и я не настолько был выше Анны, чтобы не слышать запаха ее волос, когда наши скованные музыкой ноги выписывали узоры нашего забытья, и мы дышали в одинаковом ритме, и вскоре я переставал ощущать свое неуклюжее тело, становился почти бестелесным, легким, как перышко, невесомым, как большой пустоголовый воздушный шар, привязанный к земле тонкой ниточкой до первого дуновения ветерка.

Иногда мы садились в машину и мчались из Лондонга во весь дух (насколько позволяли тогдашние дороги и тогдашний мотор), пролетая мимо домов, отелей и сосен: голова ее лежала на моем плече, а волосы разлетались от ветра и хлестали меня по щекам. Она прижималась ко мне и громко смеялась, приговаривая:

— Джеки, Джеки, какая чудная ночь, какая чудная ночь. Ну скажи, что это чудная ночь, милый, ну скажи, скажи!

И мне приходилось повторять за ней эти слова, как урок. А то она принималась тихонько напевать песню, одну из тех песен, которые были на пластинках, — господи, что же тогда пели? Не помню. Потом затихала и сидела неподвижно, закрыв глаза, пока я не останавливал машину в таком месте, где ветер с залива мог прогнать москитов (в безветренные ночи лучше было не останавливаться). Случалось, когда я останавливал машину, она даже глаз не открывала, пока я ее не поцелую; а я, наверно, так ее целовал, что ей дышать было нечем. А то, бывало, она дожидается последней секунды перед поцелуем, вдруг широко раскроет глаза и скажет: «Уу-у!» — и засмеется. А когда я захочу ее обнять, будут только острые коленки, острые локти, сдавленные смешки, хихиканье, змеиная увертливость и тактика, достойная мастера джиу-джитсу. Поразительно, что маленькое сиденье машины давало такую же возможность для перегруппировки

и маневра, как исторические равнины Фландрии, и как то же существо, которое умело лежать у тебя в руках, гибкое, как ива, мягкое, как шелк, и ласковое, как котенок, вдруг выставляло такое чудовищное количество острых, как гвозди, локтей и коварных коленок. А за этими локтями, коленками и колючими пальцами в лунном свете или свете звезд сквозь распущенные волосы блестели глаза, а из полуоткрытых губ вырывался отрывистый смешок и припев: «Нет... не люблю... милого Джеки... никто не любит... птичку-Джеки... я... не люблю... милого Джеки... никто... не любит... птичку-Джеки...» Пока, ослабев от смеха, она не пала мне на руки. Тогда я целовал ее, и она шептала:

— Я люблю моего милого Джеки... — И, легонько поглаживая пальцами меня по лицу, повторяла: — Я люблю моего милого Джеки. хотя у него такой страшный клюв!

И крепко дергала мой клюв. А я поглаживал это горбатое, кривое, хрящеватое страшилище, притворяясь, что мне очень больно, но в душе гордясь тем, что она до него дотронулась.

Никогда нельзя было угадать, будет ли это долгий поцелуй или бешеный отпор и хихиканье. Да это и не имело значения — все равно она в конце концов клала голову мне на плечо и смотрела в небо. А между поцелуями мы молчали, либо я читал ей стихи — в те дни я почитывал стихи и думал, что мне это нравится, — либо разговаривали о том, что будем делать, когда поженимся. Я не делал ей предложения. Мы просто не сомневались, что поженимся и всегда будем жить в мире, состоящем из залитых солнцем пляжей и залитых лунным светом сосен на берегу моря, путешествий в Европу (где мы оба никогда не были), дома в дубовой роще, кожаных сидений машины, а со временем и ватаги прелестных детишек, которых очень туманно представлял себе я и очень живо она и которым мы вдумчиво, обстоятельно выбирали имена, если иссякали прочие темы разговора. У всех у них второе имя будет Стентон. И одного из мальчиков мы решили назвать Джоэл Стентон, в честь губернатора. Ну, а старшего, конечно, будут звать, как меня, — Джек.

— Потому что ты самый старый старичок на свете, Джеки, — говорила Анна, — старшенький будет носить твое имя, потому что ты самый старый старичок на свете, ты старше океана, ты старше неба, ты старше земли, ты старше деревьев, и я всегда тебя любила и всегда дергала за нос. потому что ты старый-старый ворон-Джеки, птичка-Джеки и я тебя люблю — И дергала меня за нос.

Только раз, в конце лета, она спросила меня, чем я собираюсь зарабатывать на жизнь. Тихо лежа на моей руке, она вдруг сказала после долгого молчания:

— Джек, что ты собираешься делать?

Я не понял, о чем она говорит, и ответил:

— Что я собираюсь делать? Дуть тебе в ухо. — И дунул.

— Что ты собираешься делать? В смысле заработка?

— Дуть тебе в ухо для заработка, — ответил я.

Она не улыбнулась.

— Нет, серьезно, — сказала она.

Я помолчал.

— Я подумываю, не стать ли мне юристом.

Она на минуту притихла, потом сказала:

— Ты только сейчас придумал. Просто так, лишь бы сказать.

Да, я только сейчас придумал. О своем будущем, говоря по правде, я вообще не любил задумываться. Не любил, и все. Я думал, что найду какую-нибудь работу, все равно какую, буду ее делать и получать жалованье, а потом тратить жалованье и в понедельник снова выходить на работу. Честолюбивых планов у меня не было. Но не мог же я так прямо сказать Анне: «Ну, наймусь куда-нибудь».

Мне надо было произвести впечатление человека дальновидного, целеустремленного и деловитого.

И этим я сам вырыл себе могилу.

Она видела меня насквозь, как стекляшку, и мне не оставалось ничего другого, как сказать, что она глубоко во мне ошибается, что я и в самом деле пойду на юридический, и чего в этом дурного, позвольте спросить?

— Ты только что это выдумал, — упрямо повторила она.

— Черт возьми, — возмутился я, — с голоду ты не помрешь. Я дам тебе все, что у тебя есть сейчас. Если тебе так нужен большой дом, куча платьев и балы. пожалуйста, я...

Но она не дала мне договорить.

— Ты прекрасно знаешь, Джек Бёрден, что ничего подобного мне не надо. Ты говоришь гадости. Делаешь из меня неизвестно что. Ничего такого мне не надо. И ты знаешь, что не надо. Ты знаешь, что я тебя люблю и готова жить в шалаше и есть одну фасоль, если то, чем ты хочешь заниматься, не даст никакого заработка. Но если ты ничем не хочешь заниматься — даже если ты получишь какое-то место и у тебя будет куча денег... ну, знаешь, о чем я говорю.. в общем, как это бывает у некоторых... — Она выпрямилась на сиденье машины, и глаза ее при свете одних только звезд сверкнули благородным негодованием семнадцатилетней. Потом, пристально глядя на меня, произнесла с важностью, которая вдруг превратила ее в забавную помесь взрослой женщины и дурашливой девчонки, надевшей мамини туфли на высоких каблучках и боа из перьев, — важностью, которая делала ее и старше и моложе: — Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, Джек Бёрден, я в тебя верю, Джек Бёрден, ты не будешь таким, как все эти люди, Джек Бёрден.

Я захохотал — уж очень это было смешно — и попытался ее поцеловать, но она не далась; все ее локти и колени заработали, как косилка, на полную мощность, а я был как скошенная трава. И смягчить ее я не смог. Я и пальцем не мог до нее дотронуться. Она заставила меня отвезти ее домой и даже не поцеловала на прощанье.

Больше на эту тему она не разговаривала, если не считать одной фразы. На следующий день, когда мы с ней лежали на поплавке и долго молчали, разомлев от солнца, она вдруг сказала:

— Помнишь, что было вчера?

Я сказал, что помню.

— Ну вот, имей в виду, я не шутила.

Потом она отняла у меня руку, соскользнула в воду и уплыла, чтобы я не мог ответить.

Больше об этом речь не заходила. И я об этом больше не думал. Анна была такая же, как всегда. И я снова погрузился в водоворот летней жизни, отдался на волю чувству, которое несло нас с головокружительной легкостью, словно мы плыли по глубокой реке, чье могучее течение неторопливо, но властно влекло нас за собой. где дни и ночи пролетали, как блики света на воде. Да, нас несло по течению, но отнюдь не в обидном смысле слова, не как разбухшую гнилую лодку носит по пруду, где поят лошадей, или как несет грязную мыльную пену по воде, когда вы выдернули из ванны пробку. Нет, мы сознательно и достойно отдавались на волю влекущего нас потока, становясь его частью, одной из его движущих сил; это не было слепой покорностью, это было как бы вроде приятя, похожего на приятя верующим бога, что означает не слепую покорность его воле, но и боготворчество, ибо тот, кто возлюбил бога, тот волей своей вызывает его к бытию. Вот так и в моей покорности я волей своей вызывал и подчинял себе этот могучий поток, по течению которого я плыл, где ночи и дни мелькали, как блики света на воде, где мне рукой не надо было шевельнуть, чтобы плыть быстрее, — поток сам знал, с какой быстротой он должен нестись, знал свои сроки и влек меня за собой.

Все это лето я не торопил событий. Ни на веранде, ни в сосновом бору, ни ночью на поплавке, когда мы с ней уплывали в море, ни в машине. Все, что с нами происходило, происходило так же просто, естественно и постепенно, как переход к новому времени года, как набухание почек или пробуждение котенка. И была

своя нега в том, что мы не торопились, не спешили к жарким объятиям, неуклюжей возне и к грязным ухмылкам ребят из общежития; была своя особая чувственность в том, что мы ждали, когда могучий поток сам принесет нас туда, где нам полагалось быть и куда мы в конце концов все равно бы попали. Она была молода и казалась мне еще моложе, чем на самом деле, — ведь в то лето я так был уверен, что я взрослый и потасканный мужчина; она была застенчива, легко уязвима и робка, но застенчивость ее не выражалась в пiske, визге, кудахтанье, ломанье, ужимках «ах, не надо так, я никому еще не позволяла». А может, «застенчивость» и неподходящее слово. Наверняка неподходящее, если под ним понимать хотя бы оттенок стыда, страха или желанья быть «хорошей девочкой». Потому что в каком-то смысле она была обособлена от своего тонкого, плотно сбитого, мускулистого нежного тела, словно оно было замысловатым механизмом, которым мы с ней владели совместно, после того как он неожиданно свалился нам с неба, и который мы, невежды, должны были изучить с превеликим тщанием и превеликим благоговением, чтобы не упустить какую-нибудь маленькую мудреную деталь, — иначе все пойдет прахом. Мы переживали период внимательнейшего изучения и тончайшего исследования, и чему она относилась очень серьезно и в то же время с прелестным легкомыслием («Милый Джеки, птичка-Джеки, какая чудная ночь, какая чудная ночь, глаза у него ничего, а вот нос хоть оторви и брось!»), и легкомыслие было не в словах, а в тоне, каким они говорились, в тоне, казалось, заданном самим воздухом, где были натянуты невидимые струны, и ей только нужно было тронуть их наугад в темноте ленивым, привычным движением пальца. Но, помимо серьезной исследовательской работы, была прямодушная привязанность, такая же простая и естественная, как воздух, которым дышишь; она порой не вязалась с жаром и удушьем наших занятий, она, как мне казалось, была всегда, независимо от той новой, загадочной физиологии, которая так занимала теперь и ее и меня. Анна, бывало, обхватывала мою голову ладонями, прижимала к груди и напевала шепотом стишки, которые тут же выдумывала («Бедная птичка-Джеки, он моя беда, но я буду беречь его всегда, в теплом гнездышке уложу его спать, буду баюкать и песни напевать»). Постепенно слова сливались в тихое бормотание; изредка она шептала:

— Бедная птичка-Джеки, я не дам в обиду Джеки никому вовеки...

Немного погодя я поворачивал голову и сквозь легкую летнюю материю целовал ее тело, дышал на него сквозь ткань.

Мы довольно далеко зашли в то лето, и порой я бывал твердо уверен, что могу пойти еще дальше. До конца. Потому что этот плотно сбитый, мускулистый, нежный на ощупь механизм, который так занимал нас с Анной Стентон и упал нам прямо с неба, был очень чувствительным и безупречно отлаженным устройством. А может, я ошибался и вовсе не смог бы ускорить неторопливое движение нечего нас потока — ускорить вдумчивое научное усвоение Анной Стентон мельчайших новых впечатлений, которые надо было вобрать в сокровищницу нашего опыта, прежде чем переходить к следующим. Она будто слышала какой-то ритм, напев, сигнал извне и повиновалась всем его изощренным переходам. Но ошибался я или нет, я не проверил на опыте. Смогу ли я дойти до конца, потому что, хотя я сам не так хорошо слышал этот ритм, я чувствовал, как послушна ему Анна, и пока мы были вместе, мне всегда хватало того, что есть. Как это ни парадоксально, я испытывал бешеное нетерпение и злился на отяжки голько вдали от нее, когда я с ней не соприкасался. — ночью у себя в комнате или в жаркие дневные часы после второго завтрака. Особенно же я чувствовал это в те дни, когда она не желала меня видеть. Эти дни, как я понял, означали, что пройдена еще одна стадия, еще одна веха в наших отношениях. Она просто отстранялась от меня так же, как в ту ночь, когда мы первый раз поцеловались; сначала я недоумевал, чувствовал себя виноватым, но потом — поняв, что кроется за ее исчезновениями, — просто ждал с нетерпением завтрашнего утра, когда она появится на корте, размахивая ракеткой, и лицо ее, гладкое, молодое, здоровое и на вид безразличное, хотя и дружелюбное, будет так не вязаться с тем, что я видел совсем недавно, — с

полуопущенными веками, с влажными, блестящими в темноте губами, через которые вырывается частое дыхание или откровенный вздох.

Но как-то раз в конце лета я не видел ее целых два дня. В ту ночь ветра совсем не было, на небе стояла полная луна; вечер не принес ни прохлады, ни малейшего движения воздуха. Мы с Анной доплыли до вышки у гостиницы, хотя было уже поздно и никто не купался. Сначала мы лежали на большом поплавке, не разговаривая и не дотрагиваясь друг до друга, просто лежали на спине и глядели на небо. Потом она поднялась и полезла на вышку. Я перевернулся на бок, чтобы видеть ее. Она поднялась на семиметровую площадку, приготовилась и прыгнула ласточкой. Потом полезла на следующую площадку. Не знаю, сколько раз она ныряла, но много. Я сонно следил за ней, смотрел, как она медленно, перекладина за перекладinou, подымается наверх: лунный свет превращает мокрую ткань темного купальника не то в металл, не то в лак; вот она принимает позу для прыжка на краю площадки, вытягивает вверх руки, поднимается на носки, отрывается от площадки и на миг будто повисает в воздухе — тускло блестящее тело, до того тонкое и далекое, что заслоняет всего одну или две звезды, — а потом камнем падает вниз и точно, с коротким всплеском врезается в воду, словно пролетев сквозь огромный обруч, затянутый черным шелком с серебряными блестками.

Это случилось, когда она прыгнула с самой большой высоты, может быть, с самой большой высоты в ее жизни. Я видел, как она медленно взбирается наверх, минуя площадку, с которой ныряла раньше — семиметровую. — и лезет дальше. Я окликнул ее, но она даже не оглянулась. Я знал, что она меня слышала. Я знал и то, что она ползет туда, куда хочет, не послушается меня. Я больше ее не окликал.

Она прыгнула. Я понял, что прыжок будет удачный, как только она оторвалась от доски, но все равно вскочил и стал на краю поплавка, затаив дыхание и не сводя с нее глаз. Она вошла в воду очень чисто, я нырнул за ней вдогонку. Я увидел серебристый, пузырьчатый след и светлые очертания ее рук и ног в темной воде. Она нырнула глубоко. Это было вовсе не обязательно — она могла сразу выскользнуть на поверхность. Но в тот раз — да и в другие разы — она погружалась глубоко в воду, словно для того, чтобы продолжить свой полет в плотной среде. Мы встретились в глубине, когда она начала подниматься. Я обнял ее за талию, притянул к себе и нашел губами ее губы. Ее руки свободно висели вдоль тела, я прижимал ее к себе, запрокидывая ей голову. Наши ноги колыхались где-то рядом внизу, и мы, покачиваясь, медленно поднимались сквозь черную воду и серебро пузырьков, убагающих на поверхность. Мы всплывали очень медленно — или мне казалось, что медленно. — от нехватки воздуха у меня заболела грудь и закружилась голова, но боль и головокружение вдруг превратились в ощущение восторга, такого же, какой я испытал у себя в комнате в ту ночь, когда первый раз повез ее в кино и на обратном пути остановил машину. Я думал, что мы никогда не выплывем на поверхность, так медленно мы поднимались.

Но вот мы уже на поверхности, и лунный свет дробится и колетса на воде перед глазами. Еще мгновение мы лежим, обнявшись, не дыша, потом я ее отпускаю, мы отделяемся друг от друга, поворачиваемся на спину и, хватая воздух ртом, смотрим на высокое, кружащееся, проколотое звездами небо.

Немного погодя я замечая, что она уплывает. Я думаю, что она сделает только несколько гребков к поплавку. Но когда я наконец переворачиваюсь и плыву туда, она уже на берегу. Я вижу, как она поднимает купальный халат, закутывается и наклоняется, чтобы надеть сандалии. Я ее окликаю, она машет мне рукой, снимает шапочку, встряхивает волосами и бежит к дому. Я плыву к берегу, но когда я выхожу, она уже почти дома. Я знаю, что мне ее не догнать. Поэтому я иду по пляжу не торопясь.

После этого я не видел ее два дня. Потом она появилась на теннисном корте, размахивая ракеткой, спокойная и приветливая, готовая устроить мне баню после того, как со мной разделается **Адам**.

Наступил сентябрь. Через несколько дней Анна должна была уехать на Север, в школу мисс Паунд. Отец хотел увезти ее за несколько дней до начала занятий и побывать с ней в Вашингтоне и Нью-Йорке, прежде чем отправить ее дальше, в Бостон, где она попадет в железные руки мисс Паунд. Анну, по-моему, не очень прельщали и это путешествие, и возвращение к мисс Паунд. Школу, по ее словам, она любила, но она никогда не донимала меня рассказами о ночных пирушках в дортуаре, об альбомах с картинками, стишками и вырезками, о душечке-француженке, и речи ее не портил оскорбительный птичий язык института для благородных девиц. Еще в августе она упомянула о плане отца и назвала дочь отъезда, но без всякого удовольствия или неудовольствия. словно нас это совершенно не касалось, — примерно так, как в молодости упоминают о смерти. Когда она сказала о поездке, у меня защемило под ложечкой, но я отбросил эту мысль: хотя по календарю был август, мне не верилось, что лету и всему остальному когда-нибудь придет конец. Но в то утро, когда Анна снова появилась на корте, я сразу подумал, что она скоро уедет. До меня вдруг дошло. Я не поздоровался и взял ее за руку в панике, точно куда-то опаздывал.

Она взглянула на меня с легким удивлением.

— Ты меня не любишь? — сердито спросил я.

Она рассмеялась и с недоумением посмотрела на меня, в уголках ее ясных глаз собрались насмешливые морщинки.

— Конечно, люблю, — сказала она, смеясь и лениво помахивая ракеткой, — конечно, я люблю тебя, птичка-Джеки, кто сказал, что я не люблю старую глупую птичку-Джеки?

— Не юрджуй, — сказал я, потому что слова, которые произносились ночью в машине и на веранде, сейчас, при ярком солнечном свете и при отчаянном моем настроении, показались вдруг дурацкими и пошлыми. — Не юрджуй, — повторил я, — и не смей называть меня птичкой!

— Но ты и есть птичка, — серьезно ответила она, хотя уголки ее глаз по-прежнему морщились.

— Ты меня не любишь? — спросил я упрямо.

— Я люблю мою птичку-Джеки, — сказала она. — Бедную птичку-Джеки.

— Фу ты, черт! Ты меня не любишь?

Она пристально посмотрела на меня, глаза ее уже не смеялись.

— Нет, — сказала она. — Люблю. — И, отняв у меня руку, зашагала прочь так решительно, словно ей надо было куда-то идти — далеко идти и не мешкая. Но она всего-навсего пересекла корт и села в перистой тени мимозы, а я следил за ней так, будто корт был Сахарой и Анна, уменьшаясь, исчезала вдаль.

Потом пришел Адам, и мы поиграли в теннис.

Анна вернулась в то утро, но все стало не так, как раньше. Вернуться она вернулась, но не совсем. Времени она проводила со мной не меньше, чем прежде, но была занята своими мыслями и, когда я ласкал ее, подчинялась как будто из чувства долга или в лучшем случае по доброте сердечной, почти снисходительно. Так шло у нас дело всю последнюю неделю, а дни стояли знойные, безветренные, и облака кучились под вечер, словно суля бурю, но бури все не было, и ночи висели одуряющие, тяжелые, как перезрелые, черные с серебристым налетом виноградины, которые вот-вот лопнут.

За два дня до ее отъезда мы отправились в Лэндниг в кино. Когда мы вышли из кино, шел дождь. После сеанса мы собирались выкупаться, но раздумали. Мы часто купались под дождем в то лето и в предыдущие годы, когда с нами был Адам. Мы, наверно, пошли бы и в эту ночь, если бы дождь был другой — если бы это был легкий, приятный дождичек с высокого неба, едва-едва шелестящий на поверхности воды, или косой, колющий, холодный очищающий дождь, когда тебе хочется пробежаться по пляжу и завопить, прежде чем ты спрячешься в море, или наконец если бы это был ливень, какие бывают над Мексиканским заливом, когда кажется, будто в небе лопнул большой бумажный мешок с водой. Но дождь был совсем не такой. Небо промокло насквозь, совсем обвисло, и отовсюду сквозь

черный вязкий стоячий воздух сочилась вода, словно небесный трюм потек по всем швам.

Мы подняли на машине верх, успев за это время промокнуть, и поехали домой. У нас в доме и на веранде горел свет, поэтому мы решили заехать к нам, сварить кофе и сделать бутерброды. Было еще рано, всего половина десятого. Я вспомнил, что мать поехала играть в бридж к нашим соседям Паттонам, где за ней увивался какой-то их гость. Мы подъехали к дому и резко затормозили, с хрустом давая ракушки и разбрызгивая дождевую воду. Взбежав по правому маршу двойной лестницы на веранду и попав наконец под крышу, мы принялись топтать ногами и отряхиваться, как собаки. От бега и дожда волосы у нее распустились. Мокрые пряди прилипли ко лбу, а одна — к щеке, и Анна сразу стала похожа на ребенка, которого вынули из ванны. Она засмеялась, склонила голову набок и встряхнула волосы, как делают девчонки, чтобы волосы стали пышнее. Растопыренной пятерней она прочесала волосы, как гребенкой, чтобы выгрести запутавшиеся шпильки. Несколько штук упало на пол.

— Какое я, наверно, страшилище. Просто чудело, — сказала она, продолжая вертеть головой, смеяться и искоса поглядывать на меня блестящими глазами. Сейчас она больше была похожа на прежнюю Анну.

Я сказал, что да, она чудело, и мы вошли в дом.

Я зажег свет в передней и провел ее направо, на кухню, через столовую и буфетную. Там я поставил варить кофе и достал из ледника еду (в те времена еще не было электрических холодильников, а то мать непременно обзавелась бы не одним, а парой огромных, как дом, и вокруг них в полночь собирались бы дамы с голыми плечами и подвыпившие мужчины в смокингах, прямо как на рекламе). Пока я хозяйничал, Анна расчесывала волосы. Она, видимо, хотела заплести по бокам косички, потому что, когда я разложил на кухонном столе еду, одна была почти готова.

— Чем красоту наводить, — сказал я, — делала бы лучше бутерброды.

— Ладно, — сказала она. — А ты мне убери волосы.

И пока она делала за столом бутерброды, я доплел до конца первую косичку.

— Надо завязать концы ленточками, чтобы не распускались, — сказал я. —

Или еще чем-нибудь.

Я сжимал пальцами кончик, чтобы коса не расплелась. Взгляд мой упал на вешалку, где висело чистое посудное полотенце. Бросив косичку, я взял его и перочинным ножом отрезал от края две полоски. Полотенце было белое с красной каймой. Я вернулся, снова заплел кончик косы и завязал его бантиком из куска полотенца.

— Ты будешь похожа на негрityночку, — сказал я.

Она засмеялась и продолжала мазать хлеб арахисовым маслом.

Увидев, что кофе готов, я выключил газ. Потом занялся второй косичкой. Наклонившись, я пропустил шелковистую массу сквозь пальцы, которые сразу стали неуклюжими и шершавыми, как наждак, разделил ее на три пряди и, сплетая их, вдыхал свежий, луговой запах мокрых волос. В это время зазвонил телефон.

— Подержи пока, — сказал я Анне, сунув ей конец косички. И вышел в переднюю.

Звонила мать. Она, Паттоны, ее кавалер и бог знает кто там еще собирались погрузиться в машину и поехать за сорок миль, в «Ла Гранж» — кабак в соседнем округе, по дороге в столицу штата, где играли в кости и в рулетку и где лучшие люди бок о бок с худшими вдыхали синий едкий дым табака и пары контрабандного алкоголя. Мать сказала, что не знает, когда вернется, и просила не запираť дверь, потому что забыла ключ. Просьба была излишняя — в Лендинге и так никто не запирает дверей. Она сказала, чтобы я не беспокоился — ей, кажется, сегодня везет, — засмеялась и повесила трубку. Она зря просила меня не беспокоиться. Особенно насчет ее везения. Кому-кому, а ей всегда везло. Она получала все, чего ей хотелось.

Я повесил трубку и при свете, падавшем через дверь коридора в переднюю, увидел в нескольких шагах от себя Анну — она завязывала бантик на второй косе.

— Звонила мать, — объяснил я. — Едет с Паттонами в «Ла Гранж». — И добавил: — Вернется поздно.

Я вдруг почувствовал, какой пустой вокруг нас дом, как темно в комнатах. Каким тяжким грузом лежит над нами темнота верхнего этажа, заполонившая комнаты и чердак и густым, но невесомым потоком льющаяся по лестнице; я почувствовал, как темно снаружи. Я смотрел на лицо Анны: в доме не слышалось ни звука. За окном капли затихающего дождя падали на листву и на крышу. Сердце у меня екнуло, по жилам побежала кровь, словно открылись какие-то шлюзы.

Я смотрел Анне в лицо, зная, как знала и она, что настал миг, к которому нас обоих все лето нес могучий поток. Я повернулся и медленно пошел к лестнице. Сначала я не знал, идет она за мной или нет. Потом понял, что идет. Я стал подниматься и слышал, что она идет следом ступеньки на четыре ниже меня.

Дойдя до верха, я не остановился в холле и не оглянулся назад. В кромешной тьме я направился к дверям своей комнаты. Я нащупал ручку, толкнул дверь и вошел. В комнате было не так темно, потому что снаружи прояснилось, а к тому же мокрые листья отражали свет с террасы. Я посторонился, не отпуская дверной ручки, и дал ей войти. Она на меня даже не взглянула. Пройдя шага три, она остановилась. Я закрыл дверь и двинулся к тонкой фигуре в белом; она не обернулась. Я обхватил ее сзади поперек груди, притянул к себе ее плечи и прижался пересохшими губами к ее волосам. Руки ее были опущены. Мы постояли так минуту-другую, как молодая пара на рекламе, которая любит роскошным закатом, океаном или Ниагарским водопадом. Но мы ничем не любовались. Мы стояли посреди голой темной комнаты (железная кровать, старый комод, сосновый стол, чемоданы, книги, костюм — я не дал матери превратить эту комнату в музей) и глядели на темные верхушки деревьев за окном, которые вдруг зашевелились и застучали от налетевшего с залива ветра и дождя.

· Анна подняла руки и накрыла своими ладонями мои.

— Джеки, — сказала она тихо, но не шепотом. — Птичка-Джеки, я пришла сюда.

Да, она пришла.

Я начал расстегивать на спине крючки белого платья. Она стояла неподвижно, как послушная девочка с косичками. Легкая материя намочилась и прилипла к телу, и это не облегчало моей задачи. Я долго возился с проклятыми крючками. Потом на пути у меня оказался пояс. Помню, он был завязан бантом на левом боку. Я развязал его, он упал на пол, и я снова принялся за платье. Она стояла, прижав руки к бокам, так терпеливо, словно я был портным и у нас шла примерка. Она молчала, пока я по неловкости своей и от смущения не попытался стянуть платье вниз, через ноги.

· — Не так, — тихо сказала она, — не так, сюда. — И подняла руки над головой.

Я заметил, что руки она держит не свободно, а сдвинула пальцы вместе и выпрямила ладони, как перед прыжком в воду. Я стянул платье через голову и стоял, скомкав его, как дурак, пока не догадался положить на стул.

Она продолжала стоять с поднятыми руками, и я понял это как указание, что вслед за платьем тем же путем должна последовать и комбинация. Она последовала тем же путем, и с той же неловкой суетливой аккуратностью я бережно положил ее на стул, словно она могла разбиться. Анна опустила руки и стояла все так же безучастно, пока я заканчивал свою работу. Когда я расстегивал лифчик и стягивал вниз по ее рукам, стаскивал с ног трусики, стоя рядом с ней на коленях, движения мои почему-то были так осторожны, что я даже кончиками пальцев ни разу не задел ее кожи. Дышал я часто, горло и грудь у меня сдавило. Но мысли как-то странно блуждали: то я подумал о книге, которую начал читать и бросил на полковине, то о колледже и о том, остаться ли мне в общежитии или снять комнату, то

я вспомнил алгебраическую формулу, засевающую у меня в голове, то какой-то обрывок пейзажа — край поля с разрушенной каменной оградой — и мучительно пытался сообразить, где я это видел. Мысли мои делали дикие скачки и рвались прочь, как зверь, попавший лапой в капкан, или майский жук на нитке.

Когда я присел на корточки, чтобы сдернуть на пол трусики, она сняла с ноги лодочку. — знаете, как это делают девушки: сжимают пятки и вытаскивают ногу из туфли. Я выпрямился, встал с ней рядом и поразился, какая она маленькая без каблучков. Я видел ее босиком тысячу раз — в купальном костюме на пляже или на поплавке. Но поразило это меня только теперь.

Когда я поднялся, она по-прежнему стояла, уронив руки, но потом скрестила их на груди, свела плечи и слегка передернула ими, как в ознобе; лопатки, на которых висели косички, показались мне острыми и хрупкими.

Снаружи порывами налетал дождь. Я и это заметил.

Голова ее была наклонена вперед, и она, наверно, увидела или вспомнила, что еще не сняла чулок. Повернувшись ко мне боком, она нагнулась и, балансируя сначала на одной ноге, а потом на другой, стянула чулки и уронила их на пол рядом с поясом и кучкой воздушных предметов. Потом она опять встала, как раньше, ссутулившись и, наверно, вздрагивая. Колени ее были сжаты и чуть согнуты.

Пока я расстегивал непослушными пальцами пуговицы на рубашке (одну я вырвал, потому что никак не мог вынуть из петли, и в коротком затишье она щелкнула, упав на голый пол) и пока мои мысли шарахались, как жук на нитке, из стороны в сторону, она подошла к железной кровати и села неуверенно на краешке, сдвинув колени, по-прежнему сутулясь и прикрывая руками грудь. Она смотрела на меня оттуда не то вопросительно, не то жалобно — в потемках я не мог разглядеть выражение ее глаз.

Потом уронила одну руку на кровать, оперлась на нее, наклонилась набок, подняла ноги с пола, обе разом, и мягко, как бы разворачиваясь, легла на белое покрывало, а затем старательно выпрямилась, снова скрестила руки на груди и закрыла глаза.

И в тот миг, когда она закрыла глаза, моя мысль снова шарахнулась в сторону, я увидел ее лицо, как в день пикника три года назад — на воде, с закрытыми глазами, под грозовым небом; то лицо и это лицо, та сцена и эта сцена слились, как в двойной экспозиции, каждое изображение сохраняло свою особенность, но не заслоняло другого. Я смотрел на нее, глупо пытаюсь проглотить комок, подкашивший к горлу, чувствуя, как кровь распирает тело. — и вдруг обвел взглядом пустынную полутемную комнату, услышал прерывистый шум дождя и понял, что все это неправильно, вконец неправильно, почему — я не понимал и не старался понять, но совсем не к этому вело нас минувшее лето. Я понял, что не сделаю этого.

— Анна... — хрипло сказал я, — Анна...

Она ничего не ответила, только открыла глаза и посмотрела на меня.

— Мы не должны, — начал я, — мы не должны... это не будет... это будет... неправильно.

Слово неправильно сорвалось у меня с языка совершенно неожиданно, ибо я никогда не задавался вопросом, «правильно» или «неправильно» то, что я делаю с Анной Стентон или с другими женщинами, — просто делал, и все, да и вообще не очень задумывался, правильно или неправильно то или иное в жизни, а просто делал то, что делают другие, и не делал того, чего не делают. И не думал над тем, что другие делают, а чего не делают. До сих пор помню, как я был удивлен, услышав от себя это слово — эхо слова, произнесенного кем-то другим неведь сколько лет назад и теперь оттаявшего, как в рассказе барона Мюнхгаузена. Дотронуться до Анны я просто не мог, как если бы она была моей младшей сестренкой.

Она и теперь не ответила, только смотрела на меня с выражением, которого я не мог разгадать; меня охватила жалость — как будто теплая жидкость разли-

лась по груди. Я сказал: «Анна... Анна...» — и мне захотелось упасть перед ней на колени, схватить ее за руку.

Если бы я это сделал, все могло бы пойти иначе и гораздо более обычным порядком, потому что, когда здоровый и полураздетый молодой человек стоит на коленях возле кровати и держит за руку совершенно раздетую хорошенькую девушку, события рано или поздно начинают развиваться обычным порядком. Если бы я хоть раз до нее дотронулся, когда ее раздевал, или если бы она хоть что-нибудь мне сказала, назвала меня милым Джеки, призналась в любви, захихикала, притворилась веселой, ответила мне любым словом или фразой, когда она закрыла глаза и я окликнул ее по имени, — если бы хоть что-нибудь из этого случилось, все бы шло иначе и тогда и теперь. Но ничего этого не случилось, я не поддался порыву, не упал на колени перед кроватью и не взял ее за руку, чтобы хоть как-то для начала прикоснуться своим телом к ее телу, чего наверняка было бы достаточно. Потому что как только у меня вырвалось: «Анна... Анна» — за окном послышалось шуршание шин и скрип тормозов.

— Они вернулись! Вернулись! — крикнул я, и Анна сразу же села на кровати, растерянно глядя на меня.

— Хватай свои вещи, — приказал я, — хватай вещи и ступай в ванную — ты могла быть в ванной!

Судорожно заталкивая рубашку в брюки и одновременно пытаюсь застегнуть пояс, я бросился к двери.

— Я на кухне, — сказал я, — готовлю еду!

Я кинулся из комнаты, на цыпочках пробежал через холл, скатился по черной лестнице в коридор, а оттуда — на кухню, и в тот миг, когда дверь террасы стукнула и в переднюю вошли люди, я дрожащими пальцами поднес спичку к горелке, где стоял кофейник. Я сел к столу и принялся намазывать бутерброды, надеясь, что сердце у меня не будет так стучать, когда войдет мать с Паттонами и прочими обормотами.

Когда мать во главе всей компании явилась на кухню, я был тут как тут и передо мной — горка аппетитных бутербродов. Они не поехали в «Ла Гранж» из-за дождя и шутили, что я читаю чужие мысли, раз приготовил им кофе и бутерброды, а я был очень мил и любезен. Потом сверху пришла Анна (она обстоятельно сыграла роль и для пушей достоверности спустила воду в уборной два раза), они подшучивали над ее косичками и бантиками, а она ничего не отвечала и только застенчиво улыбалась, как и положено хорошо воспитанной девушке, когда взрослые удостаивают ее своим вниманием. Потом она тихонечко села, принялась за бутерброд, и я ничего не мог прочесть на ее лице, ровно ничего.

Так кончилось лето. Правда, была еще вторая половина ночи, когда я лежал на железной кровати, слушал, как капает с листьев, и проклинал себя за глупость, проклинал свое невезение и пытался вообразить, что испытывала Анна, пытался придумать, как остаться с ней наедине завтра, — ведь послезавтра она уедет. Но потом я подумал, что, если бы я не остановился, было бы еще хуже — мать пошла бы наверх с другими дамами (что она и сделала), и мы с Анной попались бы в ловушку в моей комнате. От этой мысли меня прошиб холодный пот, и я почувствовал, что я мудрец — я поступил правильно и разумно. И это нас спасло. Таким образом, мое невезение превратилось в мою мудрость (так же, как невезение всего распроклятого человечества превращается в мудрость, и ее описывают в книгах и проходят в школе), а позже моя мудрость превратилась в мое благородство — в конце концов я уговорил себя, что мной двигало благородство. Я, правда, не употреблял этого слова, но к нему примеривался и часто, по ночам или в подпитии, лучше к себе относился, вспоминая свое поведение.

И по мере того, как я ехал все дальше на Запад и передо мной мелькали кадры моей любительской кинохроники, меня все больше дожимала мысль, что, не проявив я тогда такого благородства — если это было благородством, — все пошло бы иначе. Ведь если бы нас с Анной застукали в моей комнате, то мать и губернатор Стентон поженили бы нас даже против своей воли. И что бы потом ни слу-

чилось — никогда не случилось бы того, из-за чего я ехал сейчас на Запад. Выходит, размышляя я, мое благородство (или как его там назвать) имело в мои времена почти такие же пагубные последствия, как грех, совершенный Кассом Мастерном в его время. Что показательно как для тех, так и для этих времен.

После того как Анна ушла домой, была, как я сказал, еще вторая половина ночи. Но был еще и весь следующий день. Однако днем Анна укладывала вещи и ездила с поручениями в Лендинг. Я слонялся возле ее дома и пытался с ней поговорить, но нам никак не удавалось остаться наедине, пока меня не попросили повезти ее в город. Я уговаривал ее сразу же выйти за меня замуж, вот так — просто поехать домой, взять чемодан и сбежать. Она была несовершеннолетняя и всякая такая штука, но я думал, что мы это как-нибудь уладим, насколько я вообще был в состоянии думать. А потом пусть губернатор и моя мать рвут на себе волосы. Но она сказала:

— Мой милый Джеки, ты же знаешь, что я выйду за тебя замуж. Непременно. Я выйду за тебя замуж на веки вечные. Но не сегодня.

Я продолжал к ней приставать.

— Ты поезжай в университет, — ответила она, — кончай его, и тогда я выйду за тебя замуж. Даже до того, как ты получишь адвокатское звание.

Я не сразу сообразил, при чем тут «адвокатское звание». Но вовремя вспомнив, не выказал удивления и этим вынужден был довольствоваться.

Я помог ей выполнить поручения, отвез ее домой и отправился к себе обедать. После обеда я сразу же поехал к ней на машине, понадеявшись, несмотря на ветреную пасмурную погоду, что мы сможем прокатиться. Но не тут-то было. Приехали молодые люди и девушки, с которыми мы провели лето, — попрощаться с Анной; приехали их родители, две пары, — повидать губернатора (губернатором он уже не был, но в Лендинге так навсегда и остался «губернатором») и выпить с ним посочок на дорожку. Молодежь завела на веранде патефон, а старики — нам они во всяком случае казались стариками — сидели в комнате и пили джин. Мне оставалось лишь танцевать с Анной, которая была очень нежна, но когда я уговаривал ее выйти со мной на минутку, отвечала, что сейчас не может, что сейчас неудобно перед гостями, но что потом постарается. А тут опять налетела буря — как раз было равноденствие, — и родители объявили, что, пожалуй, надо собираться домой, и призвали своих отпрысков последовать их примеру — Анне надо выспаться перед отъездом.

Я остался, но без толку. Губернатор Стентон сидел в гостиной, выпивал уже в одиночку и просматривал вечернюю газету. Мы сидели, прижавшись, на веранде, прислушивались к шуршанию его газеты, шепотом объяснялись в любви. Потом мы просто сидели прижавшись, прислушивались, как дождь стучит по листьям, но не разговаривали. потому что слова от повторения теряли смысл.

Когда дождь прекратился, я встал, зашел в комнату, попрощался за руку с губернатором, потом вышел, поцеловал Анну и уехал. Поцелуй был холодный, формальный, словно этого лета вовсе не было или оно было совсем не таким.

Я вернулся в университет. Я не мог дожидаться рождества, когда она придет домой. Мы писали друг другу каждый день, но письма скоро стали, как чеки на капитал, нажитый летом. В банке лежало много денег, но жить на капитал всегда непрактично, а у меня было такое чувство, что я живу на капитал и вижу, как он тает. И в то же время я сходил с ума от желания ее видеть.

На рождество мы виделись с ней десять дней. Но все было не так, как летом. Она говорила, что любит меня и выйдет за меня замуж, и разрешала мне много вольностей. Но выходить замуж сейчас она не хотела и останавливала меня, когда я пытался перейти границу. Перед ее отъездом мы из-за этого поссорились. В сентябре она соглашалась, а теперь нет. Мне казалось, что она нарушает какое-то свое обещание, и я очень злился. Я сказал ей, что она меня не любит. Она уверяла, что любит. Тогда, спрашивал я, в чем же дело?

— Не потому, что я боюсь, и не потому, что я тебя не люблю. Да нет же, я

люблю тебя, Джеки, люблю! — говорила она. — И не потому, что я гадкая недо-трога. Это потому, что ты такой человек, Джеки.

— Ну еще бы! — паясничал я. — Ты хочешь сказать, что не веришь мне, боишься, что я на тебе не женюсь и ты будешь опозорена.

— Я знаю, что ты на мне женишься, — говорила она, — но такой уж ты человек.

Объяснять она ничего не хотела. И мы страшно поругались. Я вернулся в университет форменным неврастеником.

Месяц она мне не писала. Две недели и я выдерживал характер, а потом стал каяться. Тогда переписка возобновилась, и где-то в главной бухгалтерии вселенной кто-то каждый день нажимал красную кнопку кассы, а в кредит гроссбуха заносились красные цифры.

В июне она на несколько дней приехала в Лендинг. Но губернатор прихварывал, и скоро врачи спровадили его в Мэн, подальше от жары. Он взял с собой Анну. Перед отъездом все шло, как на рождество, а не как прошлым летом. Даже хуже, чем на рождество, потому что я закончил общий курс и мне пора было поступать на юридический. У нас произошла по этому поводу ссора. Да по этому ли поводу? Она мне что-то сказала насчет юриспруденции, а я вспылил. Мы помирились, письменно, через полтора месяца после ее отъезда — переписка возобновилась, красные циферки снова запестрели в небесном гроссбухе, как кровавые птичьи следы, а я валялся в доме судьи Ирвина и читал книжки по истории Америки — не для экзамена и не по обязанности, а потому, что подо мной проломилась тонкая, хрупкая корка настоящего и я почувствовал на щиколотках хватку зыбучих песков прошлого. Осенью, когда Анна вернулась с отцом, чтобы через неделю отправиться в какой-то аристократический колледж в Виргинии, мы проводили с ней много времени на берегу и в машине, прилежно повторяя знакомые телодвижения. Она, как птица, слетала с вышки в воду. Она лежала у меня в объятиях при лунном свете — когда светила луна. Но все было не то.

Во-первых, неприятный эпизод с поцелуем. Когда мы встретились с ней во второй или в третий раз, она поцеловала меня совсем по-новому, как не целовала никогда. И сделала это не в порядке пробы или опыта, как прошлым летом. Она просто, как говорится, поддалась порыву. Я сразу понял, что ее обучал летом в Мэне какой-то мужчина, какой-то паршивый куроргник в белых фланелевых брюках. Я сказал: я знаю — она с кем-то крутила в Мэне. Она не отпиралась ни секунды. И сказав самым хладнокровным тоном «да», спросила, откуда я знаю. Я объяснил. Тогда она протянула:

— А-а, конечно...

Я пришел в ярость и отодвинулся от нее. До этого она обнимала меня за шею.

Она спокойно посмотрела на меня и сказала:

— Джек, я целовалась в Мэне. Он был славный мзльчик, Джек, мне он очень нравился, мне с ним было весело. Но я не любила его. Мы с тобой тогда поссорились, и я вдруг решила, что жизнь для меня вроде кончилась и у нас больше ничего не будет, а то я бы с ним не целовалась. Мне даже хотелось в него влюбиться. Ах, Джеки, тут была такая пустота, такая громадная пустота... — И простодушно положила руку на сердце. — Но я не могла. Не могла в него влюбиться. И перестала целоваться с ним. Еще до того, как мы помирились. — Она наклонилась ко мне и взяла меня за руку. — Мы же с тобой помирились, правда? — И с коротким грудным смешком спросила: — Ведь правда, Джеки? Правда? И я опять такая счастливая.

— Ага, — сказал я. — Помирились.

— А ты счастливый? — спросила она.

— Конечно, — ответил я и был настолько счастлив, насколько, видимо, этого заслуживал.

Но червячок сидел во мне, он притаился где-то в темной глубине сознания, хотя я и забыл о нем. А в следующий вечер, когда она не поцеловала меня по-

новому, червячок зашевелился. И в следующий вечер — опять. Оттого, что она не целовала меня по-новому, я бесился еще больше. Поэтому я поцеловал ее, как тот курортник. Она сразу же от меня отстранилась и сказала очень тихо:

— Я знаю, почему ты так сделал.

— Тебе же это нравилось в Мэне.

— Ах, Джеки,— сказала она.— На свете нет никакого Мэна и никогда не было, на свете нет ничего, кроме тебя, а ты — все сорок восемь штатов, вместе взятых, и я любила тебя все время. Теперь ты будешь хороший? Поцелуй меня по-нашему.

Я поцеловал, но жизнь — это огромный снежный ком, который катится с горы и никогда не катится в гору, чтобы вернуться в исходное состояние, будто ничего не происходило.

И хотя лето, которое только что кончилось, было непохоже на предыдущее, я снова вернулся в университет, снова прислуживал у столиков, подрабатывал репортерством, поступил на юридический и занимался там с отвращением. Я писал письма Анне в аристократический женский колледж в Виргинии, и капитал, на который выписывались эти чеки, все таял и таял. Вплоть до рождества, когда я приехал домой и она приехала домой и я сказал ей, что мне тошно заниматься на юридическом, ожидая (даже с каким-то сладострастием) выволочки. Но выволочки не последовало. Она только похлопала меня по руке. (Мы сидели обнявшись на кушетке в гостиной у Стентонов и теперь оторвались друг от друга, она — в меланхолической задумчивости, а я — раздраженный и изнуренный желанием, которого так долго не мог удовлетворить.) Она похлопала меня по руке и сказала:

— Ну, брось тогда юридический. Ты вовсе не обязан там учиться.

— А что мне, по-твоему, делать?

— Джеки, я никогда не хотела, чтобы ты учился на юридическом. Ты же сам это придумал.

— Неужели? — спросил я.

— Да,— сказала она и снова похлопала меня по руке.— Делай то, что тебе хочется, Джеки. Я хочу, чтобы ты делал то, к чему тебя тянет. И пусть ты не будешь много зарабатывать. Я же тебе давно говорю, что мне ничего не надо, я могу питаться одними бобами.

Я поднялся с кушетки. Хотя бы для того, чтобы она больше не могла похлопывать меня по руке с профессиональной теплотой медицинской сестры, успокаивающей больного. Я отошел от нее и решительно заявил:

— Ладно, давай питайся со мной бобами. Поженимся. Завтра же. Сегодня. Хватит дурака валять. Ты говоришь, что любишь меня. Хорошо, я тебя тоже люблю.

Она молча сидела на кушетке, уронив на колени руки; потом подняла лицо — оно было напряженным, усталым, на глазах у нее навернулись слезы.

— Ты меня любишь? — допрашивал я.

Она медленно кивнула.

— Ты знаешь, что я тебя люблю? — допрашивал я.

Она кивнула опять.

— Значит, все в порядке?

— Джек... — начала она и замолчала.— Джек, я люблю тебя. Иногда мне кажется, будто я тебя поцелую, а потом обниму, закрою глаза и вместе с тобой хоть в воду! Или как тогда, когда ты нырнул за мной и мы целовались под водой и думали, что никогда не выплывем наверх. Помнишь?

— Да,— сказал я.

— Вот как я тебя любила.

— А теперь? — допрашивал я.— А теперь?

— И теперь тоже, Джек. Наверно, и теперь. Но что-то изменилось.

— Изменилось?

— Ох, Джек! — воскликнула она и в первый раз, во всяком случае в первый раз на моей памяти, прижала руки к вискам — этот жест, которым она пыталась побороть растерянность, не вошел у нее в привычку, но впоследствии мне приходилось его наблюдать — Ох, Джек, — повторила она. — Столько всего случилось... С тех пор.

— Что случилось?

— Ну, понимаешь, выйти замуж — это не все равно, что прыгнуть в воду. И любовь — она не то, что прыжок в воду. Не то, что утонуть. Она... она... ну, как тебе сказать? Это — стараться жить по-настоящему, найти свою дорогу.

— Деньги? — сказал я. — Если ты о деньгах...

— Нет, не деньги, — прервала она. — Я не о деньгах говорю... Джек, если бы ты только мог понять, о чем я говорю!

— Ну, поступать на службу к Паттону или кому-нибудь из здешних я не намерен. Или просить их, чтобы они меня устроили. Даже Ирвина. Я найду работу, все равно какую, но не у них.

— Миленький, — нежно сказала она, — я ведь не уговариваю тебя жить здесь. Или служить у Паттона. И вообще у кого бы то ни было. Я хочу, чтобы ты делал то, что тебе нравится. Лишь бы ты что-нибудь делал. Даже если ты этим не будешь зарабатывать. Я же тебе сказала, что согласна жить в шалаше.

И тогда я вернулся на юридический факультет и благодаря своей настойчивости ухитрился вылететь оттуда еще до конца учебного года. Для этого понадобилось приложить немало сил — добиться этого обычным путем в университете невозможно. Надо очень стараться. Я мог бы, конечно, просто подать заявление об уходе, но если ты уходишь сам или просто перестаешь посещать — ты еще можешь вернуться. Поэтому я довел дело до исключения. Когда я праздновал свое исключение, будучи уверен, что Анна разозлится и порвет со мной, мы с приятелем и двумя девицами попали в историю, а история попала в газеты. Я был уже бывшим студентом, и университет ничего со мной сделать не мог. Анна тоже не отреагировала — видимо, к этому времени я уже стал бывшей птичкой-Джени.

Тут пути наши с Анной и разошлись. Я пошел по пути газетной журналистики, посещения зланных мест и чтения книг по американской истории. В конце концов я снова стал слушать лекции в университете, сначала от нечего делать, а потом всерьез. Я вступил в волшебную страну прошлого. На какое-то время мы с Анной будто помирились, но потом сцепление снова отказало, и все пошло по-прежнему. Я так и не защитил диплома. Поэтому я вернулся в «Кроникл», где служил репортером, и очень неплохим репортером. Я даже женился на Лоис — очень красивой девушке, куда красивее Анны, и притом пухленькой, тогда как Анна была скорее костлявой и мускулистой. Лоис была лакомый кусочек, ты сразу понимал, что она приятна на ощупь, — таинственное сочетание филе с персиком, от которого у тебя текут слюнки и деньги. Почему Лоис вышла за меня, известно ей одной. Но не последней причиной, по-моему, было то, что моя фамилия Бёрден. Я пришел к этому выводу методом исключения. Ее не могли привлекать моя красота, изящество, обаяние, остроумие, интеллект и образованность, ибо, во-первых, я не обладал такой уж большой красотой, изяществом и обаянием, а во-вторых, Лоис ничуть не интересовалась интеллектом и образованностью. Даже если бы они у меня были. Вряд ли ее привлекало и состояние моей матери, потому что у ее собственной матери была куча денег — их нажил покойный отец на выгодных поставках гравия во время войны, правда немножко поздно для того, чтобы дать своей дочери так называемое приличное воспитание в те годы, когда она была к нему еще восприимчива. Значит, все дело решила фамилия Бёрден.

Разве что Лоис была в меня влюблена. Я учитываю эту возможность только для полноты и строгости рассуждений — уверен, что все познания Лоис в этой области ограничивались умением написать слово «любовь» и выполнять те физиологические обязанности, которые принято ассоциировать с этим словом.

Писала она не слишком грамотно, но эти свои обязанности выполняла умело и с увлечением. Увлечение было от природы, умение же — искусство, а *ars longa est*¹. Я это понимал, хотя она была способна необычайно ловко и без усталости притворяться. Я это понимал, но сумел похоронить эту мысль на задворках своего сознания, как крысу, пойманную в кладовой, где она грызла сыр. В общем, я не очень-то и огорчался, пока ничто не заставляло меня взглянуть правде в лицо. А меня ничто не заставляло, потому что в моих объятиях миссис Бёрден была очень верной или очень осмотрительной женой. Так что союз наш не оставлял желать ничего лучшего.

— Мы с Джеком идеально подходим друг к другу в половом отношении, — целомудренно заявляла Лоис, ибо она была крайне передовой женщиной в том, что у нее называлось взглядами, и крайне современной в выражениях.

Она обведет, бывало, взглядом лица гостей в своей благоустроенной современной квартире (она любила модерн, а не балкончики, выходящие на старинные внутренние дворики, — и деньги за квартиру платила она), скажет, что мы с ней идеально подходим друг к другу, и, произнося это, добавит две лишние приторные гласные к слову «половой». Первое время меня не раздражало, когда она рассказывала гостям, как мы друг к другу подходим. Мне это даже льстило, всякому было бы лестно, если бы его имя связывали с именем Лоис или если бы его сфотографировали с ней в любом общественном месте. Поэтому я застенчиво сиял в кругу наших гостей, когда Лоис рассказывала об этом идеальном соответствии. Но потом это стало меня раздражать.

Пока я рассматривал Лоис как красивую, пухленькую, темпераментную, душистую машину для возбуждения и удовлетворения моих желаний (а на такой Лоис я и женился), все шло прекрасно. Но стоило мне отнестись к ней как к человеку, и начались неприятности. Все бы еще обошлось, если бы Лоис онемела в период половой зрелости. Тогда ни один мужчина не смог бы перед ней устоять. Но она не была немой, а когда какое-то существо разговаривает, вы рано или поздно начинаете прислушиваться к его речи и, несмотря на все противопоказания, воспринимать его как человека. Вы начинаете применять к нему человеческие мерки, и это портит невинное райское удовольствие, которое вы получали от пухленькой, душистой машины. Я любил Лоис-машину, как любил сочное филе или персик, но я безусловно не любил Лоис-человека. И чем яснее я понимал, что Лоис-машина — собственность и орудие Лоис-человека (или по крайней мере предмета, наделенного речью), тем больше Лоис-машина, которую я наивно любил, напоминала мне красивого сочного моллюска, пульсирующего в темной глубине, а сам я был планктон, который она безжалостно к себе притягивала. Или же она напоминала винную бочку, где утопили герцога, а я был этим самым герцогом Кларенсом². Или жадную, алчную, заманчивую трясику, которая проглотит заблудившегося ночью путника с усталым, хлюпающим, удовлетворенным вздохом. Да, с таким же вздохом удовлетворения эта жадная, прельстительная трясику может поглотить величественные храмы, пышные дворцы, башни, крепостные стены, книгохранилища, музеи, хижины, больницы, дома, города и вообще все, что создано человеком. Так мне в ту пору казалось. Но, как ни парадоксально это звучит, пока Лоис оставалась всего-навсего Лоис-машинкой, пока она была лишь хорошо одетым зверьком, пока она просто составляла часть девственной, неухотворенной природы, пока я не начал замечать, что звуки, которые она производит, — это слова, никакого вреда от нее не было, так же как и от того наслаждения, которое она доставляла. Только тогда, когда я увидел, что эта Лоис неотделима от другой Лоис, у которой есть кое-какие человеческие черты, — только тогда я понял, что трясику может поглотить все творения рук человеческих. Да, это был хитрый парадокс.

¹ Искусство длительно (*лат.*). («*Ars longa, vita brevis*» — «Жизнь коротка, искусство вечно») «Афоризмы» Гиппократов.)

² Герцог Кларенс, брат английского короля Эдуарда IV, был утоплен в бочке с мальвазией в 1478 году.

Я не принял решения, что не дам себя поглотить. Инстинкт самосохранения сидит в нас куда глубже всякого решения. Человек не принимает решения поплыть, когда он падает в реку. Он принимается бить по воде ногами. И я просто начал барахтаться, извиваться, брыкаться. Началось, как я помню, с друзей Лоис (ни один из моих друзей не переступал порога нашей современной квартиры — если, конечно, можно назвать друзьями знакомых по редакции, забегаловкам и клубу журналистов). Меня охватило отвращение к друзьям Лоис. Ничего особенно дурного в них не было. Это была обычная культурная разновидность человеческих сорняков. Были среди них те, кто, по моему мнению не слишком осведомленной в таких делах Лоис, обладал «положением», но у них было мало денег и они были готовы выпить за ее счет. Были среди них и люди без «положения», но зато денег у них было больше, чем у Лоис, и они знали, что с ножа не едят. Попадались среди них и такие, у кого не было ни положения, ни денег, зато был кредит в лучших магазинах одежды, и Лоис могла ими помыкать. Все они читали «Венити феър» или «Харперс базар» (в зависимости от пола, а некоторые читали оба журнала) и «Смарт сет», они цитировали Дороти Паркер, и те, кто не ездил дальше Чикаго, пресмыкались перед теми, кто ездил в Нью-Йорк, а те, кто не ездил дальше Нью-Йорка, пресмыкались перед теми, кто ездил в Париж. Как я уже сказал, ничего дурного в этих людях не было: попадались даже очень симпатичные. Единственное, чего я в них не выносил, как я вижу задним числом, было то, что они — друзья Лоис. Сперва я относился к ним с прохладцей, потом мое обращение с ними, если верить Лоис, стало просто хамским. После одной из моих выходов Лоис пыталась меня перевоспитать, отказывая мне в плотских радостях.

Так обстояло дело с друзьями Лоис. Но вторым камнем преткновения был вопрос о квартире Лоис. Мне стала противна эта квартира. Я сказал Лоис, что не желаю там жить. Что мы снимем жилье, за которое я смогу платить из своего жалованья. У нас происходили ссоры по этому поводу, ссоры, из которых я и не рассчитывал выйти победителем. И тогда меня тоже лишали плотских радостей.

Так обстояло дело с квартирой. Но был и третий камень преткновения — проблема моей одежды и того, что Лоис любила называть «уходом за собой». Я привык носить костюмы за тридцать долларов, шляпу, поля которой уже обвисли и завалились, по два дня не менять рубашки, по два месяца не стричься, не чистить ботинки, ходить с поломанными и не всегда чистыми ногтями. И считал, что привычка гладить брюки не должна стать моей второй натурой. Первое время, когда я смотрел на Лоис просто как на машину для наслаждения, я разрешал себе кое-какие незначительные перемены в собственной внешности. Но как только до меня дошло, что звуки, выходящие у нее изо рта, напоминают человеческую речь и чем-то сложнее атактических сигналов желания или удовлетворения от пищи или совокупления, во мне стало расти чувство протеста. И по мере того, как все настойчивее становились требования «следить за собой», росло и мое сопротивление. Все чаще и чаще исчезали привычные части моего гардероба и заменялись явными или подметными дарами. Вначале я объяснял эти дары неуместным, хоть и любовным желанием доставить мне удовольствие. В конце концов я понял, что меньше всего заботились о моем удовольствии. Кризис разразился, когда я стал чистить ботинок новым галстуком. Начался скандал — первый из многих скандалов, вызванных расхождением наших вкусов в вопросах галантереи. И всякий раз меня лишали плотских радостей.

Меня лишали их по самым разным поводам. Но всегда ненадолго. Иногда я сдавался и просил прощения. Поначалу я каялся даже искренне, хотя в моей искренности была жалость к себе. Но позже я достиг высокого мастерства скрытой иронии, *double-entendre*¹ и лицедейства и лежал в кровати, чувствуя, что лицо мое в темноте искажает гримаса самодовольной хитрости, горечи и отвращения. Но я не всегда сдавался первый; иногда пухленькая Лоис-машина побеждала чер-

¹ Двусмысленность (франц.).

ствую Лоис-женщину. Она звала меня к себе голосом, сдавленным от ненависти, а в последующей стадии отворачивала лицо и если глядела на меня, то злыми глазами загнанного зверя. Если же не звала меня, то сдавалась во время драки, затеянной ею же самой не в шутку, а всерьез, — драки, которая была не под силу черствой Лоис-женщине и давала преимущество другой Лоис. Но кто бы из нас ни сдался первый — я или она, — мы, несмотря на молчаливую ненависть и уязвленное самолюбие, доказывали на скомканных простынях правоту того, что Лоис говорила гостям: как идеально мы подходим друг к другу в половом отношении. И мы подходили.

Но именно потому, что мы так подходили друг к другу, я, повинувшись глубоко заложенному во мне инстинкту самосохранения, в конце концов стал путаться с обыкновенными шлюхами. В ту пору я писал в вечерний выпуск газеты и кончал свои труды часа в два дня. Выпив рюмку-другую и закусив в забегаловке, а потом выпив еще рюмку-другую и сыграв партию на бильярде в клубе журналистов, я обычно заходил к кому-нибудь из приятелей. А потом за обедом — если мне удавалось попасть к обеду домой — и вечером я с научной объективностью и мистическим чувством духовного возрождения изучал Лопс. Дело дошло до того, что я по желанию мог вызывать у себя зрительные иллюзии. Стоило мне посмотреть на Лоис определенным образом, и я видел, как она неуклонно от меня отдаляется, а комната вытягивается в длину, словно я гляжу на нее в перевернутый бинокль. Такое упражнение меня духовно освежало. Под конец я так усовершенствовался, что слышал ее голос — если в тот вечер она ругательски ругала меня, а не просто дулась — очень издалека, как будто она обращалась даже не ко мне.

Потом наступил последний период, период Великой Спячки. Каждый вечер сразу же после обеда я ложился в постель и крепко засыпал с блаженным чувством непрерывного погружения на самое дно черноты, где я мог прятаться до следующего утра. Иногда я даже не дожидался обеда и лишал себя удовольствия наблюдать Лоис. Я сразу ложился в постель. Помню, поздней весной это, можно сказать, вошло у меня в привычку. Я приходил домой после своих обычных занятий, затягивал в спальне шторы и ложился в постель, — из-за шторы просачивался мягкий свет, в небольшом парке возле дома щебетали и чирикали птицы, на детской площадке звонко перекликались дети. Когда ты ложишься спать в конце весеннего дня или с наступлением сумерек и слышишь эти звуки, ты испытываешь редкое чувство покоя, такого же, наверно, какой приносит старость после достойно прожитой жизни.

Если бы не было Лоис. Иногда она приходила ко мне в спальню — в это время я уже переселился для настоящего сна в спальню для гостей, — садилась на краю кровати и занимала меня пространными описаниями моей особы, надо сказать, довольно скучными описаниями, ибо у Лоис не было словесного дара и ей приходилось полагаться на три или четыре классических эпитета. Иногда она била меня кулаками по спине и бокам. Своими слабыми белыми кулачками она пользовалась очень по-женски. Я умел спать и под ее описания, и чуть ли даже не под ударами ее кулаков. Иногда она начинала плакать и жалеть свою загубленную жизнь. Раз или два она даже юркнула ко мне под одеяло. Иногда она отворяла дверь ко мне в комнату и заводила в гостиной патефон так, что ходил ходуном весь дом. Но дудки! Я мог спать под что угодно.

Но настало утро, когда, проснувшись, я почувствовал на себе перст судьбы, я понял, что час настал. Я встал, сложил чемодан и вышел за дверь, чтобы больше не возвращаться. Ни к модерну, ни к красавице Лоис, с которой мы так идеально сочетались.

Я никогда ее больше не видел, но знаю, как она выглядит теперь и что могут сделать коктейли, конфеты, ночные бдения и почти сорок лет с персиковым румянцем, жемчужно-спелой крепкой грудью, тонкой галией, черными бархатно-влажными глазами, пухлыми губами, пышными бедрами. Она сидит где-то на диване, более или менее сохранив фигуру при помощи массажистки и резиновых

приспособлений, которые незримо стягивают ее, как мумию, но раздавленная от изобилия всего, что она поглотила с долгими, блаженными вздохами. Рукой с острыми ногтями, такими алыми, будто она только что выдирала внутренности еще живого жертвенного петуха, она тянется к вазе за шоколадкой. Шоколадка еще в воздухе, но нижняя губа оттопыривается, и за пурпурной чешуйчатой полоской губной помады видны нетерпеливые розовые влажные оболочки рта и тусклый блеск золотой коронки в жаркой темной полости.

Счастливо, Лонс, я прощаю тебя за все, что я тебе сделал.

Ну, а как жила в это время Анна Стентон, рассказывать не долго. После двухлетнего пребывания в аристократическом пансионе в Виргинии она вернулась домой. Адам в это время изучал медицину на Севере. Анна год выезжала на балы и была помолвлена. Но ничего из этого не вышло. Хотя жених был порядочным, умным и обеспеченным человеком. Потом было объявлено о новой помолвке, но что-то опять произошло. К тому времени губернатор Стентон стал совсем инвалидом, а Адам учился за границей. На балы Анна уже не ездила — только изредка на летние вечеринки в Лендинге. Она ухаживала за отцом, давала ему лекарства, поправляла подушки, помогала сиделке, часами читала ему вслух, держала его за руку в летние сумерки и зимние вечера, когда дом дрожал от порывов ветра. Он умер через семь лет. После того как губернатор скончался на своей огромной кровати с балдахном, окруженный толпой медицинских светил, Анна Стентон осталась в доме выходящем на море, в обществе няни Софонизбы — дряхлой, ворчливой и никчемной старухи негрятинки, странным образом соединившей в себе благодущие со злопамятностью и деспотизмом, как это бывает только у старых негрятенок, чья жизнь прошла в преданной службе хозяевам, в подслушивании, улецивании и плутовстве, в коротких вспышках возмущения, в вечной иронии и в одежде с барского плеча. Потом умерла и няня Софонизба, вернулся из-за границы Адам, осыпанный академическими наградами и фанатически преданный своему делу. Вскоре после его приезда Анна переехала в столицу, чтобы жить поближе к нему. Ей было уже около тридцати.

Она жила одна в маленькой квартирке. Изредка она обедала с кем-нибудь из подруг своей молодости, которые жили теперь совсем другой жизнью. Изредка она ходила на вечера, которые устраивала какая-нибудь из этих дам, или в загородный клуб. Она была помолвлена в третий раз, теперь с человеком лет на семнадцать старше нее, вдовцом с несколькими детьми, видным адвокатом и столпом общества. Он был славный человек. Еще крепкий и довольно привлекательный. И даже с чувством юмора. Но замуж за него она не вышла. С годами она пристрастилась к беспорядочному чтению — биографий (Даниэля Буна и Марии-Антуанетты), того, что называлось «серьезной беллетристикой», книг по социальным вопросам — и к благотворительной работе в квартале для бедноты и в сиротском доме. Она хорошо сохранилась и, соблюдая строгий стиль, продолжала заботиться о своем туалете. Теперь ее смех звучал порою натянуто и резко — он шел скорее от нервозности, чем от веселья или хорошего настроения. Иногда она теряла нить разговора и погружалась в себя, а потом, встрепенувшись, сгорала от смущения. Иногда она поднимала руки к вискам, чуть притрагиваясь пальцами к коже или откидывая назад волосы, — жестом рассеянности. Ей шел уже тридцать пятый год. Но с ней еще было приятно провести время.

Такой была Анна Стентон, которую подцепил Вилли Старк и которая в конце концов мне изменила, вернее изменила моему представлению о ней, что оказалось для меня важнее, чем я предполагал.

Вот почему я сел в машину и поехал на Запад — когда тебе не нравится твоя жизнь, ты едешь за Запад. Мы всегда шли на Запад.

Вот почему я погружался в Запад и прокручивал свою жизнь, как любительскую киноленту.

Вот почему я оказался на гостиничной кровати в Лонг-Биче. Калифорния, на последнем берегу земли среди всех этих великолепий природы. Ибо здесь ты

оказываешься после того, как плыл через океан, жевал черствые сухари сорок дней и ночей, запертый в крысоловке, которую швыряли волны; после того, как ты потел в чаще и слушал звериный рев; после того, как ты построил хижины и города, перекинул мосты через реки; после того, как ты спал с женщинами и наплодил детей по всему свету; после того, как ты сочинял программные документы, произносил возвышенные речи, обагрив руки по локоть в крови; после того, как тебя трясла лихорадка в болотах и ледяные ветры в горах. И вот ты оказываешься здесь, один, на гостиничной койке в Лонг-Биче, Калифорния. Здесь я и лежал, а за окном в такт сокращению и расслаблению сердечной мышцы мигала, мигала неоновая вывеска, снова и снова озаряя кровавым отсветом серый морской туман.

Я утонул в Западе, и тело мое опустилось в уютный ласковый ил, на дно Истории. Лежа там, я обозревал, как мне казалось, всю историю моей собственной жизни и видел, что девушка, с которой я провел то далекое лето, не была ни красивой, ни обаятельной, а всего-навсего молодой и здоровой, и хотя она пела песенки птичке-Джеки, прижимая его голову к своей груди, его она не любила, в ней просто бродила кровь, а он оказался под боком — и это таинственное брожение крови получило название «любовь». Я понял, что ее мучило брожение крови и она разрывалась между этой тягой и страхом и что все ее колебания и неуступчивость не были порождены мечтой о том, чтобы «любовь имела свой выгший смысл», и желанием внушить такую же мечту мне, а были порождены страхами, которые еще в колыбели нашептывали ей, как добрые феи, все шамкающие, затхлые, отечные старухи из приличного общества, и что все ее колебания и неуступчивость были не лучше и не хуже похоти или той неуступчивости, которую практиковала Лоис в других целях. И в конце концов нельзя отличить Анну Стентон от Лоис Сигер — они близнецы, и хотя безумный поэт Уильям Блейк написал в стихах Врагу, правящему миром, что Он не может превратить Кэти в Нан, безумный поэт ошибался, ибо каждый может превратить Кэти в Нан, а если Враг не мог превратить Кэти в Нан, то только потому, что они с самого начала были психомы как две капли воды и по суги одинаковы, с иллюзорным отличием имен, которое ничего не значит, ибо все имена ничего не значат и все наши слова ничего не значат, а есть лишь бисние крови и содрогание нерва, как в лапке подопытной мертвой лягушки, когда через нее пропускают ток. И вот, лежа с закрытыми глазами на кровати в Лонг-Биче, я видел в зыбкой тьме, словно в трясиине, могучее всхливание, судороги бесчисленных тел, члены, отторгнутые от этих тел, потные, а быть может, и кровоточащие от незаживающих ран. Но потом это зрелище, которое я мог вызвать, попросту закрыв глаза, показалось мне смехотворным. И я громко расхохотался.

Я громко расхохотался и, насмотревшись на размеренные вспышки неоновых огней в морском тумане, заснул. Когда я проснулся, я был готов вернуться к тому, от чего я уехал.

Много лет назад в моей комнате на железной кровати лежала, закрыв глаза и сложив на груди руки, раздетая девушка. Меня так растрогала ее покорность, ее доверие ко мне и сама эта минута, которая вот-вот ввергнет ее в темный поток жизни, что я не решился до нее дотронуться и в растерянности громко назвал ее имя. Тогда я не мог бы выразить словами то, что я чувствовал, да и теперь мне трудно найти эти слова. Мне показалось, что она опять та девочка, которая в день пикника, закрыв глаза, лежала в воде, под грозовым пурпурно-зеленым небом, где высоко пролетала белая чайка. Перед глазами у меня возник этот образ, и мне захотелось окликнуть ее, сказать ей что-то, а что — я сам не знал. Она доверилась мне, но, может быть, в тот миг нерешительности я сам себе не доверял и прошлое представлялось мне драгоценностью, которую вот-вот у нас вырвут, — я боялся будущего. Тогда я не понимал того, что сейчас, по-моему, понял: прошлое можно сохранить, только имея будущее, ибо они связаны навечно. Поэтому мне недоставало необходимой веры в жизнь и в себя. Со временем Анна стала догадываться об этом моем недостатке. Не знаю, могла ли она определить его

точными словами. Скорее она обходилась ходовыми, заемными понятиями: желанье работать, юридическое образование, деятельная жизнь.

Пути наши, как я говорил, разошлись, но образ той девочки в воде залива, под грозовым небом, невинной и доверчивой, был всегда со мной. Затем настал день, когда образ этот у меня отняли. Я узнал, что Анна Стентон стала любовницей Вилли Старка, что я сам, в силу какой-то таинственной и непреложной закономерности, отдал ее ему. С этим фактом было чудовищно трудно примириться — он отнимал у меня ту часть прошлого, которой, сам того не подозревая, я жил.

И вот я бежал от этого факта на Запад, и на Западе, на конечной остановке Истории — последний человек на последнем берегу, — на гостиничной койке я увидел видение. Я увидел, что вся наша жизнь — темное волнение крови и содрогание нерва. Когда убегаешь так далеко, что бежать дальше некуда, всегда приходит такое видение — видение нашего века. Сначала оно кошмарно и чудовищно, но в конце концов может стать по-своему целительным и бодрящим. Таким на какое-то время оно стало для меня. Оно было целительным потому, что после этого видения Анна Стентон в каком-то смысле перестала для меня существовать. Слова «Анна Стентон» были всего лишь названием мудреного механизма, который ничего не должен значить для Джека Бёрдена, другого мудреного механизма. Когда я впервые обрел эту точку зрения на вещи — открыл ее сам, а не почерпнул из книг, — я почувствовал, что открыл тайный источник всякой силы и всякой стойкости. Что видение разрешает все вопросы.

Поначалу, как я уже сказал, оно было целительным и бодрящим. Потому что после такого видения ничто не мешает вам вернуться восвояси и взглянуть в лицо факту, от которого вы убежали (даже если этот факт означает, что, докопавшись до правды прошлого, ты своими руками отдал Анну Стентон Вилли Старку), ибо всякое место, куда ты теперь убежишь, ничем не отличается от места, откуда ты убежал, и ты можешь вернуться назад, туда, где твое настоящее место, — ведь ты ни в чем не виноват и никто ни в чем не виноват, раз мир устроен так, а не иначе. И вернуться ты можешь с легкой душой, потому что ты открыл две очень важные истины. Во-первых, что нельзя потерять то, чего никогда не имел. Во-вторых, что нельзя быть виновным в преступлении, которого не совершал. Так на Западе ты обретаешь невинность и можешь начать жизнь сначала.

Если веришь видению, которое там увидел.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Итак, полежав на кровати в Лонг-Биче, Калифорния, и увидев то, что мне довелось увидеть, я поднялся обновленным и поехал назад, в сторону утреннего солнца. Оно стелило мне под колеса тени белых, розовых и нежно-голубых штукатуренных домиков (в стиле ранних испанских миссий, мавританском и просто американском), тени заправок станций, похожих то на пряничный дом из сказки, то на дом Анны Хетеуэй, то на эскимосский иглу, тени дворцов, сверкающих на холмах в кружеве надменных эвкалиптов, тени приземистых гор, похожих на львов, тень товарного вагона, забытого на пустой ветке, тень встречного на белой дороге, сверкающей вдали, как кварц. Под колеса мне ложилась прекрасная фиолетовая тень всего мира, но я не останавливался, потому что, если вы действительно побывали в Лонг-Биче и видели вещий сон на кровати в гостинице, ничто не мешает вам с новой уверенностью в себе вернуться к тому, от чего вы бежали, ибо теперь у вас есть знание, а знание — сила.

Вы можете дать полный газ, чтобы шестидесятисильное чудо взвыло, как овчарка на привязи.

Я миновал человека, который шел мне навстречу, и его лицо унеслось назад, словно листок бумаги, подхваченный ураганом, словно юношеские надежды. И я громко рассмеялся.

Я видел людей, выходящих на рыночные площади маленьких городков в пустыне. Я видел, как официантка безнадежно замахивается на муху в ресторане, где вентилятор баламутит воздух, разреженный и горячий, как дыхание домны. Я видел коммивояжера, который стоял передо мной у стола портье и говорил: «И это называется гостиница, я заказал по телефону номер с ванной, а мне его не оставили. Удивительно еще, что в таком городишке есть ванны». Я видел овчара, стоявшего в одиночестве на вершине столовой горы. Я видел индианку с глазами цвета патоки, которые глядели на меня поверх груды гончарных изделий, расписанных племенными символами жизни и плодородия и предназначенных для лавки, где все продается за пять или десять центов. Глядя на этих людей, я ощущал огромную силу моего сокровенного знания.

Я вспомнил, как однажды, давным-давно, когда Вилли Старк был пешкой и растяпой, во времена, когда он был дядей Вилли из деревни и впервые баллотировался в губернаторы, я отправился в обглоданную вшами западную часть штата, чтобы написать отчет о митинге в Аптоне. Я ехал на пригородном поезде, который часами зевал и пыхтел среди хлопковых полей, а потом — полынной равнины. На одной станции я выглянул в окно и подумал о том, что заборы и проволочные изгороди вокруг тесовых домишек не смогут сдержать пустоту полынной, бугристой страны, которая словно подползла к домам, готовясь проглотить их. Я думал о том, что дома выглядят ненужными, хлипкими, случайно сюда заброшенными, что люди вот-вот их покинут, оставив на веревках белье — они не успеют сорвать белье с веревок, когда до них наконец дойдет, что надо бежать, и бежать поскорее. У меня была такая мысль, но когда поезд тронулся, в задней двери одного из домов появилась женщина и выплеснула из сковородки воду. Она выплеснула воду, взглянула на поезд и решительно вошла в дом. Она не собиралась бежать. Она вернулась в дом, с которым была связана какая-то ее тайна, какое-то сокровенное знание. И когда поезд отошел, мне почудилось, что это я бегу и должен бежать поскорее, ибо скоро стемнеет. Я подумал, что эта женщина обладает каким-то тайным знанием, и позавидовал ей. Я часто завидовал людям. Тем, кого я видел мельком, и тем, кого знал давно; человеку, прокладывавшему весной первую черную борозду в поле, и Адаму Стентону. Я завидовал людям, которые, казалось мне, обладают сокровенным знанием.

Но теперь, мчась на Восток по пустыне, в тени хребтов, мимо плоских холмов, по нагорьям и глядя на людей этой величественной голой страны, я думал, что мне больше некому завидовать, ибо теперь я сам обладаю сокровенным знанием, а зная, ты готов ко всему, ибо знание — сила.

В поселке Дон Хон, Нью-Мексико, я разговорился с человеком, который сидел у стены заправочной станции, заняв единственный пятачок тени на сто миль вокруг. Это был старик лет семидесяти пяти, с лицом, словно растрескавшимся от засухи, со светло-голубыми глазами и в фетровой шляпе, давно уже не черной. Единственной приметной его чертой было то, что, когда вы смотрели на потрескавшуюся кожу его лица, сухую и безжизненную, как у мумии, вы вдруг замечали тик, поддергивавший его левую щеку к голубому глазу. Вы думали, что он собирается подмигнуть, но он не собирался подмигивать. Тик был самостоятельным явлением, не связанным ни с его лицом, ни с его внутренним миром, ни с чем во всей ткани явлений, составляющей мир, в котором мы блуждаем. Только он и был замечательным в этом лице — тик, живший своей маленькой самостоятельной жизнью. Старик сидел на тюке, из которого торчала ручка луженой кастрюли; я присел на корточки рядом с ним и стал его слушать. Но слова были неживые. Живым был только тик, которого этот человек уже не замечал.

После того как мне заправили машину, я продолжал наблюдать этот тик, то и дело отрывая взгляд от шоссе, — мы сидели рядом и мчались на Восток. Он тоже ехал на Восток, возвращался. Он покинул его в те дни, когда пыльные бури бушевали над половиной страны и люди бежали на Запад, словно очумелые лемминги. Только людям не хватало высокого иступления леммингов. Они не бросались обезумевшими ордами в голубые просторы Тихого океана. А ведь это было

бы логично: броситься в воду папе и маме, бабушке и дедушке и малютке Розочке с мокрой болячкой на подбородке и плыть всей гоп-компанией, взбивая пену. Но нет, они были непохожи на леммингов, а потому осели и стали медленно умирать с голоду в Калифорнии. А старик не стал. Он возвращался в северный Арканзас, чтобы голодать в родных краях.

— Что в Калифорнии, — сказал он, — что в другом месте — все едино. Только там еще похлеще будет.

— Да, — ответил я, — это точно.

— Был там? — спросил он.

Я сказал ему, что был там.

— Обратно домой едешь? — спросил он.

Я сказал ему, что еду домой.

Мы пересекли Техас, и в Шривпорте, штат Луизиана, он вылез, чтобы добраться до северного Арканзаса. Я не спросил его, нашел ли он правду в Калифорнии. Лицо его во всяком случае нашло и носило печать последней мудрости под левым глазом. Лицо знало, что тик — это живое. Что он — все. Но, расставшись с этим в остальных отношениях непримечательным стариком и размышляя над его отличием, я сообразил: если тик — это все, то что же в человеке может осознать, что тик — это все? Разве лапка мертвой лягушки в лаборатории сознает, что судорога — это все, когда ты пропускаешь через нее электрический ток? Разве лицо старика знало о тике и о том, что тик — это все? И если я — сплошной тик, то откуда тик, которым я являюсь, знает, что тик — это все? А-а, решил я, это загадка. Это сокровенное знание. За тем ты и едешь в Калифорнию, чтобы это открылось тебе в мистическом видении. Тик может знать, что тик — это все. И когда это открывается тебе в мистическом видении, ты очищаешься и становишься свободным. Ты в ладу с Великим Тиком.

Так я двигался все дальше на восток и через некоторое время прибыл домой.

Я приехал поздно ночью и лег спать. Наутро, отдохнувший и чисто выбритый, я явился на службу и зашел поздороваться с Хозяином. Мне очень хотелось его увидеть и внимательно приглядеться к нему — нет ли в нем чего-то такого, чего я прежде не замечал. Требовалась величайшая внимательность, потому что теперь он стал человеком, у которого есть все, — у меня же ничего не было. Вернее, поправил я себя, у него есть все, кроме одной вещи, которая есть у меня, очень важной вещи, секрета. И поправив себя, в жалостливом расположении духа, как священник, взвешивающий на труды и муки мирские, я вошел в приемную губернатора, миновал секретаршу, постучался и открыл дверь. Он был на месте и совсем не изменился.

— Привет, Джек, — сказал он, откинул со лба волосы, снял со стола ноги и подошел ко мне, протягивая руку, — где ты пропадал?

— На Западе, — ответил я с нарочитой небрежностью и пожал его руку. — Просто съездил на Запад. Засиделся я тут, решил отдохнуть немного.

— Хорошо прокатился?

— Чудесно прокатился, — ответил я.

— Прекрасно, — сказал он.

— А ты тут как? — спросил я.

— Прекрасно, — сказал он, — все прекрасно.

Итак, я вернулся домой, в края, где все было прекрасно. Все было так же прекрасно, как и до моего отъезда, с той только разницей, что теперь я знал секрет. И это знание отрезало меня от всех. Зная секрет, вам так же трудно общаться с тем, кто его не знает, как с непоседливым, напичканным витаминами мальцом, который поглощен своими кубиками и жестяным барабаном. И вам некого отвести в сторонку, чтобы поделиться своим секретом. Если вы попробуете это сделать, то человек, которому вы захотите открыть истину, подумает, что вы жалеете себя и ждете сочувствия, тогда как на самом деле вы ждете не сочувствия, а поздравлений. Поэтому я занимался своими насущными делами, ел мой

насущенный хлеб, видел давно знакомые лица и улыбался милостиво, как священник.

Был июнь, и было жарко. Каждый вечер, кроме тех вечеров, когда я сидел в кино с кондиционированным воздухом, я приходил после обеда к себе в комнату, раздевался догола, ложился в постель, слушал, как зудит вентилятор, прогрызая мне мозги, и читал книжку до тех пор, пока не затихал городской шум и не раздавался на далекие гудки танси, лязг и скрежет редких ночных трамваев. Тогда я протягивал руку, гасил свет и, повернувшись на бок, засыпал под назойливое жужжание вентилятора.

В июне я несколько раз видел Адама. Он еще глубже ушел в работу над проектом медицинского центра, еще угрюмее и безжалостнее подгонял себя. Конечно, с концом учебного года дел в университете у него поубавилось, но это с лихвой восполняла растущая частная практика и работа в клинике. Когда я приходил к нему, он говорил, что рад меня видеть, и, наверно, в самом деле был рад, но разговаривал он неохотно, и, пока я сидел у него, он все глубже и глубже уходил в себя, и в конце концов у меня возникало такое чувство, будто я пытаюсь заговорить с человеком, сидящим в глубоком колодце, и мне надо орать, чтобы меня услышали. Только раз он оживился — когда мимоходом сказал, что завтра утром у него операция, а я спросил, чем болен пациент.

Он сказал, что это случай кататонической шизофрении.

— Значит, он псих? — спросил я.

Адам улыбнулся и снисходительно заметил, что я недалеко от истины.

— Я не знал, что ты режешь психов, — сказал я. — Я думал, ты просто ублажаешь их, прописываешь холодные ванны, заставляешь плести корзинки и выпытываешь, какие они видят сны.

— Нет, — сказал он, — их можно оперировать. — И, как бы извиняясь, добавил: — Фронтальная лоботомия.

— А что это?

— Удаляются кусочки лобных долей в обоих полушариях, — ответил он.

Я спросил, останется ли пациент жив. Он сказал, что ручаться нельзя, но если останется, то станет другим.

Я спросил, что значит — другим.

— Другой личностью, — ответил он.

— Вроде как после обращения в христианскую веру?

— Это не создает новой личности, — ответил он. — После обращения твоя личность остается прежней. Просто она функционирует на основе другой системы ценностей.

— А личность этого человека станет другой?

— Да, — сказал Адам. — Сейчас он просто сидит на стуле или лежит на спине и смотрит в пустоту. Его лоб изборожден морщинами. Изредка он издает тихий стон или восклицание. Иногда этим случаям сопутствует бред преследования. Пациент находится в ступоре и испытывает грызущую тоску. Но после операции решительно все меняется. Напряженность уходит, он становится веселым и дружелюбным. Его лоб разглаживается. Он будет хорошо спать, хорошо есть, с удовольствием стоять у изгороди и делать соседям комплименты по поводу их наsturций или капусты. Он будет совершенно счастлив.

— Если ты можешь гарантировать такие результаты, займись торговлей земельными участками. Как только об этом пройдет слух.

— Никогда ничего нельзя гарантировать, — сказал Адам.

— А что будет, если все получится не по учебникам?

— Ну, — сказал он, — бывали такие случаи — не у меня, слава богу, — когда субъект становился не жизнерадостным и общительным, но жизнерадостным и совершенно аморальным.

— Заваливает нянек на пол среди бела дня?

— Приблизительно, — сказал Адам. — Если ему позволить. Все обычные запреты исчезают.

— Да, если твой больной выйдет после операции в таком виде, он будет ценным приобретением для общества.

Адам кисло усмехнулся:

— Ничуть не хуже многих, кого не подвергали операции.

— Можно мне посмотреть? — попросил я.

Я вдруг почувствовал, что должен это увидеть. Я никогда не видел операции. Как журналист я видел три казни через повешение и одну на электрическом стуле, но это совсем другое дело. Вешая человека, вы не изменяете его личности. Вы изменяете только длину его шеи и сообщаете его лицу лукавое выражение: а на электрическом стуле вы просто поджариваете подпрыгивающий кусок мяса. Но операция должна быть порадикальнее того, что случилось с Савлом по пути в Дамаск. Поэтому я попросил разрешения на ней присутствовать.

— Зачем? — спросил Адам, изучая мое лицо.

Я сказал, что просто из любопытства.

Он сказал: ладно, но это будет не очень приятное зрелище.

— Наверно, такое же приятное, как казнь через повешение, — ответил я.

Тогда он начал рассказывать мне о болезни. Он рисовал мне картинки, показывал книги. Он заметно оживился и заговорил меня до полусмерти. Мне было так интересно, что я забыл задать ему вопрос, который мелькнул у меня в голове еще в начале разговора. Тогда он сказал, что, приобщившись к вере, личность не изменяется, а только функционирует на основе новой системы ценностей. Вот я и хотел спросить: откуда, если личность не изменяется, откуда она берет новую систему ценностей, чтобы функционировать на ее основе? Но я забыл об этом спросить.

В общем, я видел операцию.

Меня обрядили так, чтобы я смог войти с Адамом в операционную. Внесли пациента и положили на стол. Это был худощавый субъект с крючковатым носом и недовольным лицом, отдаленно напоминавший Эндрю Джексона¹ или захолустного проповедника, несмотря на белый тюрбан, скрученный из стерильных полотенец. Но тюрбан был кокетливо сдвинут на затылок и темени не закрывал. Передняя часть головы была выбрита. Ему дали маску, и он отключился. Адам взял скальпель и провел аккуратный тонкий надрез поперек макушки и вниз к обоим вискам, а затем попросту стащил кожу на лоб широким ровным лоскутом. Воин из команчей показался бы рядом с ним жалким подмастерьем. Тем временем сестра промокала кровь, которая лилась обильно.

Затем Адам приступил к главному. У него было приспособление вроде коловороты. Им он просверлил по пять или шесть дырок — их называют трепанационными отверстиями — с обеих сторон черепа. Потом он начал орудовать чем-то вроде шершавой проволоки — я уже знал, что она называется пилой Жигли. Он пилил череп до тех пор, пока с обеих сторон не образовалось по клапану, — отогнув их вниз, он мог добраться до самого механизма. Правда, до этого ему пришлось прорезать тонкую бледную пленку, которая называется мозговой оболочкой.

Прошло уже больше часа — по крайней мере так мне казалось, — и ноги у меня устали. К тому же было жарко, но я себя чувствовал сносно, несмотря на кровь. Дело в том, что человек, лежавший на столе, был как будто не настоящий. Я вообще забыл, что он человек, и просто наблюдал за первоклассной плотницкой работой. Я почти не обращал внимания на те детали, которые указывали, что лежавший на столе предмет был человеком. Например, сестра мерила у него давление и время от времени возилась с аппаратом для переливания крови — ему понемногу вливали кровь из укрепленной на штативе бутылки с трубкой.

Все шло прекрасно, пока они не начали выжигать. Для удаления кусочков мозга они пользуются электрическим инструментом, состоящим всего-навсего из металлического стерженька, воткнутого в ручку с электрическим шнуром. Вся эта штука похожа на бигуды для электрической завивки. Я не переставал удивлять-

¹ Эндрю Джексон — американский генерал, герой второй войны за независимость (1812—1814). С 1829 по 1837 год — президент США.

ся, до чего проста и рациональна эта дорогая аппаратура и до чего она напоминает инструменты, которые можно найти в любом хорошо поставленном домашнем хозяйстве. Порывшись в кухне и в туалетном столике жены, вы за пять минут наберете достаточно приспособлений, чтобы самому открыть такое дельце.

Так вот, в процессе электрокаутеризации этот стерженек и режет, вернее, выжигает нужную часть. Получается немного дыма и довольно сильный запах. Мне во всяком случае он показался сильным. Сначала все было ничего, но потом я вспомнил, откуда мне знаком этот запах. Когда-то, когда я был еще мальчиком, в Бёрденс-Лендинге ночью сгорела старая конюшня, и всех лошадей вывести не удалось. В сыром ночном воздухе висел запах жареных лошадей — потом он долго преследовал меня, даже после того, как в ушах перестало звучать пронзительное лошадиное ржание. Когда я сообразил, что паленый мозг пахнет, как те лошади, мне стало плохо.

Но я крепился. Операция шла долго, еще несколько часов, потому что резать можно только маленькими кусочками, постепенно продвигаясь все глубже и глубже. И я держался, пока Адам не зашил мягкую оболочку, не отогнул на место клапаны черепа, не натянул на них кожу и не зашнуровал ее чин чином, как положено.

Лишние кусочки мозга были выброшены — додумывать свои маленькие мысли среди мусора, — а то, что осталось в черепе худощавого субъекта, было снова закупорено, чтобы сочинять новую личность.

Затем мы с Адамом вышли, он вымылся, и я, стаскивая с себя белую ночную рубашку, сказал:

— Знаешь, ты забыл его окрестить.

— Окрестить? — переспросил Адам, вылезая из своей ночной рубашки.

— Ну да, — сказал я, — он вновь рожден, и не женщиной. нарекаю тебя во имя Большого Тика и Малого Тика и Святого Духа, который, безусловно, тоже — Тик.

— Что ты городишь? — сказал он.

— Ничего, — ответил я. — Просто пытаюсь быть остроумным.

На лице Адама изобразилась слабая снисходительная улыбка — слова мои, видимо, не показались ему смешными. Теперь, оглядываясь назад, я тоже не захожу в них ничего смешного. Но тогда я думал, что это смешно. Я думал, что это может рассмешить до колик. Много, что казалось мне смешным в то лето с высоты моей олимпийской мудрости, теперь мне смешным не кажется.

После операции я не видел Адама довольно долго. Он уехал на Север, по делам — скорее всего по больничным делам. А вскоре после его возвращения произошел случай, который чуть было не поставил Хозяина перед необходимостью искать нового директора.

В случае этом не было ничего странного или неожиданного. Однажды вечером, пообедав вместе, Анна и Адам поднялись по лестнице его обшарпанного дома и увидели на площадке высокую худую фигуру в белом костюме и белой панаме, под которой в сумраке тлела сигара, распространяя дорогой аромат, противоборствующий запаху капусты. Человек снял шляпу, осторожно прижал ее локтем к боку и спросил Адама, не он ли доктор Стентон. Адам ответил, что он. Тогда человек назвалсЯ Кофи (полностью Хьюберт Кофи) и попросил разрешения зайти.

Они зашли, и Адам спросил, чего ему надо. Незнакомец, с длинным, шишковатым, лимонно-желтым лицом, одетый в белый отутюженный костюм и двухцветные туфли с фигурной строчкой и какими-то специальными отдушинами (ибо, как я выяснил, Хьюберт был форменным пижоном: по два белых костюма на дню, белые шелковые трусы с красной монограммой, красные носки и дикихвинные туфли), чего-то мычал и мямлил, вежливо покашливал и со значением косился на Анну (а глаза его цветом и игрою напоминали отработанный автол). Позже Анна рассказывала — а она мой единственный источник сведений об этой встрече, — что приняла его за пациента и, извинившись, ушла на кухню положить в холодильник брикет мороженого, который они купили по дороге. Она собиралась провести с

Адамом тихий вечер. (Хотя вечера в обществе Адама едва ли казались ей такими уж тихими в то лето. Где-то в уголке ее сознания, наверно, жила мысль: а что, если Адам узнает, как она проводит другие вечера? Или ей удалось запереть этот уголок, как запирают некоторые комнаты в большом доме, чтобы жить в уютной, а может, уже и не такой уютной, гостиной,— и, сидя там, не прислушивалась ли она к скрипу половиц или незатихающим шагам в запертых комнатах на втором этаже?)

Спрятав мороженое, она заметила, что в раковине накопилось много грязной посуды. Чтобы не мешать разговору, она принялась мыть посуду. Она почти разделалась с мытьем, когда гудение голосов вдруг смолкло. Она отметила это внезапную тишину. Затем раздался какой-то сухой удар (именно так она его описывала) и голос брата: «Вон!» Послышались быстрые шаги, и хлопнула дверь на лестницу.

Когда она вошла, Адам стоял посреди комнаты, очень бледный, прижимая правую руку левой к животу, и смотрел на дверь. Он медленно повернул голову к Анне и сказал:

— Я его ударил. Я не хотел его ударить. Я никогда никого не бил.

Надо думать, он ударил Хьюберта довольно сильно, потому что костяшки у него были разбиты и распухли. При всей его поджарости, рука у Адама была тяжелая. В общем, он стоял, нянчил разбитый кулак, и лицо его выражало недоумение. Недоумевал он, видимо, по поводу своего поступка.

Взволнованная Анна спросила его, что случилось.

А случилось, повторяю, то, чего и надо было ожидать. Гумми Ларсон послал Хьюберта Кофи, который по причине его белых костюмов и шелковых трусов с монограммами почитался у них человеком утонченным и дипломатом. Он должен был убедить доктора Стентона, чтобы тот, воспользовавшись своим влиянием, уговорил губернатора отдать подряд на постройку медицинского центра Ларсону. Ничего этого Адам не знал, ибо мы можем быть уверены, что на стадии прощупывания Хьюберт не назвал своего хозяина. Но я, как только услышал имя Кофи, сразу понял, что он от Ларсона. Дальше стадии прощупывания у Хьюберта дело не пошло. Но, по-видимому, он трактовал эту стадию слишком широко. Сначала Адам не понял, к чему он клонит, и Хьюберт, вероятно, решив, что напрасно тратит свое прославленное хитроумие на этого остолопа, взял быка за рога. Он успел даже высказать мысль, что Адам тоже не останется в накладе, и только тут задел взрыватель. Все еще во власти недоумения, поглаживая распухшую руку, Адам сухо рассказал Анне о случившемся. Кончив, он нагнул и здоровой рукой подобрал окурок сигары, медленно прожигавший дырку в старом зеленом ковре. Он пересек ковер, держа вонючий окурок на отдалении, и швырнул его в камин, где до сих пор лежала (я заметил это, бывая у Адама) зола от последней весенней топки, клочки бумаги и кожа летних апельсинов. Затем он вернулся и с яростью затоптал тлеющую дыру — вкладывая, вероятно символический смысл в это действие. По крайней мере так я представляю себе эту картину.

Он сел за стол, взял ручку и бумагу и начал писать. Потом он обернулся к Анне и объявил, что написал заявление об уходе. Она ничего не ответила. Ни слова.

— Я знала, — рассказывала потом она, — спорить с ним бесполезно, ему не докажешь, что если какой-то жулик предложил ему взятку, ни губернатор Старк, ни работа тут ни при чем. По его лицу я поняла, что разговаривать бесполезно. Другими словами, им владела, по-видимому, инстинктивная потребность отстраниться, потребность, принявшая вид нравственного негодования и нравственной переоценки, но не тождественная им, более глубокая и по сути иррациональная. Он встал из-за стола и прошелся по комнате, не скрывая возбуждения. Он выглядел даже веселым, — рассказывала Анна. — словно вот-вот рассмеется. Казалось, он счастлив, что так получилось. Затем он взял письмо и наклеил марку.

Анна испугалась, что он тут же выйдет и отправит письмо, — он стоял посреди комнаты и вертел его в руках, словно раздумывая, как быть. Но он не вышел.

Он поставил письмо на каминную полку, еще несколько раз обошел комнату, затем бросился к роялю и ударил по клавишам. Он играл больше двух часов в духоте июньской ночи, и пот бежал по его лицу. Анна сидела напуганная, хотя сама не знала, чего боится.

Когда Адам кончил играть и повернулся к ней, бледный и в поту, Анна принесла мороженое, и они весело, по-семейному скоротали вечерок. Потом она ушла, села в свою машину и поехала домой.

Она позвонила мне. Мы встретились в ночной аптеке, и, сидя за столиком с крышкой под мрамор, я смотрел на нее впервые с того майского утра, когда она встретила меня в дверях своей квартиры, прочла вопрос в моих глазах и медленно молча кивнула в ответ. Ночью, когда я услышал в трубке ее голос, мое сердце, как всегда, подпрыгнуло и шлепнулось, словно лягушка в пруд с кувшинками, словно то, что случилось, на самом деле не случилось. Но это случилось, и теперь, когда такси везло меня в центр, к ночной аптеке, мне оставалось лишь испытывать злорадное и желчное удовлетворение, что меня вызвали по какому-то особому делу, в котором тот, другой, очевидно, не может помочь. Но злорадство и желчь сразу улетучились, а удовлетворение стало просто удовлетворением, когда я вышел из такси и увидел ее за стеклянной дверью аптеки — легкую, прямую фигуру в светло-зеленом в горошек платье без рукавов, с белым жакетом, переброшенным через руку. Я попытался разобрать, какое у нее выражение лица, но не успел — она заметила меня и улыбнулась.

Улыбка была осторожная, извиняющаяся, она говорила пожалуйста и спасибо, но в то же время выражала наивную и непоколебимую уверенность, что лучшая часть вашей природы восторгается. Я пошел по нагретому тротуару к этой улыбке и зеленому платью в горошек, которые помещались за стеклянной дверью, словно в витрине, так, чтобы ты мог ими полюбоваться, но не трогал. Затем я положил руку на стеклянную дверь, толкнул, и с улицы, где воздух был горячим и липким, как в турецкой бане, и где запах бензиновых паров мешался с застойным нежным запахом реки, который расплзается по городу тихими легкими ночами, вошел в светлый, гигиенический, прохладный мир за стеклом, где была улыбка. ибо нет ничего более светлого, гигиенического и прохладного, чем хорошая аптека в жаркую летнюю ночь. Если там стоят Анна Стентон и кондиционер в исправности.

Улыбка предназначалась мне, ее глаза смотрели прямо на меня, и она протянула мне руку. Я пожал ее, подумал, какая она прохладная, маленькая и твердая, словно только сейчас это обнаружил, и услышал:

— Вечно я тебя куда-то вызываю, Джек.

— Ну и прекрасно, — сказал я и отпустил руку.

Всего какой-то миг мы стояли молча, но мне он показался долгим и тягостным, словно нам не о чем было говорить. Она предложила:

— Давай сядем.

Я двинулся к столикам. Углом глаза я заметил, что она по привычке хотела взять меня под руку, но удержалась. Когда я это заметил, удовлетворение, бывшее до сих пор просто удовлетворением, снова стало злорадным и желчным удовлетворением, с которого я начал. И таким оно оставалось, пока мы сидели за столиком и я смотрел на ее лицо, на котором теперь не было улыбки, а только напряжение и следы лет, прошедших с тех пор, когда мы ехали в открытой машине и она пела птичке-Джеки и обещала, что никому не даст обидеть бедного маленького Джеки. Это верно, она сдержала обещание, потому что тем же летом птичка-Джеки улетел в края, где лучше климат и где никто его не обидит, и с тех пор не возвращался. Я по крайней мере больше его не видел.

Теперь мы сидели за кока-колой, и она рассказывала мне, что произошло в квартире у Адама.

— Чем я могу помочь? — спросил я, когда она кончила.

— Ты знаешь, — сказала она.

— Ты хочешь, чтобы я его удержал?

— Да, — ответила она.

— Это будет нелегко.

Она кивнула.

— Это будет нелегко, — сказал я, — потому что он ведет себя, как сумасшедший. Я могу его убедить только в одном: если ублюдок Кофи пытался его подкупить, это означает, что с работой все чисто и будет чисто, пока Адам этого хочет. Это означает далее, что кто-то выше Адама тоже отклонил взятку. Больше того, это означает, что Крошка Дафи — честный человек. Или, — добавил я, — не выполнил своих обещаний.

— Ты попробуешь? — спросила она.

— Попробую, — сказал я. — Но ты не очень надейся. Я могу доказать Адаму только то, что он и без меня бы понял, если бы не сходил с ума. Все это — высокомерие, брезгливость и чистоплюйство. Не любит играть с нехорошими мальчиками. Боится, что они запачкают его костюмчик.

— Это нечестно, — возмутилась она.

Я пожал плечами и сказал:

— В общем, я попробую.

— Как?

— Тут только один путь. Я пойду к губернатору Старку и уговорю его арестовать Кофи за попытку подкупа должностного лица — ведь Адам у нас должностное лицо, — и Адам подтвердит это под присягой. Если захочет. Это покажет ему, как обстоят дела. Это покажет ему, что Хозяин всегда за него заступится. И... — До сих пор меня занимал только Адам, но сейчас мой ум заработал в другом направлении. — Если Кофи отдадут под суд, губернатору это тоже не повредит. Особенно если тот припутает своего хозяина. Тогда можно будет закопать Ларсона. А без Ларсона Мак Мерфи ничего не стоит. А Кофи можно притянуть, если ты... — Тут я поперхнулся.

— Если я что? — спросила она.

— Ничего, — сказал я, испытывая то же, что человек, беззаботно ехавший по развальному мосту, когда пролет под ним вдруг начинает подниматься.

— Что? — повторила она.

Я посмотрел в ее спокойные глаза и по тому, как выставлен был ее подбородок, понял, что лучше сказать сразу. Все равно она не отстанет. И я сказал:

— Если ты будешь свидетельницей.

— Буду, — сказала она, не задумываясь.

Я покачал головой:

— Нет.

— Буду.

— Нет, ничего не выйдет.

— Почему?

— Потому что не выйдет. В конце концов ты же ничего не видела.

— Я там была.

— Это показания с чужих слов. Вот именно. Никто не станет слушать.

— Не знаю, — сказала она. — Я в этом не разбираюсь. Но я чувствую, что ты не из-за этого передумал. Почему ты передумал?

— Ты никогда не выступала свидетельницей. Ты не знаешь, что значит отвечать подлому, ловкому адвокату и потеть под его взглядом.

— Все равно, — сказала она.

— Нет.

— Я могу.

— Слушай, — сказал я и, зажмурившись, бросился с поднятого пролета, — если ты думаешь, что защитник Кофи будет церемониться, ты спятила, как твой брат. Он будет подлый, он будет ловкий, и в нем ни капли не будет благородного южного рыцарства.

— Ты хочешь сказать... — начала она, и по ее лицу я понял, что она уловила мою мысль.

— Вот именно, — сказал я. — Сейчас, может быть, никто ничего не знает, но когда начнется потеха, они будут знать все.

— Мне безразлично, — заявила она, выставив подбородок.

Я увидел морщинки на ее шее, крохотные, мельчайшие морщинки, след бесконечно тонкого, паутинного шнура, который день за днем незаметно накидывает на самую красивую шею душитель-время. Эта паутинка так тонка, что лопается каждый день, но в конце концов следы от нее остаются и в конце концов наступает день, когда шнурок не рвется и делает свое дело. Когда Анна подняла подбородок, я понял, что никогда прежде не замечал этих следов, а теперь буду замечать их всегда. Мне стало плохо — в буквальном смысле тошно, словно меня ударили в живот или гнусно предали. Но не успел я опомниться, как это чувство перешло в гнев, и меня прорвало.

— Ну да, — сказал я, — тебе безразлично, но ты вот что забыла. Ты забыла, что Адам будет сидеть тут же и глядеть на свою маленькую сестренку.

Она побледнела.

Потом она опустила голову и стала смотреть на свои руки, сжимавшие пустой станан из-под кока-колы. Я не видел ее глаз — только веки.

— Дорогая, дорогая, — прошептал я. Я схватил ее руки, сжимавшие станан, и уже не мог удержаться: — Анна, ну зачем ты это сделала?

Это был тот самый вопрос, который я не хотел задавать.

Она не сразу ответила. Потом, не поднимая глаз, тихо проговорила:

— Он не такой, как другие. Я еще не знала таких людей. Я его люблю. Наверно, я люблю его. Наверно, поэтому.

Я подумал, что сам на это напросился.

— А потом ты рассказал мне... рассказал об отце. И меня уже ничто не удерживало. После того, что ты рассказал.

Я подумал, что и на это напросился.

Она сказала:

— Он хочет на мне жениться.

— А ты?

— Сейчас нет. Это ему помешает. Развод помешает ему. Сейчас нет.

— Ты согласилась?

— Может быть, потом. Когда он будет в сенате. Через год.

Часть моего мозга деловито прикидывала: на будущий год в сенате. Значит, он больше не пустит туда старика Скогана. Странно, что он мне не сказал. Другая же часть, которая не была непроницаемым, стальным шкафом с алфавитными карточками, бурлила, как котел с варом. Большой пузырь вырвался из смолы на поверхность и лопнул — это мой был голос:

— Что ж, надеюсь, ты понимаешь, на что идешь.

— Ты его не знаешь, — сказала она еще тише. — Ты знаешь его столько лет, но так и не узнал его. — Она подняла голову и посмотрела мне в глаза. — Я не жалею ни о чем, — сказала она внятно.

Я шел к своей гостинице в душной темноте, надо мной мерно билось огромное небо, на улице бензиновые пары мешались с ночным болотным запахом обмелевшей реки. Я шел и думал: да, я знаю, почему она это сделала.

Ответ был во всех прошедших годах, в том, что было в них, и в том, чего не было.

Ответ был во мне, потому что рассказал ей я.

Я рассказал ей только правду, с бешенством оборвал я себя, она не смеет винить меня за правду!

Но была ли роковая предрасположенность в природе вещей и во мне самом — такая, что именно мне назначалось открыть ей правду? Приходилось задать себе и этот вопрос. А ответа я не знал. Я шел, ломая голову над этим вопросом и не находя ответа до тех пор, пока сам вопрос не потерял смысла и не выскольз-

нул из моей головы, как выскальзывает тяжелый предмет из онемевших пальцев. Я принял бы на себя ответственность и вину — я был готов к этому, — если бы сознавал их ясно. Но кто их вам объяснит?

Я все шел и немного погодя вспомнил ее слова, что я никогда не знал его. Он был Вилли Старком, которого я знал много лет, с тех пор, как дядей Вилли из деревни, мальчиком в рождественском галстуке он вошел в пивную Слейда. Конечно, я знаю его. Как свои пять пальцев. Я давно его знаю.

Слишком давно. Я подумал — слишком давно, чтобы знать его. Может быть, меня ослепило время, а скорее я упускал из виду, что время прошло, и круглое лицо дяди Вилли заслоняло от меня его настоящее лицо. Кроме, может быть, тех минут, когда оно наклонялось к толпе, с растрепанным чубом и выпученными глазами, и я чувствовал, что вместе с ревом толпы что-то поднимается и во мне, что я — на грани истины. Но потом неизменно возвращался образ дяди Вилли в рождественском галстуке.

Теперь же он не вернулся. Я видел лицо. Огромное. Больше афиши. Чуб, рассыпавшийся, как грива. Тяжелую челюсть. Губы, пригнанные, как два кирпича. Расширенные глаза с могучим блеском.

Странно, что я не видел его раньше. Толком не видел.

В ту ночь я позвонил Хозяину, передал ему рассказ Анны и предложил взять у Адама показания для ареста Кофи. Он велел сделать это. Сделать все, чтобы удержать Адама. И я, вернувшись в гостиницу, пролежал на кровати под вентилятором часов до шести, когда позвонил портье, чтобы меня разбудить. К семи в животе у меня уже плескалась чашка кофе, и со свежим бритвенным порезом на подбородке, с наждаком бессонницы под веками я стоял перед дверью Адама.

Я обработал его. Но работенку я себе подобрал нелегкую. Первым долгом я завербовал Адама в армию борцов за справедливость, заставив его пообещать, что он даст показания против Кофи. Метод был таков: исходя из того, что Адам, безусловно, жаждет покарать Кофи, я указал, что Хозяин будет приветствовать этот доблестный подвиг. Затем я подвел Адама к открытию, честь которого должна была принадлежать исключительно ему: что Анне придется выступить свидетельницей. Затем я прикинулся дурачком и сказал, что мне это не приходило в голову. С человеком, подобным Адаму, опасность состояла в том, что, завороженный перспективой осуществить справедливость, он заставит Анну свидетельствовать, хоть кровь из носу. Так бы оно и вышло, но я нарисовал жуткую картину суда (правда, и вполювину не такую жуткую, какой она была бы на деле), отказался ему помогать, наметнул на его бессердечие и закончил туманным предположением, что можно будет застукать Кофи за тем же делом еще раз — к примеру, я могу подставить себя, и он сделает новую попытку. Для начала я даже сам готов пустить пробный шар и так далее. Словом, Адам отказался от мысли засадить Кофи, но незаметно для себя усвоил мысль, что он и Хозяин будут плечом к плечу отбивать больницу от жуликов.

Когда мы выходили из квартиры, он взял с каминной полки запечатанные письма, чтобы отправить их по дороге. Я еще раньше заметил, что на верхнем конверте стоял адрес Хозяина. Поэтому, когда он повернулся ко мне, я просто вынул это письмо из его руки и сказал с самой обаятельной улыбкой:

— К чему выносить на улицу этот мусор?— И, разорвав его поперек, сунул обрывки в карман.

Затем мы вышли на улицу и сели в его машину. Я проводил его до работы. Будь на то моя воля, я и в кабинете сидел бы с ним весь день — приглядывал. Всю дорогу до центра я не закрывал рта, чтобы он не предавался посторонним мыслям. Я щебетал весело и беззаботно, как птичка.

Так катилось лето, наливаясь, словно большое яблоко, и все было, как прежде. Я ходил на работу. Возвращался в гостиницу, иногда ужинал, а иногда нет, ложился под вентилятор и читал допоздна. Я видел все те же лица — Крошки,

Хозяина, Сэди Бёрк, — лица, которые я знал так давно и видел так часто, что не замечал в них перемен. Но Анну и Адама я какое-то время не видел. И долго не видел Люси Старк. Теперь она жила за городом. Хозяин время от времени наезжал к ней, чтобы соблудить приличия и сфотографироваться с белыми леггорнами. Иногда с ним рядом стоял Том Старк, а иногда и Люси — с белыми леггорнами на переднем плане и проволоочной изгородью на заднем. Губернатор Вилли Старк в кругу семьи — гласили подписи.

Да, эти картинки были очень кстати. Половина штата знала, что Хозяин кокетует уже не первый год, но от фотографий семьи и белых курочек на избирателя веяло милым теплом, какими-то даже имбирными пряниками, холодной пахтой, и он ощущал в себе прочность, значительность, добродетельность, а если где и мелькнет среди белых крыльев неглиже с черным кружевом и пахнет острыми духами — что же: «Это ему не в укор, дают — бери». Значит, Хозяин и тут и там попевал, а это было знаком избранности, высшей породы. И разве не так же поступал избиратель, вырвавшись в город на съезд торговцев мебелью, когда давал коридорному пару долларов и просил привести в номер девочку? Или если без шика, то привозил в город грузовик свиней и за те же два доллара получал свое в бардачке. Но так или иначе, с шиком ли, в бардачке ли, — избиратель знал, как это делается, он сам хотел и мамочкиных пряников, и неглиже с черным кружевом и не держал против Хозяина зла за то, что он попевает и там и тут. А вот развода он бы Хозяину не простил. Тут Анна была права. Это повредило бы даже Хозяину. Это было бы совсем другое дело, тут у избирателя украли бы самое заветное — картину семейной идиллии, которая льстила и ему, и его собственной тощей или толстой жене, стоящей перед его собственным курятником. Но если избиратель знал, что Хозяин кокетует не первый год, и мог назвать половину его дам по имени, то относительно Анны Стентон он оставался в неведении. Сэди до всего докопалась, но это было естественно. Насколько я мог судить, никто больше об этом не догадывался, даже Дафи с его одышливым слоновьим умом и хитростью. Вот разве что Рафинад, но на него можно было положиться. Он знал все. При нем Хозяин позволял себе говорить о чем угодно, вернее — о чем е му угодно было говорить. А говорил он далеко не все, что думал. Однажды мы собрались у него в библиотеке — он, конгрессмен Ранда, Рафинад и я. Я ходил по комнате, а Хозяин учил Ранда, что ему говорить и как вести себя при обсуждении законопроекта Милтона — Бродерика в конгрессе. Инструкции были весьма откровенные, и конгрессмен нервно поглядывал на Рафинада. Хозяин это заметил.

— Черт подери, — сказал он, — ты боишься, что Рафинад услышит? Ну и услышит. Он уже много чего слышал. О наших делах он знает больше твоего. И верю я ему в сто раз больше, чем тебе. Мы с ним друзья, верно, Рафинад?

От гордости и смущения Рафинад побагровел, губы его зашевелились, и полетела слюна.

— Ты ведь друг мне, Рафинад, а? — сказал он, хлопнув Рафинада по плечу, и повернулся к конгрессмену прежде, чем Рафинад закончил свое «я т-т-тебе д-д-друг, и ма-м-молчок».

Да, Рафинад, наверно, знал, но на него можно было положиться.

И на Сэди можно было положиться. Правда, мне она рассказала, но это было в первом приступе ярости и (подумал я с мрачной иронией), если можно так выразиться, в кругу семьи. А больше никому она не расскажет. У Сэди Бёрк не было наперсницы, ибо она никому не верила. Она ни у кого не искала сочувствия, ибо в том мире, где она выросла, его не найдешь. Так что она будет держать язык за зубами. А терпения у нее сколько угодно. Она знает, что он вернется. А пока что она может доводить его до белого каления или хотя бы пытаться — потому что это нелегко, — а заодно и себя доводить, словом, устраивать сцены на грани рукопашной. Глядя на такую сцену, нельзя было определить, что связывает их, что бросает их друг к другу — любовь ли, ненависть или просто иступление. Впрочем, после стольких лет это вряд ли имело значение. Ее глаза горели на белом рябом лице, ее жесткие черные волосы стояли дыбом, словно наэлектризованные, ее руки

летали в воздухе, словно круша и раздирая что-то. Под ливнем изысканных слов он тяжело покачивал головой, провожал взглядом каждое ее движение — сначала сонно, потом внимательно — и наконец вскакивал с поднятым кулаком и вздущимися на висках жилами. Потом поднятый кулак вмазывался в левую ладонь, и он орал:

— К чертовой матери, к чертовой матери, Сэди!

Порою целые недели проходили без аттракционов. Сэди соблюдала ледяной протокол, встречалась с Хозяином только по делу и выслушивала его молча. Она стояла перед ним, изучая его своими черными глазами, пламя в которых уже было притушено. При всей своей непосредственности, Сэди умела ждать. Эту науку она постигла давно. Всего, что она получала от жизни, ей приходилось ждать.

Так проходило лето, так жили мы. Это тоже был способ жить, и, пожив таким способом некоторое время, вы забываете, что когда-то жили по-другому и, возможно, еще будете жить по-другому. Даже когда наступали перемены, они сначала казались не переменами, а все тем же самым, продолжением, повторением.

Наступили они благодаря Тому Старку.

Зная условия задачи, их нетрудно было предсказать. С одной стороны был Хозяин, а с другой стороны — Мак Мерфи. У Мак Мерфи не было выбора. Он должен был драться с Хозяином, потому что Хозяин не хотел с ним мириться, и если бы (а вернее будет сказать когда, чем если бы) Хозяин побил Мак Мерфи в четвертом округе, на Маке можно было бы поставить крест. А потому, не имея выбора, он готов был воспользоваться всем, что попадет под руку. Случилось так, что под руку ему попал человек по имени Мервин Фрей, дотоле прозябавший в безвестности. Была у Мервина дочка по имени Сибилла, тоже мало кому известная, но зато — утверждал мистер Фрей — хорошо известная Тому Старку. Все было просто: ни нового поворота в сюжете, ни новой линии в пьесе. Старое домашнее средство. Простое. Простое и противное.

Опозоренный отец в сопровождении друга, исполнявшего роль свидетеля и опоры, пришел к Хозяину и изложил свое дело. Вышел он бледный и явно не в своей тарелке, но двигаться еще мог. Он проделал долгий путь по ковру от двери Хозяина до двери в коридор, имея шаткую опору в лице своего друга, чьи ноги тоже подкашивались, и скрылся.

Затем звонок на моем столе затрясся, зажглась красная лампочка, означавшая «начальство», и, когда я включил репродуктор, раздался голос Хозяина:

— Джек, давай сюда, быстро.

Когда я «дал» туда, он кратко изложил мне дело и поручил: во-первых, разыскать Тома Старка и, во-вторых, выяснить все, что можно, о Мервине Фрее.

Для розысков Тома Старка потребовался целый день и половина дорожной полиции. Его нашли в рыбацьем домике у залива Бигерс-Бей в окружении приятелей, девиц, большого количества мокрых стаканов и сухих рыболовных снастей. Привезли его только в седьмом часу. Я в это время сидел в приемной.

— Привет, Джек, — сказал он, — чего его опять разбирает? — Он кивнул на дверь Хозяина.

— Сам скажет, — ответил я и проводил до двери взглядом атлетическую фигуру в грязных белых парусиновых брюках, сандалиях и светло-голубой шелковой тенниске, облепившей влажные грудные мускулы и чуть не лопавшейся на загорелых бицепсах. Голова в белой матросской шапочке слегка покачивалась при ходьбе и была чуть-чуть выдвинута вперед, руки немного согнуты, и локти отставлены. Чем-то эти тяжелые руки напоминали холодное оружие — в ножнах, но уже чуть выдвинутое, готовое к делу.

Он вошел к Хозяину без стука. Я удалился в свой кабинет и стал ждать, когда уляжется пыль. Что бы там ни было, Том не примет взбучки, даже от Хозяина.

Том вышел через полчаса и так хлопнул дверью, что портреты бывших губернаторов в приемной затряслись в своих тяжелых золоченых рамах, словно осенние листья. Он прошествовал по комнате, даже не оглянувшись на мою открытую дверь, и вышел. Сначала, рассказывал мне позже Хозяин, он все отрицал. Затем

он во всем сознался, дав понять Хозяину, что это не его собачье дело. Хозяина я увидел через несколько минут после ухода Тома — его впору было связывать. Ему оставалось одно утешение, так сказать, юридического порядка: по словам Тома, он был лишь рядовым во взводе друзей Сибиллы. Но, отвлекаясь от юридической стороны вопроса, то, что Том был лишь рядовым во взводе, еще больше взбесило Хозяина. И хотя это могло пригодиться, когда речь пойдет об отцовстве предполагаемого ребенка Сибиллы, самолюбие Хозяина было уязвлено.

Я разыскал и доставил Тома и тем выполнил первое поручение. Больше времени ушло на второе. На выяснение подноготной Мервина Фрея. Оказалось, что выяснять почти нечего. Парикмахер в единственном отделе Дьюбуасвилла — небольшого города в четвертом округе. Парикмахер-жуир: полосатые брюки с острыми, как ножи, складками; бриллианты на редящих волосах; руки, похожие на надутые резиновые перчатки; «Вестник бегов» в заднем кармане; бесформенный, мягкий нос с пурпурным лозянком прожилок, а изо рта — запашок сен-сена и сивухи. Вдовец, живет с двумя дочерьми. О таком ничего особенного не узнаешь. Все известно заранее. Конечно, у него — бессмертная душа, неповторимая и бесценная в глазах божьих; конечно, он единственный в своем роде стукот атомной энергии, обозначенный именем Мервин Фрей, но вы знаете его как облупленного. Вы знаете его анекдоты; знаете вкрадчивое, гнусавое хихиканье, которым он предваряет их; знаете, как серый язык смачно облизывает губы в заключение рассказа; знаете, как он воркует и виляет хвостом, накладывая горячую салфетку на осоловелое лицо местного башкира, местного конгрессмена или хозяина местного игорного дома; знаете, как он заигрывает в гостинице с потаскушками и заговаривает им зубы; знаете, как он влезает в долги из-за неоправдавшихся предчувствий на бегах и невезения в картах; знаете, как он просыпается по утрам, сидит на кровати, свесив на холодный пол голые ноги и ощущая привкус меди во рту, погруженный в безымянное свое отчаяние. Вы знаете, что при таком сочетании бедности, трусости и тщеславия ему на роду написано лишиться своей последней гордости и последнего стыда и стать орудием Мак Мерфи. Или еще чьим-нибудь.

Но он попал к Мак Мерфи. Эта деталь не всплыла при первой беседе с Мервином. Она всплыла через несколько дней. Хозяину позвонил один из людей Мак Мерфи и сказал, что до Мак Мерфи дошли слухи, будто дочь какого-то Фрея, зовут ее Сибилла, в претензии на Тома Старка; но поскольку Мак Мерфи всегда нравился футбол и, конечно, нравится игра Тома, ему было бы очень грустно, если бы мальчик попал в некрасивую историю. Фрей сейчас в таком состоянии, сказал этот человек, что никакие уговоры на него не действуют. Он говорит, что заставит Тома жениться на дочери. (Хотел бы я видеть в эту минуту лицо Хозяина.) Но Фрей живет недалеко от Мак Мерфи, Мак Мерфи его немного знает и, может быть, ему удастся урзонить Фрея. Конечно, придется ему заплатить, но зато не будет никакой гласности и Том останется холостяком.

Во что это станет — откупиться от Сибиллы? Дешево не откупишься.

Но тогда получается, что Мак Мерфи действует бескорыстно, из чистого чело-веколюбия?

А это во что обойдется? Ну, Мак Мерфи хотел бы баллотироваться в сенаторы.

Вон оно что.

Но Хозяин, если верить Анне Стентон, сам собирался стать сенатором. Это место практически было у него в кармане. Весь штат был у него в кармане. Весь, кроме Мак Мерфи. Мак Мерфи и Мервина Фрея. А он не желал торговаться с Мак Мерфи. Он не желал горговаться, но тянул время.

И вот почему он мог позволить себе такую роскошь — тянуть время: если бы у Мак Мерфи с Мервином все было в ажуре и они могли бы покончить с Хозяином, то они сделали бы это без всяких церемоний. Они не предлагали бы мировой. Да, у них были на руках кое-какие карты, но, видно, не одни козырные тузы, и им тоже приходилось рисковать. Им приходилось ждать, пока Хозяин думал, и надеяться, что он не придумает в ответ какую-нибудь пакость.

Пока Хозяин думал, я повидал Люси Старк. Она прислала мне записку с просьбой приехать. Я знал, чего она хочет. Она хотела поговорить о Томе. Очевидно, от самого Тома ей не удалось ничего добиться — по крайней мере того, что она могла бы счесть правдой, и всей правдой, — а с Хозяином она об этом не разговаривала, ибо, когда дело касалось Тома, согласия у них не бывало. И так, она собиралась задавать мне вопросы, а я собирался сидеть и потеть на красной плюшевой обивке в гостиной на ферме, где она жила. Но так было нужно. Когда-то я решил, что, если Люси Старк попросит меня о помощи, я ей помогу. Не то чтобы я чувствовал себя в долгу перед Люси Старк, или обязан был возместить ей какой-то ущерб, или наложить на себя епитимью. Если я и был в долгу, то не перед Люси Старк, и если обязан был возместить ущерб, то не ей. Если я был в долгу, то, наверно, перед собой. Если я обязан был возместить ущерб, то себе. Что же до епитимьи, то искупать мне было нечего. Единственным моим преступлением было то, что я человек и живу среди людей, а за это на себя не накладывают особой епитимьи. Преступление и епитимья в данном случае полностью совпадают. Они тождественны.

Если вы когда-нибудь бывали у Мексиканского залива, вы видели такие дома. Белые стены, но давно облезшие. Один этаж, по фасаду — широкая веранда с крышей на веретенообразных столбах. Оцинкованная кровля с бледными потеками ржавчины в лотках. Дом покоится на высоких кирпичных столбах, и под ним в прохладной тени, затянутой паутиной и отгороженной спереди пышными бирючинами и каннами, купаются в пыли и собираются на свои сходки куры, а в жаркие дни лежит, высунув язык, старая овчарка. Дом стоит довольно далеко от шоссе, на лужайке, где трава жухнет и редеет к концу лета. По обе стороны от доисторической цементной дорожки, которая возникает словно из-под земли, у обочины шоссе — две круглые клумбы, сделанные из старых автомобильных покрышек, заполненных лесной землей. На каждой — по несколько ярких ворсистых циний. По бокам перед фасадом — два дуба, довольно чахлах. За домом, образуя с ним букву «П», выстроились в два ряда некрашенные сараи и курятники. Но сам этот скромный, полинявший дом с опрятными клумбами, лисовой лужайкой, дубами и гордой в своей ветхости цементной дорожкой в послеполуденной тишине конца лета ни на что так непохож, как на почтенную пожилую женщину в клетчатом ситцевом платье, в белых чулках и мягких черных туфлях, с проседью в волосах, которая сидит в качалке, сложив руки на животе, и отдыхает, потому что вся дневная работа переделана, мужчины — в поле, а доить и думать об ужине еще рано.

Я вступил на цементную дорожку робко, словно мне предстояло пройти по многим десяткам яиц, снесенных пресловутыми леггорнами.

Люси ввела меня в гостиную, точно такую, какой я ее себе представлял: резная, черного ореха мебель, обитая красным плюшем с кое-где еще сохранившимися кистями; на резном ореховом столе библия, стереоскоп и аккуратная пачка картинок для стереоскопа; ковер с цветами, прикрытый в наиболее вытертых местах тряпичными половичками, на стене в ореховых с позолотой рамах — строгие, малярные калвинистские лица, взирающие на вас без особой симпатии. Окна были закрыты, занавески сдвинуты, и мы сидели в водянистом полумраке молча, как на похоронах. Моя ладонь опустилась на колючий плюш.

Люси сидела так, словно она была одна, и смотрела не на меня, а на узор ковра. Ее густые темно-каштановые волосы, которые обкорнал и завил парикмахер в Мейзон-Сити в ту пору, когда я с ней познакомился, давно успели отрасти до своей нормальной длины. Возможно, они еще отливали медью, но в потемках мне было не видно. Седину я, однако, заметил еще в дверях. Она сидела напротив меня на красном плюшевом сиденье резного стула, скрестив все еще стройные ноги. Талия у нее была не такая тонкая, как раньше, но спина прямая, а грудь под летним голубым платьем хотя и располнела, но не потеряла формы. Мягкий овал ее лица уже не был девичьим, как в тот первый вечер в доме у деда Старка, — он чуть-чуть отяжелел, в нем появилось как бы обещание драб-

лости — раннего проклятия и верного конца этих мягких мирных лиц, которые, особенно в молодости, пробуждают в нас лучшие движения души и навевают мысли о святости материнства. Да, с таким лицом вы написали бы Мадонну Соединенных Штатов. Но вы не пишете, а между тем такое лицо пытаются изобразить на рекламах сухого кекса, патентованных пеленок и пшеничного хлеба — честное, здоровое, доброе, доверчивое, с молодым румянцем. На лице Люси Старк не было молодого румянца, но когда она подняла голову и заговорила, я увидел, что ее большие темно-карие глаза почти не изменились. Время и тревоги положили тени вокруг, углубили их, но и только.

Она сказала:

— Я насчет Тома.

— Да? — сказал я.

— Я знаю, что-то случилось.

Я кивнул.

Она сказала:

— Что случилось?

Я набрал воздуха, сухого, со слабым запахом непрветренной гостиной, политуры — запахом опрятности, приличия и скромных надежд, — и поерзал на красном плюше, который покусывал мою ладонь, как крапива.

— Джек, скажите правду. Я должна знать правду, Джек. Я знаю, вы мне все скажете. Вы всегда были настоящим другом. Вы были настоящим другом и Вилли и мне — тогда... тогда... когда...

Голос ее прервался.

И я рассказал ей правду. О разговоре с Мервином Фреем.

Пока я рассказывал, ее руки стискивали и мяли одна другую на коленях, а потом сжались и замерли. Она сказала:

— Теперь ему остается только одно.

— Это можно... как-нибудь уладить... понимаете...

Она перебила меня:

— Ему остается только одно.

Я ждал.

— Он... должен жениться на ней, — сказала она и выпрямилась.

Я немного поерзал и сказал:

— Да, но... понимаете... кажется... кажется... могли быть другие... у Сибиллы могли быть другие знакомые... другие, которые...

— Боже мой, — выдохнула она, и я увидел, как ее руки снова разжались и сжались на коленях.

— Тут есть другая сторона, — продолжал я, постепенно набирая скорость. — Тут еще замешана политика. Видите ли, Мак Мерфи хочет...

— Боже мой, — прошептала она и, вдруг поднявшись, прижала руки к груди. — Боже мой, политика... — Она в отчаянии отвернулась, сделала шага два в сторону и повторила: — Политика. — Потом она повернулась ко мне и сказала в полный голос: — Боже мой, и здесь политика!

— Да, — кивнул я, — как и везде почти.

Она отошла к окну и остановилась спиной ко мне, глядя в щелку между занавесками на горячий, залитый солнцем внешний мир, туда, где все это происходило.

Через минуту она спросила:

— Что дальше, Джек? Рассказывайте.

И тогда, не поворачиваясь к ней и уставясь на ее пустой стул, я рассказал о предложении Мак Мерфи и обо всем остальном.

Я кончил. Еще с минуту мы молчали. Потом я услышал голос:

— Наверно, так и должно было кончиться. Я старалась поступать правильно, но избежать этого, наверно, нельзя. Джек, Джек... — Я услышал шорох у окна и повернул голову: она смотрела на меня. — Я старалась поступать правильно. Я любила моего мальчику и старалась хор-ошо его воспитать. Я любила мужа и

старалась выполнять свой долг. И они меня любят. Думаю, что любят. Несмотря ни на что. Я должна так думать, Джек.

Я обливался потом на красном плюше, и большие карие глаза смотрели на меня умоляюще, но с убежденностью.

Она тихо договорила:

— Я должна так думать. И надеяться, что в конце концов все будет хорошо.

— Послушайте,— отозвался я,— Хозяин заставил их ждать, он что-нибудь придумает, все будет хорошо.

— Нет, я не об этом. Я хочу сказать...— Но она замолчала.

Я понимал, что она хочет сказать, хотя ее голос, теперь уже более твердый, но с нотками безнадежности, говорил совсем другое:

— Да, он что-нибудь придумает. Все обойдется.

Оставаться здесь дальше не имело смысла. Я встал, стянул свою старую шляпу с резного орехового стола, где лежали библия и стереоскоп, подошел к Люси и подал ей руку.

— Ничего, все обойдется.

Она посмотрела на мою руку, словно не понимая, почему я здесь. Потом посмотрела на меня.

— Это ведь ребенок,— тихо проговорила она.— Совсем крошка. Он даже еще не родился, он не знает, что тут делается. О деньгах, о политике, о том, что кто-то хочет стать сенатором. Он ничего не знает... Как он получился... И что делала эта девушка... И почему... почему отец... почему он...— Она умолкла, большие карие глаза смотрели на меня с мольбой, а может, и с укором. Потом она сказала: — Как же это, Джек, он ведь ребенок, он ни в чем не виноват.

У меня чуть не вырвалось, что я тоже ни в чем не виноват, но я сдержался.

Она добавила:

— Он был бы моим внуком. Он был бы сыном моего мальчика.— И немного погодя: — Я бы любила его.

При этих словах ее кулаки, лежавшие на груди, медленно разжались. Не отрывая от груди запястий, она сложила ладони в чашечку и повернула вверх — жестом смирения или безнадежности.

Заметив, что я смотрю на ее руки, она поспешно убрала их.

— До свиданья,— сказал я и двинулся к двери.

— Спасибо, Джек,— отозвалась она, но провожать меня не стала. Что вполне меня устраивало, ибо я и так уже дошел до ручки.

Я вышел в ослепительный мир, по ветхой цементной дорожке добрался до машины и поехал обратно, в город, на свое место.

Хозяин кое-что придумал.

Во-первых, он решил, что неплохо бы связаться с Мервином Фреем непосредственно, а не через Мак Мерфи, и прощупать почву. Но Мак Мерфи не зевал. Он не верил ни Фрею, ни Хозяину, и Мервина Фрея куда-то спрятали. Впоследствии выяснилось, что Мервина и Сибиллу увезли в Арканзас, в места, о которых они, наверно, меньше всего мечтали,— на ферму, где лучшие кони были мулами, а самым ярким источником света — лампа-молния в гостиной; где не ходили легкие машины, а люди ложились в половине десятого и вставали на заре. Разумеется, они посхали не одни и могли играть в покер и в сплин втроем, потому что Мак Мерфи приставил к ним своего молодчика, и тот, насколько мне известно, днем держал ключи от машины в кармане брюк, а ночью под подушкой, и когда один из Фреев отправлялся в клозет, караулил под дверью в котелке набекрень, прислонясь спиной к шпалере жимолости,— во избежание всяких фокусов вроде побега через задний двор в направлении железной дороги, до которой было всего десять миль. Он же просматривал почту, потому что право переписки для Мервина и Сибиллы не было предусмотрено. Никто не должен был знать, где они. И мы не могли этого выяснить. А когда смогли, было поздно.

Во-вторых, Хозяин вспомнил о судьбе Ирвине. Если кто и сможет урезонить

Мак Мерфи, то скорее всего судья Ирвин. Мак Мерфи многим обязан судье, а у его табуретки осталось не так много ножек, чтобы он позволил себе потерять еще одну. Поэтому, решил Хозяин, нужен Ирвин.

Он вызвал меня и сказал:

— Я просил тебя заняться Ирвином. Ты что-нибудь нашел?

— Нашел,— ответил я.

— Что?

— Хозяин,— сказал я,— я сыграю с Ирвином в открытую. Если он мне докажет, что это неправда, тогда извини.

— Что? — начал он.— Я же тебе...

— Я сыграю с Ирвином в открытую,— сказал я.— Я обещал это двум людям.

— Кому?

— Ну, во-первых, себе. А кому второму — неважно.

— Ах, ты себе обещал? — Он смотрел на меня тяжелым взглядом.

— Да, себе.

— Ладно,— сказал он.— Делай по-своему. Если твои сведения правильные, ты знаешь, что мне нужно.— И, окинув меня хмурым взглядом, добавил: — Смотри, если отвертится.

— Боюсь, что не отвертится,— ответил я.

— Боишься? — сказал он.

— Да.

— Ты с кем работаешь? С ним или со мной?

— С тобой. Но клепать на судью я не буду.

Он продолжал меня разглядывать.

— Мальчик,— сказал он наконец,— я ведь не просил тебя клепать на судью. Хоть раз я заставлял тебя клепать на человека — скажи?

— Нет.

— Клепать я тебя никогда не заставлял. А почему?

— Почему?

— Потому, что этого и не требуется. Зачем клепать, если правды за глаза хватает?

— Высокого ты мнения о человеческом роде.

— Мальчик,— ответил он,— я ходил в пресвитерианскую воскресную школу, когда люди еще не забыли богословия, и там это твердо знали. А мне,— он вдруг ухмыльнулся,— мне это очень на руку.

На том наш разговор кончился, я сел в свою машину и поехал в Бёрденс-Лендинг.

На другое утро, позавтракав в одиночестве, потому, что Молодой Администратор уехал на службу, а мать раньше полудня не вставала, я пошел гулять на берег. Утро было ясное и не такое жаркое, как обычно. пляж был еще пуст, и только в полукилометре от меня на мелководье плескались ребятишки, тонконогие, как кулики. Когда я поравнялся с ними, они на секунду перестали вертеться и брызгаться, повернули ко мне свои мокрые загорелые лица и измерили меня различным взглядом. Но тут же отвернулись, потому что я явно принадлежал к той туповатой и унылой расе, которая носит брюки и туфли, а в брюках и туфлях по отмели не попрыгаешь. И даже не станешь без крайней надобности ходить по песку, чтобы не набрался в туфли. Но по песку я шел — и даже развязно загребал его туфлями. Не такой уж я старик. С удовлетворением отметив это, я направился к рощице у самого берега — там среди сосен, мимоз и миртов рос большой дуб и были теннисные корты. Возле кортов под навесом были скамейки, а у меня была свежая газета. Я прочту газету и подумаю над тем, что мне сегодня предстоит. До сих пор я об этом даже не думал.

Я нашел скамейку у пустого корта, закурил и развернул газету. Я проработал первую полосу с механическим усердием падре, читающего требник, и даже

не вспомнил о новостях, которые были известны мне, но не попали в газету. Я уже порядком углубился в третью страницу, когда услышал голоса и, подняв голову, увидел двух игроков, парня и девушку, которые подходили с другой стороны кортов. Бросив на меня равнодушный взгляд, они заняли дальний корт и начали лениво перекидываться для разминки.

По первым же ударам стало ясно, что они свое дело знают. И видно было, что разминка их мускулам не нужна. Он был среднего роста или чуть пониже, с широкой грудью, сильными руками и без грамма лишнего жира. Он был рыжий, стрпженный ежиком, рыжие волосы курчавились в вырезе майки на груди, а младенчески-розовую кожу на лице и плечах покрывали большие веснушки. Посреди веснушек сверкали голубые глаза и белозубая улыбка. Девушка была живая и вся коричневая: с короткими темно-каштановыми волосами, которые разлетались при поворотах, с коричневыми руками и плечами над белым лифчиком, с коричневыми ногами в белых туфлях и носках и коричневым плоским животиком между белыми шортами и белым лифчиком. Оба были совсем молодые.

Они почти сразу начали играть, и я наблюдал за ними из-за газеты. Может быть, рыжий играл не в полную силу, но она брала его мячи уверенно и даже заставляла его побегать. Иногда она выигрывала гейм. Приятно было смотреть на нее — легкую, пружинистую, сосредоточенную. Но не так приятно, решил я, как когда-то на Анну Стентон. Я даже задумался о превосходстве белой юбки, которая может плескаться и закручиваться при движениях игрока, по сравнению с шортами, но и шорты были красивы. Они были красивы на подвижной загорелой девушке. Я не мог этого отрицать.

И я не мог отрицать, что в горле у меня, пока я наблюдал за ними, стоял ком. Потому что не я был на корте. И не Анна Стентон. Это было чудовищной несправедливостью — что меня там нет. Что тут делает этот рыжий стриженный парень? Что тут делает эта девушка? Я вдруг рассердился на них. Мне захотелось подойти к ним, остановить игру и сказать: «Вы думаете, что будете играть в теннис вечно? Нет, не будете». — «Конечно, нет, — скажет девушка, — не вечно». — «Ясное дело, нет, — скажет парень. — После завтрака мы пойдем купаться, а вечером...» — «Вы меня не поняли, — скажу я. — Конечно, я знаю, что вы пойдете купаться, а вечером куда-нибудь поедете и по дороге остановите машину. Но вам кажется, что так будет продолжаться вечно». — «Да нет же, — скажет он. — На той неделе мне надо в университет». — «А мне в школу. — скажет она, — но в праздник благодарения мы с Элом встретимся — правда, Эл? — и ты повезешь меня на матч — правда, Эл?»

Как от стенки горох. Бесполезно делиться с ними моей мудростью. Даже тем великим разделом мудрости, который открылся мне по дороге из Калифорнии. Им неведома истина Великого Тика, но они должны будут открыть ее сами, ибо рассказывать им бесполезно. Они вежливо меня выслушают, но не поймут ни слова. И глядя, как мелькают загорелые руки и ноги девушки на фоне миртов и сверкающего моря, я сам на миг усомнился в этой истине.

Но я, разумеется, верил в нее, потому что ездил в Калифорнию.

Я не досмотрел первого сета. Ушел я на счете 5 : 2, но похоже было, что следующий гейм останется за ней — рыжий незаметно подыгрывал ей и ухмылялся из веснушек, когда она со звоном отбивала мяч.

Я вернулся домой, переоделся и пошел купаться. Я забрел далеко и долго плавал по бухте — закоулку Мексиканского залива, который сам закоулок бескрайних соленых испученных вод мира, и успел домой ко второму завтраку.

Завтракал я с матерью. Она задавала мне разные наводящие вопросы, донатывалась, зачем я приехал. Но я увиливал до самого десерта. Наконец я спросил ее, в Лендинге ли судья Ирвин. Об этом я еще не спрашивал. Я мог выяснить это вчера ночью. Но не спрашивал. Я отложил выяснение.

Да, он был в Лендинге.

Мы с матерью вышли на боковую веранду и там пили кофе, курили. Немного погодя я поднялся наверх, чтобы полежать и пересварить завтрак. Я пролежал

в своей старой комнате около часа. Затем я решил, что пора приниматься за дело. Я спустился и пошел к двери. Но в гостиной сидела мать, и она меня окликнула. Странно, что она сидела в гостиной в это время дня. Меня подкарауливала, решил я. Я отступил от двери, прислонился к стене и стал ждать, что она скажет.

— Ты идешь к судье? — спросила она.

Я сказал, что да.

Правую руку она держала перед собой, растопылив пальцы, и разглядывала маникюр. Затем, нахмурившись, словно результаты осмотра ее не удовлетворили, она сказала:

— Опять политика?

— Вроде того, — сказал я.

— Может быть, пойдешь попозже? — спросила она. — Он не переносит, когда его беспокоят в это время.

— То, что я ему расскажу, беспокоит его в любое время дня и ночи.

Она пристально посмотрела на меня, забыв опустить руку с растопыренными пальцами. Потом сказала:

— Он неважно себя чувствует. Не надо его огорчать. Он нездоров.

— Тем хуже, — сказал я, чувствуя, как во мне поднимается упрямство.

— Он нездоров.

— Очень жаль.

— Ты мог бы по крайней мере подождать до вечера.

— Нет, ждать я не буду, — сказал я. Я почувствовал, что не могу ждать.

Я должен пойти и покончить с этим. Наткнувшись на сопротивление, я еще больше в этом убедился. Я должен выяснить. Немедленно.

— Напрасно, — сказала она и наконец опустила руку.

— Ничего не могу поделать.

— Я не хотела бы, чтобы ты был замешан в... в какую-нибудь историю, — жалобно сказала она.

— Я в этой истории не замешан.

— Что это значит?

— А это я узнаю, когда побеседую с Ирвином, — ответил я и, выйдя из дома, направился по набережной к Ирвину. Прогуляюсь немного, хоть и жарко, по крайней мере старый хрыч получит небольшую отсрочку. Он заслужил эти лишние несколько минут, решил я.

Когда я пришел туда, старый хрыч лежал наверху.

Так сказал мне негр в белом пиджаке.

— Судья — они наверху лежат, отдыхают, — сказал он, по-видимому думая, что этим все сказано.

— Ладно, — ответил я, — подожду, пока он спустится. — И, распахнув без приглашения застекленную дверь, очутился в блаженной прохладе и полумраке прихожей, где, словно лед, блестели большие стекла керосиновых фонарей и зеркала и мои отражения обступили меня беззвучно, как воспоминания.

— Они... — снова запротестовал негр.

Я прошел мимо него со словами:

— Я в библиотеке посижу. Пока он не спустится.

Я прошел мимо глаз с белками, похожими на облупленные крутые яйца, мимо большого печального рта, который не знал, что сказать, и просто открылся, показав розовую внутренность, — прошел прямо в библиотеку. Жалюзи были опущены, а из-за высокого потолка и стен, заложённых книгами, комната казалась еще сумрачнее, и сумрак лежал на ярко-красном ковре, словно большая спящая собака. Я сел в глубокое кожаное кресло, бросил рядом с собой принесенный конверт и откинулся на спинку. Мне почудилось, что все эти корешки бессмысленно глядят на меня, как пустые глаза статуй в музее. Как всегда, старые юридические книги, перелетенные в телячью кожу, наполняли комнату запахом сыра.

Вскоре наверху послышалось какое-то движение, и в задней части дома звяк-

нул звонок. Я понял, что судья зовет слугу. В прихожей мягко зашлепали ноги негра, и он стал подниматься по лестнице.

Минут через десять спустился судья. Его твердые шаги приблизились к библиотеке. В двери показалась его длинная голова и белый пиджак с черной бабочкой. Он задержался на пороге, словно привыкая к темноте, а потом двинулся ко мне и протянул руку.

— Здравствуй, Джек,— сказал он таким знакомым голосом.— Наконец-то ты появился. Я не знал, что ты в Лендинге. Давно приехал?

— Вчера ночью,— коротко ответил я и встал, чтобы поздороваться.

Он крепко пожал мне руку и опять усадил в кресло.

— Наконец-то,— повторил он, и на его длинном усталом ржаво-красном ястребином лице появилась улыбка.— Давно тут сидишь? Почему ты не послал этого мошенника разбудить меня и позволил мне валяться чуть не до обеда? Давно я тебя не видел, Джек.

— Да,— согласился я.— Давно.

И в самом деле давно. В последний раз он видел меня ночью. С Хозяином. И пока мы молчали, я знал, что он тоже припоминает. Он припомнил, но только после моих слов. Затем я увидел, что он отгоняет это воспоминание. Он не отпускал его до себя.

— Да, давненько,— сказал он, усаживаясь с таким видом, будто он ничего не помнит.— Куда это годится? Что же ты не проведаетшь старика? Мы, старики, любим, чтобы нам хотя бы изредка уделяли внимание.

Он улыбнулся, и мне нечего было сказать в ответ на такую улыбку.

— Черт знает что,— сказал он, вскочив с кресла и не скрипнув при этом ни единым суставом.— Совсем разучился гостей принимать. Ты пересох, наверно, как порох Энди Джексона. Для настоящего дела, может, и рановато, но глоток джина никому еще не вредил. Нам с тобой во всяком случае. Ведь нас с тобой ничто не берет, верно, Джек?

Прежде чем я ответил, он был уже на полдороге к звонку.

— Спасибо, не хочу,— сказал я.

Он посмотрел на меня сверху, и на лице его выразилось легкое разочарование. Но потом вернулась улыбка — добрая, честная, клыкастая, мужественная улыбка,— и он сказал:

— А, перестань, выпьем по одной. Будем считать это праздником. Я хочу отметить твой приход!

Он сделал еще шаг к звонку, но я сказал:

— Спасибо, не хочу.

На миг он остановился, поглядел на меня сверху, держа руку на весу у шнура. Затем он опустил руку и повернул назад к своему креслу как будто бы чуть-чуть поникший, а может быть, мне это просто померещилось.

— Что ж,— сказал он с выражением лица, которое трудно было назвать улыбкой.— Один я пить не стану. Буду черпать утешение в беседе с тобой. Что у тебя слышно?

— Ничего особенного,— ответил я.

И глядя на его фигуру, теряющуюся в тени, я удивился, до чего у него прямая спина и до чего высоко он держит голову. Я спросил себя: почему так? Я спросил себя: правда ли то, что я раскопал? Я смотрел на него, и мне не хотелось, чтобы это было правдой. Я от всей души пожелал, чтобы это оказалось неправдой. У меня мелькнула мысль, что я мог бы выпить этот джин и ничего ему не сказать — вернуться в город и доложить Хозяину, что я убедился в своей ошибке. Хозяину придется это скушать. Он, конечно, взбеленится, но все равно последнее слово — за мной. А бумаги мисс Литлпо я к тому времени могу уничтожить. Я мог это сделать.

Но мне надо было знать. Даже когда у меня мелькнула мысль уйти, ничего не выясняя, я знал, что не уйду. Ибо правда — ужасная вещь. Ты пробуешь ее носком, и она — пустое место. Но стоит тебе зайти немного глубже, и она затяги-

вает тебя, как водоворот. Сначала тяга так слаба и равномерна, что ты ее почти не замечаешь. Затем — рывок, затем — головокружительное падение во мрак. Ибо есть мрак правды. Говорят, что это ужасно — отдаться на волю божью. Теперь я готов в это поверить.

И вот я посмотрел на судью Ирвина, и он понравился мне так, как не нравился уже много лет, — до того прямы были его старые плечи и до того правдива клыкастая улыбка. Но я должен был узнать.

Он изучал мое лицо — в эту минуту оно представляло собой, наверно, любопытное зрелище, — но я не отводил взгляда.

— Я сказал «ничего особенного», — начал я. — Но кое-что есть.

— Выкладывай, — сказал он.

— Судья, вы знаете, на кого я работаю.

— Знаю, Джек, — сказал он, — но давай на время забудем об этом и просто посидим. Не могу сказать, чтобы я симпатизировал Старку, но я непохож на большинство наших друзей с набережной. Я могу уважать человека, а он — человек. Одно время я чуть было не принял его сторону. Он бил стекла и впускал свежий воздух. Но... — Судья грустно покачал головой и улыбнулся. — Я стал опасаться, что так он разгромит весь дом. Такие методы! Поэтому... — Фразы он не кончил и только пожал плечами.

— Поэтому, — докончил я за него, — вы пошли с Мак Мерфи.

— Джек, — сказал он, — политика — это всегда вопрос выбора, а из чего выбирать, не ты решаешь. И за выбор надо платить. Ты это знаешь. Ты сделал свой выбор и знаешь, во что он тебе обходится. Платить нужно всегда.

— Да, но...

— Джек, я тебя не упрекаю, — сказал он. — Я верю тебе. Кто из нас не прав, покажет время. А пока что, Джек, пусть это не становится между нами. Если я погорячился в ту ночь, прости меня. Прости. Мне было тяжело потом.

— Вы говорите, вам не нравятся методы Старка, — сказал я. — Хорошо, я вам расскажу о методах Мак Мерфи. Вот послушайте-ка, на что способен ваш Мак Мерфи. — И я загремел, задребезжал, как трамвайный вагон с испорченными тормозами, сорвавшийся под уклон. Я рассказал ему, на что способен Мак Мерфи.

Он сидел и слушал.

Потом я спросил его:

— Ну что, красиво?

— Нет, — сказал он и покачал головой.

— Некрасиво, — сказал я. — И вы можете это прекратить.

— Я? — удивился он.

— Вас Мак Мерфи послушается. Он должен вас слушаться, потому что вы один из немногих друзей, которые у него остались, а он уже чувствует на затылке горячее дыхание Хозяина. Если бы у него было хоть что-нибудь в жале, кроме комариной слюны, он бы разделался с Хозяином без всякой торговли. Но он знает, что у него ничего нет. И уверяю вас, если дело дойдет до суда, Хозяин явится не с пустыми руками. Эта Сибилла Фрей — шлюха-надомница, и нам доказать это — раз плюнуть. У нас будут свидетелями вся футбольная команда, плюс вся легкоатлетическая команда, плюс все шоферы грузовиков, которые ездят по шестьдесят девятому шоссе мимо дома ее папы. Если вы образумите Мак Мерфи, ему, может быть, удастся спасти свою шкуру. Но учтите, сейчас я ничего не обещаю.

Только сумрак, и тишина, и запах заплесневелого сыра были ответом на мои слова, пока они просачивались в этот старый породистый череп. Потом он медленно покачал головой:

— Нет.

— Послушайте, — сказал я, — Сибиллу не обидят. Мы об этом позаботимся, если она не заболает манией величия. Конечно, ей придется подписать небольшое заявление. Не скрою от вас, что наша сторона запасется письменными показани-

ниями нескольких ее мальчиков — на тот случай, если Фрей опять вздумает шалить. Уверяю вас, Сибилле предлагают честную сделку.

— Не в этом дело,— сказал он.

— Так в чем же, ради всего святого? — сказал я и уловил в своем голосе умоляющие нотки.

— Это дело Мак Мерфи. Возможно, он совершает ошибку. По-моему, да. Но это его дело. Я в такие истории не вмешиваюсь.

— Судья,— упрасивал я,— подумайте как следует. Не торопитесь с ответом, подумайте.

Он покачал головой.

Я встал.

— Мне надо бежать,— сказал я.— А вы подумайте. Я приду завтра, и тогда мы поговорим. Повремените до тех пор с ответом.

Он навел на меня свои желтые агаты и опять покачал головой.

— Приходи завтра, Джек. И завтра и каждый день. Но ответ я тебе дам сейчас.

— Я прошу вас, судья, сделайте мне одолжение. Подождите решать до завтра.

— Ты говоришь со мной так, Джек, будто я не знаю, чего хочу. А ведь это, пожалуй, единственное, чему я научился за семьдесят лет. Знать, чего я хочу. Но ты все равно приходи завтра. И не будем говорить о политике.— Он махнул рукой, словно сметая что-то со стола.— К чертям политику! — шутливо воскликнул он.

Я взглянул на него и в тот же миг — с лица его еще не стерлась шутливая гримаса отвращения, а откиннутая рука висела в воздухе — понял, что отступления нет. Это была не осторожная проба воды носком, не ровная тяга окраины водоворота, но бешеный рывок в провал воронки. Можно было предвидеть, что так оно и произойдет.

Глядя на него, я проговорил почти шепотом:

— Я просил вас, судья. Я чуть ли не умолял вас, судья.

На лице его было вежливое недоумение.

— Я старался,— сказал я.— Я умолял вас.

— Что такое? — удивился он.

— Вы когда-нибудь слышали,— спросил я по-прежнему очень тихо,— о человеке по имени Литлпо?

— Литлпо? — удивился он и наморщил лоб, пытаюсь вспомнить.

— Мортимер Л. Литлпо,— сказал я.— Неужели не помните?

Кожа на лбу сдвинулась гуще, образовав подобие кривого восклицательного знака между густыми ржаво-красными бровями.

— Нег,— сказал он и покачал головой,— не помню.

И он не помнил. Я в этом уверен. Он даже не помнил Мортимера Л. Литлпо.

— Хорошо,— продолжал я,— а компанию «Американ Электрик Пауэр» вы помните?

— Конечно, как же не помнить? Я десять лет работал там юрисконсульт.— Он даже глазом не моргнул.

— А помните, как вы получили это место?

— Дай подумать...— начал он, и я видел, что он и вправду забыл, что он действительно роется в прошлом, пытаюсь вспомнить. Затем, выпрямившись в кресле, он сказал: — Как же, конечно, помню. Через мистера Сатерфилда.

Но теперь он моргнул. Крючок вошел в губу, от меня это не ускользнуло.

Целую минуту я ждал, глядя на него, а он твердо смотрел мне в глаза, выпрямившись в кресле.

— Судья,— спросил я мягко,— вы не передумаете? Насчет Мак Мерфи?

— Я уже сказал.

Затем я услышал его дыхание, и больше всего на свете мне захотелось

узнать, что творится в этой голове, почему он сидит так прямо, почему он смотрит мне в глаза, если крючок уже впился в мясо.

Я шагнул к своему креслу, нагнулся и поднял с пола конверт. Затем я подошел к его креслу и положил конверт к нему на колени.

Он смотрел на конверт, не дотрагиваясь до него. Потом поднял взгляд на меня, и в его твердых желтых немигающих глазах не было недоумения. Затем, не говоря ни слова, он открыл конверт и прочел бумаги. Свет был тусклый, но он не наклонялся над ними. Одну за одной он подносил бумаги к глазам. Он читал их очень медленно. Затем так же медленно опустил последнюю на колени.

— Литлпо, — произнес он задумчиво и умолк. — Ты знаешь, — сказал он с изумлением, — знаешь, я даже имени его не помнил. Клянусь тебе, даже имени не помнил.

Он снова умолк.

— Подумай только, как странно, — сказал он. — Я даже имени его не помнил.

— Да, странно, — отозвался я.

— И знаешь, — продолжал он с изумлением, — я неделями... иногда месяцами даже не вспоминал о... — он прикоснулся к бумагам своим стариковским пальцем, — обо всем этом.

И умолк, углубившись в себя.

Потом он сказал:

— Знаешь, иногда... и подолгу... мне кажется, будто этого не было. Или было, но не со мной. Может, с кем-нибудь другим, но не со мной. Потом я вспоминаю, и когда я вспоминаю в первый раз, я говорю: нет, со мной это не могло случиться. — Он посмотрел мне в глаза. — Но случилось.

— Случилось, — сказал я.

— Да, — кивнул он, — но мне до сих пор не верится.

— И мне тоже, — сказал я.

— И на том спасибо, Джек, — проговорил он с кривой улыбкой.

— Думаю, вы догадываетесь, какой будет следующий ход, — сказал я.

— Догадываюсь. Твой наниматель попытается нажать на меня. Шантажировать меня.

— На жать — более приятное слово, — заметил я.

— Меня больше не интересуют приятные слова. Ты долго живешь среди слов. Но вдруг становишься старым — и остаются только вещи, а слова уже не играют роли.

Я пожал плечами.

— Это как вам угодно, — ответил я, — но суть вы уловили.

— Разве ты не знаешь — а нанимателю твоему следовало бы знать, раз он называет себя юристом, — что это вот, — он постучал по бумагам указательным пальцем, — ничего не стоит? В суде. Ведь это случилось двадцать пять лет назад. Да и свидетелей у вас никаких нет. Кроме этой женщины Литлпо. А она для вас бесполезна. Все умерли.

— Кроме вас, судья, — сказал я.

— В суде это не пройдет.

— Вы ведь не в суде живете. Вы не умерли и живете среди людей, а у людей сложилось о вас определенное мнение. Вы, судья, не тот человек, который позволит, чтобы о нем думали по-другому.

— Они не смеют так думать! — взорвался он. — Видит бог, не имеют права. Я жил честно, я выполнял свой долг. Я...

Я перевел взгляд с его лица на колени, где лежали бумаги. Он заметил это и тоже посмотрел вниз. Он запнулся и дотронулся пальцами до бумаг, словно желая убедиться в их реальности. Потом он медленно поднял голову.

— Ты прав, — сказал он. — Это я сделал.

— Да, — сказал я, — сделали.

— Старк знает?

Я пытался понять, что кроется за этим вопросом, но не мог.

— Нет,— ответил я.— Я сказал ему, что ничего не скажу, пока с вами не встречусь. Понимаете, мне надо было самому убедиться.

— У тебя деликатная душа,— сказал он.— Для шантажиста.

— Не будем обзывать друг друга. Скажу только, что вы сами защищаете шантажиста.

— Нет, Джек,— тихо сказал он,— я не защищаю Мак Мерфи. Может быть...— он запнулся,— я себя защищаю.

— Тогда вы знаете, как это сделать. И я ничего не скажу Старку.

— Может быть, ты и так ничего не скажешь.

Он произнес это еще тише, и у меня мелькнула мысль, что он может схватиться за оружие — стол был рядом с ним — или броситься на меня. Может, он и старик, но с такими лучше не связываться.

Он, должно быть, угадал мою мысль — он покачал головой, улыбнулся и сказал:

— Не беспокойся. Тебе нечего бояться.

— Знаете что...— сердито начал я.

— Я тебя не трону,— сказал он. И задумчиво добавил: — Но я мог бы тебя удержать.

— Удержав Мак Мерфи,— сказал я.

— Гораздо проще.

— Как?

— Гораздо проще,— повторил он.

— Как?

— Я мог бы просто...— начал он,— я мог бы просто сказать тебе... я мог бы сказать тебе одну вещь...— Он замолчал, потом неожиданно поднялся, уронив бумаги на пол — Но не скажу,— весело закончил он и улыбнулся мне в лицо.

— Чего не скажете?

— Да чепуха,— сказал он с улыбкой и весело взмахнул рукой, словно отмахиваясь от скучной темы.

Я стоял в нерешительности. Получалось что-то несуразное. Не полагалось ему быть таким веселым и уверенным — с обличительными документами у ног. И на тебе.

Я присел, чтобы собрать бумаги, а он наблюдал за мной сверху.

— Судья,— сказал я.— Я приду завтра. Вы подумайте и завтра решите окончательно.

— Да ведь все решено.

— Вы...

— Нет, Джек.

Я направился к двери в прихожую.

— Завтра приду,— сказал я.

— Конечно, конечно. Ты приходи. Но я решил.

Не попрощавшись, я вышел. Когда я открывал наружную дверь, он меня окликнул. Я обернулся и сделал несколько шагов назад. Он стоял в прихожей.

— Я вот что хотел тебе сказать,— начал он.— Из этих интересных документов я узнал кое-что новое. Оказывается, мой старый друг, губернатор Стентон, поступил своей честью, чтобы защитить меня. Не знаю даже, радоваться мне или огорчаться. Радоваться его привязанности ко мне или огорчаться, что она стоила ему таких жертв. Он ведь мне ничего не сказал. Это было верхом благородства. Правда? Ни единым словом не обмолвился.

Я пробормотал, что да, наверно, он прав.

— Я просто хочу, чтобы ты знал это о губернаторе. В его ошибке повинна его добродетель. Любовь к другу.

Я ничего не ответил.

— Я хочу, чтобы ты знал это о губернаторе,— сказал он.

— Ладно,— ответил я и, чувствуя спиной взгляд его желтых глаз и спокойную улыбку, вышел на яркий свет.

Пекло было адское, когда я возвращался по набережной домой. Я раздумывал, пойти ли мне выкупаться или поехать в город и сказать Хозяину, что судья Ирвин не уступает. Я решил, что могу подождать до завтра. Вдруг судья Ирвин передумает, а выкупаться можно и вечером. Даже для купанья было чересчур жарко. Приду домой, приму душ и полежу, пока не станет прохладнее, и тогда выкупаюсь.

Я принял душ, лег и уснул.

Я проснулся и вскочил. Сна как не бывало. Звук, разбудивший меня, все еще звенел в ушах. Я сообразил, что это был крик. И тут он раздался снова. Серебряный тонкий крик.

Я спрыгнул с кровати, бросился к двери, вспомнил, что я голый, схватил халат и выбежал. Из комнаты матери донесся шум, звуки, похожие на стоны. Дверь была открыта, и я кинулся туда.

Она сидела на краю постели в халате, стиснув белый телефон, смотрела на меня дикими расширенными глазами и стонала монотонно, с правильными промежутками. Я подошел к ней. Она уронила телефон на пол и, показав на меня пальцем, закричала:

— Это ты, ты его убил!

— Что? Что?

— Ты убил!

— Кого убил?

— Ты убил! — Она истерически расхохоталась.

Я держал ее за плечи, тряс, пытаюсь прекратить этот смех, но она царапалась и отталкивала меня. Она на секунду перестала смеяться, чтобы перевести дыхание, и я услышал сухое щелканье мембраны, которым станция призвала положить трубку на рычаг. И опять этот звук потонул в ее хохоте.

— Перестань! Перестань! — крикнул я, и она вдруг уставилась на меня так, словно только что меня заметила.

Потом не так громко, но с силой повторила:

— Ты убил его, убил.

— Кого убил? — сказал я, встряхнув ее.

— Отца, своего отца! Ты убил его.

Вот как я это узнал. Сперва я только оцепенел. Когда в вас попадет крупнокалиберная пуля, вы, может, и завертитесь волчком, но ничего не почувствуете. В первый момент. К тому же я был занят. Матери было плохо. В дверях уже показалась пара черных лиц — служанка и повар,— и я заорал, чтобы они перестали пялиться и вызвали доктора Бланда. Я подхватил с пола щелкающий телефон, чтобы они могли позвонить снизу, и, отпустив на секунду мать, захлопнул дверь перед этими всевидящими, всезнающими глазами.

В промежутках между стонами и приступами смеха мать говорила. Она говорила, как она любила его, и как он был единственным человеком, которого она любила, и как я убил его, и как я убил своего родного отца, и всякую такую всячину. Она не умолкала, пока не пришел доктор Бланд и не сделал ей укола. Стоя над кроватью, откуда доносилось уже затихающее бормотание и стоны, он повернул ко мне свое серое лицо с совиными глазами и седой бородой и сказал:

— Джек, я пришлю медсестру. Очень надежного человека. Никого больше сюда не пускайте. Вы меня поняли?

— Да,— ответил я, ибо я его понял и понял, что он прекрасно понял смысл бессвязной речи матери.

— Побудьте здесь, пока не придет сестра,— сказал он.— И никого не пускайте. И пусть сестра никого не пускает, пока я не приду и не увижу, что ваша мать пришла в себя. Никого.

Я кивнул и проводил его до двери.

Он попрощался, но я его задержал.

— Доктор, — спросил я, — что случилось с судьей? Я ничего не понял из ее слов. Удар?

— Нет, — сказал он, пристально на меня глядя.

— А что же?

— Он застрелился. Сегодня вечером, — ответил доктор, продолжая изучать мое лицо. Но тут же деловито добавил — Вероятнее всего это было вызвано плохим состоянием здоровья. Он стал сдавать. Очень деятельный человек... Спортсмен... Очень часто... — Он говорил все суше и бесстрашнее. — Очень часто такой человек не в состоянии примириться с потерей активности в последние годы жизни. Да, я убежден, что причина в этом.

Я не ответил.

— До свидания, сэр. — Доктор отвел взгляд и пошел к лестнице.

Он уже начал спускаться, когда я окликнул его и бросился вдогонку. Я подошел к нему и спросил:

— Доктор, куда он стрелял? Я хочу сказать, в какое место? Не в голову?

— Прямо в сердце, — ответил он. И добавил: — Из автоматического девяти-миллиметрового. Очень чистая рана.

Я стоял наверху и думал о том, что покойный стрелял в сердце — очень чистая рана, — а не в голову, когда дуло суют в рот и выстрел прожигает мягкое нёбо и разносит череп, словно сырое яйцо. Я ощутил большое облегчение от того, что у него аккуратная, чистая рана.

Я вернулся в свою комнату, сгреб одежду, пришел к матери и закрыл дверь. Я оделся и сел у пышной кровати с балдахинном, под которым таким маленьким казалось прикрытое кружевом тело. Я обратил внимание, что грудь выглядит дряблой, а щеки запавшими и серыми. Из приоткрытого рта вырывалось тяжелое дыхание. Я с трудом узнавал это лицо. Не такое лицо было у желтоволосой девушки в салатном платье, которая сорок лет назад стояла рядом с плотным мужчиной в темном костюме на крыльце конторы в лесном городке Арканзаса, где визг пил отдавался в мозгу, как потревоженный нерв, и красная земля вырубок, поросшая бледной зеленью, дымилась под весенним солнцем. Не такое лицо с жадным отчаянием смотрело на человека с ястребиной головой и горячими глазами в миртовой аллее, в укромной сосновой рощице или в комнате с запертыми ставнями. Нет, теперь это было старое лицо. И мне стало его очень жалко. Я взял руку, безжизненно лежавшую на простыне.

Я держал руку и пытался представить себе, что было бы, если бы в маленький арканзасский городок поехал не Ученый Прокурор, а его друг. Нет, едва ли что-нибудь изменилось бы — я вспомнил, что в то время Монти Ирвин был женат на калекке, на первой жене, которая упала с лошади и несколько лет пролежала в кровати, а потом тихо умерла, скрылась с глаз и ушла из памяти Лендинга. Несомненно, Монти Ирвина удержало бы чувство долга: он не мог бросить увечную жену и взять другую. Поэтому и не женился он на девушке с впалыми щеками; поэтому не пошел к своему другу и не объявил ему: «Я люблю твою жену»; поэтому, после того как муж все узнал — а он наверно узнал, иначе что же заставило его уйти из дома и доживать свой век на чердаках, в трущобах, — судья не женился на ней. У него все еще была жена, к которой из-за ее увечья он был привязан болезненным чувством чести. Потом моя мать снова вышла замуж. В отношениях, должно быть, появилась горечь, и тайные утехи перемежались с жестокими ссорами. Потом калекка умерла. Почему они тогда не поженились? Может быть, мать желала наказать его за прошлое упрямство? Или их жизнь вошла в колею, из которой они не могли выбраться? Как бы там ни было, он взял женщину из Саванны, которая не принесла ему ничего — ни денег, ни счастья, — но через некоторое время тоже умерла. Почему они тогда не поженились?

В конце концов я отверг этот вопрос. Только один ответ приходил мне в голову: к тому времени, когда мы поймем, каково наше место в жизни, какое определение мы дали себе, уже поздно выбираться из привычной колеи. Мы можем толь-

ко жить в рамках самоопределения, как преступник в клетке, где он не может ни лечь, ни сесть, ни встать, а подвешен именем закона на обозрение толпе. Однако определение, которое мы себе даем, — это мы. Чтобы вырваться из него, мы должны претвориться в новую личность. Но как можно сотворить из самого себя нового себя, если самость — единственный материал, которым мы располагаем? Так я рассуждал тогда об истории их жизни.

Как я уже сказал, я отверг вопрос, отверг ответ, казавшийся мне правдоподобным, и просто держал в ладонях ее безжизненную руку, слушал тяжелое дыхание, смотрел на заострившееся лицо и думал о том, что в крике, который вырвал меня сегодня из сна, была серебряная чистота чувства. То был, думалось мне, истинный крик похороненной души, которой удалось впервые за много лет о себе напомнить.

Да, наверно, она любила Монти Ирвина. Раньше я думал, что она никогда никого не любила. И теперь, держа ее руку, я испытывал не только жалость к ней, но и чувство, похожее на любовь, потому что и она кого-то любила.

Вскоре пришла медсестра, и я освободился. Затем навестить мать явилась миссис Даниэл — соседка судьи Ирвина. Это она позвонила матери и рассказала о смерти судьи. Миссис Даниэл услышала выстрел, но не придавала ему значения: потом из дома Ирвина с криком выбежал его цветной слуга. Вместе с ним она вошла в дом и увидела судью в библиотеке, в большом кожаном кресле, с пистолетом на коленях: голова его свешивалась на плечо, а кровь растекалась по левому борту белого пиджака. Ей было о чем рассказать, и она методически обходила дома набережной. Она изложила мне все подробности, сделала безуспешную попытку выведать что-нибудь о моем сегодняшнем визите к судье и о недомогании матери (она, разумеется, слышала крик по телефону) и, не много прибавив к своему багажу, отбыла в следующий порт назначения.

Молодой Администратор приехал часов в семь. Он уже знал о смерти Ирвина, но мне пришлось сказать ему о состоянии матери. Без всяких околичностей я попросил его не входить в ее комнату. Затем мы вышли с ним на боковую веранду и молча выпили. Его присутствие мешало мне не больше, чем присутствие моей тени.

Через два дня судью Ирвина похоронили под замшелым дубом на кладбище возле церкви. Перед тем, в доме, я подходил вместе со всеми к его гробу и смотрел на его мертвое лицо. Ястребиный нос казался тонким, как бумага, почти прозрачным. Кожа потеряла свой кирпичный цвет, и только на щеках лежал слабый розовый тон — работа похоронных дел мастера. Жесткие рыжие волосы как будто еще больше поредели и торчали каждый сам по себе над высоким куполообразным черепом. Люди проходили чередой, смотрели на него, переговаривались глухо и собирались в дальнем конце гостиной у кадок с пальмами, доставленными по этому случаю. Так факт смерти незаметно растворился в жизни общины, подобно крохотной капельке чернил, попавшей в стакан воды. Она распространяется все шире и шире вокруг средоточия убийственной концентрации, растаскивая ее запасы, разбавляясь и бледнея до тех пор, пока от нее не остается и следа.

Потом я стоял на кладбище, пока совершалось погребение и лопаты швыряли землю — смесь песка и черного перегноя — в яму, где лежал судья Ирвин. Я думал о том, как он забыл имя Мортимера Л. Литтло, забыл о его существовании, но как Мортимер ни на секунду не забывал о нем. Мортимер умер двадцать с лишним лет назад, но не забыл судью Ирвина. Вспоминая о письме в сундуке сестры, он ухмылялся бесплотной ухмылкой, посмеивался беззвучно и ждал. Судья Ирвин убил Мортимера Л. Литтло. Но в конце концов Мортимер убил судью Ирвина. Только он ли? Может, я убил? Это зависело от точки зрения. Я размышлял над этим и спрашивал себя, какова моя ответственность. Можно считать, что я не несу ответственности — не больше, чем Мортимер. Мортимер убил судью Ирвина, потому что судья Ирвин убил его, а я убил судью Ирвина, потому что судья Ирвин меня создал, и с этой гочки зрения Мортимер и я были лишь спа-

ренным орудием замедленного, но неотвратимого самоуничтожения судьи Ирвина. Ибо и убийство и созидание могут быть преступлением, наказуемым смертью, и смерть всегда приходит от собственной руки преступника, и каждый человек — самоубийца. Если бы человек знал, как жить, он никогда бы не умер.

Могилу забросали, сверху насыпали круглый холмик и прикрыли его ковриком нестерпимо зеленой искусственной травы, потому что здесь, на церковном дворе, в густой тени замшелых ветвей, из-под настила слежавшихся листьев никогда не пробивалась живая травинка. Потом, вслед за чинной толпой, я оставил мертвого под зеленой травкой — этим причудливым творением могильщика, который уберег нежные души от зрелища свежескопанной земли, провозгласил, что ничего ровным счетом не случилось, и, так сказать, завуалировал значение жизни и смерти.

Итак, я расстался с отцом и пошел по набережной. К тому времени я уже привык думать о нем как об отце. Но это не значит, что я отвык считать отцом человека, который был когда-то Ученым Прокурором. Я испытывал облегчение от того, что не тот человек был моим отцом. Я всегда ощущал на себе проклятие его слабости или того, в чем мне виделась слабость. У него была красивая, страстная жена, но другой человек ее отнял, стал отцом его ребенка, и он не нашел ничего лучшего, как уйти, оставив ей все свое состояние, заползти в нору, подобно истекающему кровью зверю, и лежать там, разменивая свой ум и волю на мелочь набожного идиотизма. Он был праведным человеком. Но его праведность ничего мне не говорила, кроме того, что я не могу ею жить. Новый же мой отец не был праведником. Он наставил рога своему другу, изменил жене, взял взятку, довел, хоть и невольно, человека до самоубийства. Но он делал добро. Он был справедливым судьей. Он высоко держал голову. До последнего своего дня. Он не сказал мне: «Слушай, Джек, ты этого не сделаешь... не сделаешь... Понимаешь... я твой отец».

Что же, я сменял хорошего и слабого отца на дурного и сильного. И не жалел об этом. Когда я возвращался по набережной, мне было жалко судью, но что казалось лично меня — обмен меня устраивал. Потом я вспомнил другого старика, который наклонялся в грязной комнате над полоумным акробатом, подносил шоколадку к заплаканному лицу; вспомнил ребенка на ковре перед камином и коренастого мужчину в черном, наклонявшегося к нему со словами: «На, сынок, только кусочек до ужина». И я уже не был уверен, что — лучше.

Я бросил об этом думать. Какой смысл разбираться в своих чувствах к ним, если я потерял их обоих? Обычно люди теряют одного отца, но у меня обстоятельства сложились так странно, что я потерял двух сразу. Я откопал правду, а правда всегда убивает отца, будь он хорошим и слабым или дурным и сильным, и вы остаетесь наедине с собой и с правдой и никогда ничего не сможете спросить у папы, который и сам-то ничего не знал и к тому же мертв, как заклепка.

На другой день, когда я вернулся в столицу, мне позвонили из Лендинга. Это был м-р Петас, душеприказчик судьи. По его словам, все наследство, не считая незначительных даров слугам, отходило ко мне. Я стал наследником поместья, которое судья Ирвин спас когда-то единственным своим бесчестным поступком, — и я же как слепое орудие справедливости приставил за этот поступок пистолет к его сердцу.

Вся история выглядела такой нелепой и такой логичной, что я, повесив трубку, захохотал и едва смог остановиться. Но прежде, чем остановиться, я обнаружил, что, собственно говоря, не смеюсь, а плачу и без конца повторяю: «Бедный старик, бедный старик». Это было как ледоход после долгой зимы. А зима была долгой.

Перевел с английского В. Голышев.

(Окончание следует)



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. ДОРОХОВ

★

МОЛОДЕЖЬ РЕВОЛЮЦИИ

В ЦИРКЕ «МОДЕРН»

Это было в первое воскресенье после Октября. В петроградском цирке «Модерн» шел митинг. Народный комиссар просвещения А. В. Луначарский от имени Советского правительства отчитывался перед рабочими Петроградской стороны: что сделано новой властью за первую неделю.

Старый деревянный цирк был переполнен от лож и до галерки. Даже на арене люди стояли плечом к плечу. В морозном воздухе поздней осени табачный дым смешивался с паром от дыхания толпы. В этой туманной пелене ораторы, говорившие сверху, из ложи оркестра, были едва видны.

После Луначарского выступали лучшие ораторы партии. С убийственным сарказмом высмеивал врагов революции будущий редактор «Красной газеты» Моисей Володарский: речи его звучали порой, как подлинные стихотворения в прозе. Призывал к неусыпной бдительности вожак кронштадтских матросов Павел Дыбенко. Хриплым, но сильным голосом читал только что написанные стихи поэт Василий Князев.

Митинг окончился, и толпа повалила к выходу. И в этот момент навстречу идущим устремились чумазые парнишки с пачками какого-то журнала в руках.

— Покупайте, покупайте, товарищи! «Юный пролетарий» — орган боевой молодежи. Только что вышел первый номер! А ну, поддержите молодежь! — слышались звонкие голоса.

На суровых, озабоченных лицах выходивших появлялись улыбки. Вот они какие, наши рабочие ребята! Уже и свой журнал сумели наладить.

У выхода из цирка, на тротуаре, в те дни обосновался старик в черной крылатке, с развевающейся седой бородой и серебряными кудрями, но с детски-наивными светлыми глазами. Это был старый анархист, продававший газеты и брошюры различных анархистских групп и коммун.

В этот вечер у него появился соперник. У сложенных прямо на земле стопок «Юного пролетария» толпилась молодежь. Отсчитывая сдачу, юноша, продававший журнал, успевал тут же, на ходу, разъяснять покупателям цели и задачи только что организованного Социалистического союза рабочей молодежи, чьим органом был «Юный пролетарий», агитировал за немедленное вступление в Союз и даже записывал огрызком карандаша в тетрадку новых членов.

От него же впервые узнал о существовании этой юношеской организации и я — ученик шестого класса одной из петроградских гимназий. Узнал, отнюдь не предполагая тогда, что именно с нею будет тесно связана моя юность: ведь свои первые шаги в общественной жизни я делал, естественно, в гимназической среде, где почти сразу же после февральской революции был избран председателем совета старост (существовала такая организация учащихся). Впрочем, вскоре на первых же перевыборах я был решительно забаллотирован как «большевик» и примкнул к группе «учащихся-интернациона-

листов», которую в нашей гимназии возглавляли мои одноклассники — Леонид Сыркин и Лев Закс.

Вскоре наша немногочисленная группа в полном составе волилась в Социалистический союз рабочей молодежи. Решающую роль в этом событии сыграл выступивший 10 декабря 1917 года на общегородском митинге учащихся в клубе «Объединение» молодой большевик, рабочий пушечной мастерской Путиловского завода Василий Алексеев.

Алексееву шел тогда всего двадцать первый год, но он уже был профессиональным революционером-подпольщиком. В 1913 году он вступил в партию и через три года попал в Кресты вместе с группой заводских большевиков. Накануне февральской революции полиция охотилась за ним вторично, и засада в его квартире была снята только 23 февраля.

Среди рабочей молодежи Нарвской заставы не было, наверно, человека более популярного, чем Вася Алексеев. С утра до ночи носился он с завода на завод, сплывавая наиболее боевых подростков, выступал на собраниях и митингах, ведя ожесточенные споры с меньшевиками и эсерами, и даже читал лекции на самые различные темы. Его карманы были всегда набиты газетами и брошюрами, и, где бы он ни был — на собрании или в трамвае, на товарищеской вечеринке или на заседании, — он пользовался каждой свободной минутой и углублялся в чтение. Не мудрено, что к его словам внимательно прислушивались не только подростки, но и пожилые рабочие, а у молодежи Нарвской заставы он пользовался непререкаемым авторитетом. И было вполне естественно, что, как только юношеское движение приняло более или менее организованный характер, Вася Алексеев оказался в числе его руководителей и сумел с первых же дней проводить четкую классовую линию.

Но когда в тот день председатель собрания объявил: «Слово имеет представитель Социалистического союза рабочей молодежи», и на трибуну поднялся Вася Алексеев, я, признаться, почувствовал некоторое разочарование. И по внешности он ничем не выделялся — обыкновенный молодой рабочий, каких повсюду были тысячи, в потертом пальтишке, из-под которого выглядывал старенький серый свитер, со смятой кепкой, небрежно засунутой в карман. Да и говорил он каким-то тихим, слегка заикающимся голосом, совсем не в манере наших гимназических ораторов, чьи речи начинались обычно с цитирования Шиллера или Гёте и бывали уснащены философскими терминами и патетическими восклицаниями.

Но это первое впечатление быстро исчезло и сменилось напряженным вниманием. Речь Васи Алексеева была образцом настоящего политического выступления. Он остроумно и зло высмеивал громкие и пустые фразы «революционных гимназистов», как он называл наших докладчиков, выделяя все ошибочное и ложное, что скрывалось в их речах. А когда он начал разбивать свою платформу, в его словах зазвучала непримиримость революционера-профессионала, глубокая убежденность в своей правоте, суровая логика классовой борьбы. И к концу речи он сумел полностью овладеть залом.

Не мудрено, что единогласно принятая резолюция отвергала существование самостоятельной организации учащейся молодежи и призывала к вхождению в ССРМ и к всемерной поддержке советской власти.

С именем Васи Алексеева связано и рождение «Юного пролетария».

Едва Союз молодежи оформился и начал существовать, Вася загорелся мыслью о необходимости иметь самостоятельный юношеский орган печати. С огромными трудностями ему удалось одолжить под честное слово у профессионального союза металлистов пять тысяч рублей, необходимых для выпуска первого номера. Он сам собирал материал, сам добывал хронику, сам писал статьи, правил заметки, относил их в типографию. А затем не выходил из нее целыми днями, пока журнал набирался и печатался.

Выхватив прямо из машины первый экземпляр первого номера «Юного пролетария», Вася Алексеев примчался с ним на заседание Петроградского комитета Союза, и это утро было, наверно, самым счастливым в его недолгой жизни — через два года он умер от сыпняка. Его именем названа теперь бывшая деревня Емельяновка, лежавшая между Путиловским заводом и Северной судостроительной верфью.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

В ночь на 18 февраля 1918 года тишину уснувшего Петрограда прорезали тревожные гудки заводов и фабрик. На фронте немецкие войска перешли в наступление. Пал Псков. Петроград оказался открытым вражескому удару.

До утра заунывно кричали гудки, возвещая об опасности, нависшей над городом революции. На их призыв в темноте собирались на заводах и потянулись к вокзалам рабочие отряды. Кое-как вооруженные тем, что оказалось под рукой, они грузились в теплушки и уезжали под Псков.

На другой день поздно вечером я проходил по Садовой, возвращаясь домой из Союза транспортных рабочих (я был выбран уже секретарем одного из его районных отделений, хотя продолжал еще учиться в гимназии). У Инженерного замка мне преградила дорогу колонна торопливо шагавших подростков. Они шли сосредоточенно и быстро, перекидываясь лишь корогкими замечаниями и шутками. Одни были в старых отцовских шинелях, другие в туго затянутых ремнем ватниках или пиджаках. На спинах висели мешки, позвякивали котелки. У каждого за плечом — винтовка.

— На фронт? — спросил я.

Вместо ответа один из проходивших сунул мне в руку смятый листок-воззвание, подписанное Петроградским комитетом Социалистического союза рабочей молодежи.

«Рабочая молодежь,— говорилось в нем,— не может стоять в стороне, когда на карту поставлена судьба рабочего движения и революции не только России, но и всемирной. Все на борьбу под красные знамена Революции! На смертельный бой с буржуазией зовем мы вас, молодые пролетарии Петербурга!»

Это отправлялся на фронт под Гдов первый отряд рабочей молодежи. В него вошла почти вся тогдашняя питерская организация Союза, в том числе все члены Петроградского комитета.

Впервые я увидел восною, как радостно, без колебаний, по первому зову партии шли навстречу опасностям и гибели первые комсомольцы. Но лишь через год, когда первый всероссийский съезд юношеских организаций, положивший начало Коммунистическому союзу молодежи, был уже позади, стал я и сам комсомольцем.

К этому времени в Петрограде организации Союза существовали еще не во всех районах города. Возникали они прежде всего на рабочих окраинах, в среде заводской и фабричной молодежи. В центре же, где не было крупных предприятий, они еще пока не появлялись, хотя трудящейся молодежи насчитывалось немало и там. Ее нужно было также вовлечь в Союз.

Леонид Сыркин, уже ставший членом партии, получил поручение создать организацию Союза в одном из центральных районов Петрограда — Спасском.

— А что, если тебе поработать в Союзе? Не возражаешь? — предложил он мне.

Я с радостью согласился, и с этого дня началась моя работа в комсомоле.

Весна 1919 года в Петрограде была особенно тревожной и трудной.

Город голодал. Ежедневно в «Красной газете» печатались скудные сводки о многих вагонах с продовольствием, прибывших за истекшие сутки на опустевшие подъездные пути вокзалов. С волнением читали жители бывшей столицы телеграммы о том, что откуда-то с Волги идет к ним баржа с мукой. Ей навстречу отправлялся для охраны отряд вооруженных рабочих. И люди с трепетом и надеждой следили за продвижением драгоценного груза, мечтая о фантастической возможности получить на день вместо пятидесяти граммов хлеба — целых сто!

С голодом соседствовал холод. Дров на городских складах не было уже давно. Ничтожных запасов угля с трудом хватало лишь на то, чтобы как-то поддерживать жизнь немногих работавших еще фабрик и заводов. Дома же обогрелись преимущественно «буржуйками» — жестяными печурками с выведенной в форточку трубой. И тлеи в них обломки ящиков, заборов, а то и мебели красного дерева или остатки библиотек. Света тоже не было: ток давали голько предприятиям, снабжавшим фронты оружием и обмундированием.

Под Петроградом окопались и нетерпеливо ждали возможности разгромить цитадель революции белогвардейские части генерала Юденича. Да и в самом городе, в

аристократических особняках и барских квартирах, скрывались притаившиеся враги. Каждый день приносил вести о новых раскрытых заговорах.

И вот в эти напряженные дни на стенах домов, в подъездах и подворотнях центральных улиц и переулков появились напечатанные на оберточной бумаге небольшие воззвания:

«Юные товарищи!

К вам, работающим за прилавком или у верстака, за конторкой, в типографии, в мастерской, обращаемся мы с призывом организовать в Союз рабочей коммунистической молодежи.

В суровой борьбе близится победа социалистического строя. Готовьтесь быть достойными участниками и творцами новой жизни.

Смелее вступайте в ряды коммунистической молодежи!»

Это наша инициативная группа начала свою работу. Стоявшая перед нами задача была непростой. Нам предстояло вовлечь в организацию подростков, разбросанных по бесчисленным мелким мастерским — сапожным, скорняжным, шляпным, швейным, слесарным, охватить своим влиянием «мальчиков» из магазинов Гостинного двора и лавок Сенного рынка, кухонных рабочих множества чайных, трактиров, ресторанов. А ведь именно эта прослойка трудящейся молодежи особенно нуждалась в объединении, в пробуждении политического сознания, в защите от произвола хозяев.

В полутемных подвалах Гороховой и Садовой, в «ловушках», как называли тогда рабочие эти крохотные мастерские, победоносная революция не изменила еще ничего. Забитые и запуганные с раннего детства, ребята были целиком под влиянием хозяйчиков, злобно ругавших советскую власть и запрещающих даже разговаривать с зашедшим в мастерскую агитатором.

Особенно трудно бывало сломить недоверие «банковских мальчиков» — лифтеров и посыльных. В своих нарядных форменных курточках с блестящими пуговками они казались живыми манекенами, настолько укоренилась в них жестокая выучка, привычка к беспрекословному повиновению.

Но наши агитаторы умели находить общий язык и с этими ребятами. Вскоре мы смогли уже собрать первое, правда не очень многочисленное, собрание, на котором присутствовало около шестидесяти юношей и девушек, вступивших в Союз. Собрание выбрало Лёню Сыркина ответственным организатором района, а меня секретарем и организатором клуба. Петроградский комитет РКСМ утвердил нас в этих должностях, выдал нам членские билеты, литературу, печать, и новый Спасский райком РКСМ начал существовать.

А существовал он примерно так.

...Поздний зимний вечер. В пустынном вестибюле насквозь промерзшего огромного полутемного здания какого-то национализированного банка, переданного нам районным комитетом партии, на опрокинутом ящике тускло горит вставленная в бутылку свеча. Сидя в глубоком кожаном кресле, в котором когда-то восседал в своем кабинете директор банка, дежурный по райкому в накинутах на одно плечо шинели и лихо заломленной кожаной фуражке, с неизменным наганом на поясе, то и дело слюня огрызок чернильного карандаша, с трудом выводит на разграфленном листе бумаги фамилию и имя стоящего перед ним паренька.

Это происходит прием нового члена в Коммунистический союз молодежи. Парнишка, видимо, прибежал прямо после работы из какой-то слесарной мастерской. Нос его еще в копоты, руки — в машинном масле. Он прослышал, что у рабочей молодежи, у таких же учеников, как он, появилась своя организация, которая заступает за ребят, если их очень уж прижимают хозяева. И вот он пришел записаться в этот Союз.

Откуда-то сверху доносятся звуки «Варшавянки». Это присланный районным отделом народного образования старичок-регент, всю жизнь разучивавший с гимназистами «Славься, славься!» и «Многая лета!», готовит к выступлению наш хоровой кружок. На днях в одном из складов мы получили реквизированный у какого-то фабриканта великолепный «Бехштейн». общими усилиями докатили его на ручной тележке до райкома и с великим трудом втащили в один из кабинетов на втором этаже.

Надо было видеть, с каким благоговением касались его клавиш ребята! Иные как

и просиживали за ним весь вечер, осторожно, одним пальцем, подбирая полюбившийся мотив. Ведь рояли они до того выдвигали лишь издали, через приоткрытые двери парадных комнат богатых заказчиков.

С другой стороны слышатся выкрики команд и шелканье затворов. Это в бывшем «операционном» зале, сдвинув к стенам столы и шкафы, осваивают винтовку и пулемет товарищи, уже зачисленные в очередной отряд на Восточный фронт, где Колчак подбирается к Волге...

Так протекает повседневная жизнь райкома. Вернее, и райкома, и районного клуба, поскольку в те первые годы они были неотделимы.

Каждый вечер сюда сходились все члены организации. Их бывало тогда еще немного: двести—триста юношей и девушек на район. Одни сразу же исчезали в библиотеке и с головой уходили в чтение: ведь еще совсем недавно книга или журнал были для большинства недоступной роскошью. Другие на весь вечер усаживались за шашки или домино (до овладения шахматами было еще далеко). Кто спешил на репетицию духового или струнного оркестра, кто на занятие драматического, хорового или литературного кружка.

Немало было и таких, которым просто хотелось выбраться на несколько часов из сырого подвала или душного барака, где еще ютились многие рабочие семьи, побыть среди товарищей и, не будем скрывать, получить кусок черного хлеба с повидлом, а если очень уж повезет, то и с двумя леденцами, которые выдавали иногда для укрепления сил каждому приходившему.

И это тоже было одним из средств вовлечения в Союз. Сегодня паренек приходил за леденцом, а через месяц-другой незаметно становился вполне сознательным комсомольцем и записывался добровольцем на фронт. Тем более что раза два в неделю в величественном, облицованном мрамором, но зверски холодном банковском зале мы устраивали либо митинги, либо концерты, либо лекции на политические или научные темы. Затаив дыхание, слушали мальчишки и девчонки, имевшие за спиной лишь один-два класса городского училища, рассказ о жизни на Марсе или о Великой французской революции, не замечая, как вместе со словами из уст лектора вылетают клубы пара. А какая сосредоточенная тишина стояла в зале во время докладов о текущем моменте, когда ребята впервые узнавали о борьбе за лучшую жизнь их товарищей в других странах!

И какое волнение охватывало всех, когда приходили письма с фронта от недавно уехавших туда добровольцев или забегал прибывший в командировку или возвращающийся в госпиталь «свой» фронтовик — ребята просто не знали, куда его усадить, и без конца выспрашивали, когда же мы остановим Колчака или Дутова.

Так и жили тесно спаянной семьей, жадно впитывая все го новое, небывалое, что принесла революция, находя и свое место в общей борьбе. С волнением и восторгом, с молодым задором откликались на каждый призыв партии, с шутками и смехом разгружали вагоны на субботах, с веселыми песнями уходили на фронт. Жили радостно, дружно, не поддаваясь трудностям и невзгодам.

И если вечером в нашем клубном зале не сходилась хотя бы половина всей организации, тревожились: что-то у нас неладно!

В ПЕТРОГРАДСКОМ КОМИТЕТЕ

Каждое утро ответственный организатор района (так назывались тогда нынешние первые секретари райкомов) отправлялся в Петроградский комитет. События разворачивались настолько стремительно, что не побывать там с утра и не узнать, что на свете нового, казалось совершенно невозможным.

Петроградский комитет РКСМ помещался тогда в особняке, некогда принадлежавшем лидеру монархистов в Государственной думе Пуршкевичу. Состоял комитет из одиннадцати человек и имел свой платный аппарат в составе... одной машинистки (она же и делопроизводитель). Пять членов ПК составляли его бюро и осуществляли, так сказать, руководство, остальные работали в районах.

Явившись в первый раз в Петроградский комитет за членскими билетами для вновь принятых нами членов и с трепетом сжимая в руках первый протокол общего собрания, переписанный со всей тщательностью, на которую был способен, я ожидал встретить там решительного и сурового руководителя. Но вместо него я увидел за столом маленького курносого паренька. Но это был именно тот, к кому я направлялся, — секретарь Петроградского комитета Союза Коля Фокин.

Худенький заморыш, какими были полны тогда дворы и переулки Выборгской стороны, уже двенадцати лет попавший на фабрику «Самсониевская мануфактура» учеником, Коля Фокин выглядел почти ребенком. Но этот мальчик отлично умел выступать на многочленных собраниях и уверенно руководил всей организационной работой Петроградского комитета.

Несмотря на свой юный возраст, Коля Фокин завоевал непоколебимый авторитет не только у боевой молодежи Выборгского района, любившей и уважавшей его, видевшей в нем своего верного представителя, но и у солидных парней с больших заводов Нарвской и Московской застав. Его работоспособность была удивительна: никто никогда не видел его усталым.

Вспоминается такой эпизод. В тревожные дни, когда к Питеру рвались части генерала Юденича, Коля Фокин, не спавший уже две ночи подряд, улучил наконец момент и прикорнул, свернувшись клубком, в большом кресле, где он вполне уместился. Едва только он крепко заснул, как в комнату вбежал секретарь одного из районов и, не заметив, что Фокин спит, начал с хода кричать, что необходимо немедленно решить какой-то вопрос и принять срочные меры. Кто-то из товарищей на него зашикал, но в этот момент послышался совершенно спокойный силловатый голос Коли: «Ну вот и хорошо. Вместо того, чтобы паниковать и бузить, сейчас же поезжай туда-то и сделай то-то». Это было в его манере. Без всякого перехода от сна к бодрствованию он трезво и толково проинструктировал вбежавшего, словно продолжая прерванный разговор.

Коля Фокин погиб, так и не став взрослым, схватив где-то скарлатину, с которой не справился его истощенный организм. Рабочие Выборгского района называли его именем набережную Большой Невки, где в 1918—1920 годах в бывшем особняке капиталиста Нобеля помещался Выборгский райком РКСМ.

В тот день, когда я впервые пришел в Петроградский комитет, рядом с Фокиным, на краю стола, сидел и задумчиво жевал корку черного хлеба плотный парень в потертой кожанке. Его розовое веснушчатое лицо было безмятежно спокойно. Это был один из лучших агитаторов Союза, член бюро ПК молодой токарь Сергей Соболев.

Дожевав свою корку, он лениво потянулся всем телом и проговорил:

— Ну что ж, поехать помитинговать, что ли? Давай адрес.

Получив от Фокина адрес очередного митинга — а митинги в то время где-нибудь да происходили в любой час утра, дня и вечера, — Соболев исчез.

Впрочем, его безмятежность и ленивая усмешка были своего рода защитной окраской. Выступать в те дни на митингах от имени большевистской молодежи было порой трудным делом. В Питере оставались еще предприятия, где молодежь находилась под влиянием меньшевиков или эсеров, и отстоять там точку зрения РКСМ, добиться создания ячейки Союза бывало далеко не просто. Гляди в оба, а то дело повернется так, что и вывезут на тачке за ворота.

Но чем накаленной была атмосфера, тем с большим азартом вступал Соболев в словесный бой. Он твердо усвоил одно: куда же мы годимся, если не сумеем повести за собой трудящуюся молодежь, кто бы на нее ни влиял! И заводские большевики обычно выпускали наших агитаторов именно тогда, когда, опираясь на молодежь, надо было переломить настроение и повернуть симпатии собрания в нужную сторону.

Отличными ораторами и агитаторами были почти все члены Петроградского комитета — запальчивый Рувим Слосман, медлительный Андрей Толмазов, насмешливый Леонид Файвилович, горячий Михаил Глерон.

Вспоминается, например, один из молодежных митингов в Экспедиции заготовления государственных бумаг. Рабочие этого предприятия при царском режиме были на привилегированном положении. Место у станка переходило здесь от отца к сыну.

Заработки были хорошие, рабочие числились на государственной службе и считали себя «служащими», «белой косточкой». К тому же у большинства были свои домики поблизости или казенные квартиры.

Не мудрено, что после доклада по текущему моменту, в котором оратор призывал молодежь вступать в ряды Красной Армии, из зала послышались крики:

— Долой! На что нам Красная Армия? На что нам текущий момент?

Скупая хроникерская замечка, набранная нонпарелью в отделе хроники «Юного пролетария», так описывала дальнейшее развитие событий: «Затем с речью выступил товарищ Глерон, разъяснивший цели и задачи Союза и коснувшийся всех задаваемых вопросов. Кончил свою речь т. Глерон под гул аплодисментов».

Речь, по-видимому, была достаточно убедительной. Во всяком случае сто семьдесят присутствовавших на собрании подростков единогласно, при пяти воздержавшихся, приняли резолюцию о необходимости вступать в ряды Красной Армии и провели запись в члены Коммунистического союза молодежи.

Михаил Глерон был ответственным организатором соседнего с нами I Городского района. И это было не просто название его должности. Он был поистине прирожденным организатором и бойцом.

В критические для Петрограда дни, когда генерал Юденич приближался уже к городским заставам, молодежь района выбрала Глерона командиром своего сводно-боевого отряда, и он сумел установить в нем небывалую для тех дней дисциплину.

Но и став командиром отряда, патрулировавшего улицы осажденного города и охранявшего военные склады, Глерон не бросил своей обычной работы в районе. Закончив занятия в своем подразделении, распределив наряды и проверив посты, он отправлялся в райком и проводил беседы «по текущему моменту», читал малограмотным подросткам вслух газеты, проводил занятия кружков. Он как бы олицетворял собой период «военного коммунизма» в жизни комсомола. В шинели и папахе, с кобурой на поясе, активисты днем обучали новичков премудростям военного дела, готовя из них сознательное и стойкое пополнение фронтам. По вечерам они же вели политическую и просветительную работу организации, не давая замереть клубам, школам и кружкам. Работа эта была необходима и важна: ведь с общим образованием у первых комсомольцев было еще ой как плохо.

Группу теоретиков-пропагандистов возглавляли наши юные «профессора» из вчерашних гимназистов Николай Татаров и Алексей Леонтьев.

Татаров — тогдашний ответственный редактор «Юного пролетария» — занимался главным образом вопросами организации труда фабрично-заводской молодежи. Он даже готовил диссертацию на эту тему и ежемесячно помещал в своем журнале длиннейшие статьи по вопросам экономической борьбы и профессионального образования (вряд ли кто-нибудь, кроме него самого, их читал). Леонтьев специализировался на проблемах международного юношеского движения. Он охотно делал доклады «О текущем моменте». Пупутно он читал лекции на любые другие темы и руководил литературными кружками.

Была в Петроградском комитете и своя «оппозиция» — воинствующая группа представителей рабочих окраин. Почему-то каждый из этих районов, где возникли первые юношеские организации, был тогда искренне убежден, что его недоценивают, обходят, ущемляют и что виноваты во всем этом работники ПК.

«Выборжцев» представляли А. Толмазов и В. Волынин. При каждом удобном случае они упрекали Колю Фокина, что он засиделся в своем кабинете, оторвался от масс, зааппаратился, стал больно важным. Нарвско-Петроградский район возглавляли «верные друзья» — С. Минаев и А. Александров. При обсуждении спорных вопросов они обычно требовали от имени «революционных путиловских рабочих», чтобы в решении было записано их «особое мнение».

Запомнились мне и трое братьев Петропавловских — Владимир, Дмитрий и Орест. Это были первые интеллигенты-учащиеся, вступившие в Союз рабочей молодежи. Старший из них, Орест, вскоре перешел на партийную работу, Дмитрий был тогда организатором Петроградского района, Владимир кочевал с фронта на фронт.

З те годы Володя Петропавловский выглядел — да и был, наверное, — не старше

Коли Фокина. С его щек не сошел еще мальчишеский пушок. Он до смешного горячился в спорах, краснел, запинаясь и обижался на противников, а порой и конфузился до того, что слезы выступали у него на глазах. Но от своей позиции не отступал. И этот милый юноша, читавший тайком Блока и Есенина, но прятавший внутреннюю нежность и ранимость под деланной грубоватостью и лихостью, не раз уже смотрел в глаза смерти. Рядовым бойцом с винтовкой в руках и ручной гранатой за поясом он штурмовал с наступавшими красноармейскими цепями укрепления белых под Нарвой, а позже, верхом на разгоряченном коне, в черной кожанке, туго перетянутой через грудь ремнями, с наганом в руке, Володя, уже ставший организатором и комиссаром молодёжного полка, водил в смелые атаки на белый отряд таких же, как он, отчаянных парней, слегка бравируя своей храбростью. Не раз бывал он ранен, не раз возвращался с фронта больным или с обмороженными руками и ногами, но снова отправлялся в свой полк.

Революционный энтузиазм и молодой задор как-то удивительно сочетались в нем со здравым смыслом, с умением ориентироваться в сложной боевой обстановке. Он мог сколько угодно рисковать собственной жизнью, но никто не посмел бы упрекнуть его в ненужном риске жизнью товарищей. Фронтная обстановка, полная лишений и опасностей, была той стихией, которая отвечала его романтической настроенности.

И позже, в дни войны с нанской Польшей, он снова стал рваться на фронт, не поддаваясь никаким увещаниям друзей. Ему пытались внушить, что нельзя опять оголять организацию, едва начавшую восполнять потери, нанесенные гражданской войной. Но Володя с какой-то детской хитростью добывал звучные бумажки от солидных военных организаций, где обычно категорически указывалось на совершенную необходимость прикомандировать его к определенной части.

Затем Володя Петропавловский стал первым комиссаром допризывной подготовки молодежи Петрограда. Было ему тогда всего восемнадцать лет. Но богатый опыт гражданской войны позволил ему быстро завоевать авторитет в среде военных специалистов, отобрать допризывную подготовку молодежи из рук старых инструкторов и поставить ее под контроль и влияние комсомола.

НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Боевые фабричные и заводские ребята, первые основатели и руководители ячеек комсомола, покидали Питер с каждой очередной мобилизацией — то на Колчака, то на Деникина, то на Юденича, уезжали с продотрядами на Волгу за хлебом. В лучшем случае в районе оставались один-два работника, да и те считали себя несправедливо обойденными и стремились при первой же возможности уйти в армию защищать революцию. Вошедшая в историю гражданской войны записка на дверях райкома: «Райком закрыт, все ушли на фронт» — была в те дни обыденностью.

На смену приходили парни и девчата с предприятий. У них не было ни опыта организационной работы, ни мало-мальской теоретической подготовки. Точнее говоря, большинство их было просто-напросто малограмотно; обычно за плечами у них имелось лишь два-три класса городской или приходской школы. И хотя классового чутья и революционного энтузиазма им было не занимать, самый простой вопрос политического характера мог поставить их в тупик.

А ведь большую часть времени члены Петроградского и районных комитетов проводили на митингах и собраниях, выступали с речами, читали доклады и лекции, руководили клубными кружками. Агитаторы и пропагандисты нужны были нам более всего.

Правда, уже в марте 1919 года Центральный Комитет РКСМ открыл в Москве школу агитаторов. Питер послал туда сорок самых боевых и подкованных ребят из районов. Приходящие от них письма говорили о суровых условиях учебы. Жили курсанты в нетопленых комнатах общежития, спали на дощатых топчанах, укрываясь шинелями и куртками. На день им давали сто пятьдесят граммов хлеба, суп из воблы и несколько ложек перловой каши. Остальное меню на весь день составлял кипяток.

Но так или иначе ребята не падали духом и закончили курсы. Однако ни одного из посланных на курсы Питер больше не увидел. все они разлетелись по России с нутевками ЦК на укрепление губернских комитетов. В Москве ни на минуту не сомневались, что питерская молодежь без них как-нибудь обойдется. Так оно и получилось.

Летом 1919 года Петроградский губком партии принял решение о создании Центральной политической школы для комсомольского актива. Губком брал на себя обеспечение школы лекторами. Все остальное мы должны были сделать сами.

К тому времени Петроградский комитет комсомола владел уже великолепными апартаментами. Это был большой дворец одного из великих князей на набережной Невы. В просторных двусветных залах, где когда-то происходили балы, мы расставили железные кровати и табуретки и получили таким образом отличное общежитие для курсантов. Основной аудиторией для занятий у нас стал бывший зимний сад. Пальм и цветов там давно уже не было, но сплошь застекленные стены давали столько света даже в пасмурный петроградский день, что лучшего места для учебы не придумать.

Сложнее было с питанием. Заниматься им выпало на мою долю, поскольку к тому времени я уже не только сменил Татарова на посту редактора «Юного пролетария», но и заведовал финансовым отделом Петроградского комитета, а следовательно, ведал всей хозяйственной деятельностью губкома.

Я нанял повариху и начал действовать. Единственное, что нам удалось получить на месяц в продовольственном отделе Смольного, был наряд на некоторое количество хлеба, сухой воблы, ржавых селедочек, соли, подмороженного картофеля, пшенной и перловой крупы. По тем временам это было огромное богатство, но как его разумно использовать?

Поступили мы очень просто. Перевешали и подсчитали все наличие продуктов, разделили на тридцать частей и предложили кухарке готовить из этого обеда и ужина. А она установила два варианта меню — либо суп из селедки с картошкой на первое и каша на второе, либо суп из пшена на первое и картошка с воблой на второе. Но курсанты не жаловались и лишь кротко вздыхали о прибавке, которая полагалась дежурным, мывшим посуду, и хлеборезам.

Сложнее было с обмундированием, поскольку у большинства активистов имелась одна-единственная гимнастерка или косоворотка, надетая, как правило, на голое тело, и обычно пришедшие в полную негодность башмаки. Правда, с помощью того же губкома партии мы получили на одном из складов бесхозного имущества немного одежды и обуви для самых раздетых, но вот с бельем вышел небольшой казус. «Петрокоммуна» — своеобразный тогдашний орган, ведавший всем снабжением населения, — выдала нам ордера на рубашки. Однако на складе белья не оказалось. После долгих препирательств мы все же получили направление в один из театральных складов, где и получили наконец великолепные... фракные сорочки. Проклиная выдумки аристократов, наши курсанты и курсантки ожесточенно мяли руками эти каменно накрахмаленные груди, мешавшие им дышать, пока не догадались попросту размочить их в горячей воде и высушить.

Седьмого августа 1919 года состоялось торжественное открытие нашей Центральной политической школы — этого первого комсомольского университета. Пятьдесят юношей и девушек, лучших активистов районов, выделенных придирчиво и строго, принялись за учебу.

Лекторы губкома партии читали ребятам лекции по историческому материализму, политической экономии, истории социализма, по отдельным отраслям политической и организационной работы. Ребята, до сих пор знавшие лишь тоненькие пропагандистские брошюры вроде «Царя-гслада» А. Баха, «Пауков и мух» П. Лафарга, «Парижской коммуны» П. Лиссагаре да еще старательные проштудировавшие руководство П. Керженцева «Как вести собрания», программу и устав Союза, начали взбираться на следующий этаж политической подготовки.

Это занимало дни. А по вечерам ребята допоздна просиживали на мягких дворцовых диванах и креслах в гихих уголках пустынных залов, овладевая простой арифметикой, географией, правописанием. И познакомившись, скажем, днем с биогра-

фией Карла Маркса, вечером с интересом узнавали, где находится на земле страна Англия и тот город Лондон, в котором Маркс писал «Капитал».

После того, как был завершен подготовительный курс, для закрепления пройденного сразу же начинались практические занятия. С утра по-прежнему продолжались лекции, а после обеда все курсанты расходились по районам, участвовали в работе райкомов, руководили клубными кружками.

Вскоре, однако, начавшиеся так успешно занятия пришлось прервать: вся школа целиком ушла на фронт отбивать очередное наступление генерала Юденича. Парни сменили учебники и конспекты на винтовки и гранаты, девушки — на сумки с красным крестом. И лишь после того, как наступление было отбито и городу уже не угрожала непосредственная опасность, курсанты собрались вновь в своем дворце на набережной и возобновили занятия, готовя пополнение поредевшему активу.

Об одном из первых выпускников нашей школы стоит рассказать поподробнее, потому что имя его навсегда вошло в историю комсомола.

Тем трудным летом комсомольцы Заволжья объявили сбор сухарей для голодающей молодежи красного Питера. По фунтам, а то и по горстям, часто тайком от родителей, собирала деревенская молодежь эти сухари, и вскоре первые вагоны с туго набитыми мешками двинулись к Петрограду.

И вот в одно прекрасное утро в губкоме появились двое загорелых парнишек. Один — крохотного роста, в сдвинутой на затылок солдатской папахе и в шинели, доходившей ему до пят. Другой — в каком-то подобии шапки и в рваном бабьем зипуне. У обоих за плечами винтовки, за поясами нагаи и гранаты.

— Здравствуйте, мы из Бугуруслана.

— Ну, здравствуйте. Что скажете?

— Да вот прибыли наконец. В полном порядке. Не найдется ли у вас пары грузовиков да десятка два здоровых парней?

— Предположим, что найдется и то и другое. А вам, собственно, зачем?

— Как это зачем? Да мы же вам сухари привезли. На поддержку!

Дальше было не до расспросов. Через несколько часов огромный, давно пустовавший княжеский каретник был пелон штабелями пухлых мешков. До сих пор вспоминается, как неправдоподобно вкусно они пахли! И в тот же день обеды курсантской столовой пополнились новым замечательным блюдом — размоченными сухарями с солью. А затем стали прибывать вагоны и из других областей. Приезжавшие с ними самарцы и уфимцы выступали на митингах в районах, а их слушатели с аппетитом похрустывали полученными при входе сухарями.

Так прошла неделя. Пожалуй, проводникам пора было бы подумать о возвращении. Но прибывший первым боевой паренек в шинели не желал об этом и слышать. Азартно швыряя под ноги свою выдавшую виды папаху, он возмущенно кричал:

— Да с какими глазами я покажусь своим ребятам! Вы тут будете голодать, а я поеду на сытые хлеба? Юденич вот-вот перейдет в наступление, а я, значит, спойненько уеду? Нет, не бывать этому! Уж защищать Питер, так вместе!

Вечерами он гел высоким тенором протяжные волжские песни и умильно упрашивал разрешения остаться. Делать было нечего. Сперва пришлось назначить его на новую должность курьера в редакцию «Юного пролетария», а затем, присмотревшись к нему внимательнее, зачислить в курсанты Центральной политической школы.

В школе паренек этот обнаружил недюжинные способности, окончил курс одним из лучших, проработал год в Василеостровском районе Петрограда, а затем был отозван в Москву в распоряжение ЦК РКСМ.

Парнишку звали Саша Косарев. Прошло еще несколько лет, и он был избран генеральным секретарем Центрального Комитета комсомола.

Вспоминается и еще один «комсомольский университет». Его нам удалось организовать весной следующего, 1920 года. К тому времени в наших литературных кружках оказалось уже столько ребят, стремящихся проявить свои таланты в стихах и прозе, что назрела необходимость объединить их на более высоком, так сказать, уровне. Проведя самый тщательный и строгий отбор, мы выбрали сорок человек, рассчитывая

создать из них комсомольских беллетристов и поэтов. И вот в конце апреля в нашем дворце начались занятия Центральной литературной студии Петроградского комитета.

Помог нам ее организовать Алексей Максимович Горький, давно уже внимательно приглядывавшийся к работе первых комсомольских журналистов. Благодаря его поддержке удалось привлечь к чтению лекций и к руководству семинарами едва ли не всех ведущих петроградских поэтов и литературоведов. В числе преподавателей были Николай Тихонов и Всеволод Рождественский, Андрей Белый, Борис Эйхенбаум и Виктор Шкловский, Николай Лернер и Зинаида Венгерова. Все они очень ответственно подошли к занятиям с одаренной молодежью, и наши кружковцы могли не только черпать знания литературы, но и повседневно повышать свой общий культурный уровень. Кстати, в числе первых слушателей студии были Геннадий Фиш, Евгений Панфилов и Михаил Левитин, ставшие впоследствии профессиональными литераторами.

ВРАГ У ВОРОТ

Маленький розовый квадратик бумаги — какой-то старый приглашенный билет на доклад. Поверх слов — печать райкома, а на обороте — короткий текст, написанный от руки:

Предлагается вам немедленно явиться в район.
Революционная тройка.

Так быстро и просто проводились пятьдесят лет назад мобилизации комсомольцев на фронт.

В середине октября 1919 года, получив подкрепления из-за рубежа, белые армии генерала Юденича снова двинулись на Петроград. В первые же дни наступления были заняты Гдов и Ямбург, передовые части противника быстро приближались к Гатчине.

Пустынный, темный Петроград готовился к уличным боям: «окрылся окопами, ошетинился колючей проволокой. На перекрестках выросли баррикады из мешков с землей, блиндажи из стальных щитов, снятых на Судостроительной верфи с недостроенных военных кораблей».

На заводах рабочие сутками не отходили от станков, ремонтируя исковерканные вражескими снарядами орудия и бронепоезда, которые прямо из заводских ворот уходили на передовую. Работницы на фабриках шли из одял и парусины шинели и ватники бойцам. Прекратились всякие выдачи продуктов населению. Все шло на фронт.

Враг был у ворот.

Ночное заседание Петроградского комитета комсомола постановило: «Объявить поголовную мобилизацию всех членов союза от 16 лет, годных для военной службы. Создать сводно-боевой отряд питерского комсомола, передав его в распоряжение штаба укрепленного района».

Это была уже не первая мобилизация, и она не застала революционную молодежь врасплох. Затрещали телефоны, передавая телефонограмму дежурным, бессменно сидевшим у аппаратов в райкомах. И вот уже побежали «по цепочке» связные, собирая по тревоге комсомольцев.

Ранним утром огромный двор нашего дворца зазвенел множеством молодых голов. Сотни ребят, кто в замасленной рабочей блузе, кто в потрепанной кожанке, кто в выдавшей виды шинели, а то и просто в затянутом ремнем потертом пальто, куртке, матросском бушлате, пиджаке, заполнили все комнаты и коридоры.

Плотными кучками держатся товарищи по станку, ребята с одного завода. Деловито совещаются члены бюро ячеек. Радостно встречаются старые фронтовики, уходившие вместе под Псков еще в ту хмурую февральскую ночь 1918 года, когда тревожные гудки питерских фабрик и заводов звали рабочих защищать город революции от на-

ступающих германских войск. Враг тогда был отбит, и ребята снова вернулись в цехи. И вот — тревога опять.

С улицы доносятся звуки лихой комсомольской песни.

— Смотрите, товарищи! Василеостровцы идут, да еще со своим пулеметом. Не подкачали!

В только что сформированный штаб вбегает запыхавшийся организатор района. На нем уже полная походная форма, в кармане — наган, за поясом — гранаты.

— Согласно телефонграмме, — рапортует он прямо с хода, — прибыли в ваше распоряжение. Всего человек столько-то, райком в полном составе. Найдется десятка два фронтовиков. Оружия немного есть, исправный пулемет, патроны...

— Ну и хорошо. — раздается, как всегда, спокойный и рассудительный голос Коли Фокина. — И шуметь особенно нечего. Спустишься в подвал к Петрову и дашь заявку на обмундирование. Заодно пусть там проверят и ваше оружие.

Прикусив кончик языка, Фокин продолжает старательно выводить: «Приказ по сводно-боевому отряду Питерского комсомола № 1».

В комнате бюро губкома шумно. Непрерывно заседает боевая тройка. Нешуточное дело — за сутки сформировать отряд. То и дело вбегают и выбегают с новыми поручениями бывалые ребята. Одни отправляются добывать обмундирование, другие едут за винтовками. Самые дотошные брошены на поиски продовольствия: ведь всех прибывших надо сегодня же взять на довольствие.

Секретари районов еще раз проверяют списки своих мобилизованных. Их тут же разбирают на роты и взводы. Командирами назначают бывалых фронтовиков. Вот по мощеному двору прогрохотали двуколки с перевязочным материалом.

Это для наших девушек. Они уже обосновались в бывшей княжеской ванной и даже вывесили на двери плакат — «Околюдок». Новоиспеченные санитарки деловито возятся с бинтами и марлей, спешно постигая правила наложения повязок. И здесь нашлись «старые» фронтовые сестры. Скоро все будет готово к приему раненых.

К часу ночи отряд сформирован окончательно. Две роты мирно похрапывают на паркете дворцовых залов, третья несет дежурство на постах.

Как быстро преобразились ребята! Куда делась озорные усмешки, трепотливая болтовня. Повсюду серьезные, озабоченные лица. В руках сжаты винтовки, через грудь лента с патронами. Попробуй-ка теперь войти или выйти без пропуска!

В штабе подводят итоги: в течение шести часов мобилизовано пятьсот человек — все активные члены организации; случаев отказа не было. Каждый получал два часа на прощание с родными, и все вернулись к сроку.

— У нас как интересно получилось, — рассказывает организатор района. — Парень просил оставить его в городе. Причина уважительная — отец тяжело болен, мать на работе, малышей даже покормить некому. Решили использовать его на охране райкома. А он через час является снова. Протягивает записку от отца: только что получили известие, что старший сын убит в бою под Лугой, и отец просит зачислить младшего в отряд, чтобы тот отомстил за смерть брата.

Выясняется, что народу у нас уже больше, чем предполагалось. Обмундирования и амуниции на всех не хватает.

По настороженным опустевшим улицам ночного города мчимся на трех грузовиках сперва на фабрику «Скорород». Приказы, подписанные штабом обороны города, выполняются без промедлений. Прямо из цехов выносим ящики с только что сшитыми солдатскими ботинками. Отсюда несемся куда-то за черту города, на подъездные пути. Здесь возле вагонов интенданты с красными от бессонницы глазами быстро оформляют накладные, и мы получаем связки патронташей, ремней, котелки, фляги, лопаты.

Несколько дней отряд занимается боевой подготовкой. Ребята учатся перебежкам, упражняются в стрельбе, бросании гранат. Готовятся к баррикадной борьбе на тот случай, если враг все же ворвется в город.

В сводно-боевом отряде Петроградского комитета оставлено двести пятьдесят человек. Остальные направлены в распоряжение райкомов партии. Часть ребят уже влилась в уходящие на фронт отряды, остальные используются районными штабами обороны как наиболее надежные и верные. поддерживают связь, бегом доставляя самые

срочные и секретные пакеты, участвуют в ликвидации контрреволюционных заговоров, несут охрану Смольного, Петропавловской крепости, складов оружия и продовольствия. Всюду, где нужны беззастенчиво преданные революции люди, посылают комсомольцев.

А на фронте дела все хуже и хуже. Пала Гатчина, заняты Детское Село, Павловск... Сражавшаяся на гдовском направлении еще с предыдущей мобилизации комсомольская рота самокатчиков под командой Ваши Канкина героически дралась под Красным Селом и отошла последней, потеряв почти половину состава. Там же была тяжело ранена курсантка Центральной политической школы Женя Рубина.

В составе нашего отряда появился, как мы его в шутку назвали, «интернациональный батальон». Это — москвичи, прибывшие на защиту Петрограда во главе с самим председателем Центрального Комитета РКСМ Оскаром Рывкиным. Бывший пионер, один из основателей организации, собрал отряд добровольцев из членов Московского комитета и райкомов комсомола. Сюда же вливались ребята из других городов, присланные ячейками на помощь питерцам.

Устроив летучее заседание редакционной коллегии «Юного пролетария» (сделать это было несложно: кроме меня и Татарова, других членов «редколлегии» в природе вообще не существовало), мы приходим к единодушному выводу, что очередного номера журнала нам при всем желании выпустить не удастся. Но неужели же в такие решающие дни не будет слышно голоса юношеской печати? Нет, этого допустить нельзя!

Вспомнив, как не раз в моменты ухода на фронт всего Петроградского комитета вместо журнала появлялся на свет «Листок Юного пролетария», мы решаем выпустить его и теперь: ведь сделать газету намного легче, чем даже самый тонкий номер журнала.

Так мы и поступили. Но по недомыслию я поставил на этот экстренный выпуск очередной, двадцатый номер. А поскольку следующий номер «Юного пролетария» был помечен уже как двадцать первый, то этим я навсегда отравил покой библиотекарей крупнейших книгохранилищ, которые до сих пор не могут разыскать недостающий номер журнала.

Обычную «шапку» в экстренном выпуске заменили две строчки из «Юношеской Марсельезы» поэта Дмитрия Мазнина:

Кто молод и смел —
За винтовку берись!

Далее шло извещение от редакции, что лишь «грозное положение Питера заставляет нас сменить перо на винтовку, но как только непосредственная опасность минет, «Юный пролетарий» будет выходить по-прежнему регулярно».

Почти все содержание выпуска составляли хроника и резолюции юношеских собраний на предприятиях. Наше волнение вылилось в передовой. Писали мы тогда так:

«Черная свора помещиков и генералов насаждает на красный Петроград. Рабочая молодежь Питера, на защиту своего красного города!

Молодежи дорог Питер, как дороги все завоевания Революции. Ни того, ни другого молодежь не отдаст. Только через бездыханные трупы рабочей молодежи белогвардейцы войдут в Питер.

Только уничтожив организованную и сознательную часть рабочей молодежи — Российский коммунистический союз молодежи, — царские опричники справят свою кровавую тризну.

Юные пролетарии! Вы всегда защищали власть рабочих и крестьян — защищайте ее еще крепче и теперь!

Не быть Питеру под белогвардейцами и не быть красной молодежи поработенной! Нашим лозунгом будет —

«Иду на бой!»

А на фронте белые уже под Пулковом. Это почти у самой Московской заставы города.

Шесть часов вечера. Утомленные бессонными ночами, мы, слав дежурство, спим, не раздеваясь, прямо на столах губкома. Но не такой народ молодежь, чтобы терять

жизнерадостность даже сейчас. В комнату вбегает Коля Фокин и начинает изо всей силы трубить «побудку» на военном рожке. Мы вскакиваем. У Фокина невозмутимо серьезный вид:

— Так что командование велело передать, чтобы спали быстрее! Совсем мало времени спать осталось!

Мы дружно посылаем его к черту и мгновенно засыпаем вновь. Но выспаться в этот вечер нам так и не удастся. Через несколько минут всех будят снова.

— Вставайте, ребята! Телефонограмма из штаба обороны. Под Пулковом совсем плохо. Возможно, к утру город начнут эвакуировать.

В комнате тройки идет совещание. Рассказывает Миша Глерон, только что приехавший из Смольного:

— На нас возлагается очень серьезная задача... В случае, если город придется оставить, надо задержать наступающие части врага у Нарвских ворот... Затем перейти на баррикадные бои. всеми мерами удерживать белых... Биться до последнего человека, пока не уйдут все поезда в Москву... Потом актив перейдет на нелегальное положение... Понятно, кто останется жив... Будем работать в подполье... держать связь...

Все сосредоточенны. Ни одного лишнего вопроса, все понятно и так. Совещание лишь изредка прерывает гуденье зуммера полевого телефона. Он связан со Смольным. Оттуда наш дежурный при штабе обороны города сообщает последние вести с фронта.

Наступает ночь. Тревожная ночь с 21 на 22 октября 1919 года.

Нас пять или шесть человек в опустевшей комнате бюро губкома. Все разошлись кто на дежурство, кто проверяет посты, кто ушел на часок домой попрощаться с родными. Остальные в ротах: поддерживают бодрое настроение ребят, не дают поддаваться унынию, грустить. Напоминают о тех, кто давно на фронтах, убеждают в неизбежности скорой победы.

За зеркальными стеклами готических окон хмурое осеннее небо озаряют вспышки. Издалека доносятся гулкие удары выстрелов из тяжелых орудий. Это корабли Балтийского флота обстреливают с моря Пулковское шоссе. Тоскливо.

— Неужели это конец? А ведь как хорошо начали...

— Думали, вот-вот перевернем весь мир...

— Начали здорово, а кончаем глупо...

— Но до чего ж обидно погибать в такой момент!..

— Ну, авось еще и не погибнем. Вывернемся! И хуже бывало...

Пытаемся шутить, бодримся, но в глубине души понимаем, что хуже положения, пожалуй, все же не было. Что эти часы, возможно, действительно последние, решающие. В шутку намечаем фонари, на которых будем висеть, загадываем, кто с кем рядом.

Но нельзя терять дорогое время. Положение вполне ясно — завтра Питер будет занят бандами Юденича. Начинаем жечь списки членов организации, протоколы губкома, служебную переписку. Огромный великокняжеский камин озаряет наши лица красными отблесками, весело пожирая карточки и листки.

Яша Цейтлин, раздобыв где-то гитару, притулился в уголке и, тихонько пощипывая струны, меланхолично напевает вполголоса:

Прощай же, дорогая, меня зовет война.

Ты прощай родная милая жена.

Я далеко еду и скоро не вернусь...

Вернется он, наверно, действительно не скоро. У него в кармане уже новые документы, с которыми он возродится под другой фамилией для подпольной работы в тылу у белых.

Я раздаю товарищам, выделенным для работы в подполье, оставшиеся на руках союзные деньги. Торопливо подвожу итоги своей отчетности и, поднявшись на чердак дворца, прячу там документы, подняв половицы пола в самом темном углу.

— Ну, нечего вешать головы! — слышен внизу голос Фокина. — Зато поработали неплохо. Если останемся живы, будет что вспомнить!

Но настроение все же невеселое. Шутки неунывающих повисают в воздухе, никем не поддерживаемые.

А снизу из комнат общежития доносятся звуки веселых комсомольских песен, звенит гармошка, слышен топот ног — кто-то лихо отплясывает. Это наши товарищи поднимают настроение в ротах.

Начинает светать. Телефонограмма из Смольного: «Привести отряд в боевую готовность. Ждать приказа о выступлении».

Наконец-то! Горнист трубит тревогу. Торопливо застегивая шинели, затягивая на ходу пояса, выбегают во двор бойцы Командиры строят свои подразделения. Старшины раздают патроны, ручные гранаты, индивидуальные перевязочные пакеты. Санитарки под командой энергичной Муси Дребезговой сгруппировались возле двуколки под большим флагом с красным крестом.

Новая телефонограмма: «Выступить по направлению к Средней Рогатке».

Это у самого Путиловского завода. Идти придется недалеко.

— Смирно! — раздаются один за другим голоса командиров рот. Они подтянуты и строги. От ночной меланхолии не осталось и следа. Несколько коротких напутственных слов — и, четко отбивая шаг, наш отряд тянется серой лентой из ворот на улицу. Вот уже первые ряды заворачивают за Дворец труда.

«Слышишь, рабочий, война наступает, бросай свое дело, в поход собирайся!» — начинается звонкий голос запевалы песню, с которой уходили тогда на фронт комсомольские отряды. Колонна дружно подхватывает: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов!..»

Внезапно доносится оглушительный треск мотоцикла. Соскочивший с него человек бегом догоняет колонну, подбегает к командиру, что-то ему говорит.

— Отряд, стой! — раздается команда.

Оказалось, Смольный возвращает нас обратно. На фронте нынешней ночью наступил перелом. Красные части, поддержанные моряками и курсантами, перешли в наступление. Отряд комсомольцев, как один из надежнейших резервов, вновь остается в боевой готовности до следующей тревоги.

Опять знакомые залы княжеского особняка. Караулы, дежурства, военная учеба. Но вести с фронта все радостнее и радостнее. Юденич прижат к эстонской границе. Непосредственная опасность городу миновала. Вскоре наш отряд расформируется.

А через две недели, в ночь на 7 ноября 1919 года, Петроградский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов торжественно отмечал в Зимнем дворце вторую годовщину Октябрьской революции.

В одном из пышных царских залов собрались члены Совета, еще вчера лежавшие под пулями, ходившие в атаки. Кто в простреленной шинели, в пробитой осколком фуражке, кто с забинтованной головой, рукой на перевязи, а то и на костылях. Изможденные, обветренные лица, глубоко запавшие глаза в черных обводах, суровые складки на лбу, у рта.

Вот небольшая кучка курсантов. Это немногие оставшиеся в живых из тех, кто с винтовкой или связкой гранат в руках шли на вражеские танки и броневики, преграждали путь белым баррикадой из собственных тел. Вот группа матросов-кронштадтцев. Тех, кто в распахнутых бушлатах с яростным криком: «Даешь Юденича!» — бросались прямо на бронепоезда.

В президиуме знакомые лица членов исполкома Петросовета, губкома партии — Лашевич, Зорин, Бакаев, Позерн, Авров, Петерс... Они тоже еще в шинелях, кожаных куртках, только что вернувшиеся к обычной работе после того, как, возглавив оборону, сумели превратить Питер в крепость революции.

Трудно передать сейчас речи, звучавшие в ту ночь с трибуны. Это были горячие, восторженные, порой почти бессвязные слова людей, вышедших живыми из смертельной схватки. В них звучала скорбь о павших товарищах, твердая уверенность в силе пролетариата, готовность и дальше бороться до конца, до победы.

Когда заседание окончилось, вспыхнули сотни факелов. Взяв их в руки, весь Петроградский Совет с пением «Интернационала» двинулся по неосвещенной набережной Невы к Смольному.

КАК РОДИЛАСЬ «СМЕНА»

Бывая в наши дни в редакциях комсомольских газет и журналов, проходя по длинным коридорам мимо комнат с названиями отделов, я всякий раз с доброй улыбкой вспоминаю, в каких условиях зачиналась наша юношеская печать. Нынешние комсомольские журналисты, пожалуй, не очень в это и поверят.

В те далекие времена не было еще и речи с каким бы то ни было редакционным и издательском аппарате. Хотя «Юный пролетарий» уже приближался к третьей годовщине своего существования и выходил два раза в месяц, делали его по-прежнему всего два человека — Николай Татаров и Алексей Леонтьев. Как и Вася Алексеев, они были и редакторами, и издателями, и конторщиками, и авторами. Раскрыв любой номер, можно было увидеть много разных подписей. Но все материалы, кроме стихов, принадлежали либо одному из них, либо обоим вместе.

Их «творческий диапазон» был буквально безграничен. Сегодня они писали о юношеском труде на Западе, завтра — о музыке будущего, о декабристах или о деятельности соглашательского Интернационала.

Но, заполняя собственными статьями почти весь номер журнала, юные редакторы погибали под потоком стихов, который обрушивался на них с каждой почтой. Известно, что почти все, мечтающие стать литераторами, начинают со стихов. Но каково было каждому отвечать?

И вот однажды Леонтьев пустился на хитрость и в очередном «Почтовом ящике» ответил доброму десятку поэтов сразу: «Стихи ваши случившимся пожаром были уничтожены непрочитанными».

Это было гениальное изобретение. Впоследствии в затруднительных обстоятельствах мы частенько ссылались в письмах авторам на этот мифический пожар, якобы истребивший архивы редакции.

В июле 1919 года Леонтьева отозвали для работы в ЦК РКСМ, и на его месте в редакции оказался я. До той поры я никогда ничего не писал, даже дневников. Но комсомольская дисциплина в те дни была суровой. В ближайшем же номере журнала появилась моя первая заметка, затем вторая, третья, а потом уж пошло и пошло. Так постепенно я стал комсомольским журналистом. Впрочем, вскоре, также в порядке комсомольской дисциплины, мне пришлось стать и... поэтом.

Поздний вечер. Все разошлись. В губкоме тишина. За огромными окнами — покойная гладь Невы. Солидная великокняжеская мебель величественна даже с ободранными сиденьями и спинками. Недоеденная краюха черного хлеба на подоконнике сулит роскошный ужин. Мы с Татаровым заканчиваем составление очередного номера «Юного пролетария». Делается это, как всегда, в последний вечер накануне сдачи в набор: ведь у каждого столько еще дополнительных обязанностей.

Живо поблескивая умными глазами из-под стекол неизменных очков, Николай подводит итоги:

— Итак, у нас есть воззвание губкома, протокол последней конференции по охране труда подростков, немного хроника. Пожалуй, не богато.

— Что ж, будем делать сами. Не привыкать.

Быстро набрасываем план номера, распределяем гемы, начиная от передовой и кончая рассказом, и садимся писать...

Осенняя петербургская ночь уже прошла. Нева заблестела под взошедшим солнцем. Погягиваемся, подходим к раскрытому окну, жадно вдыхаем свежий утренний воздух.

— Ну вот, на номер, пожалуй, и хватит.

Мы удовлетворены. Но Татарову приходит в голову какая-то новая идея, и он с таинственным видом берет меня за пуговицу:

— Необходимы стихи!

— Какие стихи?

— Да ведь номер-то вроде юбилейный. Ты забыл? Завтра — вторая годовщина Союза. Воззвание — хорошо, передовая есть, воспоминания, статьи — все на гему. А юбилейных стихов нет! Как же как?! Ты же понимаешь, что это необходимо! — Его

глаза приобретают мечтательное выражение.— Ты только представь — разбить на шпаны, покрасивее подверстать... Весь номер украсят! Прошляпили мы...

Он явно расстроен. Но вдруг на его лице появляется отчаянная решимость, и я слышу:

— Пиши!

— Что?!

— Юбилейные стихи.

— Да ты с ума сошел! Никогда в жизни я не писал стихов. Даже когда влюблялся.

— А журнал когда-нибудь издавал? А на митингах выступал? А доклады на конференциях делал?— Он становится непреклонным:— Ну, нечего зря разговаривать. Пиши! Пиши хотя бы в порядке революционной дисциплины.

Я грустно покоряюсь.

Через час мои волосы взъерошены, карандаш изгрызен, пол вокруг стола усыпан скомканными клочками бумаги, но... перед Татаровым лежат двадцать корявых строчек. Мои первые — и последние — стихи.

— Вот сразу бы так. Теперь с номером все в порядке!

С тех пор прошло много лет, и мне не стыдно признаться, что стихи были очень плохи. В них, конечно, рифмовались «идей» и «цепей», «дорогу» и «в ногу». Сегодня мне их и не вспомнить. Но первые две строки навсегда сохранились в моей памяти:

Два года лишь прошло, казалось бы, так мало,
Но сколько было поражений и побед!

Однако к моему крайнему удивлению, стихи имели совершенно неожиданный успех. В течение нескольких лет провинциальные юношеские (и не только юношеские) газеты и журналы их перепечатывали в своих юбилейных номерах, меняя в зависимости от дат «два» на «три» и даже на «четыре». Как видно, с поэтами, пишущими «на заказ», в те времена было еще туговато.

В начале 1920 года Татаров, так же как и годом ранее Леонтьев, перешел на работу в ЦК комсомола. Его место в редакции занял я, а моим помощником стал юный поэт Дмитрий Мазнин. С той поры недостатка в стихах мы уже не ощущали.

Последним занятием Мазнина был ломовой извоз. Некоторый отпечаток этой солидной профессии в нем еще оставался. Из-за своего стола он с тем же великолепным презрением и скепсисом взирал на окружающий мир, как делал это, восседая на козлах. Впрочем, прошлая профессия не казалась ему особенно привлекательной. Описывая в одном из лирических стихотворений свою юность и вспоминая, как он «встал утром рано и мне сказали, что надо ехать под муку», Митя с горечью добавлял: «Пришла пара печальных песен, и стал извозчиком поэт!»

Мазнин был первым признанным поэтом питерского комсомола, и мы все им очень гордились. Печатая его стихи еще в самых первых номерах «Юного пролетария», редакция однажды ему ответила в «Почтовом ящике»: «Если вы основательно поработаете, то у вас выйдет талантливо написанный «Евгений Онегин» в современной обстановке». На меньшее мы тогда не соглашались!

Теперь Мазнин стал поэтом-профессионалом. Каждое утро, всегда немного смущенно, он протягивал мне листок бумаги, покрытый аккуратным бисером строк. Я наводил строгую критику, и трудолюбивый автор по многу раз переделывал стихи, не обижаясь и не протестуя.

Иногда во время работы мы принимались играть «в строчки». Митя перебрасывал мне страничку с двумя фразами, я прибавлял следующие две в рифму (по большей части довольно бессмысленные), он снова добавлял две свои — и так продолжалось до тех пор, пока я не сдавался.

Редакционные обязанности мы поделили так: я был редактором, заведующим издательством, стилистом, корректором, главным репортером, машинисткой, иногда курьером. Мазнин — секретарем редакции, штатным поэтом, фельетонистом, очеркистом и рассказчиком, организатором и руководителем первых юнкоров, постоянным докладчиком по вопросам юношеской печати, выпускающим и... всем остальным.

Наш рабочий день начинался рано. Мы жили в той же комнате дворца, где помещалась редакция, издательство, контора, экспедиция и книжный склад. Было холодно-ваго. На ночь я, по праву первенства, накрывался шикарнейшей суконной красной скатертью, которая в дни общегородских конференций украшала стол президиума.

Встав, умывшись и попив кипяточку с хлебом, Мазнин садился за правку материала к номеру и одновременно вел прием посетителей, я же отправлялся по многочисленным типографиям, где были разбросаны наши заказы. К тому времени, кроме журнала «Юный пролетарий» и только что возобновленной газеты «Смена», выходящей дважды в неделю (о ней речь пойдет дальше), мы выпускали официозные «Известия Петроградского губкома РКСМ», ежемесячный журнал «Интернационал молодежи» на трех языках, а также печатали различные брошюры по вопросам юношеского движения, сборники стихов и песен, плакаты, открытки с портретами, значки и потрясающее количество всяческих анкет, воззваний, карточек и инструкций. Наше издательство «Юный пролетарий», пополнившееся вскоре неутомимой и безотказной Розой Бруккер, пользовалось таким весом, что Центральный Комитет РКСМ поручил нам печатать членские билеты для всего Союза.

А местные власти так охотно помогали революционной молодежи, что, скажем, из девятнадцати (!) бывших в Смольном легковых автомобилей один был отдан нашему издательству, чем мы и пользовались очень широко.

Таким образом, весь день уходил у меня на поездки по типографиям и «организационные» хлопоты, характерные для той эпохи. То нет бумаги на очередной номер и надо мчаться в Москву к товарищу Шведчикову раздобывать хоть какого-нибудь сырья. То надо набирать очередной номер, а наборщики валяются с ног от недоедания и усталости. И приходилось отправляться в Петрокомму, выклянчивать бочонок селедок и несколько буханок хлеба, привозить все это в типографию и тут же раздавать по верстакам. Благо этот орган, кормивший и одевавший тогда петроградцев, возглавлял добрый друг молодежи, один из четырех гласных Государственной думы — большевик — Алексей Егорович Бадаев.

Зато вечера и то время, которое нынче уходит на заседания и совещания, мы с Мазниным отдавали литературному творчеству в четыре руки, засиживаясь обычно часов до двух-трех ночи. Здоровья и энергии у нас было хоть отбавляй: восемнадцать лет — ничего не скажешь! Разумеется, мы делали журнал и газету порой неумело, плохо — ведь никто нас этому делу не учил — и делали по-своему, как умели и как могли, но с душой, и даже больше — с энтузиазмом.

Вся моя и Мазнина профессиональная подготовка — редакторская и издательская — была более чем ограничена. Она состояла лишь в старательном штудировании второй брошюры П. Керженцева «Газета» да в беседах с крупнейшим питерским полиграфистом И. Д. Галактионовым, работавшим тогда в самой большой типографии города «Печатный двор». Бывать у него в типографии мне приходилось потому, что одновременно я заведовал отделом печати губкома комсомола и должен был следить за выполнением наших заказов и там.

Овладеть издательской и редакционной техникой очень помог нам выпуск «Страничек молодежи» во всех трех петроградских газетах — «Петроградской правде», «Красной газете» и «Деревенской коммуне». Мы отвоёвали себе право у этих редакций самим сдавать в набор и самостоятельно верстать в выделенные нам дни всю четвертую половину газеты. Приезжая в типографию заранее, мы часами простаивали у талеров, наблюдая, как делают страницу за страницей «настоящие» выпускающие, и учились у корректоров правке (своего корректора у нас не было). Опытные старики-метранпажи охотно передавали нам секреты красивой верстки, умение пользоваться шрифтами и заголовками.

До сих пор я живо помню бессонные ночи в типографии «Петроградской правды». Верстаю свою страничку, но что-то не получается. К талеру подходит, прихрамывая, тогдашний выпускающий «Петроградской правды» — будущий редактор «Красной газеты» Александр Гервасиевич Лебеденко (он только что вернулся с фронта и еще не оправился окончательно после ранения). Глядишь — и моя страничка «заиграла».

Заходил «на огонек», кутаясь в потрепанную солдатскую шинель, недавно вернувшийся из Германии, где он был интернирован как русский студент во время мировой войны, Константин Александрович Федин. Он выпускал тогда в соседней наборной фронтovou газету своей части — «Боевая правда». Порой забегал на минуту с неизменной шуткой и сам редактор «Петроградской правды» В. Васильевский.

Уже начинало светать, когда на маленьком чихающем грузовичке мы все разъезжались по домам. А утром, видя, как люди с интересом читают расклеенные на заборах и стенах домов газеты (специальных щитов и тем более киосков в те годы не существовало), я чувствовал себя участником большого и важного дела...

«Смена» была первой появившейся в стране комсомольской газетой. Дата ее рождения — 18 декабря 1919 года. Номер открывался приветствием Владимира Ильича Ленина.

«Приветствую рабоче-крестьянскую молодежь Петроградской губернии в дни проведения «Красной недели», — писал он. — Усиливайте, юные товарищи, вашу работу в этом направлении, чтобы со свежими молодыми силами приняться за устройство новой, светлой жизни».

А о том, какими были дни этой «Красной недели» и какая работа ожидала вступающую в Союз молодежь, откровенно и горячо говорила передовая статья:

«Сегодня — голод, завтра — холод, им вдогонку — смертельный сыпняк. Страшный заколдованный круг, еще одна блокада в дополнение к той, которой в бешеной злобе Антанта душит нас мертвой петлей.

Но холод — мы пойдем валить лес, ломать дома и бараки. Голод — мы дадим свои последние силы продовольственным отрядам, поможем грузить и проталкивать хлеб, вмешаемся в контроль над распределением, завяжем отчаянную борьбу со спекулянтами, грабителями и ворами, отнимающими последние жалкие крохи у наших братьев-пролетариев.

Не хватит у нашей партии сил, чтобы справиться со всей тяжестью разорения и всеобщей разрухи, — мы смело пойдем ко всем, кто еще не понял, какая великая честь стоять в рядах коммунистов, и скажем, что в такое время не быть в этих рядах — значит изменить пролетарскому делу.

Пусть же знают наши отцы и братья, что в эти тяжелые дни мы все без колебания идем вместе с ними!»

Первые номера «Смены» выпускал в одиночку, своими силами, только что вернувшийся из-под Уфы с колчаковского фронта Сергей Маситин — бывший член Петроградского комитета Союза. Выпустив четыре номера, Сережа снова уехал в армию, а его газета перешла в наше издательство. С этих дней в «Смене» появились два новых работника — А. Алешин (это был я) и Арсений Гранин (под этим псевдонимом скрывался Митя Мазнин).

Внешне первые номера «Смены» выглядели не очень презентабельно, напоминая, пожалуй, по формату нынешнюю заводскую многотиражку. Четыре, а то и две странички небольшого формата на серой, самой плохонькой бумаге, с двумя-тремя штриховыми клише (тоновые на такой бумаге не получались), но зато с очень крупными, «броскими» заголовками и лозунгами на четверть страницы.

Что же касается содержания, то сначала мы либо переписывали в сокращенном виде наиболее интересные статьи из «Юного пролетария», либо печатали небольшие статьи, взятые из «взрослых» газет. Состав сотрудников был у нас поэтому весьма солидный. К примеру, о борьбе с вошью писал в «Смене» нарком здравоохранения Н. А. Семашко, о женской чести — А. М. Коллонтай, о задачах театра — М. Ф. Андреева.

Кстати, развертывая широкую программу классических спектаклей для юношества, Мария Федоровна Андреева, заведовавшая тогда театральным отделом Наркомпроса, заканчивала статью словами: «Но отсутствие дров и скудость освещения не позволяют, к сожалению, провести в жизнь этот план». Впрочем, и помещенный в «Смене» несколько позже доклад культурно-просветительного отдела губкома РКСМ начинался так: «В отношении развертывания широкой культурно-просветительной работы нам удалось достать в достаточном количестве керосин, который сейчас срочно распределяется по районам...»

Вскоре «Смена» приобрела и «своих» авторов. Сперва в редакцию потоком хлынули стихи. В неумелых и наивных рифмованных строках ребятам было как-то легче выказать чувства, переполнявшие их сердца. Затем начали приходить и первые корреспонденции из уездных городков, больших сел и даже маленьких деревушек. Повсюду находились ребята, считавшие своим комсомольским долгом держать газету в курсе того, что происходит в их организации. Эта хроника с мест была тогда такой же удивительной, каким было и время. Не могу не привести хотя бы несколько заметок из первых номеров «Смены»:

«На днях в Пермский губком зашли двое вооруженных товарищей. Оказалось, что это члены татарской организации РКСМ из села Башкар-Калтаево. Они вдвоем привели в Пермь двадцать пять дезертиров, пойманных в этом районе силами всей организации, состоящей из двадцати юных татар».

«В селе Осиновая Гроза, Шигровского уезда, местная комсомольская ячейка работает нелегально. Ребята так запуганы кулаками и собственными родителями, что собираются по ночам в разрушенной бане».

«В Лугу в подотдел искусств явилась в полном составе комсомольская ячейка одного из сел и целиком сдала экзамен на актеров. Таким образом комсомольский коллектив, состоявший из деревенской интеллигенции, неожиданно превратился в профессиональную труппу».

«Заслушав доклад т. Семенова по текущему моменту, комсомольцы нашего предприятия заявляют: пусть враги не думают, что мы спим. Пусть они знают, что у рабочей молодежи одна нога на машине, а другая на страже Революции».

Уже из этих заметок видно, что «Смена» сразу же переросла питерские рамки и стала говорить с читателями во всероссийском, так сказать, масштабе. Ведь в то время Петроград еще оставался в представлении многих «второй столицей».

Делегаты из самых отдаленных губерний не только привозили нам собранные ребятами сухари. Многие приезжали к нам за литературой и библиотеками, которыми мы их охотно снабжали, добившись от Севцентропечати получения пятнадцати процентов политических и десяти процентов всех остальных книг, выходивших тогда в Петрограде.

Но кто бы к нам ни приехал. Мазнин тотчас усаживал прибывшего в редакционное кресло, брал в руки карандаш и принимался расспрашивать обо всем, что делается на местах. Так появлялась у нас самая свежая хроника

А поскольку в поездах в то время возили пассажиров даром и приехать было значительно быстрее и проще, нежели обменяться письмами, то делегаты из самых отдаленных мест появлялись очень часто.

Как-то в редакцию явился заматанный в платки до самого носа паренек, валенки которого были чуть ли не с него самого. Прибыл он из Оренбурга ни больше ни меньше, как за... портретом Карла Либкнехта:

— У вас небось картинок печатается много, а у нас нет ни цинкографии, ни готовых клише. Подарили бы нам хоть использованные. Надо же когда-нибудь и нашу оренбургскую газету украсить.

Так мы и сделали. А затем стали регулярно снабжать возникавшие повсюду юношеские газеты и журналы готовыми клише, которые они помещали, нередко изменяя по своему усмотрению подписи так, что мы только за голову хватались.

Сами же мы к началу 1921 года достигли такой полиграфической зрелости, что наш «Юный пролетарий», представлявший собой еще год назад несшитую тоненькую тетрадку в шестнадцать страничек, без всяких иллюстраций, на грубой, скорее серой, нежели белой бумаге, с одним лишь клишированным заголовком на первой странице вместо обложки,— теперь был неузнаваем и выходил на уровне самых солидных тогдашних изданий. Мы отказались от наборных заголовков, заменив их рисованными, приобрели в словолитне собственный шрифт и даже заказали там же новые заглавные буквы по рисункам крупнейшего русского графика Сергея Чехонина.

Неузнаваемо вырос и литературный уровень журнала. Мы печатали рассказы Константина Федина (улыбавь ему, помню, первый гонорар шакарной барашковой шапкой, которой он заменил свою солдатскую фуражку), критические статьи Виктора Шклов-

ского, стихи Александра Лебеденко и Александра Безыменского. Над иллюстрациями работали такие художники, как Юрий Анненков, только что блеснувший отличными рисунками к «Двенадцати» Блока, Дмитрий Митрохин, Владимир Конашевич.

Стремясь привлечь к участию в нашем журнале самых именитых людей, мы не останавливались ни перед чем. Как-то, узнав о приезде в Петроград Демьяна Бедного, я подкараулил его у входа в Смольный, вскочил на ходу на подножку автомобиля и не слез до тех пор, пока Бедный, ворча, не написал мне на коробке от папирос шутивное стихотворное приветствие:

Коммунистической молодежи

Желаю вам всем миром овладеть!
А я б желал... помолодеть!

Но тем не менее нам все время казалось, что рамки нашей деятельности можно расширять еще и еще. Мы уже всерьез мечтали об издании повестей и романов из жизни революционной молодежи, о солидных трудах по вопросам юношеского движения. Понимая, что технических возможностей к этому у нас нет, мы решили вступить в дипломатические переговоры с Ильей Ионовым, возглавлявшим тогда Петроградское отделение Госиздата.

К Ионову мы, по обыкновению, приехали втроем — Мазнин, Роза Бруккер и я. Госиздат тогда только что обосновался в огромном здании на углу Невского и Екатерининского канала, некогда принадлежавшем американской компании швейных машин «Зингер». У директора издательства была довольно своеобразная манера разговаривать. Сперва он наводил на посетителя страх своей взлохмаченной рыжей шевелюрой, пронзительным взглядом из-под нависших бровей и резкими репликами.

— Ваш производственный план? — отрывисто спросил он без всяких предисловий.

— Его у нас еще нет, — невозмутимо ответил я.

— Так о чем же мы будем разговаривать? До свиданья.

Но не так-то просто было от нас отделаться. Выйдя в приемную, мы тут же за несколько минут сочинили план, продиктовали его машинистке и снова появились в кабинете.

Ионов был сражен нашей напористостью, а я вскоре получил еще одно назначение — заведующим юношеским сектором Госиздата. В этой роли я проработал несколько месяцев (не успев, конечно, выпустить ни одной книжки), пока меня не сменил вернувшийся с фронта один из основателей питерской организации комсомола — Ваня Тютюков.

Наша бурная деятельность не осталась незамеченной Алексеем Максимовичем Горьким. Через писательницу В. В. Томилину, помогавшую нам тогда наладить переводы статей для «Интернационала молодежи», мы получили приглашение «как-нибудь вечером» посетить Алексея Максимовича.

Надо ли говорить, с каким волнением я, Митя Мазнин и Николай Фемин (второй наш поэт, украшавший стихами каждый номер «Смены» и отличавшийся длинными кудрями соломенного цвета) подходили к подъезду дома на Кронверкском проспекте, где жил тогда Горький.

Нас провели через большую столовую, где за длинным столом сидело и пило чай много людей. От смущения мы не поднимали глаз и никого не разглядели. Затем мы вошли в кабинет, и из-за письменного стола, заваленного книгами, папками и пакетами, навстречу нам поднялся тот, кого мы так хорошо знали по портретам.

Горький с приветливой улыбкой пожал каждому крепко руку и рассадил нас в кресла. До сих пор не могу себе простить, что по легкомыслию, вернувшись, не записал подробно все, что говорил нам Алексей Максимович.

Внимательно разглядывая каждого, он подробно расспрашивал, как мы начали писать, как учились делать журнал и газету, как вообще мы работаем, отдыхаем, питаемся, как воспитываем наших комсомольских литераторов, каковы наши планы на будущее. А в заключение дал несколько советов — что нужно для того, чтобы стать настоящим писателем.

— Посмотрите,— помню, говорил Горький,— на мастерскую хорошего столяра. Здесь у него лежит рубанок, там молоток, там пила, там клещи. Все под рукой, все можно взять в нужную минуту. Таким же должен быть и мозг культурного человека. Повсюду в нем должны быть разложены в строгом порядке знания по отдельным отраслям, запасы образов, сравнений, сведений из всех областей науки, техники, культуры. И нужно уметь находить их вовремя и свободно ими пользоваться. Это дается не только жизненным опытом, но главное — систематическим и обдуманым чтением.

— А вы-то успеваете читать?— спрашивал он.— А план чтения пробовали составлять хотя бы на год?

Переходя к технике писательского труда, Горький настойчиво советовал нам читать не только современных, но и старинных писателей, даже тех, кого никто сейчас не читает, и выписывать все новые слова и выражения, обогащая таким образом свой язык

Для «Юного пролетария» Алексей Максимович написал несколько строчек в форме пожелания:

«Будущее твое, юность, и от тебя зависит наполнить его тем или иным содержанием. Если бы тебе удалось сделать будущее менее грозным, кровавым и бесчеловечным, чем прошлое и настоящее!»

ДРУЗЬЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Начало июля 1920 года. Звонок по телефону:

— Говорят из бюро Коминтерна. Есть у вас кто-нибудь, кто знает хотя бы немецкий язык? Приезжайте встречать западных товарищей!

Из всех работников губкома единственными, кто с грехом пополам мог кое-как объясниться по-немецки, были Татаров и я. Быстро собираем группу товарищей для встречи и едем в Смольный.

В бюро Коминтерна шумно. Идет регистрация делегатов, прибывающих из-за рубежа на Второй международный конгресс Коммунистического Интернационала. Секретарь бюро Эльза Ивановна Кингисепп — она давно ведет с нами дружбу — тщетно пытается что-то объяснить худошавому смуглому индусу, одновременно отвечая на вопросы маленького улыбающегося японца. Она подзывает нас к себе:

— Товарищи! Среди прибывших сегодня есть представители юношеских организаций. Возьмите их на свое попечение. Познакомьте с работой Союза, покажите город.

Наши взволнованы. Подумать только — впервые встретиться с зарубежными товарищами по борьбе, увидеть тех, кто за пограничными кордонами ведет в капиталистических странах революционную работу!

А вот и они. Как непохожи они на нас!

Столпившись вокруг человека в больших круглых очках, что-то с жаром доказывающего, стоят несколько юношей и две девушки. Увидев нас, они заулыбались. Кто-то из наших пытается произнести приветственную речь, но тотчас сбивается с тона. Да и что тут говорить! Все понятно и так. Протянутые руки сплетаются в дружеские объятия, и всеюло гурьбой, объясняясь жестами и мимикой, мы спускаемся по широкой лестнице вниз.

По дороге все же кое-как знакомимся. Человек в круглых очках оказывается известным поэтом-революционером Максом Бартемом. Крепкий коренастый юноша со значком КИМа в петлячке — Вилли Мюнценберг, секретарь Коммунистического Интернационала молодежи, один из руководителей мирового юношеского движения. Белокурый скандинав, сдержанный и молчаливый, — Яльмар Викстен, секретарь Союза молодежи Швеции. Но вот два других шведских делегата что-то мало похожи на революционеров. Это солидные молодые буржуа, медлительные и важные, прекрасно одетые. Бывают, оказывается, и такие. Впоследствии мы узнали, что если и бывают, то ненадолго. Уже через два года оба шведа порвали с революционной молодежью и примкнули к реформистам.

Здоровые, рослые швейцарцы Бамматер, Мамми и Герцог, громко хохоча, потешаются над сухошавым итальянцем Полано — тот ежится на утреннем прохладном ветру. Исландец Бьярнассон и его спутник, фамилию которого так и не удается разобрать, что-то объясняют маленькому, изящному корейцу и венгерской коммунистке Лекай. Норвежец Линдерут переводит мои путанные объяснения молодой англичанке, учительнице воскресной рабочей школы, и французскому делегату.

Смуглый, черноволосый, совсем непохожий на немца, экспансивный и подвижной, как ртуть, редактор немецкого юношеского журнала «Юнге Гарде» Карл Лейнгардт рассказывает о своем путешествии:

— Вот уж никогда не предполагал, что мне придется сыграть роль пианино. Смейтесь? Нет, серьезно! Никак нельзя было перебраться через границу. Спасибо, наши матросы выручили. Предложили на сутки поселиться в ящике от пианино. Пришлось рискнуть. Погрузили меня на пароход, и вот так, в ящике, я благополучно миновал все полицейские кордоны и таможенные досмотры. Ну и духотища, доложу я вам, в товарном трюме! Думал, живым не доеду, задохнусь. Спасибо грузчикам: носили и ставили меня осторожно, как фарфор, не то и костей не собрать бы.

На другой день группа молодежных делегатов пополнилась представителями Бельгии, Дании, Болгарии и Грузии (в то время она еще была меньшевистской). В дни, оставшиеся до открытия конгресса, зарубежные товарищи ознакомились с работой наших организаций. Они с дотошностью забрасывали нас вопросами, причем такими, какие нам и в голову никогда не приходили. Мы же организовали с их участием грандиозный интернациональный митинг во Дворце Урицкого, выступали они и в наших районных клубах. «Юный пролетарий» обогатился статьями приехавших о революционной борьбе пролетарской молодежи Запада.

Прошло несколько недель. Закончился конгресс Коминтерна, в Москве прошло совещание юношеских делегатов. Пора подумывать о возвращении домой. Это далеко не просто. За веселыми шутками и смехом сквозит одна мысль, тревожная и неотступная: как пробираться обратно?

Неунывающий Макс Бартель предлагает всем делегатам воспользоваться методом Лейнгардта. Но это рискованно. Лейнгардт не рассказал, что все шло гладко лишь до Гамбурга, где грузчики-коммунисты так деликатно обращались с ценным «инструментом», что узник попал в трюм без единого синяка. Но в ящике забыли просверлить отверстия для воздуха, и когда трюм закрыли, несчастный редактор «Юнге Гарде» едва не задохнулся в своей деревянной тюрьме. Он уже терял сознание, когда один партиец из команды нашел предлог спуститься в трюм и устроить там небольшой сквонзник.

Да и к тому же на Запад этим способом не проедешь. Советская республика еще не вывозит за границу таких товаров. Роялем не спасешься.

Однако все же компания с каждым днем редет. Уехали почти легально самодвольные и солидные шведы Самуэльсон и Чильбум. Скрылись швейцарцы и француз, решившиеся чуть ли не на кругосветное путешествие через Мурманск. И только через много недель мы с горечью узнали, что часть уехавших этим путем погибла вместе с парусником, подорвавшись на mine, оставшейся после мировой войны.

Теперь самое трудное. Надо как-то переправить в Германию Вилли Мюнценберга, избранного председателем Коммунистического Интернационала молодежи.

Это не так-то просто. Вилли сразу же идет на нелегальную работу. О его приезде никто не должен знать. А флегматичная физиономия Мюнценберга хорошо известна политической полиции европейских стран.

Но способ все же найден. Он остроумен и надежен.

На днях Советская Россия отправляет в Германию очередную партию бывших военнопленных немцев в обмен на пленных русских солдат. Не представило большого труда найти двух хороших парней из немецких военнопленных, ставших у нас убежденными коммунистами. Они, конечно, согласились остаться в России еще на пару месяцев, а если понадобится, то и на несколько лет. Свои номера в списках, свои имена и фамилии они охотно уступают Мюнценбергу и Карлу Лейнгардту, хотя знают, как

будет омрачена радость невест, с трепетом ждущих на вокзале прихода очередного эшелона с пленными.

— Вы им объясните все!..

Ночь. Я сижу в редакции, готовлю материал к очередному номеру. Телефонный звонок из Москвы, голос члена ЦК комсомола Лазаря Шацкого, ведающего там международными связями:

— Завтра утром явишься к Кингисепп за срочным поручением.

На другой день, получив нужные инструкции от деловитой и немногословной Эльзы Ивановны, я переселяюсь в гостиницу «Англетер», где живет Мюнценберг. Для чего нужна такая сложная конспирация, мне не объясняют.

Рано утром мы троим выходим из гостиницы. У каждого в руках пустой чемоданчик, а в кармане — командировка в пограничный город Ямбург под каким-то туманным предлогом.

Вилли вытаскивает из чемоданчика и протягивает мне большой пакет, завернутый в газету. Это его фотографии. Внимательный к каждой мелочи, он не забыл о данном вчера обещании. На обороте паспарту цитата в добрые полсотни строк из Гёте о гранитных утесах и мятежных волнах. Пакет приходится оставить швейцару.

В поезде идет самый «нейтральный» разговор. Мы рассматриваем унылые окрестности через запыленные окна, болтаем о всяких пустяках. Кстати, выходя подышать воздухом на одной из станций, мы видим в окне соседнего вагона мрачную физиономию «меньшевика-интернационалиста» Юлия Мартова. Недавний член Президиума ВЦИКа следует за границу, куда он выслан в лоно родной меньшевистской партии. Мартов скользит по нам равнодушным взглядом и, наверно, не подозревает, что через пару лет Вилли будет беспощадно громить его на одном из диспутов в Швейцарии.

В Ямбурге оживленно и шумно. Через несколько часов начнется обмен. Немецкая и русская комиссии будут по спискам принимать и передавать бывших военнопленных.

Эшелоны с той и другой стороны прибыли уже вчера. Немцы в своих грязно-голубых шинелях и приплюснутых фуражках, нетерпеливо перемчываясь с ноги на ногу, перебрасываясь шутками либо деланно спокойные, ждут начала процедуры здесь. Русские пленные где-то там, по ту сторону границы.

Мы трое с самым незаинтересованным и скучающим видом бродим по улицам Ямбурга, постепенно уклоняясь в сторону леса. В ожидании заказанной якобы подводы мы просто гуляем.

Наконец до условленного места остается несколько шагов. Последнее крепкое рукопожатие, и я неторопливо возвращаюсь на станцию.

Несколько минут тянутся без конца. Затем я издали вижу двух мешковатых военнопленных с очень знакомыми лицами, которые скорее угадываешь, нежели узнаешь за поднятыми воротниками и навинутыми на лоб фуражками. Вот они смешиваются с ожидающей толпой. Их тотчас окружает плотная кучка. Это «свои».

Дело сделано. Я еду обратно.

Через несколько недель курьер из Берлина передает мне смятый клочок папиросной бумаги: «Все в порядке. Вилли».

Той же осенью, в первое воскресенье сентября, молодежь Петрограда торжественно праздновала первый Международный юношеский день. Накануне состоялся молодежный субботник, в нем участвовали десятки тысяч юношей и девушек, «беспартийные» наравне с комсомольцами. А в воскресенье молодежь заполнила всю огромную площадь перед Зимним дворцом.

Такого Петроград еще не видел. Мимо воздвигнутой перед дворцом дощатой трибуны район за районом нескончаемым потоком шли молодежные колонны. Впереди каждой со знаменем — районный комитет, за ним с винтовками комсомольские отряды особого назначения, допризывники, молодые красноармейцы и моряки и дальше — молодежь заводов, фабрик, мастерских, учреждений, учащиеся трудовых школ, воспитанники детских домов. Все со своими оркестрами, под самодельными знаменами и плакатами.

Этот праздник знаменовал собой вступление молодежи Петрограда в ряды Коммунистического Интернационала молодежи. Интернациональная работа стала одним из важных звеньев деятельности комсомола.

«Гостей из-за границы» можно было теперь нередко встретить в наших районных организациях. Используя свою новую должность «уполномоченного КИМа по Петрограду», я всеми правдами и неправдами задерживал на несколько дней каждого попадавшего к нам представителя зарубежной молодежи, пока он не выступит в нескольких районных клубах и не оставит статьи для «Юного пролетария». А мы в благодарность за это снабжали его подборкой наших газет, журналов, плакатов, значков и комплектом фотографий, рисующих будни и праздники питерских комсомольцев.

Официальный орган КИМа, ежемесячный журнал «Интернационал молодежи», решено было печатать в Петрограде. Из Москвы, от Шацкина и Татарова, мы получали рукописи на самых разных языках. А иной раз в редакции появлялся какой-нибудь загорелый и запыленный парень, деловито разувался и извлекал из-под стельки или из каблука сложенные в крохотный пакетик листочки папиросной бумаги — статью из его страны, откуда легальным путем не пришлешь: там свирепствует террор.

Одна из самых опытных петроградских переводчиц Зинаида Афанасьевна Венгерова с готовностью помогла нам создать бюро квалифицированных переводчиков с основных языков мира, нам предоставили возможность пользоваться великолепно оборудованной типографией Коминтерна, и вскоре новый международный журнал молодежи начал регулярно выходить на трех языках (немецком, французском и английском) одновременно.

Неведомыми для меня путями пачки свежееотпечатанных номеров уплывали за границу, и через некоторое время мы получали письма из самых далеких стран с теплой благодарностью за помощь в борьбе.

НА ТРИБУНЕ — ЛЕНИН

Передо мной небольшой квадратик картона. На нем всего два слова: «Пропуск всюду», номер, подписи и печать.

Сегодня такой пропуск кажется почти фантастическим. Как это так — «всюду»? Но тогда, летом 1920 года, тем, кому было поручено принимать в Петрограде делегатов Второго конгресса Коминтерна, выдали именно такие пропуска. Потому что время было очень суровое и Петроград оставался по существу осажденным городом. Белогвардейские части генерала Юденича, не так давно отогнанные от его стен, засели совсем недалеко, за эстонской границей, и отнюдь не отказались от своих замыслов. Да и в самом Петрограде таилось еще немало врагов, орудовали диверсанты, велась злобная агитация против советской власти.

Петроград все еще жил как военный лагерь. Даже в подъезде гостиницы «Астория», ставшей одним из Домов Советов, всегда стоял нацеленный прямо на входные двери пулемет и возле него сидел наготове пулеметчик. Ни в одно учреждение нельзя было проникнуть без пропуска, минуя вооруженного постового. Специальные пропуска требовались даже для входа в иные комнаты. И только такой «пропуск всюду», введенный на дни конгресса Коминтерна, давал возможность получившему его проникать через любые посты, не тратя лишнего времени на получение специальных разрешений. В их числе оказался и я как представитель юношеской печати.

Работа конгресса должна была протекать в Москве. Но чтобы отдать заслуженную честь городу — колыбели революции и познакомить делегатов с местами, где родился и победил Октябрь, было решено торжественное открытие конгресса провести в Петрограде.

Ранним утром 19 июля площадь у Московского вокзала уже бурлила, заполненная тысячами людей. Зарубежных друзей пришли встречать рабочие петроградских фабрик и заводов, солдаты расположенных в городе полков, матросы с кораблей Балтийского флота. Повсюду развевались знамена, вздымались приветственные лозунги. Сме-

шиваясь, переплетались звуки оркестров, с которыми подходили все новые и новые колонны.

Посредине площади, наполовину закрытое раскрашенными щитами, мрачно наблюдало за всем этим «пугалом» — чугунное изображение царя Александра III, памятник которому революционный народ оставил на месте, снабдив лишь ядовитой надписью, сочиненной Демьяном Бедным:

Мой сын и мой отец народом казнены,
А я пожал удел посмертного беславья.
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки свергнувшей ярмо самодержавья.

На перроне собрались представители рабочих и солдатских делегаций. Вдоль платформы выстроился почетный караул курсантов и кронштадтских матросов. С каждой минутой нарастало волнение встречи.

Издали показался приближающийся поезд. Постукивая на входных стрелках, медленно двигался украшенный флагами и гирляндами зелени паровоз. Все замерли в ожидании. Дирижер военного оркестра поднял палочку.

Поезд остановился, и сразу же раздались торжественные звуки «Интернационала». Из вагонов начали выходить делегаты. Все смешалось в приветственных восклицаниях, рукопожатиях, поцелуях, смехе: ведь встречались люди, нередко хорошо знавшие друг друга по именам, но многие годы разделенные либо морями и океанами, либо тюремными стенами и подпольем и никогда еще не имевшие возможности увидеться.

Через несколько минут на подъездных путях показался второй разукрашенный поезд. Но в этот момент к нам, группе комсомольцев, подошел Яков Петерс, бывший заместитель председателя ВЧК, недавно назначенный начальником Петроградского укрепленного района:

— Идите-ка сюда, за мной.

Не скрою, что было донельзя обидно уходить с праздничного перрона в такой момент. Но дисциплина в те годы была железной. Никому и в голову не пришло бы даже спросить о причине.

Вместе с еще несколькими военными и штатскими мы быстро прошли на отдаленную платформу, где немногие встречающие поджидали очередной почтовый поезд из Москвы.

— Стойте здесь.

Через несколько минут поезд подошел. Пестрая толпа приезжих с корзинами и чемоданами заполнила перрон. Почти бегом мы направились к вагону, который нам указал Петерс.

По его ступенькам быстро спускался невысокий человек в темном пальто и кепке. Следом за ним из тамбура выходила женщина.

В первое мгновение, увидев такую знакомую по фотографиям фигуру, я оцепенел, не веря своим глазам. Не может быть! Неужели это он?! Ленин?!

Да, это был Владимир Ильич. В суматохе прибытия его и Надежду Константиновну никто на перроне не узнал и не заметил.

Мы мигом окружили Ильича плотной толпой и быстро прошли несколько шагов до выхода с платформы. А там уже нетерпеливо урчали и фыркали стоявшие наготове два автомобиля. Так же быстро приехавшие и сопровождающие уселись в них и полным ходом мимо залитой праздничной толпой площади понеслись к Смольному — штаб-квартире петроградских большевиков.

Потом, позднее, я узнал, что ВЧК получила сигналы, что белогвардейские террористы готовят в Петрограде покушение на Ленина. Чтобы не подвергать Владимира Ильича лишней опасности, решено было сделать его приезд в Петроград по возможности незаметным.

Делегаты конгресса также прямо с вокзала направились в Смольный. Для этого были мобилизованы все имевшиеся тогда в городе автомобили, но их все же не хватило. Весь автомобильный парк Петрограда состоял тогда из нескольких десятков старых, разбитых машин. Пришлось спешно пригнать к вокзалу десяток таких же дребезжащих трамвайных вагонов и усадить в них делегатов.

В Смольном гостей слегка покормили, а затем позвали строиться, чтобы торжественным маршем пройти во Дворец Урицкого, — так, в память погибшего от руки террориста председателя петроградской ЧК, назывался теперь бывший Таврический дворец, где еще недавно заседал незадачливый русский парламент — Государственная дума. Нынче именно в этом зале должно было состояться первое заседание конгресса. Быстро построившись в длинную колонну, делегаты двинулись прямо по середине мостовой.

Это было незабываемое шествие. На протяжении всего пути вдоль тротуаров стояли сплошные шпалеры школьников. Они бросали цветы делегатам, прибывшим в красный Петроград со всех континентов, приветствуя их от имени молодого поколения освобожденных народов России. А за детьми теснились тысячи и тысячи петроградцев и веселыми возгласами выражали радость встречи и свою солидарность с революционным авангардом всемирного пролетариата. Сегодня, быть может, это звучит несколько приподнято. Тогда же именно такими еще свежими, волнуемыми, полными горячего революционного смысла словами выражали люди моего поколения свои чувства.

Но прежде всего взоры всех встречавших останавливались на человеке, шедшем во главе колонны в группе делегации РКП(б). Ильич снова здесь, среди питерских рабочих! Он шагает по мостовой города революции, города, где он когда-то сколачивал первые подпольные кружки, создавал партию большевиков, где повел на победный штурм капитализма восставший народ.

Мне посчастливилось идти в цепи, которую образовали вокруг колонны, взявшись за руки, комсомольцы, в нескольких шагах от Ленина. Не глядя под ноги, я шел, не сводя с него глаз. Мне были отлично слышны фразы, которыми Владимир Ильич обменивался с окружающими его руководителями петроградских организаций. И здесь Ленин не терял ни минуты. Подзывая то одного, то другого товарища, Владимир Ильич расспрашивал о продовольственном положении города, о настроении рабочих, о восстановлении фабрик и заводов, о завозе топлива.

Порой его вопросы, по которым было видно, что ему известно очень многое, приводили в смущение местных работников. Почему, например, вчера за Московской заставой до вечера не выдавали по карточкам хлеба? Как допустили, что на таком-то заводе до сих пор командует старый главный инженер, явный враг и саботажник? Почему не пускают в ход такую-то фабрику, хотя рабочие готовы восстановить ее своими силами?

Внимательно выслушивая ответы, задавая все новые и новые вопросы, Ленин постепенно ускорял и ускорял шаги, невольно увлекая за собой все шествие. Ко Дворцу Урицкого колонна, потеряв торжественность, приближалась чуть ли не бегом.

Просторный зал думских заседаний с обитыми красной кожей креслами и дубовыми пюпитрами был переполнен так, что казалось, не остается ни вершка свободного места. Картина была необыкновенно колоритная, настолько разнообразны были лица и одежда делегатов и гостей. Впрочем, она знакома каждому по известному полотну Исаака Бродского. Кстати, я наблюдал, как он делал здесь же, в зале, десятки эскизов, переходя с места на место, присаживаясь то там, то здесь. Единственное, чего не изобразил Бродский — это армии фотографов и кинооператоров, загромоздивших все проходы к трибуне своими шипящими «юпитерами», переплетенными змеями проводов, и треножниками фотоаппаратов (портативных «леек» тогда еще не существовало).

Пробравшись в зал как «собственный корреспондент» журнала «Юный пролетарий» и постепенно продвигаясь все ближе и ближе к президиуму, я наконец оказался возле самой правительственной ложи, рядом с ораторской трибуной. И здесь мне снова необыкновенно повезло. Рядом с трибуной застыл на посту караульный курсант с обнаженной саблей. А возле него, на ступеньке, положив на колени портфель и углубившись в свои записки, пристроился Ленин. Он не обращал никакого внимания на царившее кругом оживление. Недовольно шуряя от слепящих лучей направленных на него прожекторов, не подымая глаз на устремленные на него со всех сторон объективы, Ленин что-то писал так, словно работал один у себя, в кремлевском кабинете.

А наверху председатель уже объявлял об открытии конгресса, и его слова переводила на три языка переводчица.

И вот:

— Слово для доклада имеет товарищ Ленин.

Владимир Ильич быстро собрал свои записи, подхватил портфель и поднялся на трибуну.

Что тут началось! Этого не забудешь вовек. Как раскат грома, как рев прорвавшейся плотины, взорвалась, оглушила буря аплодисментов и приветственных возгласов. Делегаты встают, поднимают руки. Красные гвоздики, которые им дарили питерские работницы, летят со всех сторон к трибуне, где стоит вождь революции.

Ленин перебирает свои заметки, терпеливо выжидает, пока успокоится зал, чтобы начать речь. Но это не просто. Аплодисменты и крики замолкают лишь для того, чтобы разразиться вновь с еще большей силой.

Наконец зал все же затихает, и Ленин начинает свой доклад. Он говорит, сам переводя свои слова на несколько языков. В его речи — глубокий анализ современного положения в мире и точные перспективы дальнейшего развития мировой революции.

Тысячи людей затаили дыхание, слушая простые и огромные по своей значимости слова. Вдруг раздается громкий и резкий звук взрыва. Все вздрагивают, вскакивают с мест... Неужели опять покушение?..

Но тревога оказывается напрасной. Просто один из осветителей, волнуясь и торопясь, уронил большую электрическую лампу, и она с гулким треском разлетелась на мелкие осколки.

Ленин на секунду останавливается, чтобы дать возможность председателю призвать собрание к порядку, и затем продолжает говорить с того же слова, на котором остановился...

После заседания конгресс снова в полном составе отправляется на Марсово поле, к могилам жертв революции.

Еще недавно это был пыльный каменистый плац, на котором в царское время происходили парады гвардейских полков. Но в день 1 Мая этого года ранним утром сюда начали подходить со своими оркестрами колонны молодежи из всех районов Петрограда. Под звуки маршей, распевая комсомольские песни, они рассыпались по всему плацу и принялись за работу.

Огромная площадь Марсова поля напоминала потревоженный муравейник. Юноши и девушки с шутками и смехом разбивали ломами и кирками окаменевший метровой слой щебня и глины. Выставшие груды обломков подхватывали на деревянные носилки и относили к грузовикам и телегам. А обратно грузовики привозили свежевырытую землю с городских окраин, удобрения и свежий дерн.

Стоял не по-весеннему жаркий день. По лицам работающих катился пот, горло пересыхало от жажды, но работа не только не приостанавливалась, а шла все быстрее и быстрее. Не хватало лопат и ломов. Пока один отдыхал, его сменял другой. А кому не досталось лопат — выбрасывал землю прямо руками.

К концу дня на месте пыльного плаца, утоптанного тяжелыми солдатскими сапогами и конскими копытами, ярко зеленел цветущий луг. Весь верхний покров Марсова поля был снят, а вместо него насыпана земля и устлана свежим дерном. Распланированные повсюду дорожки были усыпаны желтым песком. Кусты акаций и сирени, пестрые цветники украшали газоны. Вокруг всего поля протянулась аллея молодых тополей. Все это было сделано силами молодежи в течение одного только дня коммунистического труда!..

И вот обновленное Марсово поле встречает делегатов конгресса свежей зеленью газонов, яркостью летних цветов. Вдоль дорожек застыли шеренги краснофлотцев. Их белые форменки ярко выделяются на фоне зеленой травы. А курсантов ради такого торжественного дня одели в где-то раскопанные малиновые гусарские мундиры, которые придали парням особую лихость.

Делегаты возлагают венки на могилы тех, кто погиб за торжество революции. В молчании они стоят перед гранитными плитами. И в этот момент над притихшей толпой возникают величественные и мощные звуки музыки. На дощатом помосте собранные вместе лучшие оркестры Петрограда исполняют под управлением дирижера Арнольда Маргуляна траурный марш Рихарда Вагнера из оперы «Гибель богов»...

Так торжественно завершается этот удивительный день.

НА ТРЕТЬЕМ СЪЕЗДЕ РКСМ

На 2 октября 1920 года в Москве был назначен Третий Всероссийский съезд Российского Коммунистического союза молодежи: К этому времени комсомол объединял уже почти полмиллиона юношей и девушек и насчитывал двенадцать тысяч низовых организаций.

Но такое разрастание Союза таило в себе и немало опасностей. Еще несовершенный аппарат не успевал охватывать политико-воспитательной работой всю массу вступающей в организацию молодежи. Больше стало организаторов всяческих показательных выступлений, но меньше и слабее становилось то ядро политически активной, сознательной, прошедшей школу классово-борьбы рабочей молодежи, которая обычно вела за собой массу. Слабела спайка внутри организаций, снижалась дисциплина. Старые формы руководства, выработавшиеся в эпоху военного коммунизма, уже начинали противоречить новым условиям политической жизни.

В среде руководящих кадров все чаще проскальзывала неудовлетворенность работой: кто просто устал, кто чувствовал свою слабость перед решением новых задач, кто рвался к учебе. К тому же Союз неумолимо врал в работу различных государственных и общественных органов, представлял в десятках учреждений, и это также распыляло его силы.

Новый всероссийский съезд должен был выработать четкую линию работы Союза на ближайшее время, укрепить состав руководителей, наметить новые пути втягивания молодежи в политическую жизнь, создать более работоспособный аппарат.

Итак, надо собираться в Москву.

Перед отправлением посылаем делегацию к председателю Петрокоммуны Алексею Егоровичу Бадаеву.

— Так, мол, и так, ЦК предупреждает, что с пищей для делегатов будет неважно. Отощают наши ребята. Помогите, Бадаев!

Долго крутил питерский кормилец свой хохлацкий ус и наконец оказался неожиданно щедрым:

— Выдать на делегацию недельный запас хлеба, достаточно селедок и... три бочонка масла.

С этим маслом мы оказались на съезде самой богатой делегацией. С нами соперничали лишь туркестанцы, захватившие с собой десяток мешков с сушеными фруктами. Между нашими делегациями быстро налажился товарообмен.

Погрузив свои продовольственные запасы и обеспечив надежную их охрану, мы заняли целый вагон поезда на Москву. По обыкновению, ребята сразу же разбились на районы. Вскоре перестук колес заглушил наши любимые комсомольские песни, мигом возникавшие всюду, где собиралась молодежь.

Нарвская застава, Путиловский завод —
Там работал мальчик двадцать один год.
Двадцать лет работал, да не отдыхал.
А на двадцать первый он в тюрьму попал,—

затянули свою старую боевую нарвско-петергофцы.

Выборжцы, конечно, не отставали. Переглянувшись с друзьями, Коля Фокин завел высоким, пронзительным голосом:

Неизвестного прихода
Был такой сердитый поп.
Что из года в год три года
Бил дьяка кадиллом в лоб.

Не остался в хвосте и Невский район. У него тоже нашелся сатирический репертуар. Чей-то могучий бас начал старую песенку рабочих парней:

Было дело в Петрограде, дело славное, друзья,
У Московского вокзала стоит памятник царя.

Песня эта высмеивала Александра III:

На коне иль на корове, право, трудно угадать:
Без хвоста, коротки ноги раскорячившись, стоят.
Вместо туловища туша с лошадиной головой...

Но нарвские ребята перекрывали всех. Когда они доходили до припева:

Цыганочка, гай-гай,
Цыганочка, гай,
Ты, моя цыганочка,
Ты мне погадай! —

их звонкие голоса заглушали любой хор.

Так в песнях незаметно прошла вся ночь пути. Никто не заснул ни на минуту.

Общежитие делегатов на этот раз помешалось в здании бывшей учительской семинарии на Садовой, где нынче клиника имени Склифосовского. Оборудовано оно было более чем скромно. В огромных холдных залах стояли в несколько рядов железные койки с тощими матрасами, набитыми соломой, длинные дощатые столы, скамейки и немного табуреток.

Но это нисколько не смущало делегатов. Большинству не привыкать было спать по-походному, подстелив под себя одну полу шинели или пальто и накрывшись другой. Народ был неизбалованный и нетребовательный, и общежитие казалось нам верхом комфорта.

Днем все приехавшие рассыпались по Москве, торопясь побольше увидеть и запомнить, чтобы было что рассказать тем, кто с нетерпением ждет их возвращения из столицы. А по вечерам, собравшись под холодными сводами полутемных залов, устраивали веселые «вечера спайки» делегации с делегацией.

В качестве представителей комсомольской печати — я «Юного пролетария», а Мазнин «Смены» — мы приехали на съезд с совещательными голосами. Здесь мы встретили Александра Безыменского, бывшего тогда редактором владимирской «Красной молодежи». Мы немедленно организовали «делегацию юношеской печати» и повсюду выступали от ее имени. Однако решающих голосов нам с Мазниным все-таки не дали, и тройка наша в кругах делегатов получила название «группы безмандатных», что, кстати, соответствовало и комбинации заглавных букв — «Б. М. Д.» — наших фамилий.

Лишенные решающих голосов, «представители печати» обратились к своему профессиональному оружию. Поскольку в комсомольской среде шутке всегда принадлежало почетное место и побудить и потрепаться все мы были мастера, наша тройка решила основать и выпускать в дни съезда сатирический журнал «Подзатыльник» — орган «группы безмандатных печрабов».

Работа закипела. Все трое мы были тогда очень молоды, веселье было в нас через край. Объектов для насмешек искать не приходилось тоже. Наш орган быстро приобрел такую популярность, что на прочтение каждого очередного номера еще до его выпуска устанавливалась запись делегаций.

«Подзатыльник» высмеивал промахи и неудачи в деятельности Центрального Комитета, пародировал бюллетени отдела печати, предавал осмеянию загибы отдельных ораторов.

Особенный успех имели эпиграммы, которые мгновенно сочинял Безыменский. Вроде, скажем, такой:

Надгробная эпитафия

Выслушивать доклады
Мы очень рады,
Но не обрывки,
Эх, Рывкин, Рывкин!
Вынесем резолюцию
Куцую
По докладу ЦК —
Да будет вам земля легка!

Впоследствии редколлегия очень гордилась тем, что «Подзатыльник» четыре раза упоминали в прениях, и он был увековечен для потомков в стенограммах съезда.

Силами нашей группы был организован и первый в истории советской литературы «вечер комсомольских поэтов». На нем выступали Александр Безыменский, Александр Жаров, Дмитрий Мазнин, Алексей Рабочий.

Начался «вечер» после полуночи, когда в общежитии уже собралась большая часть делегатов. Но самый большой в здании актовый зал был заставлен койками, на которых спали делегаты какого-то другого съезда. Поэтому после первого же выступления, сопровождавшегося дружным взрывом аплодисментов, в зал влетел разгневанный комендант общежития и категорически потребовал прекратить безобразие. Пришлось вступить в дипломатические переговоры, и был выработан компромисс: поэты читают вполголоса, слушатели не аплодируют.

Зрелище было довольно своеобразное: огромный сводчатый зал уставлен кроватями, на них — фигуры спящих, укутанные шинелями и полушубками. Темно. Освещенные дрожащими отсветами двух огарков, молодые поэты с горящими возбуждением глазами шепотом читают свои взволнованные стихи.

Но в конце концов молодой темперамент все же прорвался. Кто-то перешел на полный голос. А затем раздалась веселая «Цыганочка», да еще со свистом, и разбуженные делегаты объединились с комсомолкой в общей пляске. Посрамленному коменданту не оставалось ничего иного, как удалиться...

В день открытия съезда еще с утра среди делегаций пронесся слух: Ильич обещал выступить с большой речью! На все вопросы цекисты отделивались незнанием, многозначительными усмешками:

— Подождите до вечера, там видно будет.

Уже задолго до восьми часов большая аудитория Свердловского университета, где было назначено открытие съезда (сейчас в этом здании помещается Московский театр имени Ленинского комсомола), была переполнена до отказа. Сидели на подоконниках, по краям эстрады.

«Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий...» Кожанки и тужурки питерцев и москвичей, крестьянские зипуны и кожухи саратовцев и пензенцев, пестрые халаты и тюбетейки туркестанцев и татар, нагольные полушубки сибиряков и уральцев, белые свитки и смушковые шапки украинцев, бешметы и папахи кавказцев... Все бурлит и переливается. Все возбуждено, полны напряженного ожидания.

Ровно в восемь часов пытающийся казаться спокойным Л. Шацкий от имени Центрального Комитета Российского коммунистического союза молодежи объявляет Третий Всероссийский съезд открытым и сразу же без паузы продолжает:

— Слово предоставляется председателю Совета Народных Комиссаров товарищу Ленину!

Все точно ждали именно этих слов! Установившаяся было тишина взрывается бурей оваций. Делегаты аплодируют, кричат, вскакивают с мест, не в силах выразить всю любовь и преданность дорогому Ильичу.

Но где же он? Глаза напряженно всматриваются в сидящих за столом президиума. Но вот такая знакомая, по обыкновению скромная фигура Владимира Ильича уже показалась из-за кулис. На ходу он сбрасывает на стул темное пальто с черным бархатным воротничком, кладет рядом кепку. Затем быстро проходит к трибуне, вынимает из кармана листки с конспектом речи.

Улыбаясь, Ленин отмахивается от оваций, пытается знаками укротить вышедшее из берегов море. Он вынимает из жилетного кармана часы на тонком черном шнурочке, показывает делегатам на стрелки, вопросительно поворачивается к председателю... Но куда там! Проходит минута за минутой, а молодежь не успокаивается.

Наконец Ленин решительно подходит к самому краю эстрады, обводит взглядом зал и начинает говорить:

— Товарищи!..

И с первыми звуками его голоса в зале как бы чудом воцаряется немая тишина. Затаив дыхание, затаившись глазами в трибуну, молодежь слушает вожда революции.

Первоначально предполагалось, что Ленин выступит «по текущему моменту» — так назывались тогда общеполитические доклады. Организаторы съезда считали, что Владимир Ильич недостаточно знаком с вопросами юношеского движения и с теми спорами, которые разделяли тогда актив на борющиеся группировки и казались нам необыкновенно важными.

Как наивны мы были! Отбросив то, о чем мы спорили до хрипоты, как бы перешагнув через сегодняшний день, Ленин развернул перед делегатами съезда завтрашние пути и задачи молодежи. Он говорил о месте подрастающего поколения революционеров в строительстве коммунистического общества. Это был его завет молодым, на долю которых выпало счастье продолжать и завершить дело, начатое отцами.

Надо сказать откровенно — тогда мы еще не сумели правильно оценить всю важность и глубину ленинских слов. Многие были смущены и даже немного разочарованы.

В самом деле, Ленин призывает нас «учиться, учиться и учиться!». В этом он видит главную задачу молодежи сегодня. А многие делегаты приехали на съезд прямо с фронтов гражданской войны — кто в ватнике, затянутом пулеметной лентой, кто в прожженной, а то и простреленной шинели. У большинства за поясом револьвер, в кармане граната. Ведь война идет не только на фронте. В любом городе или селе комсомолец нередко подстерегает пуля из кулацкого обреза или выстрел притаившегося пособника белых.

Мы ждали, что Ленин призовет нас к новому, решительному бою, к последнему штурму мирового капитализма. А он говорит: «Учиться!» Большинство из нас и думать забыло, как это сидят за партами и постигают науки. Учиться! А кто же будет делать всемирную революцию?

Нам казалось, что Ленин недооценивает нашу закалку и решимость, нашу готовность к борьбе. Далеко не все из нас понимали, что революция призвана не только разрушать старое, но и строить новое.

Но прошло всего несколько лет, и время показало, насколько Ленин был прав. Началась эпоха строительства — и гордостью комсомола стали подвиги на мирном фронте труда и науки...

Большой доклад Ленина продолжался почти полтора часа. После него Владимир Ильич отвечал на записки с вопросами. Их было несколько десятков, но ни одна не осталась неотвеченной. Когда одна из записок упала на пол и закатилась под стол президиума, Владимир Ильич нагнулся и долго искал листок среди груды смятых бумажек. Кто-то попытался его остановить, но он ответил:

— Нет, надо найти. Как же? Может, товарищ целый месяц ждал, чтобы спросить о том, что его волнует, а мы его обманем?

Один из делегатов спросил Ленина, каковы должны быть взаимоотношения Союза молодежи с партией большевиков? На это Владимир Ильич ответил, что если Союз действительно хочет быть коммунистическим, он должен всю свою работу вести под руководством партии.

Сразу же последовал второй вопрос, которому была посвящена горячая дискуссия накануне съезда: как правильнее называть наш Союз — РКСМ или РСКМ? Под этой расстановкой букв подразумевались две точки зрения на Союз — массовая организация молодежи или узкое объединение молодых коммунистов? Расшифровав оба названия, Ленин заявил, что не видит между ними никакой разницы. Мы были совсем обескуражены. Печатая отчет «по живой записи» с Третьего съезда, «Смена» даже воспользовалась этим случаем, чтобы пополемизировать с Лениным.

Один из дней съезда был посвящен вопросу допризывной подготовки молодежи. Выступая в прениях, Н. И. Подвойский, руководивший тогда Всевобучем, поделился своим проектом специального декрета, который обязал бы всех подростков в летние месяцы носить только трусы и майки. В качестве реального подкрепления его предложения делегатам съезда были вручены эти предметы. И мы, конечно, не преминули устроить в тот же вечер у себя в общежитии комический парад в трусах и майках в честь автора проекта.

Съезд закончился выборами нового Центрального Комитета, куда Петроград послал Петра Смородина, в скором времени избранного генеральным секретарем Союза.

Петр Смородин обладал опытом еще подпольной революционной работы. Вместе с Васей Алексеевым они были теми молодыми большевиками, которые создавали первые ячейки комсомола в Петрограде. Однако уже первое наступление немцев на город в 1918 году бросило его на гдовский фронт. Почти три года он провел в окопах, лишь изредка наезжая в Питер и всякий раз немедленно включаясь в работу своего родного Петроградского района.

На Петроградской стороне не было комсомольца, который не знал и не любил бы Смородина. Внешне резкий и грубоватый, но внутренне чуткий, внимательный и добрый к каждому чужакому паренюку или девчужке, он пользовался непререкаемым авторитетом в любом вопросе.

Его выступления на собраниях и совещаниях всегда бывали окрашены особой ядовитой насмешкой, характерной для питерского рабочего парня, сына заводской окраины. Стоило ему заподозрить малейшее отклонение от классовой линии, как он становился нетерпимым и требовал самых решительных мер. Он был искренне убежден, что все беды Союза оттого, что в нем образовалось явное засилье интеллигентов и бывших гимназистов. Правда, этот левацкий уклон постепенно у него выветривался.

Смородина побаивались, но любили и уважали. Он был, пожалуй, самый серьезный и внутренне зрелый из руководителей Союза. Этот мрачный и суровый парень в старой, замызганной шинели, с неисчезающей хмурой складкой между бровей каждую свободную минуту отдавал упорной, настойчивой и какой-то неустойчивой, поглощая залпом книги самого разнообразного содержания, по своей инициативе проводя в жизнь призыв Ленина к молодежи: «Учиться!» И Смородин добился того, что из малограмотного рабочего парня стал сперва признанным руководителем юношеского движения, уверенно разбирающимся в самых запутанных и сложных принципиальных и методических вопросах, а в дальнейшем перешел на руководящую работу в партии.

ПОСЛЕДНИЕ БОИ

Петроград снова переживал тревожные дни.

В течение нескольких лет питерский пролетариат отдавал лучших своих представителей на фронты, в продовольственные отряды, на подавление кулацких восстаний. Весь цвет рабочего класса уходил из Питера, а к станкам становились новые рабочие. Немало было среди них только что пришедших из деревни неграмотных крестьян, а то и мещан и бывших лавочников. Да и среди старых кадровиков появились такие, кто устал от голодовок, растерял революционную закалку, обратился в деляг, потихоньку вытаскивавших из заводской стали зажималки на рынок.

Эти настроения наиболее отсталой части рабочих порой брали верх на том или другом предприятии. Весна 1921 года ознаменовалась рядом забастовок на крупнейших заводах Петрограда.

А тут еще восстал подстрекаемый кучкой офицеров-белогвардейцев Кронштадт. Мятежники захватили власть на нескольких боевых судах Балтийского флота, овладели некоторыми фортами. Петроград оказался под прицелом дальнобойных орудий. В воздухе опять запахло порохом, и комсомол снова собирал силы молодежи на защиту завоеваний революции.

Питерская организация объявила себя мобилизованной. Город стал фронтом. Каждый райком вновь превратился в боевой штаб.

Партия поставила перед комсомолом задачу — отколоть рабочую молодежь от «волынщиков», противопоставить ее бузотерам и шкурникам. Наши агитаторов бросали на самые острые участки. Шинель, накинута на кожаную куртку, кобура с наганом на поясе — таков был тогда обычный вид комсомольца-активиста.

В ночь на 18 марта 1921 года был назначен штурм восставшей крепости. Наши

боевые отряды наготове, агитаторы работают без устали, переходя с завода на завод, с фабрики на фабрику. Настал момент нанести решающий удар по «волынке». Бюро губкома постановило выпустить воззвание к питерской молодежи.

В редакции «Юного пролетария» сидит на диване, беседуя с Мазниным, Саша Безыменский. Он прикатил вчера из Москвы с отрядом московских комсомольцев, выделенных в помощь Питеру.

— Ну, что будем делать?

— Да вот надо выпускать воззвание. Бери карандаш.

Стараемся втроем, но выходит бледновато. Обычные митинговые фразы как-то не звучат. Надо придумать что-нибудь необычное, яркое, чтобы сразу врезалось в сознание того, кто колеблется.

Безыменский задумчиво покусывает мундштук.

— А что, если стихи?

— Какие еще стихи?

— Да видишь ли, я гут в поезде набросал стишата. Призыв к молодежи. Что, если вклеить их в воззвание?

— Что-то мне не помнится, чтобы серьезные документы выпускали в стихах. А впрочем... Давай-ка гвое произведение.

Подымаюсь в бюро Петроградского комитета. После долгих споров принимается решение выпустить листовку — наполовину текст, наполовину стихи. Втроем мы снова принимаемся за работу. Вскоре листовка готова.

Сморозин подписывает необычное произведение к печати. Но в эти дни нужна еще виза губкома партии. Приходится мчаться в Смольный.

Там идет заседание. Объясняю секретарю в приемной, что дело не терпит отлагательства. Он скрывается в комнате секретаря губкома и затем появляется с улыбкой:

— Ну, идите с вашей молодежью.

Вхожу. В табачном дыму, затянувшем комнату, от волнения плохо различаю лица. Слышу голос Зорина:

— А, красная молодежь! Что ж, читайте ваше воззвание!

А у меня-то стихи! Но отступать поздно. Мысленно проклиная Безыменского с его нелепой затеей, объясняю положение.

— Что же с вами делать! Валяйте, декламируйте. Послушаем.

Никогда в жизни я не предполагал, что мне придется декламировать стихи перед такой аудиторией. Сразу пересыхает горло. Голос никак не хочет слушаться. Ну и втравил же меня Безыменский!

Неужели молодежь, чьи пламенные души
Горели, как костры, в их огненной груди,
Хотя б на миг один ту мысль в себе задушит,
Что юность и в труде и в битве — впереди?

Серьезные лица слушателей помогают совладать с волнением. Слова начинают звучать увереннее и тверже:

Но в битве за себя, но в битве за Советы,
За подлинную власть мозолистой руки,
А не за тех врагов, чьи подлые наветы
Сулят царя и трон. Нам гибель, им мешки.

При чем здесь «мешки»? Что-то мы недоглядели! Но на лицах слушающих вижу одобрение и уже совсем смело заканчиваю:

Изменникам позор! Предателям проклятье!
Рабочие, к станкам! На помощь, молодежи!

— Отлично! Теперь скорее выпускайте ваше воззвание. Возражений нет?

Радостно лезу по лестнице вниз; теперь быстрее в машину — и в типографию.

Той же ночью воззвание появляется на улицах. Своей необычной формой, горячими и искренними призывами оно привлекает внимание и запоминается...

За несколько часов до начала штурма Кронштадта с поездом Реввоенсовета республики приехали в Петроград комсомольцы еще из нескольких областей, случайно оказавшиеся в те дни в Москве и упрямившие командование взять их с собой. Все они были в первых рядах штурмующих колонн. Многие были награждены боевыми орденами Красного Знамени. Но немало и погибло на льду Финского залива.

Краткая телеграмма, подписанная начальником Южной группы войск, сообщала: «Делегат Десятого Всероссийского съезда партии Герасим Фейгин доблестно погиб на подступах к Кронштадту во время атаки крепости». Его смерть была поистине героической. Член Центрального Комитета комсомола, израненный еще во многих боях гражданской войны, Фейгин вел в наступление свою колонну. Пуля подкосила его у самых стен форта. Он успел лишь взмахнуть рукой, призывая вперед товарищей, и умер здесь же, на льду залива.

Это была последняя жертва комсомола в боях гражданской войны. Впереди ждали другие бои — грудовые.



ЛГУБЛИЩИСТИКА

Е. ГНЕДИН

★

МАСШТАБЫ И ХАРАКТЕРЫ

(Заметки о современном буржуазном обществе)

ЧЕЛОВЕК И ЛЕВИАФАН

Издавна все грандиозное, а порой лишь кажущееся таким вызывало у людей либо преклонение и восторг, либо страх и робость. История религий тому свидетельство. Неодинаково и отношение человека к масштабам общественной жизни — большие масштабы могут привлекать, а могут и отпугивать.

С древности до наших дней символика легенды о ките-левиафане, проглотившем праведника Иону, истолковывается в прямо противоположном смысле. По одному толкованию левиафан, проглотив праведника, спас его от гибели в водной пучине; по другому толкованию левиафан — это воплощение хаоса, огромности враждебного человеку мира. Философ-материалист XVII века Томас Гоббс назвал «левиафаном» государство. Сторонник абсолютной монархии, Гоббс прославлял могущество государства, которое, поддерживая власть устрашением, поглощает отдельные личности и общественные учреждения, возвышается над ними.

Тогда это было исторически необходимым этапом общественного развития. Ведь назначение абсолютной монархии заключалось в том, чтобы ликвидировать феодальные распри и расчистить путь к образованию наций и развитию буржуазных общественных отношений. Однако и в наше время, после двухсот лет сложной эволюции, войн, социальных битв, смены демократических форм диктаторскими режимами и диктатур демократическими формами, крупнобуржуазное государство по-прежнему предстает перед человеческой личностью как левиафан, способный проглотить ее. И в наше время буржуазные теоретики и политики, повторяя на свой лад аргументацию Гоббса, утверждают, что только всесильное государство способно спасти человеческую личность от хаоса и бедствий в пучине современного общества. Именно так обосновываются ныне самые различные политические акции и политические концепции — защита личного режима, навязывание чрезвычайных законов, изображение американского империализма как «ангела-хранителя свободного мира» и даже оправдание военно-фашистских переворотов и подготовка их в различных странах.

Такова во всяком случае была обстановка, в которой развернулись события весны 1968 года. Эта статья не посвящена им, но мне кажется, она содержит некоторый материал для их анализа. Ведь трудно понять развитие событий в Западной Европе, если не включить в круг рассмотрения такой фактор, как протест личности против всевластия империалистического государства, его аппарата и аппарата монополий.

Исследовать взаимоотношения между личностью и обществом вовсе не значит игнорировать экономическую основу и общие социальные противоречия. К счастью, ныне многим на Западе становится все яснее, что марксизм, оперируя понятиями класса и общества, прежде всего обращен непосредственно к человеку. И с принципиально-теоретической точки зрения, и в свете новейшего опыта есть достаточно веских оснований

для того, чтобы внимательно приглядеться к реакции современных людей на огромность масштабов общественной жизни, к столкновению личности и левиафана.

События чаще всего оцениваются, исходя из субъективного восприятия. Но можно руководствоваться и объективными параметрами, такими, как пространство, время и объем людских масс, активно участвующих в событиях или вовлеченных в них. Тем более что в XX веке значение этих показателей необычайно возросло. Не касаясь роли космических масштабов человеческой деятельности, я должен все же упомянуть хотя бы об их влиянии на психологию современного человека. Плутарх как-то заметил, что в описаниях Земли принято обо всем «ускользающем от знания» пометить на полях: «Далее безводные пески и дикие звери» или «Болота мрака». В наше время таких пометок уже не встретишь на картах Земли, зато сходные есть на картах Луны и Марса. Велико различие. человек древности знал, что ойкумена (обитаемая часть Земли) окружена недоступными, неизведанными областями. Современный человек убежден, что человечество, не знающее непреодолимых препятствий на Земле, проникнет в ближайшем будущем в пустыни и «болота мрака» на Луне.

Если в начале нашего века стали мыслить в масштабах континентов в политике, то во второй половине века уже перед каждым человеком, читающим газеты, события предстают в масштабах планеты.

Когда-то Аксаков объяснял свое пристрастие к путешествиям тем, что, путешествуя, никуда не надо спешить, время для него течет плавно и размеренно. Современный путешественник, напротив, спешит, ускоряет течение времени, прибегая ко все более быстрым средствам передвижения.

Хотя для восприятия человеком масштабов общественной жизни существенно увеличение скорости средств транспорта и связи, для жизни общества решающее значение имеет прежде всего увеличение темпов экономического и технологического развития. Существуют расчеты (например, в книге английского историка А. Тойнби «Перемены и привычки»), из которых видно, как ускоряются темпы развития технологии. Эпоха внедрения опытных наук в технологию заняла триста пятьдесят лет, внедрение нефти и ее производных потребовало уже только шестидесяти лет, а освоение атомной энергии произошло всего лишь за двадцать лет. Мое поколение было свидетелем того, как постепенно и относительно безболезненно внедрялись в XX веке двигатели внутреннего сгорания, автомобильный транспорт, как постепенно исследователи постигали и изучали значение нефти и роль мировой борьбы за нефть; и это же поколение может засвидетельствовать, каким волнующим и поистине революционным оказалось постижение и внедрение атомной энергии. Таким образом, показатели темпов технологического развития могут служить объективной характеристикой эволюции общественного сознания и восприятия мира отдельной личностью.

Как бы велики ни были масштабы процессов, в которых участвуют люди, как бы далеко ни зашла дифференциация современных научных дисциплин, каждый человек желал бы, хотя бы «для самого себя», охватить единым взглядом все — и мир и человека. Кант говорил: две вещи наполняют душу все более сильным удивлением — звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Можно, не причисляя себя к кантианцам, признать эту мысль великого немецкого философа поучительной и по возможности не отрывать познание закономерностей внешнего мира от познания внутреннего мира человека. И, право же, чем крупнее становятся масштабы общественной жизни, тем больше внимания заслуживает нравственный мир отдельного человека.

Пришло время, когда именно публицистам и социологам приходится размышлять над тем, как отражается на человеке, на его душевном мире и поведении огромность окружающего мира: восхищение его величием и мощью, страх перед неизвестным, подавленность, порождаемая размахом событий, радость проникновения в неизведанные просторы.

Вот как изображают два очень разных автора влияние масштабов на психологию современного человека.

Лаланд, центральный персонаж в романе Эльзы Триоле «Великое никогда», мертвец среди живых, рассуждает так: «Мир выкроен не по мерке: у нас разные масштабы,

до ужаса разные... Так будем же жить по своим масштабам, это единственное средство исцелить нас от страха... Умрем в наших масштабах»¹.

В романе Д. Гранина «Иду на грозу» эта же дилемма предстает по-иному в размышлениях старого ученого Голицына: «Подобно большинству людей, Голицын жил в двух разных географиях. Одна школьная, усвоенная еще в гимназии по контурным картам и рассказам великих путешественников, — меридианы, тропик Козерога, континенты, где человек — песчинка, затерянная в пространствах джунглей, пустынь, бескрайних земель. Вторая география — это география аэродромов, авиалиний, реактивных самолетов, где тысячекилометровые расстояния сжимаются в часы и человек перелистывает страны, как странички атласа».

Когда исследуются отношения между личностью и обществом, надо, конечно, считаться с издавна присущими людям эмоциями, такими, как жажда жизни и страх смерти. От раздумий над смыслом жизни и тайной смерти не освободит и лабораторный синтез живой материи. Огромную жажду познания тоже надо отнести к таким субъективным факторам, с которыми должен считаться исследователь социальных процессов. Ведь то, что сейчас в ряде западных стран, и особенно во Франции, в центре внимания оказалась перестройка системы высшего образования, объясняется не только остротой социальных проблем, социального неравенства и вопросов трудоустройства, но, безусловно, и тем, что застывшая система преподавания не удовлетворяла возросшую жажду знания и постижения действительности.

Современному человеку присущи многообразные реакции на окружающий мир — это и чувство самосохранения и эгоизм, но также и любовь и преданность. Во время событий огромного масштаба люди шли навстречу опасности и жертвовали собственной жизнью, потому что высокие чувства — преданность идее, народу, стране — были сильнее тормозящих эмоций страха и самосохранения. Но случается и так, что тормозящие инстинкты страха и самосохранения парализуют активность человека, более того — подавляют волю целых народов; это оказывается возможным, в частности, и потому, что угнетателям чужды такие эмоции, как сострадание к чужому горю или укоры совести. Казалось бы, всем известные истины, но они не всегда принимаются во внимание, и я напоминаю о них лишь потому, что анализ субъективных факторов и анализ общественных процессов находятся в непосредственной связи. Ведь многообразие общественных стимулов приходит в соприкосновение с многообразием душевных качеств людей. В этих рамках и будет рассматриваться в дальнейшем роль масштабов общественной жизни и их влияние на человека в современном буржуазном обществе.

Вполне понятно, что реакция человека на масштабы окружающей жизни обусловлена его общественным положением, его представлениями о мире, обществе и своем месте в нем. Но, как бы то ни было, существуют особенности, возникающие именно вследствие того, что так или иначе каждый человек подчинен крупномасштабному аппарату буржуазного государства и монополий.

В душе каждого человека отлагаются и формируются впечатления от масштаба того, что с ним происходит или может произойти, и это, безусловно, сказывается на характере и поведении людей. Общественные события сопровождаются глубокими сдвигами, иногда даже взрывами в душевной жизни отдельных участников событий. Когда на войне или в революционной схватке группа людей совершает поступки, ведущие к важным последствиям в общественной жизни, то такое коллективное действие обусловлено душевной активностью каждого человека, его сознательным отношением к событиям, превышающим масштабы его личного существования.

Чрезвычайное возрастание таких параметров общественной жизни, как пространство, время и объем человеческих масс, имеет как отрицательные, трагические последствия, так и огромное положительное историческое значение. Никогда прежде войны не свирепствовали одновременно на всех континентах, никогда в них не участвовали и не погибали десятки миллионов людей. Но и никогда в прошлом процесс коренных общественных преобразований не распространялся на все материки, никогда еще осво-

¹ «Иностранная литература», № 7, 1966, стр. 21.

бодительный процесс не одерживал победы в масштабе континентов, не охватывал сразу сотни миллионов людей.

Тем самым сотни миллионов людей оказались одновременно и перед смертельной опасностью, и перед перспективой освобождения от векового гнета. В XX веке столкновение человека и «левиафана» приобрело небывалые масштабы.

«Моделью» реакции человека на огромные масштабы противостоящего ему зла может служить возродившееся для новой жизни в XX веке повествование о человеке и океане, о человеке и левиафане, роман американского писателя XIX столетия Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит»¹. Перевод его вышел новым изданием и у нас недавно. Очевидно, роман прочтен теперь по-новому, потому что в переходную эпоху мир предстает перед человеком как бурлящий океан, а зло и сопротивление ему достигли неслыханных масштабов.

Сюжет книги — история поисков и погони за Белым Китом, который предстает как «бредовое воплощение всякого зла», и мысль о нем «снедает порой душу глубоко чувствующего человека, покидая не оставит его с половиной сердца и половиной легкого — и живи, как хочешь». Вслед за капитаном китобойного судна одержима стремлением уничтожить гигантское воплощение зла вся команда корабля, в состав которой входят самые разные люди. Хотя им предстоит поставить на карту жизнь ради достижения общей цели, они все же во время дальнего плавания занимались и обычным китобойным промыслом. Капитан рассуждает следующим образом: «Допустим, что Белый Кит воспламенил сердца моей дикарской команды и даже породил в их нечестивых сердцах нечто вроде рыцарского великодушия и благородства; все равно, гоняясь из чистого вододушевления за Моби Диком, они в то же время должны получить пищу и для утоления своих обычных каждодневных желаний». Хотя, кроме рассказчика, никто не возвращается из рокового плавания, у читателя не должно возникать сомнений в том, что самоотверженная борьба против левиафана необходима. Прекрасна не только благородная ненависть к злему чудищу, но и то, что для достижения своей цели люди пустились в плавание по безбрежному океану, что их не остановили масштабы пространства и времени. Поэтому я и выбрал эту историю в качестве, как теперь говорят, модели отношения человека к миру и к общественному злу.

Приведу слова самого Мелвилла: «...Всякая глубокая, серьезная мысль есть всего лишь бесстрашная попытка нашей души держаться открытого моря независимости, в то время как все свирепые ветры земли и неба стремятся выбросить его на предательский, рабский берег».

Но лишь в бескрайнем водном просторе пребывает высочайшая истина, безбрежная, нескончаемая, как бог, и потому лучше погибнуть в ревущей бесконечности, чем быть с позором вышвырнутым на берег, пусть даже он сулит спасение. Ибо жалок, как червь, тот, кто вылезает трусливо на сушу».

В этих словах содержится важное жизненное правило, если угодно — нравственный закон, особенно необходимый в борьбе против современных левиафанов общественной реакции.

Однако ареной трагических встреч человека со злом и угрозой гибели бывает не только пространство, но и время. Такова картина, предстательная в поэме замечательного французского поэта XX века Поля Элюара «Великие заботы людей моего времени»². Речь идет не о смене эпох и поколений. Люди одной эпохи прокладывают себе путь сквозь времена, сквозь прошлое и настоящее к будущему. Отсюда — их великие заботы. Поэт говорит сначала «о времени минувшем, об ином времени». Он устанавливает связь времен: «Люди будущего, вам нужно увидеть вчерашний день, я говорю вам об умерших, о мертвецах, не узнавших весны». Но этот призыв, обращенный к людям будущего, доносится к нам не из прошлого. Он звучит сегодня. Человек — связующее звено времен: «Люди будущего, я говорю вам о сегодняшнем дне, я и сам — частица настоящего, вот в чем я хочу убедить вас, я — часть огромной толпы живых». И в этой современности уже присутствует будущее: «Поймите меня, все становится понятно,

¹ Герман Мелвилл. Моби Дик, или Белый Кит. «Художественная литература». М. 1967.

² Paul Eluard. Choix de poèmes. Moscou. 1958, p. 106.

завтрашний день остается центром всеобъемлющей жизни». И следовательно: «Жить! В этом единственное прибежище и единственный исход».

О совсем другой эпохе писал Аполлон Григорьев: «Разрушенное прошедшее позади, впереди зоря безграничного небосклона, первые лучи будущего, и между этих двух миров нечто, подобное океану... Что-то неопределенное и зыбкое, море тинистое и грозящее кораблекрушением...» «Поколение подраставшее, надышавшись отравленным этим воздухом, жадно хотело жизни, страстей, борьбы и страданий»¹. Эти слова, цитируемые Блоком, можно воспринять как характеристику нынешнего состояния умов западной молодежи, вступившей на путь страстей и борьбы. Но я цитировал не для того, чтобы поставить знак равенства между психологией людей в различные периоды истории, а чтобы уловить различие. Если темпы развития убыстряются (а это отличительная черта нашего времени), то люди ощущают с еще большей остротой противоречие между непреодоленным прошлым и быстро надвигающимся будущим. «Великие заботы людей моего времени», о которых говорил Поль Элюар, как раз обусловлены тем, что прошлое не вовсе «ушло в прошлое», будущее не просто «будет», оно присутствует в настоящем. Великая смена общественного устройства в силу масштаба и темпа события несет в себе страдания и надежды, достижения и потери как минувшие, так и предстоящие.

Под этим углом зрения мы и обратимся от «моделей» к конкретным проблемам общественного развития на Западе.

ВЛАСТЬ МАСШТАБОВ И МАСШТАБЫ ВЛАСТИ

Если бы жизнь общества не была так сложна, а психология человека так многозначна, задача этой статьи была бы довольно простой — показать, как по мере роста масштабов усложняются (или упрощаются) связи между обществом и личностью, выяснится, склоняется ли, снижает ли человек перед мощью вызванных им сил или же, наоборот, пренеполняется гордостью. Так схематично рассуждают и авторы мрачных пророчеств, чей взор прикован к ядерной бомбе, и оптимистически разглагольствующие упитанные догматики. Оставим их с глазу на глаз, пусть продолжают диалог глухих.

Сама по себе простота и сложность — это и не положительные и не отрицательные черты общественных, да и личных отношений. Маркс говорил о простоте общественного механизма в самодовлеющих общинах. Простые и ясные отношения людей друг к другу и к результатам своего труда, а также вытекающие из них нравственные принципы были свойственны, да и теперь еще свойственны кое-где сохранившемуся деревенскому патриархальному производству крестьянской семьи. Но такие простые и ясные отношения могут сложиться и в будущем на высшей ступени общественного развития.

Такая простота и ясность отношений, естественно, явление положительное. Однако известно также, что были и такие древние общественно-производственные организмы, более простые и ясные, нежели буржуазные, которые покоились или на незрелости личности, или «на непосредственных отношениях господства и подчинения»². Но такая простота и ясность уже отнюдь не привлекательная черта.

Противопоставление «положительной» и «отрицательной» простоты общественных отношений — это тоже известное упрощение. Люди выступают в самых различных обликах, за которыми могут скрываться и простые и сложные ситуации. Анализируя феодализм, Маркс писал, что, «как бы ни оценивались те характерные маски, в которых выступают средневековые люди по отношению друг к другу», все они находились в личной зависимости — «все зависимы — крепостные и феодалы, вассалы и сюзерены, миряне и попы»³. (Далее мы увидим, что эти мысли Маркса имеют обобщенное значение.)

В современном буржуазном обществе переплетаются и взаимодействуют и простые и сложные общественные отношения, причем и в экономике и в политике. Переход к капитализму привел к тому, что место отношений личной зависимости заняла противо-

¹ А. Блок. Собрание сочинений, т. XI, 1934, стр. 170.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 89.

³ Там же, стр. 87.

ложность между классами, но одновременно с этим возникла, как писал Маркс, бесконечная раздробленность интересов и положений среди рабочих, капиталистов, земельных собственников¹. То есть среди всех сословий и классов. Характерные маски, в которых выступают люди по отношению друг к другу, становятся весьма разнообразными, а общественные отношения — сложными и динамичными.

Именно с наступлением современной стадии капиталистического развития все три упомянутых в начале показателя масштабов общественной жизни становятся осязаемыми движущими факторами. Всем известна решающая роль укрупнения масштабов промышленной деятельности и экономической жизни. А ведь совсем недавно эта тема была только предметом научных трудов и специальных исследований. Мне хочется привести лишь одну цитату, в которой с особой конкретностью указана связь эволюции общественного развития с ростом масштабов. Ленин записал в «Тетрадах по империализму»: «Количество переходит в качество и здесь: чисто банковское делячество и узкобанковский специализм *превращаются* в попытку учета широких, массовых, общенародных и *всемирных* взаимоотношений и связей... просто потому, что миллиарды рублей (в отличие от тысяч) подводят к этому, упираются в это»².

Мы подошли к социально-экономическому обоснованию мысли, высказанной в конце предыдущей главы: бури нашего времени, страсти, кипящие в обществе, увлекающие или терзающие людей, обусловлены конфликтами, которые порождены прошлым развитием, возникают теперь и прорастают в будущее. Если бы, как это делалось в древности, надо было назвать бога — покровителя нашей эпохи, я предложил бы Януса, но не в качестве символа двуличия. Янус был богом дверей и ворот, входов и выходов, он обладал способностью видеть и то, что позади, и то, что впереди, — прошлое и будущее. Современному божеству не были бы чужды социально-экономические проблемы, и Янус ясно видел бы путь, ведущий от «входа» в современное высокоразвитое капиталистическое общество к «выходу» из него. Процесс роста масштабов капиталистических промышленных предприятий привел к образованию «общественно комбинированных и научно направляемых процессов производства»³ (это не выдержка из современного документа, так писал Маркс сто лет назад). Этот процесс служит основой и для нового, социалистического устройства.

Власть масштабов экономической жизни такова, что уже в рамках капиталистической экономики формируется «механизм общественного хозяйничанья»⁴, по определению Ленина. Но одновременно расширяются масштабы власти тех социальных групп, которые ставят этот механизм на службу своим интересам и даже превращают его в военную машину.

Таким образом, деятельность современного буржуазного государства, как и прежде, «охватывает два момента: и выполнение общих дел, вытекающих из природы всякого общества, и специфические функции, вытекающие из противоположности между правительством и народными массами»⁵. Когда в деятельности власть имущих и в тяготах, выпадающих на долю населения, сказываются последствия противоположности между буржуазными правительствами и народными массами, то обнаруживается злобная аналогия с деспотическими государствами прошлого. Когда же расширяются масштабы выполнения общих дел, то вырисовывается структура будущего общества. Это будущее существует уже в настоящем: «механизм общественного хозяйничанья» функционирует не только в социалистических странах, где он уже обращен на пользу народу, но и там, где господствуют силы, враждебные социализму. Там тоже уже открыта дверь в будущее. Распахнуть ее настает — вот задача прогрессивных сил на Западе. Успех борьбы за обновление государства, за демократический контроль над планированием и программированием в рамках государства и монополий, за структурные реформы должен в конечном итоге принести обществу освобождение от стесняющих его пут, а человеку — освобождение от современного левифана.

¹ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 25, ч. II, стр. 458.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 28, стр. 92—93.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 642.

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 33, стр. 50.

⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 25, ч. I, стр. 422.

Но в наше время расширение масштабов экономической жизни в развитых капиталистических странах привело и к значительному расширению масштабов самой власти господствующих сил. Огромную роль играет организация власти, организационные связи. Изменился и усложнился механизм власти, обеспечивающий господство и интересы правящих классов. Чисто экономические рычаги дополняются и заменяются организационно-административным воздействием, с помощью которого регулируется деятельность больших людских масс. Колоссально разросся традиционный инструмент управления и репрессий — государственный аппарат. В XX веке его мощь связана с небывалым ранее распространением его влияния и вмешательством в сферу экономики.

Возрастает роль учреждений, всецело занятых либо подготовкой войны, либо «холодной войны», либо, наконец, ведением различных «горячих локальных войн». Не меньшее значение, и принципиально весьма важное, имеет образование в высокоразвитых капиталистических странах нового огромного аппарата монополий.

Организационная структура «большого бизнеса», отмечал в своей книге «Политический человек» известный американский социолог Сеймур Мартин Липсет, ведет к сосредоточению все большей власти в руках администрации (монополий и правительства), дает администрации постоянное преимущество по отношению к возможной оппозиции, обеспечивает контроль над финансами, над внутренними коммуникациями, над информацией; создана крупная, хорошо организованная политическая машина, организация, дающая возможность легализовать действия администрации, добиваться их одобрения, в частности, благодаря монополии на политическое воспитание.

«Технология порождает организацию, организация — это сила; сила — существо политики...» — пишет в своей книге «Бумажная экономика» бывший поверенный крупных американских промышленных фирм известный экономист Бейзлон. — Частная собственность, рыночная конкуренция и прочее достойные XVIII и XIX столетий — все это потеряно в быстрой смене обстановки. Эти понятия перестали быть руководящими представлениями для понимания экономики, и теперь они используются для сокрытия того, что открыто простому наблюдению. Категории, которые служат основой для понимания экономики, — это технология, организация, власть, политика. Я не говорю: они должны быть и тогда мир станет приятнее и лучше, нет, я говорю: они сейчас налицо...» В другом месте тот же исследователь говорит: «Сила и задачи нации находятся в руках нескольких тысяч человек, которые руководят несколькими сотнями бюрократических организаций, господствующими в экономике. Эти организации ведают перманентной технологической революцией, чем и является экономика, которую можно, не впадая в драматизм, назвать источником надежд и отчаяния человечества».

В подобных рассуждениях легко обнаружить ошибки. Как известно, частная собственность и рыночная конкуренция вовсе не ушли в прошлое в крупнокапиталистическом обществе. Но верно, что преклонение перед организацией и властью стало всеобщим явлением. Выводы американского исследователя во всяком случае свидетельствуют о том, что в современном обществе, какое оказывает на общественные взгляды и характеры людей технологическая революция, изменение механики управления экономической жизнью и механизма власти в современных капиталистических странах.

Можно заполнить целые тома подобными же рассуждениями западных социологов, экономистов и государственных деятелей. Было бы, однако, неверно считать, будто все такие книги и статьи ставят перед собой одну цель: прославлять государственно-монополистический капитализм и обманывать читателей. Речь идет о проблемах, в которых самим западным политикам и руководителям промышленной деятельности нужно разобрататься, чтобы принимать решения. Эти решения продиктованы определенными групповыми, сословными, классовыми интересами. Но эти решения или мероприятия современных корпораций или монополий касаются деятельности огромного масштаба и затрагивают интересы больших людских масс. Иными словами, они также относятся к сфере «общих дел», имеющих значение для всего общества в целом. Недаром американский экономист связывает с этим драматическую тему: отчаяние и надежды человечества.

В самом деле, отчаяние охватывает множество людей, когда возникают контуры грядущей мировой катастрофы, которая возможна, потому что в результате научно-технической революции в руках империалистических клик сосредоточились разрушитель-

ные средства небывалых масштабов. Но это — крайнее выражение конфликта надежд и отчаяния; нас же в данном случае больше интересует его повседневное проявление в жизни современного буржуазного общества.

Технологическая революция открыла совершенно новые перспективы мирного развития, созданы предпосылки для несравненно более эффективного управления производством и распределения материальных ценностей. Стало осуществимо более разумное управление продуктивной деятельностью людей. Раздвинуты рамки творческих поисков личности. Это — источник надежд.

Отчаяние, тревога, гнев и возмущение порождаются тем, что новый, огромный и эффективный по своим предпосылкам аппарат управления и производства подчинен интересам узкой верхушки общества, служит орудием укрепления власти и привилегий сгруппированной касты или прослойки и к тому же не освобождает, а еще больше поработывает индивидуальное творчество.

В этой связи, естественно, следует упомянуть современную бюрократию. Не стану вдаваться в такие подробности, которые были бы повторением того, что сказано в ранее опубликованной статье¹. Я хотел бы только подчеркнуть, что рост масштаба общества и его учреждений создает новые предпосылки для бюрократизации. Расширение пространства, на которое распространяется власть буржуазных правительств или монополий, способствует стремлению руководящих центров и высшего административного аппарата оставаться независимым от огромной периферии. Многообразные средства связи и информации используются бюрократическими инстанциями для того, чтобы еще быстрее, чем в прошлом, поставить население перед фактом принятия решения наверху; быстрота передачи информации способствует и тому, что авторитарные решения сразу приобретают силу. Наконец, когда таким способом из одного центра направляется деятельность не только узкой группы людей, но и огромных масс, то расширяется власть управленческого аппарата, а следовательно, углубляется противоречие между народом и буржуазной бюрократией.

Однако не только администраторы, чиновники, бюрократы имеют возможность распоряжаться деятельностью больших масс людей, либо рассеянных на большом пространстве, либо наоборот, собранных плотно в одном месте. Такими правами и возможностями в силу масштаба современного промышленного производства располагают и технические руководители, и представители иных современных специальностей. Вспомним приведенные выше слова Маркса о бесконечной раздробленности интересов и положений как среди рабочих, так и среди капиталистов. Подобная же дифференциация интересов и положений, несомненно, наблюдается и в рамках разветвленного управленческого и производственного аппарата.

Известное различие функций и типов наблюдается и на верхних и средних ступенях иерархической лестницы. Западногерманские авторы различают, например, разные категории менеджеров (промышленных управляющих) в зависимости от структуры капитала и собственности, а именно: менеджеры — сотрудники капиталистов, единолично руководящих предприятием; менеджеры-директора — доверенные лица «семейных концернов», а вернее, крупнокапиталистического клана; менеджеры, возглавляющие предприятия акционерных компаний с большим числом мелких акционеров и, следовательно, обладающие полнотой власти, поскольку акционеры в своей массе бесправны.

И в Соединенных Штатах можно обнаружить аналогичную классификацию руководящего персонала в аппарате крупных корпораций. Однако в американской литературе распространена также и классификация по функциям. Различают «высшие управляющие» (владельцы фирм, президенты корпораций и т. п.), далее — «верхняя часть средних управляющих» (главы отделов фирм), наконец — «нижняя часть средних управляющих». Далее уже следуют «нижние управляющие», то есть директора и инженеры на самих предприятиях.

Французский автор Раймон Арон классифицирует, исходя из более широкого круга функций. Он различает следующие категории: 1) финансист; лицо, которое приобретает и продает ценные бумаги, действует на бирже, он «обеспечивает финансовый контроль

¹ См. Е. Гнедин. Бюрократия XX века. «Новый мир», № 3, 1986.

над предприятием, но не управляет им»; 2) технический руководитель или инженер; он обеспечивает функционирование предприятия, обладает научными и специальными знаниями, умеет их применять на практике; 3) коммерсант, реализующий продукцию; 4) менеджер-управляющий, организатор; по мнению Р. Арона, именно это лицо занимает первое место как в частных, так и государственных предприятиях. Он дополнил эту характеристику рассуждением о «знаменитых французах», которые, будучи знатоками индустриальной деятельности и благодаря своим организационным способностям, с одинаковым успехом руководят строительством железных дорог, производством автомобилей или добычей нефти в Сахаре.

Даже столь общее знакомство с вариантами классификации лиц, входящих в состав крупномасштабного управленческого аппарата в современном капиталистическом государстве, говорит о большом различии функций и профессиональных навыков этих лиц, о различии их доходов, образа жизни и психологии. Аппарат, «ведущий перманентной технологической революцией», «источником надежд и отчаяния человечества», как видим, очень многообразен.

Большое значение имеют группировки внутри бюрократического аппарата и особенно процессы, протекающие в нем, да и вообще внутри любого крупного объединения людей. Буржуазные авторы порой дают бюрократии положительное толкование, поэтому им приходится искать объяснение реально существующим отрицательным явлениям. Так возникла теория «неожиданных последствий». Обнаружилось, что рутинная и принужденная деятельность бюрократии, наталкиваясь на сопротивление людей, не приемлющих той механической схемы, которую им навязывают. Однако, рассуждают западные социологи, создается подобие «порочного круга», так как сопротивление в конечном счете приводит к усилению нажима, ранее вызвавшего отпор.

Такой социальный процесс, когда сопротивление снизу вызывает новый нажим сверху, можно было бы условно назвать «штопором в пробке». Либо «штопор» застревает в пробке, то есть нажим на аппарат становится неэффективным, либо разрушается «среда», то есть самый аппарат становится неэффективным. Ситуация «застрававший штопор» становится все более частой в современном мире.

Для объяснения такой ситуации в крупномасштабном капиталистическом аппарате зарубежные социологи создали, кроме теории «неожиданных последствий», еще и теорию неизбежности конфликтов внутри бюрократического аппарата власти.

Эти авторы рассуждают следующим образом. Социологические исследования показали, что внутри бюрократической организации наблюдается постоянное систематически проявляющееся конфликтное состояние; оно «результат отклонения от бюрократических идеалов», от «разумной эффективности», «иерархии» или «нейтральности» в деятельности аппарата власти. «Расхождение между потребностями власти и бюрократизацией проявляется не только во взаимоотношениях между политической организацией и обществом, но и внутри каждой организации как таковой», — писал С. Липсет. Он ссылается на многочисленные примеры: споры между врачами и администрацией больниц, профессорами и администрацией университетов, штабом и персоналом в промышленных и правительственных учреждениях; «конфликты по поводу целей и методов — фактически неотъемлемый элемент всякой организации...»¹.

Во всех сферах общественной жизни дают себя знать «конфликты по поводу целей и методов» тех организаций, которые обладают властью в обществе. Масштабы власти не только правительства, но и отдельных государственных учреждений, не только центров монополий, но и их различных органов таковы, что важнейшей проблемой общественной жизни становится именно ограничение организационного влияния всевластных учреждений и контроль над ними. Вернее, речь идет об ограничении произвола, о реальном контроле, потому что ограничение самой сферы влияния не всегда возможно, ее объем определяется технологией управления крупномасштабными производственными, экономическими и иными общественными процессами.

Все «традиционные» проблемы рабочего движения (зарплата, рабочее время, страхование от несчастных случаев), а тем более вопросы, вытекающие из новых усло-

¹ Seymour Martin Lipset. Political man. The Social bases of Politics. London. 1960, p. 36.

вий (гарантия занятости, гарантийный минимум зарплаты на год, страхование по старости), наконец, проблемы, связанные с научно-техническим переворотом (последствия автоматизации, смена профессии и квалификации), — все эти вопросы неизбежно возникают или решаются во взаимоотношениях и конфликтах между мощными крупнокапиталистическими организациями и профсоюзами и рабочими партиями, а они тоже представляют собой крупнейшие организации, внутри которых также разыгрываются столкновения «по поводу целей и методов».

С другой стороны, почти все проблемы текущей социальной и экономической жизни встают в сфере взаимоотношений между отдельными слоями общества и крупнокапиталистическим государством и его органами; поэтому возникающие на этой почве конфликты приобретают, порой неожиданно для их участников, политическую окраску.

Рассматривая влияние масштабов общественной жизни на формы общественной борьбы, на поведение и характеры людей, мы невольно в какой-то мере подошли к объяснению тех широких социальных и политических конфликтов, которые развернулись весной 1968 года во Франции и Италии, назревают в Англии и США. С Липсет в начале шестидесятых годов упомянул в своем серьезном социологическом исследовании о конфликтах в университетах наряду со спорами в других учреждениях, таких, как больницы. Теперь, в конце шестидесятых годов, конфликты в университетах ряда стран стали важным явлением внутренней политики и борьбы.

Буквально на наших глазах конфликты, первоначально оставшиеся в пределах взаимоотношений «внутри организации как таковой», превращаются в крупное политическое событие, становятся элементом общего политического подъема.

ХАРАКТЕРНЫЕ МАСКИ

Как же влияет принадлежность к крупнокапиталистическому аппарату на психологию и общественное поведение людей?

Перефразируя приведенные мною ранее слова Маркса о людях средневековья, можно сказать о людях, живущих в развитом обществе XX века: как ни оценивать характерные маски, в которых выступают современные люди друг перед другом, их общественные отношения тесно связаны с принадлежностью к какой-либо организации или с взаимоотношениями между организациями.

Сохраняя структуру Марксовской характеристики, я изложил мысль в общем виде. Но за общей формулой могут скрываться прямо противоположные социальные типы в зависимости от того, о каких организациях идет речь и в рамках какого социально-экономического уклада они действуют. Когда Маркс говорил, что «все зависимо — крепостные и феодалы, вассалы и сюзерены, миряне и попы», он отнюдь не упускал из виду коренные классовые противоречия между крепостным и феодалом, различия в социальном статусе мирянина и попа. Говоря о том, что современные люди в своих общественных отношениях непременно зависят от деятельности тех или иных организаций, мы отнюдь не забываем, что имеются коренные социальные и политические различия между организациями. играющими решающую роль в современном мире: одни из них — реакционные, другие — прогрессивные.

Итак, обратимся к характерным маскам, под которыми предстают люди в буржуазном обществе. Будем исходить из трехчленной формулы, которая связывает технологию с организацией, организацию с силой, а силу признает существом политики. Однако значение этой формулы надо раскрывать по частям.

Когда человек отдает себе отчет в том, что современная технология требует для пользы дела широкой организации, и сам действует в этом направлении, он участвует в закономерном и общественно полезном деле. Если то обстоятельство, что «организация — это сила», используется «на пользу народа», тогда и в этом случае лицо, опирающееся на силу организации, — положительный социальный тип. Но уже на такой стадии может предстать «характерная маска», выражающая улоение именно силой организации, а не ее задачами, улоение властью, на этой силе основанной. Тогда следующий

шаг — культ силы, точнее насилия, которое преподносится как основа политики и высшая мудрость государственного управления.

Исходя из этих соображений, можно в рамках одного и того же крупномасштабного аппарата различать разные социальные типы. В ряде случаев, понятно, разграничение будет приблизительным и условным. Так можно различать два типа: один — деятельность которого посвящена самой технологии, порождающей организацию (не только в сфере производства, но и в управлении общественной жизнью); другой тип — деятельность которого опирается прежде всего на силу аппарата. Сопоставим эти две «маски», которые условно можно назвать масками «технократ» и «бюрократ». При этом, конечно, имеются в виду не конкретные технократы или бюрократы, а некие отвлеченные типы, потому что только тогда можно провести между ними четкую грань.

Бюрократ. Это лицо, которое не располагает специальными знаниями в сфере материального производства, но зато обладает знанием и опытом в распоряжении людьми, а в подчинении себе людей видит смысл своей деятельности.

Технократ. Это лицо, обладающее техническими знаниями, умением руководить производством материальных ценностей и видящее смысл своей деятельности в организации технологического процесса и производительного труда людей.

Технократов и бюрократов объединяет одна черта — и те и другие осуществляют свои функции и задачи при помощи подчиненного им аппарата, чаще всего иерархически построенного. Но в технократическом аппарате (в идеале) иерархия основана на реальных функциях, на многоступенчатости производственного процесса или сложной системы планирования. Между тем бюрократическая иерархия построена на авторитарности ради укрепления власти над людьми независимо от потребностей производственного процесса. Аппарат, непосредственно связанный с производственной деятельностью и от нее зависящий, не может, как правило, подменять решение стоящих перед ним задач заботой о групповых и кастовых интересах, между тем как это органически свойственно бюрократии. Предполагается, что для технократа, хотя бы и вкусившего слазы власти, применение насилия — мера исключительная, да и выходящая за пределы его компетенции; а для бюрократа «внеэкономическое принуждение» — это норма поведения, его «специальность».

Имея дело со сконструированными «идеальными» типами, легко было бы продолжить противопоставление. Но нас интересует реальная действительность, а в действительности нет четкого разграничения между технократией и бюрократией. Тем не менее безусловно надо различать даже в рамках одной общественной прослойки и во всяком случае одного аппарата различные социальные типы и характеры; лица, как бы находящиеся на одинаковых ступенях в системе управления или производства, могут в силу различия возложенных на них функций и собственных профессиональных интересов по-разному оценивать конфликты внутри организации, по-разному реагировать на общественные события — и на деспотизм и на свободолюбие.

Конечно, «грехопадение» технократа — явление не редкое. Поэтому будет вполне понятно и возражение против терминологии, к которой я здесь прибег. Можно утверждать, что я противопоставил бюрократам людей такого типа, как технические руководители, технологи, или, по новейшей терминологии, техноведы, системотехники. Но во всех подобных определениях отсутствует важный признак — руководство многоступенчатым аппаратом. Между тем я сосредоточил внимание на современных крупномасштабных организациях, а в этом случае для обозначения высшего технического руководителя трудно обойтись без понятия «технократ».

Следует разобраться в причинах «грехопадения» современных буржуазных технократов. Естественно, что одна из них как раз и вытекает из близости обоих типов; различие между ними исчезает, если технология (в широком смысле), лежащая в основе организации, отступает на второй план, а в центре внимания интересов и практической деятельности оказывается укрепление силы организации как таковой, обеспечение интересов руководителей организации, аппарата, то есть бюрократической касты. В основе такого процесса лежит то, что деятельность ее руководящей прослойки подчинена интересам капиталистической олигархии. Разнообразные категории «управляющего персонала», о котором уже говорилось, имеют определенные профессиональные задачи и

навыки, но в конечном счете капиталистическая организация, в которой они действуют, и сила этой организации служат укреплению финансовой мощи узких групп, вложивших в нее свой капитал.

Пирамиду капиталистической организации увенчивает важнейшая характерная маска: крупный капиталист. Как же отразились новые масштабы экономической и политической деятельности на этом классическом социальном типе? По этому поводу Райт Миллс, автор известной книги «Властвующая элита», остроумно сказал, что удачливые американские предприниматели, ставшие миллионерами, были в середине семидесятых годов прошлого столетия грабителями, в начале XX века — новаторами, а в его второй половине стали бюрократами. Может быть, вернее было бы сказать, что и грабеж и новаторство в США бюрократизируются.

Во всяком случае сегодня, пожалуй, уже нельзя без оговорок повторять слова Бальзака, что для буржуа «нет более близкой родни, нежели тысячефранковый билег». Разумеется, не исчезли и «низкие души, вылепленные из грязи и нечистот, любящие корысть и наживу так же сильно, как души высокие любят славу и добродетель». Об этом писал триста лет назад французский мыслитель Лабрюйер в своей знаменитой книге «Характеры». Но не только со времен Лабрюйера, а и Бальзака изменились способы, с помощью которых «низкие души» достигают своих целей; накопление, простое увеличение денежных запасов — это уже не средство к наживе, к обогащению большого масштаба. Лихорадочная скупка золота на биржах в 1968 году в связи с пошатнувшимся положением доллара отражала не страсть к накоплению сокровищ, а была результатом кризиса крупнейшей организации современного капитализма. Энгельс¹ писал о культе денег, находившемся в надежных руках купца, который возвестил миру, что все «должны с благоговением повергнуться в прах перед деньгами». Но к этому Энгельс прибавил: «...никогда впоследствии власть денег не выступала в такой первобытно грубой и насильственной форме, как в этот период их юности»¹. Теперь, в период «перезрелости» капиталистического хозяйства, культ денег сливается с культом организации. Очевидно, такова психология крупных капиталистов, принадлежащих к тем нескольким тысячам, которые «руководят несколькими сотнями бюрократических организаций, господствующими в экономике».

Культ организации лишь подкрепляется тем, что деятельность корпорации в силу ее масштаба распространяется частично и на сферу «общих дел», то есть дел, касающихся всего общества, на что охотно ссылаются апологеты монополий. То обстоятельство, что решения крупного масштаба приходится принимать в результате обработки большого материала большим аппаратом, также подкрепляет культ организации. Между тем рационализация и даже новаторство, к которым побуждают новые масштабы организации, не обязательно служат гарантией против расширения масштабов власти и произвола заправил корпорации.

Конечно, в капиталистическом мире еще много мелких и средних предпринимателей, благополучие которых зависит от ассигнации, от наличных денег. Однако этот тип дельца уходит в прошлое: главным действующим лицом бизнеса оказывается предприниматель, зависящий от организации, от корпорации. Такая эволюция может привести буквально к перевороту в психике отдельных лиц.

Г. Куинн, американский бизнесмен, рассказывает об атмосфере в корпорации «Дженерал электрик»: «Президенты независимых мелких компаний, купленных нами, обычно становились заведующими отделами и продолжали прежнюю деятельность уже в качестве подчиненных. Без исключения весь облик радикально менялся. Они теряли былую уверенность и начинали угодлять начальству...» Бывший президент купленной фирмы «немел от ужаса» в присутствии главы «Дженерал электрик»: «он так боялся потерять место, что стал практически бесполезным работником... Несколько лет спустя он умер от комплекса неполноценности и настоящего страха...»

Можно было бы назвать болезнью века психическую депрессию на почве унижения личности в крупномасштабных организациях. Но слишком широкие обобщения неуместны. Так, если обобщать приведенный сам по себе поучительный эпизод, то мож-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 166.

но было бы предполагать, что в государственном аппарате мелкие чиновники массами гибнут от комплекса неполноценности, подобно Акакию Акакиевичу. Это не так, хотя чиновничество и чувство постоянной зависимости остается преобладающей чертой в психологии чиновника. Американские психологи отмечали душевные травмы у государственных служащих, особенно в разгар травли под лозунгом «борьбы против антиамериканской деятельности». Однако в государственном аппарате и США и европейских крупнокапиталистических стран установились постоянные традиции бюрократической иерархии. Распределение обязанностей и ответственности имеет, как общее правило, стабильный и определенный характер. В такой обстановке ограничение прав подчиненных уже не воспринимается как чрезвычайное происшествие, ранящее самолюбие. С другой стороны, государственный аппарат обладает, по крайней мере формально, монополией на применение насилия, на «внеэкономическое принуждение», а это внушает и ничтожным лицам, состоящим в аппарате, ложное представление об их значительности.

Так или иначе, но и в государственном аппарате, и в аппарате крупного бизнеса люди, включенные в систему, ощущают сильное давление сверху и неустранимую зависимость от организации, которая может и облагодетельствовать и погубить.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ МАСОК

Когда-то Талейран утверждал, что каждого человека, имеющего семью и привязанного к ней, можно за деньги заставить совершить любой поступок. Современные бюрократы, вероятно, убеждены, что того же можно достигнуть угрозой уволить или обещанием повысить по службе. Источником благ, владеющих умами в буржуазном обществе, становится привилегированное положение в одной из тех организаций, где столь часто переплетаются грабеж, новаторство и бюрократизм...

Такая всеобщая зависимость может привести к известной стандартизации социальных типов. Если сходны между собой структуры организаций, если сходны мотивы поступков тех лиц, которые с ними связаны, то возникает сходство между лицами, не принадлежащими к одной и той же организации и даже к одной и той же политической партии.

Лидер социалистического союза западногерманского студенчества Руди Дучке, на которого в апреле этого года совершил покушение неонацист, отвечая за два месяца до покушения на вопрос журналистов, сторонник ли он насилия в политической борьбе, сказал, что насилие надо применять против самой машины, а не против персонажей, находящихся на первом плане, ибо «такие характерные маски, как Кизингер, Брандт и другие... взаимозаменяемы, и применять против таких лиц насилие было бы ошибкой и не соответствовало бы целям»¹.

Нет надобности углубляться в анализ безусловно существующих определенных различий между отдельными политическими деятелями. Интерес представляет мысль Дучке о «взаимозаменяемости» масок, под которыми выступают люди. Эту «взаимозаменяемость» или однородность некоторых социальных типов блестяще показал немецкий писатель Рольф Хоххут в авторских ремарках к пьесе «Наместник». Поскольку пьеса еще незнакома советскому читателю, поясню (не касаясь ни ее глубокого философского смысла, ни ее художественной ценности), что в ней раскрывается в связи с массовым истреблением евреев в годы второй мировой войны ответственность представителей различных слоев и организаций буржуазного общества за фашистские преступления. Центральная тема — ответственность тогдашнего папы Пия XII и тогдашней папской курии. (С тех пор в Ватикане произошло много перемен.) Несмотря на то, что действующие лица принадлежат к различным слоям общества, они в ремарках сгруппированы автором в соответствии с их «характерными масками», и автор предлагает, чтобы этих разных людей играл один и тот же актер. Вот, например, первая пара: папа Пий XII и барон Рутта — крупный промышленник, представитель монополий, производящих вооружение.

¹ „Spiegel“, 19.II.1968, S. 32.

Эти разные люди носят одинаковые маски, они выражают аристократическое высокомерие, ханжество, цинизм и глубочайшее безразличие к людским страданиям. Задача каждого из них — охрана интересов той мощной организации, без которой их деятельность и существование немислимы: для папы Пия XII это католическая иерархия, которую он возглавляет; для промышленника — та финансовая олигархия, к которой он принадлежит. Политическое проявление этих общих черт: прямое или косвенное покровительство фашистским преступлениям и готовность поддержать гитлеризм во имя антикоммунизма. Другая пара — кардинал и профессор, производящий бесчеловечные эксперименты во имя утверждения расизма. На первый взгляд это люди вовсе непохожие, но и у них одинаковые маски — маски умных, хитрых, даже проницательных людей, циничных до мозга костей, порой шутов, которые обслуживают своих владык. В одной группе оказались летчик — лейтенант вермахта, молодой эсэсовец и ватиканский писец; их маски выражают полную готовность исполнять любые приказания начальства.

Внешнее сходство между масками действующих лиц в пьесе Хоххута — образное воплощение их социальной «взаимозаменяемости». Их общественное лицо определяется не тем, в какой организации или в каком учреждении они состоят, а функцией, которую они выполняют в своей организации. Таких людей объединяет то, что их характеры и поведение, даже когда они в состоянии принимать самостоятельные решения, остаются функцией политики и идеологии, господствующей в крупнокапиталистической стране.

Казалось бы, все это противоречит приведенным несколько раньше доказательствам различия между людьми, формально занимающими одинаковое место в крупномасштабном аппарате. В действительности же одно наблюдение лишь дополняет другое. Стандартизация типов бюрократов и вытекающая из этого их «взаимозаменяемость», с одной стороны, и сходство в облике и психологии увлеченных своим делом технических руководителей — с другой, не противоречит тому, что основные типы — а главное, группы людей — различаются между собой.

Кроме того, и группы и отдельные лица эволюционируют, порой в различных направлениях. Так, летчик — лейтенант вермахта из пьесы Хоххута мог в дальнейшем и прозреть, отойти от гитлеризма, между тем как находившийся с ним первоначально в одной «группе масок» молодой эсэсовец мог, наоборот, превратиться в профессионального палача. Да и не вымышленные, а реальные персонажи тоже ведь меняют иногда свои позиции, либо на смену им приходят деятели иного толка.

В пьесе Хоххута, образы которой послужили иллюстрацией для высказанных мною соображений, действие происходит в 1942—1943 годах, тогда в Западной Европе свирепствовал гитлеризм, хотя над ним уже нависла угроза гибели под ударами Советской Армии. С тех пор история шагнула далеко вперед. Но тем не менее маска палача и убийцы сохранила отвратительное постоянство. Масштабы империалистической реакции побуждают, опираясь на опыт прошлого, снова внимательно приглядеться к обличью фашиста.

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ ПАЛАЧЕЙ

«Убийцы среди нас» назывался один из первых антифашистских фильмов, показанных в Берлине после разгрома гитлеризма. Так же называется и вышедшая в 1967 году книга человека, который сделал для розыска фашистских палачей больше, чем целое западногерманское ведомство. Хотя автор этой книги, бывший узник концентрационных лагерей Симон Визенталь, рассказывает о том, как были раскрыты преступления против человечности и найдены их непосредственные виновники, он не назвал свою книгу — разоблачение или наказание убийц. Визенталь привлекает внимание к тому, что убийцы все еще укрываются под разными личинами в Западной Германии и Австрии, что фашистская нечисть расплодилось по всему миру, а в некоторых странах Южной Америки бывшие гитлеровцы создали целые колонии.

В Западной Германии, как известно, дело доходит и до открытого почитания бывших правителей третьего рейха, там открыто выражают согласие с их захватнической политикой. Бывший генерал вермахта, после поражения заверявший, что он находится

в оппозиции к политике экспансии, теперь стремится сделать бундесвер орудием реваншизма. Бывший деятель террористического аппарата, несколько лет назад вынужденный осуждать внутривнутриполитический террор, теперь бесстыдно восславляет организатора террора. Книги и речи этих оборотней напоминают стенания хора потерпевших поражение персов в трагедии Эсхила, когда они вызывали из могилы дух царя Дария:

Вождь дорогой! Гроб дорогой!
Клад дорогой в земле почит.
Вожакom будь, Айдонец!¹

Но Гитлер не встанет из могилы, фашисты, совершившие преступления, уже немолоды, старость этих притаившихся палачей неспокойна, да и для них существует биологический предел. Но у палачей появилась смена. И это все люди, находящиеся в начале или середине своего жизненного пути: американские каратели, зверствующие во Вьетнаме, иностранные наемники в Африке, расисты в США, убившие из-за угла Мартина Лютера Кинга и других черных и белых сторонников гражданских прав негров, убийцы и организаторы убийства братьев Кеннеди, неонацист, стрелявший в Западном Берлине в студенческого лидера Руди Дучке, полковники, совершившие военно-фашистский переворот в Греции.

Это события разного масштаба и с различными последствиями, но они свидетельствуют о том, что на разных уровнях общественной жизни и в различных странах действуют сторонники и проводники фашистских методов политической борьбы, репрессий и террора.

Не изменилась и психология фашистских оборотней: «Все по-прежнему: фанатизм, озлобленность, зависть к преуспевающим, зависть на сексуальной почве, расистский идеал «земля и кровь», вражда к новому, к иностранному, ко всему «не своему» и «не своим»; все по-прежнему, все как было; у расистской сволочи цепкая хватка, она живуча, у нее миллион жизней... Осецкий это предсказывал, когда предупреждал «Потомки Гитлера воскреснут, и будущие поколения еще должны будут, оказавшись с ними лицом к лицу, вступить в борьбу, от которой германская республика грустно отказалась»².

Карл Осецкий, блистательный публицист и мыслитель, мужественный человек, представитель подлинной немецкой интеллигенции, был озабочен более всего судьбой Германии. Его предположение оправдалось через четверть века и уже в планетарном масштабе.

Корреспондент французской газеты «Монд», повидав в декабре прошлого года Грецию под властью хунты, писал: «Это зоологический, органический, планетарный антикоммунизм...» — и цитировал слова члена хунты полковника Каридиса: «Лучше фашистские атлантические правительства, нежели демократии, ориентирующиеся на Москву». Известно, что военно-фашистский переворот в Греции был совершен в согласии с секретными планами, заранее разработанными в штабах НАТО, одним из вариантов которых был и план переворота, который предполагалось осуществить в 1964 году в Италии с помощью итальянской контрразведки и корпуса carabinieri...

Поскольку предмет наших размышлений — современные характеры, нам, видимо, не уйти от неприятной необходимости заняться психологией палачей, тюремщиков, убийц, провокаторов, клеветников. Это необходимо и потому, что не столь уж редко в последние годы встречаются рассуждения о сентиментальности палачей и добрых нравах в семьях преступников против человечности.

Попробуем разобраться в социальном облике и психологии фашистских убийц и палачей, используя сначала книгу Робера Мерля, посвященную коменданту Освенцима³. Книга эта представляет общий интерес для понимания тех проблем, которыми мы занимаемся. Она дает возможность познакомиться не просто с подлинным портретом

¹ Эсхил. Трагедии «Academia» М. — Л. 1937, стр. 39.

² «Die Zukunft», № 5. 1967

³ Робер Мерль. Смерть — мое ремесло. «Иностранная литература». М. 1963.

коменданта Освенцима, но более того — с «типовой маской», часто оказывающейся на авансцене современной истории.

Характер будущего фашиста формировался с детства в обстановке жесткой и оглуляющей дисциплины. «...Отец вдруг вырос передо мной, худой, весь в черном, и своим резким голосом отрывисто произнес: «Немецкая добродетель — это пунктуальность, сударь!» (первая страница романа). «Отец молчал, равномерно шагая своим деревянным шагом и глядя прямо перед собой... Он отрубил: «Будешь тем, кем тебе прикажут...» Все. Я переменял ногу и еле слышно стал отсчитывать: «Левой... левой...». Внутренний мир «героя» в годы отрочества: «...Я не делал ни одного шага, если не был уверен, что он не укладывается в рамки моего обычного поведения. Если же по случайности что-либо из моих действий, как мне казалось, нарушало распорядок, к горлу подступал комок, и я закрывал глаза, не смея взглянуть на окружающие предметы, боясь, что они у меня на глазах превратятся в ничто». Итак, автоматизм рабской дисциплины дополняется автоматизмом маниакальной приверженности к чисто формальному распорядку. Следующий шаг — автоматизм убийцы. Вот о чем мечтает юноша во время богослужения в церкви: «Я сидел в каске и сапогах, подтянутый, и курил сигарету. Между ног у меня был зажат начиненный до блеска пулемет, и когда дьяволы подходили ко мне совсем близко, я осенял себя крестом и начинал стрелять. Брызгала кровь... я бил их прямо в лицо сапогом и все стрелял, стрелял... кровь текла ручьями, гора трупов росла передо мной, а я продолжал стрелять... Затем, натянув перчатки, подтянутый, аккуратный, я пошел в офицерское собрание выпить стаканчик коньяка. Я был одинок, я чувствовал себя жестоким, но справедливым...» Страх, порожденный чувством рабского подчинения, и невроз, вызванный страхом перед нарушением застывшего «распорядка», преобразуются в жестокость и беспощадное уничтожение всего «дьявольски» нового, чуждого, поэтому враждебного. Портрет субъекта, не вполне нормального исключительно вследствие особой муштры, приобретает по мере его созревания черты фашиста еще до того, как он стал себя так именовать.

Легко себе представить, как повлияло в юности на характер будущего палача его участие в колониальных экспедициях германского империализма в первой мировой войне, а затем участие в злодеяниях немецкого «добровольческого корпуса» в Прибалтике. После окончания войны Гесс (Ланг) становится членом фашистских штурмовых отрядов; ему поручают убийство из-за угла антифашиста.

После отбытия наказания в тюрьме — работа на ферме начальника тайной нацистской организации. Там же он вступает в брак по приказу начальника и хозяина, о чувстве нет и речи. Но «почтительная жена», «добрая немецкая семья» и «священный труд на немецкой земле» — все это потеряло привлекательность, когда дисциплинированного эсэсовца «сам» рейхсфюрер СС отобрал для работы в лагерях уничтожения. При этом Гиммлер изрек две сентенции: «Солдат не должен сомневаться в своем начальнике» и «Ваш опыт тюремной жизни может оказаться полезным для СС».

На должности гюремшика фашистский убийца-робот окончательно нашел свое призвание: «время в Дахау текло быстро и безмятежно. Лагерь был образцовый — заключенные содержались в строгой дисциплине. Я снова обрел чувство удовлетворения и покоя, которые во мне вызывала размеренная казарменная жизнь».

Дальнейшая деятельность этого персонажа известна: он организует планомерное массовое уничтожение людей в специально оборудованных печах.

Книга Мерля — документальное произведение. В ней Гесс существует под именем Ланга. Поэтому характеристику и детали, приведенные Мерлем, можно рассматривать как «натуру» или во всяком случае как хорошую фотографию.

Данные, приведенные Робером Мерлем, достаточно достоверны; они позволяют сделать выводы относительно условий, способствующих формированию характера палачей. Они подтверждаются сведениями относительно облика таких персонажей, как Гиммлер и Эйхман. Я имею в виду только психологические черты, мало освещенные в нашей литературе. Шпеер, крупный деятель военной промышленности и армии гитлеровской Германии, отзывался о Гиммлере так: «Он отчасти производил впечатление школьного учителя, отчасти — взбалмошного субъекта». Английский исследователь Тревор-Ропер, собравший обильный материал о рейхсфюрере СС, отмечает, что Гиммлер, ко-

нечно, не был школьным учителем, а такое впечатление о нем возникало лишь потому, что он проявлял «упрямую педантичность» и в своем кровавом деле, и в маниакальном пристрастии «к тевтонскому вздору». Вообще же, пишет Тревор-Ропер, «Гиммлер был — в этом все согласны — совершенно непримечательный человек, обыденный, педантичный и скаредный. Он был алчен и не способен к мышлению...»¹.

Образ педантичного организатора массовых убийств, авантюриста и невежды предстает из опубликованных в начале этого года писем рейхсфюрера СС. 8 июня 1938 года Гиммлер, например, дает разъяснения своим подчиненным, как вскрывать трупы в Бухенвальде, не отрубая головы. 29 марта 1941 года, прослышав, что в СССР имеются плантации каучуконосных растений, он рекомендует для получения каучука разводить растущие повсеместно в лесах Германии одуванчики и подорожник. 10 июля 1942 года рейхсфюрер одобряет план заселения Крыма жителями Южного Тироля с тем, однако, условием, чтобы для заселения французской Бургундии были найдены другие подходящие, как он выражается, племена. 30 июля 1942 года он предлагает министерству продовольствия перевести на улучшенное питание проституток в борделях, организованных им же, а 25 января 1943 года Гиммлер уже заинтересовался «продовольственными трудностями в войсках под Сталинградом» и рекомендует по этому поводу использовать опыт орд Чингисхана по части консервирования мяса и молока; Гиммлер пишет: «Сколько витаминов получили бы мы, если бы обрабатывали по примеру монголов туши лошадей под Сталинградом». Наконец 26 июля 1944 года Гиммлер, узнав о панике в немецких дивизиях на Восточном фронте, предлагает в целях сохранения военной тайны вернуться к средневековому обычаю ландскнехтов, когда боевой приказ сообщался лично офицерам и солдатам, а они узнавали друг друга, громко провозглашая пароль².

Главный организатор лагерей массового уничтожения Эйхман, повинный в убийстве шести миллионов евреев, был моложе своего непосредственного подчиненного Гесса. Он не участвовал в первой мировой войне и не работал на ферме, но психологическая конституция обоих палачей схожа. Даже начало жизни сходно: и тот и другой происходили из семей, в которых с детства строго внушалась набожность. Один из школьных товарищей Эйхмана так отзывался о нем: «Он был всегда спокоен, немного угрюм, бесцветен, но порой одержим какой-нибудь безрассудной идеей» (заметное сходство с Гиммлером). Эйхман, как и Гесс (Ланг), начал свою карьеру в подпольных террористических организациях, отличился при погромах, был назначен в отряд СС в Дахау, в тот же лагерь, где начал свою деятельность палач Гесс (Ланг) и где он, по его словам, «обрел чувство покоя и удовлетворения». В служебных характеристиках Эйхмана указывалось, что он «послушный, безличный исполнитель». Его отметили, лишь когда уже в центре управления СС он педантично составил картотеку членов масонских лож. Свое страшное дело по истреблению миллионов людей он, по показанию очевидцев, совершал «без эмоций». То был «человек... лишенный человеческих чувств». Он сказал на суде, что, не колеблясь, отправил бы в газовую камеру родного отца, если бы ему это приказали³.

Не хотелось бы, чтобы читатель подумал, что я пошел по линии наименьшего сопротивления, упрощая психологию военных преступников. Разве никто из них не любил музыки или не был коллекционером? Как же! Геринг составил огромную коллекцию предметов искусства! Но ведь это был грабеж, накопление драгоценностей. Палач Варшавы Франк любил играть на рояле. Итальянский писатель Малапарте в книге «Европа — капут» описал, как Франк исполнял перед своими подчиненными Бетховена. Малапарте присутствовал на этом вечере в Варшаве. Он дал потрясающее описание того, как палач играл и как палачи его слушали. Но это был груп музыки Бетховена.

Малапарте создал достоверный групповой портрет палачей и убийц, убийц людей и культуры. Говоря о социальной группе, мне хочется для полноты картины привести иллюстрацию, не относящуюся к истории германского фашизма. Происходившие в

¹ R. H o c h h u t. Der Stellvertreter. S. 242 (Исторический комментарий к пьесе).

² „Spiegel“, 19.II.1968. S. 60.

S. W i e s e n t a l. Les assassins sont parmi nous. Paris. 1967, pp. 112, 124, 125.

1962 году процессы членов французской тайной военной организации ОАС осветили психологию наемников, брошенных империалистами на подавление национально-освободительного движения в Алжире и готовивших переворот во Франции. Теперь этот материал приобрел и вовсе злободневное значение, так как оасовцы амнистированы и включены в политическую жизнь Франции.

Из обильного материала я выбрал показания, которые по ходу суда над видным заговорщиком лейтенантом Годо дал свидетель защиты капитан французской армии Жозеф Эструп¹. Как случилось, что воспитанник Сенсирской военной школы, которому, по словам Эструпа, в юности должны быть присущи «иллюзии и чистота», свойственные «тем, кто умирает на поле битвы, как это изображено на лубочных картинках», стал мятежником и бандитом? Причины этого капитан Эструп видел во влиянии командиров, в характере заданий, получаемых в колониальной войне, и в замкнутости милитаристской среды. «Все офицеры, представшие перед судом, служили в одних и тех же специальных войсках (парашютисты, иностранный легион, отряды карателей)». В отличие от армии традиционного типа этим соединениям в Алжире не поручали захватить форт или очистить траншею; «элита», по выражению Эструпа, получала задание «выселить мятежников», попытку попавших в плен борцов за национальное освобождение; «Я заявляю под присягой, что... Годо, как и многие другие, получил приказ пытаться». Воспитанники лучшей офицерской школы совершали преступления и зверства, так как им внушали, что это «решает исход битвы»; таким образом, продолжал оасовец, «они оказались в оковах формулы «цель оправдывает средства».

По словам участника этих преступлений, раскрыть лживость и незаконность получаемых сверху директив, аморальность и преступность методов мешала «казарменная солидарность». Уточняя эти слова, Эструп сказал: «Мы всегда говорили только друг с другом, общались только в своей среде. Несомненно, мы друг другу отравляли психику».

Можно с уверенностью сказать, что такая же атмосфера ожесточения и морального отупения касты, оголтелого авантюризма существует в настоящее время в американских отрядах карателей во Вьетнаме и в тайных террористических организациях в самих Соединенных Штатах. Любопытно, что на тех же процессах оасовцев много говорилось о пагубном влиянии на психику опыта колониальной войны во Вьетнаме, о стремлении «добиться любыми средствами немедленных результатов». И вот такие человеческие типы и социальные группы теперь привлечены к борьбе против сил прогресса и демократии во Франции...

Атмосфера слепого повиновения, царившая в армии Паулюса, описана и в воспоминаниях полковника В. Адама: «Командование 6-й армии руководствовалось тем же солдатским принципом бездумного повиновения и тем самым участвовало в вынесении смертного приговора 6-й армии»².

Каковы же основные черты нарисованного группового социального портрета? Одно из определений понятия группы, какое дает социальная психология, звучит примерно так: это узел социальной структуры, где осуществлена непосредственная функциональная связь индивида и общества.

В чем психологические особенности группы, объединяющей фашистов, карателей, палачей и убийц? Какова совокупность компонентов их коллективной психологии (настроения, традиции, коллективные отношения)?

Исчерпывающе ответить на эти вопросы в одной статье, разумеется, невозможно. Но кое-что все же установить можно. Прежде всего в рассматриваемой группе функциональная связь между индивидом и обществом строится на «непосредственных отношениях господства и подчинения», которые, как говорил Маркс, связаны с незрелостью индивида. Далее. Общей психологической особенностью для всех описанных персонажей служит автоматизм дисциплины в сочетании с автоматизмом актов ненависти и жестокости. Среди компонентов коллективной психологии этой группы остро проявляется, в частности, недоброжелательство ко всему «чужому», находящемуся за пределами соб-

¹ „Express“ 9.8.1962. № 582, pp. 3—4.

² В. А д а м. Трудное решение. «Прогресс». М. 1967, стр. 273.

ственной организации. Этим группам свойственна также замкнутость (даже если группа и велика), казовый дух, зависимость настроений и действий индивида от настроений и действий всей группы, в первую очередь от авторитарно навязываемых мнений и настроений, а действия группы в целом — функция реакционной идеологии и политики. Поэтому-то и неприязнь к «ученым», к интеллигентности, к самостоятельно мыслящим людям, в особенности когда эти люди принадлежат к рабочему или другим трудовым классам.

В групповом портрете, который я попытался нарисовать, поражает то, насколько стерты в нем индивидуальности. Как разнится психология массового убийцы от психологии, например, Раскольникова из «Преступления и наказания»! Тема необозрима, о ней думают сейчас многие. Коснусь лишь одного ее аспекта. Раскольников утверждал до совершения убийства, что человек «высшего разряда» вправе, если надо, сам себе разрешить «переступить», но Раскольников, совершив преступление, сам же себе выносит приговор. Современный убийца совершает преступление по приказу сверху и, совершив преступление, мнит себя представителем «высшей расы», а обвиненный в убийстве или провокации по приказу уверяет, будто он лишь «простой исполнитель». Одним словом, он не он и то, что он сделал, сделал не он...

Таковы важнейшие черты характера современного человека, участвующего в массовом преступлении. Они-то и объясняют, как могут оставаться в такой безличной «личности» внешние признаки культуры, начисто лишенной ее сути.

Энгельс писал: «...племя оставалось для человека границей как по отношению к иноплеменнику, так и по отношению к самому себе»¹. Точно так же для индивида, включенного в деспотическую, замкнутую организацию, границей для него самого, для его развития служит эта построенная на косной идеологии и тупом повиновении организация.

Американский журнал «Форчун» однажды так сформулировал требования, предъявляемые к функционеру в крупнокапиталистическом обществе: «Нужен хорошо отшлифованный человек, умеющий обращаться с хорошо отшлифованным народом».

Конечно, велика разница между просто «хорошо отшлифованным» аппаратом монополий и карагельным отрядом. Я привел это высказывание «Форчун» — на него в свое время обратил внимание известный американский социолог Райт Миллс — лишь потому, что оно устанавливает сходство между теми, кто приказывает, и теми, кто подчиняется. О людях, состоящих в современных фашистских организациях, командах наемников и карателей, независимо от того, начальники они или «исполнители», можно сказать словами немецкого философа Фихте: «Всякий, считающий себя господином других, сам раб. Если он и не всегда действительно является таковым, то у него все же рабская душа, и перед первым попавшимся более сильным, который его поработит, он будет гнусно ползать»².

«Убийцы среди нас» сильны и опасны, пока чувствуют себя господами положения в составе бесконтрольно действующей организации, имеющей к тому же влиятельных покровителей и «работодателей». Злодеи трусливо отступают, если встречаются хорошо организованный отпор сознательных и свободных людей.

«Убийцы среди нас» — это категория, относящаяся к общественной и политической жизни. Ведь коллективный портрет палачей лишь часть общей картины, изображающей левиафана реакции и мракобесия. В наши дни ни один карикатурист не нарисует по традиции «многоголовую гидру реакции». Однако же она существует.

ВЕЛИКИЕ ЗАБОТЫ ЛЮДЕЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ...

Человеку было бы гораздо легче справляться с заботами и тревогами нашего времени, если бы мир и жизнь представляли собой просто поприще столкновения двух противоположных сил — добра и зла, Ормузда и Аримана.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 99.

² И. Г. Фихте. О назначении ученого. М. 1935, стр. 79—80.

Дело обстоит сложнее. Нам приходится иметь дело с проблемами и заботами, с вопросами, гребущими ответа.

Вот один из таких вопросов: представляет ли столь ясно различимое «гигантское воплощение расчетливого зла» единственную опасность и не надо ли сосредоточить внимание и на тех незаметных сетях зависимости, в которых оказались люди, подавленные властью масштабов событий и масштабов власти?

Напомним об одной «истории шестидесятых годов», как назвал свою повесть «Вещи» французский писатель Жорж Перек (поскольку она вышла в русском переводе в издательстве «Молодая гвардия» и, вероятно, знакома многим, я ограничусь лишь соображениями, относящимися к моей теме).

Рисуя жизненный путь двух молодых супругов, автор показал, как они мечутся между непреодолимым желанием «владеть вещами» и боязнью оказаться во власти вещей, стать рабами вещей и общества. Повесть эту можно назвать облеченным в художественную форму социологическим исследованием: Жорж Перек знакомит не только с эволюцией двух героев, но и с эволюцией некоей «малой неформальной группы»; в ней объединены в дни молодости дружбой и общими интересами, как говорит Перек, «молодые кадры технократии, которые находятся на полпути к успеху и у которых зубы еще не прорезались».

Этот «групповой портрет» резко отличается от того, который был нарисован в предыдущей главе. В новом «групповом портрете» перед нами предстают люди с индивидуальностью, которые и в дни мечтательной юности, и в тяжкие для них времена не безразличны к несчастьям людей; они не способны на преступления, не стремятся подчинить себе других людей, командовать ими. Они знают цену свободе и свободным человеческим чувствам. Оказавшись в ярме, они не считают это благом и естественным состоянием человека.

Перек говорил в интервью для журнала «Леттр Франсез»: «Мои герои обладают положительными чертами: они, так сказать, созданы для счастья... И всюду, где они его могут найти, они его находят». «Мои герои,— продолжал Перек,— готовы были бы удовлетвориться своей судьбой (людей «свободной профессии».— Е. Г.), если бы им дали передышку, если бы «информация», поступающая из внешнего мира, была иной»¹.

То была «информация», навязывавшая личности критерий и требования, которые ее обезличивали.

По мнению самого Перека, центральный пункт — это отношение между счастьем (или хотя бы благополучием), трудом и комфортом. Действительно, современное буржуазное общество связывает с работой отрицательные эмоции, а с комфортом — безоговорочно положительные представления. Возникает дилемма: как обеспечить себя комфортом, не трудясь. Такая дилемма не существует для людей, ценящих свой творческий труд, свое призвание, труд, укрепляющий чувство собственного достоинства в таком обществе, где человеческое достоинство уважают. Тогда комфорт перестает быть самодовлеющей ценностью, хотя он — естественная и законная потребность. Так могут сочетаться труд, комфорт и счастье. Впрочем, подлинно свободный человек может быть счастливым и не располагая комфортом. Но это уже особая тема.

Коллизия между счастьем, трудом и комфортом возникает по той причине, что люди, добываясь благополучия, оказываются в зависимости от обезличенных крупномасштабных организаций, будь то «улыбчатый» капиталистический рекламный бизнес или бюрократические учреждения монополий. Люди, стремящиеся к простому человеческому счастью, включены в систему далеко не простых и не прозрачных общественных отношений.

Приходится обратиться к пресловутому понятию «отчуждение» (я не имею в виду исторический или философский анализ этого понятия — здесь это было бы неуместно).

Тоннель, во мраке которого кроется страх, отчуждение от человека им порождаемых и превосходящих его сил, имеет два выхода. Рассеять мрак можно, либо раскрыв тайну угрожающих человеку сил природы, либо поняв механизм действия: возвыша-

¹ „Lettres Françaises“, 18.XI.1967.

ющихся над человеком обезличенных социальных сил. Об этой стороне дела идет речь. Если общество предстает перед индивидами как некая чужая им, вне их стоящая сила, то такое восприятие становится ощутительнее по мере увеличения масштабов общественных сил и опасно обостряется перед лицом современных монополий и современной бюрократии.

Таким образом, отчуждение не есть «первородный грех» человека, необратимая потеря гармонии и ясности духа. Оно плод общественного развития и далеко не всегда одинаковых социальных условий. А раз так, то человек должен быть в состоянии «выбраться из тоннеля», разорвать сети, в которых бьется его сознание. Люди имеют возможность разорвать цепи, сковывающие их в обществе. Такое оптимистическое утверждение подкрепляется историческими примерами, событиями нашего времени.

Об этом говорит и современное искусство, притом общественный оптимизм рождается не только его светлыми образами, но также и сатирическими, и на первый взгляд пессимистическими произведениями. Сошлюсь на истолкование, данное роману Кафки «Процесс» чешским режиссером, его инсценировавшим. В беседе с журналистами в Италии он сказал, что, инсценируя роман Кафки, театр отверг многообразные аллегорические и исторические толкования романа «Процесс», в изобилии данные критиками, особенно экзистенциалистами; а постарался показать, что слабость героя и его гибель имеют реальную причину: одинокий и отъединенный человек «втянулся в процесс», не проявил самостоятельности в мыслях и поведении, подчинился без необходимости анонимным силам, вовсе не обладающим правом на то, чтобы его преследовать. Добиться же самостоятельности и распутать сети зависимости человек может только вместе с другими людьми, в контакте с ними, если не в сотрудничестве.

Вот тут, однако, людей и подстерегает новая серьезная опасность: в высокоразвитых капиталистических странах формируется общество, в котором «потеряны горизонтальные связи между его членами и они заменены большим числом вертикальных связей, идущих только в одном направлении — сверху вниз, от тех, кто им руководит, к широкой публике». Эту характеристику калифорнийского общества, данную американским автором, привел обозреватель «Правды» Г. Ратиани в своей статье, так и озаглавленной «Вертикальное общество» (в ноябре 1966 года).

Впрочем, надо заметить, что некоторые «горизонтальные связи», прежде всего семейные, занимают огромное место и в жизни современного буржуазного общества. Поэтому точнее было бы сказать не о потере, а об ослаблении «горизонтальных связей», то есть обязательств, вытекающих из семейных, дружеских или профессиональных отношений. Если бы такой процесс был универсальным и прогрессирующим, то действительно пришлось бы ожидать нравственного вырождения человечества. Ведь отчужденность человека от человека, как ее ни толкуй, предполагает душевную черствость и духовную скудость.

Однако опасность заключается не только в эмоциональной тупости, в том, что слабеет нравственное чувство перед лицом необозримого и безразличного мира. Самая страшная беда — извращение моральных понятий. Избегнуть этой опасности — истинная великая забота человека нашего времени.

Человек был бы обезоружен как личность, а тем более как участник переустройства общества, если бы он стал руководствоваться нацистскими «нравственными» прописями, изложенными в «Майн кампф», будто «в конечном итоге побеждает всегда стремление к самосохранению» и будто «гуманность — мешанина глупости, грусти и высокомерной чванливости». Человек был бы обречен на вырождение и вымирание, если бы поверил, что великодушие — «причина тяжелых катастроф», если бы прислушался к бредовым рассуждениям, высмеивающим чувства любви и гуманности, ибо «победа гуманности вызвала бы такие же последствия, к каким когда-то привела победа Средней Азии над Афинами и Римом», как писал Альфред Розенберг.

Стремясь подавить человеческую личность и сделать ее орудием империалистической политики, реакционная пропаганда старается подменить положительные эмоции отрицательными: любовь — ненавистью, сострадание — «здоровым эгоизмом», пусть даже не личным, а групповым. Геббельс приказывал своим пропагандистам внушать

немецким домашним хозяйкам три чувства: любовь, ненависть и гордость,— но в каком толковании! Любовь... к личности фюрера, ненависть... к евреям, конкурентам мужа, гордость... принадлежностью к избранной расе, призванной повелевать миром. Это ли не наглядный пример того, как извращение душевных качеств отдельной личности совпадает с торжеством мракобесия?

Ожесточение и одичание широких слоев общества — один из важных элементов социальной катастрофы. Недаром в 1968 году акты политического террора в Соединенных Штатах восприняты не только критиками, но и сторонниками «американского об-раза жизни» как зловещие сигналы общественного бедствия.

Предпосылки новейших проявлений кризиса американского общества порождены, в частности, тем процессом, который здесь освещается,— ростом масштабов бесконтрольной власти. Поэтому дополню уже сказанное наблюдениями группы американских авторов, изложенными еще несколько лет назад в «Книге для чтения», предназначенной для колледжей и слушательниц курсов политических наук.

Составители книги в своем предисловии ясно излагали свою исходную позицию: «Мы были свидетелями невиданного прогресса в науке и технологии, мы видели, как США из сельскохозяйственной страны превратились в преимущественно урбанистическое массовое общество. Но из-за неудачи наших попыток подчинить себе причины и охватить связи, предвидеть социальные сдвиги мы оказались не подготовленными к катастрофическим событиям XX века, таким, как две мировые войны, великая депрессия, многочисленные революции и затянувшийся период мировой напряженности, который мы называем «холодной войной».

Ввиду гигантского размаха развития необходима перестройка нашей жизни, но мы еще вовсе не уверены в выборе направления, по которому надо двигаться. Теперь все мы глубоко озабочены неясностью перспектив будущего. Если нам удастся увидеть будущее отчетливо в широком социальном и историческом аспекте, отпадут и некоторые наши сомнения и страхи»¹.

Надо отдать справедливость авторам американской книги, адресованной молодежи и, по-видимому, достаточно популярной, если она вышла вторым изданием: они привлекают внимание к кризисным моментам и не пытаются внушать чрезмерный оптимизм насчет будущего. Они и не льстят своим читателям. Так, профессор Р. Ридфильд, для популярности изложивший свои мысли в форме беседы с иностранцем, цитируя журнал «Нейшн», сетует, что американская молодежь и неполноценна и неуправляема; у нее нет героев и нет иллюзий; молодые люди стремятся лишь заполучить спокойную работу и обеспечить себе повышение по службе; после приятных лет, проведенных в колледже, они становятся людьми, всецело включенными в определенную организацию, и постепенно впадают в состояние мелкого самодовольства².

«Книгу для чтения» заключает глава из рекомендуемого в колледжах исследования Роберта Хилброннера «Мировые философии». Она называется «Будущее как история» и содержит достаточно сильную дозу исторического пессимизма.

«При взгляде на те наши учреждения, которые мы поддерживаем и защищаем,— пишет Хилброннер,— нетрудно установить, что наше общество — это гигантская штамповальная машина для небрежно изготовленной продукции недоразвитых и плохо осведомленных человеческих существ. Чем бы мы ни хотели быть, наше общество отнюдь не такое общество, которое проявляло бы глубокий интерес к моральным ценностям, серьезным целям или человеческому достоинству»³.

Независимо от спорных историко-философских взглядов американского ученого, его критическая оценка современного американского общества имеет ту положительную сторону, что она открыто высказана, и притом в книге, обращенной к учащейся молодежи. Автор указал на зависимость между антинародным характером государственной «гигантской штамповальной машины» и морально-политическими проблемами, особенно когда дело идет о молодежи.

¹ E. F. Hund. I. Karlin Macmillan. Society today and tomorrow. N. Y. London, 1967, p. 3.

² См там же, стр. 9.

³ Там же, стр. 540—541.

Соответственно и борьба против «штамповальной машины» государства должна быть тесно связана с уважением к моральным ценностям. Задача нелегкая. В Западной Европе ее пытаются решать на практике прогрессивные организации.

Коммунистические партии Англии, Италии, Франции, Испании видят свою задачу в том, чтобы политическая и экономическая борьба расчищала путь к обогащению личности и культуры. Естественно, что при решении таких проблем важную роль играют деятели искусства и литературы.

В апреле этого года, выступая на конференции прогрессивных и антиимпериалистических сил стран Средиземноморья, Энрико Листер, ветеран гражданской войны в Испании, член ЦК Испанской коммунистической партии, заявил, что залогом освобождения Испании от режима диктатуры послужит «союз труда и культуры». Этот союз — традиция антифашистской борьбы. Благодаря союзу труда и культуры не только общество в целом может сбросить цепи, но и личность раскрепощается — обретает себя — «и оставаясь в своих границах, и раздвигая границы. Слово «граница» — одноглазое слово, а человеку даны два глаза, чтобы видеть мир»¹.

Преодолевающий рубежи творческий свободный характер — прямая противоположность тем обрисованным выше человеческим типам, которые не способны в своем понимании мира и общества выйти за границы современного «племени» — деспотической организации с реакционной идеологией.

Все эти проблемы с наибольшей остротой встают перед людьми в том возрасте, когда еще формируются характеры и определяется жизненный путь. Молодежь стремится к самовыражению «и в своих границах, и раздвигая границы».

Мятежные настроения и политическая активность студенческой молодежи на Западе приобрели большую остроту и привлекли всеобщее внимание, когда в мае 1968 года разыгрались бурные события во Франции. Но полезно напомнить, что брожение среди студентов и наряду с этим сопротивление широких кругов интеллигенции гнету крупнокапиталистического левиафана уже давно дает себя знать и в Англии, и в ФРГ, и в США, и в Италии.

Французская газета «Монд» писала 8 июня 1968 года: «Французское общество оказалось в новом для него положении, которое в той или иной мере уже сложилось в Италии, в ФРГ и США, — общество таит в своих недрах свое опровержение». «Какие недоразумения ни возникли бы, — продолжает газета, — пробита брешь в стене, по традиции разделявшей французских работников умственного и физического труда, и эту брешь уже не закрыть».

В разгар событий, 15 мая 1968 года, в органе Французской коммунистической партии «Юманите» были отмечены некоторые общие предпосылки активности молодежи; это — ускорение темпа развития человечества, которое привело к тому, что двадцатилетние созревают в момент исторического перелома, это — то, что за двадцать последних лет в науке и технике произошли изменения, быть может, более глубокие, чем за тысячу лет, и, наконец, то обстоятельство, что нынешнее поколение молодежи сталкивается лицом к лицу со всем миром в целом, со всеми мировыми проблемами. Именно в такой обстановке в молодом человеке пробуждается «возмущенное сознание» (этот гегелевский и марксовский термин приобрел новое, современное звучание).

В ходе размышлений общего характера незачем подробно анализировать события по свежим следам, тем более что с наступлением лета студенческое движение, естественно, замерло и неясно, какие формы оно может принять с началом нового учебного года. Но есть одно соображение, интересное именно с более общей точки зрения. Хотя как раз в выступлениях и настроениях молодежи развитых капиталистических стран сказывается влияние крупномасштабных процессов современности, наблюдаются и важные черты, знакомые нам из истории русского революционного движения. Одна такая важная черта — то, что студенческое движение ограждает существенные процессы, происходящие в обществе, о чем в свое время не раз говорил Ленин.

В написанной в 1903 году для газеты «Студент» статье, позднее изданной в виде брошюры с подзаголовком «Социал-демократия и интеллигенция», Ленин отметил, что

¹ Paul Eluard. *Choix de poèmes*. M. 1958, p. 111.

студенчество «является самой огзывчивой частью интеллигенции, а интеллигенция потому и называется интеллигенцией, что всего сознательнее, всего решительнее и всего точнее отражает и выражает развитие классовых интересов и политических группировок во всем обществе»¹. Разумеется, задача состояла в том, чтобы студенческая масса сделала правильный политический выбор.

Накануне революционного подъема, в декабре 1912 года, Ленин снова напомнил, что «...студенчество отразило на себе явление общерусского масштаба»².

В наше время студенческое движение на Западе уже отражает явления общеевропейского масштаба.

Личный протест вливается в поток общественной борьбы. Формируются новые характеры. Вот что об этом говорил в марте 1968 года член руководства итальянской компартии Акиле Окетто, выступая на конференции коммунистического студенчества Италии:

«Сначала возникает глубокое личное недовольство, которое быстро становится сознательным актом; тем самым открывается путь для требования обновить полностью школу и общество... Наступил кризис старинной схемы отношений между интеллигенцией и обществом; так называемые «свободные профессии» начинают исчезать, и студенты ощущают непреодолимое противоречие между их представлением о культуре и тем, которое им навязывает капиталистическая система. Они становятся непосредственными рабами капиталистической прибыли и поэтому бунтуют. Поэтому они требуют, чтобы им дали возможность не просто стать более компетентными людьми, а более разносторонне развитыми. Так рождается их солидарность с революциями в Латинской Америке, с освободительным движением всех народов. Они непосредственно осознают общечеловеческое значение борьбы вьетнамского народа, потому что она — прямое свидетельство того, что возможна победа над системой империалистической эксплуатации, что можно одолеть технику и ее мощь, если отдать все свои силы борьбе за социалистические идеалы. Рождается стремление изменить свою участь, не мириться с жизнью, регулируемой свыше, возникает непреодолимая жажда свободы. Стремление к свободе как к реальной возможности делать выбор и решать — вот что побуждает студентов связывать свои требования с глубокой постановкой вопроса о власти. Смысл борьбы против авторитарности университетского начальства, против догматизма преподавания и за право на образование заключается в том, что оспаривается не только схоластическая схема преподавания, но и та классовая система, которая ее породила»³.

В соображениях, высказанных одним из руководящих деятелей итальянской компартии, особенно интересно то, что он придает такое большое значение движению смешанного состава, отлично зная, что вовсе не все участники студенческих выступлений в Риме или Милане придерживались взглядов, заслуживающих одобрения. Вспоминаются, естественно, только что приведенные указания Ленина. Во всяком случае наши итальянские товарищи рассуждают примерно так же, как рассуждал в свое время Герцен: «Там, где есть движение, нечего бояться и приходить в отчаяние. Неподвижна смерть, и труп молчалив, жизнь не пропала там, где говорят всякую всячину; а там, где века повторяют одно и то же, как на Афонской горе, где говорят готовыми фразами, — готовые понятия и застывшие мысли»⁴.

* . * *

Важная черта картины, нарисованной Акиле Окетто, — это связь между «непреодолимой жаждой свободы» для своей социальной группы, для своей страны и пониманием общечеловеческого значения освободительной борьбы других социальных групп, других народов, пусть в самых далеких концах земли.

Взаимосвязь между проблемами внутривнутриполитическими и международными отражена в важнейших документах коммунистического движения. Но в данном случае су-

¹ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 7, стр. 343.

² Там же т. 22, стр. 211

³ «Unita», 20.III.1968.

⁴ А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30 томах, М., 1959, т. 17, стр. 108.

щественно подчеркнуть именно то обстоятельство, что масштабы, в рамках которых мыслят люди, лишь косвенно причастные к политической деятельности, расширились невиданно.

Тут в моем изложении как бы замкнулся круг. Ведь я начал с указания на мировой масштаб современной общественной жизни и сейчас к этому вернулся вновь. Развитие темы шло от масштабов событий к характерам. Теперь же мы движемся в обратном направлении: от характеров к масштабам событий. Индивидуальное недовольство перерастает в сознательное отношение к порокам общества, а из этого вырастает готовность к действию. «Презренье созревает гневом, а зрелость гнева — есть мятеж» (А. Блок).

Однако сколь ни велика роль активной молодежи, все же очевидно, что главной общественной силой, противостоящей на Западе силам реакции, остается организованный рабочий класс. И здесь снова можно отметить значение такого фактора, как масштаб событий. Масштабы самых решительных выступлений в отдельных университетских городах несопоставимы с масштабом охватившей целую страну многодневной стачки десяти миллионов рабочих Франции. Наконец, нельзя забывать, что борьба против империалистического левиафана имеет международный характер. Координацию борьбы в международном масштабе уже не могут осуществлять отдельные группы. На это способны только влиятельные партии — носители идей социального прогресса. Великие заботы людей нашего времени отражают не только жизнь одной страны, а всего человечества. Это важная черта современности. Нации и государства и в далеком прошлом существовали как часть человечества. Не раз и в прошлом звучали голоса людей, призывавших стремиться к благу всего человечества. Однако лишь в XX веке человечество в целом становится очевидной реальностью международной жизни. Как ни сильны в современном мире классовые, групповые связи и противоречия, как ни силен закономерный подъем национального самосознания и как ни распространена национальная ограниченность вплоть до шовинизма, человечество становится и останется реальным понятием для жителя планеты, для оценки перспектив дальнейшего развития.

Таковы масштабы XX века — века великих научных открытий и глубоких социальных преобразований.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. МАНН

★

БАЗАРОВ И ДРУГИЕ

1

Несколько лет тому назад в нашей печати прошла дискуссия об «Отцах и детях», которая оставила след даже в Полном академическом издании сочинений Тургенева. Здесь, в комментариях к «Отцам и детям», приведен почти полный список всех полемических статей и высказано следующее общее соображение: «Роман Тургенева, замысел которого теснейшим образом связан с действительностью шестидесятих годов прошлого века, до сих пор остается живым явлением в русской литературе. В связи с этим нельзя не указать на уникальное в истории русского и мирового романа обстоятельство — непрекращающиеся горячие споры о его значении и идейном содержании, споры, которые не часто сопровождают появление новых произведений».

Вывод о неослабевающем интересе к тургеневскому роману, разумеется, справедлив, но было бы очень печально, если бы о характере этого интереса судили по упомянутой дискуссии. Не удивительно, что В. Архипов, застрельщик дискуссии, нашел в «Отцах и детях» «классический образец стратегии либерализма» и оружие против демократии и революции, «сильнее которого либералы не придумали». Удивительно, что писали в ответ на это некоторые из наших известных исследователей. Весь спор приобрел — как бы это поточнее сказать? — юридический уклон. «Виновен!» — говорила одна сторона о создателе «Отцов и детей». Другая возражала: «Не виновен». Или же: «Виновен, но заслуживает снисхождения».

Главным пунктом полемики, как помнит читатель, стал Базаров, а в Базарове — его политическая позиция и мировоззрение.

«Обвинение» утверждало, что под влиянием своих либеральных взглядов Тургенев умышленно искажил образ нового человека и тем непростительно оклеветал революционных демократов. «Защита» выдвигала на первый план позитивные моменты личности Базарова и отмечала, что либерализм Тургенева лишь добавил к ней нежелательные примеси (вроде базаровского пессимизма), но не смог до конца заслонить ее здорового начала. Обе стороны, таким образом, сходны в том, что хорошо знают, каким Базаров должен был быть, но не стал, и, исходя из этого, признают в литературном Базарове ряд искажений. Несходство же противоположных сторон состоит в определении объема искажений, далее — в споре о том, что брать за основу (искажения или здоровое начало), и в вытекающей отсюда общей квалификации образа. Различие, по обстоятельствам полемики, не малое, однако же и не очень большое.

Но оставим пока критические отклики на Базарова, отметим лишь вот что. Если для действительного юридического разбирательства необходима презумпция невиновности, то для любого критического разбора, получает ли он «процессуальный» оттенок или нет, необходимо допущение известной суверенности художественного образа. Суверенности в том смысле, что за этим образом признается право на свою, определенную логику, к которой нельзя подходить с заранее сформулированными требованиями. Прежде чем сделать вывод, чего ему «не хватает», не лучше ли снова и снова подумать над тем, что в нем все-таки есть, каков он?

Едва мы подойдем с этим вопросом к мировоззрению Базарова, как перед нами встанут большие трудности. То, что База-

ров отрицает «все» в современной ему русской жизни, то есть является сторонником полной и бескомпромиссной революционности,— это в романе заявлено ясно. Но ведь изолированной идеи революционности не бывает. Революционность всегда связана с представлениями об определенном ряде мер, шагов, конкретных сил, какими бы смутными ни были эти представления или каким бы отдаленным ни мыслилось их воплощение в жизнь. Обнаружить такую конкретность у Базарова — дело нелегкое.

Часто объясняют это явление цензурными условиями. Но не отводим ли мы царской цензуре чересчур большую роль в истории литературы? Мол, Крылов, страшась цензуры, рядил людей в мишек, рыб и птиц, а Тургенев никак не мог уточнить позицию своего героя... Между тем Чернышевский написал в Петропавловской крепости «Что делать?», и читатель (если это не был «проницательный читатель»), как сейчас каждый школьник, хорошо понимал, к какого рода деятельности готовит себя Рахметов и что означает «перемена декорации». Тургенев тоже, когда хотел, умел достаточно ясно намекнуть на запретные вещи. В романе «Накануне» говорится о национально-освободительной миссии болгарина Инсарова, причем — что самое главное — дается многозначительное сопоставление этой ситуации с русскими условиями («...Задача его легче, удобопонятнее: стоит только турок вытурить, велика штука!» — замечает об Инсарове Шубин). В романах «Дым» и «Новь» говорится о революционных кружках. Едва ли что-либо помешало Тургеневу прибавить конкретности к типу Базарова (то есть к его «нозции»), если бы это отвечало его замыслу. К тому же ведь самое главное было сказано. Напомню, что в разговоре с Павлом Петровичем Базаров заявляет: нет ни одного «постановления» «в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного отрицания». Куда уж яснее! Оставались действительно «детали», но, видимо, в них-то все дело. Словно что-то удерживало Тургенева от выводов, которые легко напрашивались.

Предпосылкой почти всех наших суждений о Базарове является мысль, что Тургенев покушался изобразить в нем революционность в духе Чернышевского и Добролюбова. Это верно лишь в том смысле, что в Базарове отразились (не могли не отра-

зиться) некоторые черты психологии, мировоззрения «новых людей». Но — далеко не все. Вглядываясь в Базарова непредвзято, никак не можешь понять, например, каким образом его революционность могла бы перейти в дело Чернышевского, если между ними намечены такие различия. Как известно, Чернышевский верил в общину, в социалистические начала крестьянской души. Базаров высказывается об общине, о крестьянском быте ядовито-скептически. Чернышевский и его единомышленники большое значение придавали революционной пропаганде, просветительству, журнальной работе и т. д. Но согласитесь, что очень трудно представить себе за этим делом Базарова, да и сам он заявляет: «Во-первых, мы ничего не проповедуем; это не в наших привычках...»

А. Батюто, автор обстоятельных комментариев к «Отцам и детям» в академическом издании, указывает на одно место как на «единственную в романе характеристику созидательной стороны в «нигилизме» 1860-х годов» и сожалеет, что оно было выпущено в окончательном тексте — «видимо, под нажимом того, кто не хотел «апофеозы «Современника» (то есть под нажимом Каткова и его круга). Выпишем эти строки, поскольку им придается такое значение. Между Одинцовой и Базаровым идет разговор об исправлении общества:

«— Да как его исправить? — спросила Анна Сергеевна.

— Надо, разумеется, начать с уничтожения всего старого — и мы этим занимаемся помаленьку. Вы изволили видеть, как сжигают негодную прошлогоднюю траву? Если в почве не иссякла сила — она даст двойной рост».

Вот и все. Теперь прочитаем комментарий этого места: «В своем ответе на вопрос капитальной важности — о способах переустройства общества — Базаров выражал сознание своей ответственности перед будущими поколениями: «старое» предполагалось уничтожить не огулом, не без разбора, а лишь убедившись в том, что «почве» это принесет пользу, что именно после уничтожения «старого», отжившего она окажется в состоянии дать «двойной рост».

Исследователь намечает, таким образом, чуть ли не программу-минимум и программу-максимум революционной борьбы, явно преувеличивая политическую конкретность базаровского высказывания.

Между тем в том же разговоре с Одинцовой есть действительно одно место (на него указывают и автор комментариев, и другие исследователи), которое несколько конкретизирует революционность Базарова: Базаров говорит, что «нравственные болезни» всецело зависят от состояния общества, и тем самым он выступает сторонником антропологических взглядов. Но этому высказыванию противоречит известная фраза Базарова: «Какую клевету ни звезды на человека, он в сущности заслуживает в двадцать раз хуже того». Последовательный сторонник антропологического принципа так бы не сказал. По его представлениям, порочность человека простирается лишь до определенной черты, а именно той, за которой начинается здоровая, незамутненная «сущность», «родовая принадлежность» всех людей. Сказать, что любое суровое суждение будет все же недостаточно для человеческой испорченности, значит поставить свои антропологические убеждения под сильный удар, лишив их конкретности и какой-либо разумной цели.

Вот у Ситникова, который считает себя учеником Базарова, есть своя «цель». Славянская венгерка, славянская вязь на визитной карточке более или менее ясно говорят об его славянофильских устремлениях (которых, кстати, начисто лишен Базаров). Есть своя «цель» и у Кукшиной: она «эмансипе», сторонница женского равноправия и всестороннего воспитания (проблемы, к которым Базаров также остается более чем холоден).

У Базарова такую определенность нащупать трудно. «Не дается, как клад в руки», как сказал бы один из героев Тургенева.

Между тем в размышлениях о Базарове все более явственно встают два вопроса. Что он делал в прошлом, помимо того, что учился в медико-хирургической академии? И что он намерен делать завтра, помимо того, что будет сдавать на доктора и служить на поприще медицины? Вокруг этой темы кружат реплики и Павла Петровича, и Одинцовой, и отца Базарова. Кажется, вот-вот Базаров раскроется и интригующая тайна будет снята. Но Базаров упорно молчит или отделяется общими словами, а его друг Аркадий дать за него полного ответа не может.

Один раз разговор особенно близко подошел к опасной черте. «Мы догадались,— говорит Базаров,— что болтать, все только

болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок. потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке». На этом Базаров кончил. Теперь попробуем уловить конкретный смысл его филиппики.

Вначале кажется, что он выступает против болтунов и обличителей либерального толка во имя более решительных, радикальных мер. Но потом оказывается, что и к реформам в рамках легальности мы не подготовлены. Упоминание о «свободе, о которой хлопочет правительство», то есть о готовящейся отмене крепостного права, порождает большой соблазн видеть в Базарове критика правительственной реформы слева. Но Базаров говорит ясно: даже и эта мера едва ли принесет пользу. (Тут я снова слышу ссылку на царскую цензуру. Однако цензурные рамки заставляли недоговаривать, но не говорить того, чего честный писатель не думал; нечестному же писателю цензура была не страшна.) Словом, вторая часть речи Базарова резко противоречит первой. Объяснить противоречие мог лишь сам Базаров, но ему стало «досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином». Следовательно, он считал, что и так сказал слишком много.

Говорят наконец, что недостаток конкретности объясняется чуждой средой, в которой находится Базаров: с кем ему там откровенничать? Среда объясняет сдержанность Базарова, но не сдержанность обрисовки образа. Тургенев — такой художник, который легко брал повествовательную нить в свои руки. «Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки...» (это о Николае Петровиче). «...Аркадий рассказал ему историю своего дяди. Читатель найдет ее в следующей главе» (о Павле Петровиче). И т. д. Что же

мешало писателю поступить таким же образом и с Базаровым, если бы он считал это нужным? Базаров — редкий пример тургеневского персонажа, у которого не только отсутствует предыстория, но по отношению к которому писатель совершенно не применяет интроспекцию (то есть авторского объяснения и проверки субъективного мира) в тех случаях, когда дело касается базаровской позиции, его прошлого и будущего (но по отношению к его любовным переживаниям такая интроспекция применяется!).

Когда речь идет о деле новом, необычном, появляется потребность изложить его в категориях, исключающих привычные ассоциации. Таков, думается, один из главных источников слова «нигилизм». В ответ на замечание Аркадия, что его друг — «нигилист» (сам Базаров, как уже отмечалось, этого определения к себе не применяет, но его и не оспаривает), Николай Петрович вынужден с удивлением переспросить и затем объясняет без смысла этого понятия, исходя из его этимологии: «Это от латинского *nihi*, ничего, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который... который ничего не признает?» Следовательно, раньше о таком «движении» он не слышал.

Впоследствии Тургенев с горечью отмечал, что слово «нигилист» было подхвачено всевозможными мракобесами в качестве бранной клички для людей свободомыслящих и что при написании романа он этого не предвидел. Заявление писателя, бесспорно, правдиво. В свое время А. Батюто убедительно показал, что употребление слова «нигилизм» в двух статьях Каткова 1861 года не предшествует тургеневскому роману, но само подсказано его чтением. А еще раньше историю слова «нигилизм» до «Отцов и детей» специально исследовал академик М. Алексеев, пришедший к следующему выводу: «Слово *нигилизм*, *нигилист* изредка употреблялось у нас в 30—50-х гг. без определенной смысловой окраски (ничтожество, идеализм, материализм, скептицизм), менявшейся в зависимости от случайных причин»¹. Видимо, для Тургенева и важно было в данном случае отсутствие «определенной смысловой окраски» слова. Как в более широком плане —

отсутствие определенной смысловой окраски базаровского отрицания.

Г. Бялый правильно отметил, что читателям «могло быть и даже должно было быть неясно, какое именно течение» представлял Базаров¹. К сожалению, это сказано мелко, без дальнейших выводов. На той же странице своего труда, касаясь реплики Базарова, что Ситниковы ему нужны, так как не боги горшки обжигают, исследователь пишет: «Разумеется, Ситников может пригодиться Базарову не для медицинских занятий». Но, думается, видеть в Ситникове эмиссара по делам революции или даже революционного деятеля любого другого ранга — еще менее основательно.

Собирая воедино скупые реплики Базарова, обрывки фраз, намеки, мы намного легче представляем себе то, чего не хочет герой, чем то, к чему он стремится. Как Тургенев вел дневник Базарова, произвольно глядя на вещи глазами своего героя, так и мы не можем отделаться от звука его голоса, видим его сурово-презрительную насмешку, слышим его неизменное осуждение: «Пустяки!» — или самое резкое слово в его лексиконе: «Романтизм!» К Базарову применимо то, что сказано Тургеневым о Гамлете: его отрицание «сомневается в добре, но во зле оно не сомневается». И странное дело: сфера «зла» на наших глазах в романе все более возрастает, а вместе с нею возрастает и сила базаровского отрицания. Значит ли, что Базаров только разрушитель? О нет, тут нужны другие категории. Ведь мы видели, Базаров недостаточно конкретен и в своем отрицании.

А между тем кто в романе действительно находится «накануне» дела — так это Базаров. На протяжении многих глав он не живет, а жительствоует, подчиняясь случаю. Остановиться у Кирсановых? Отчего и не пожить у них, если подвернулась такая возможность? Поехать в город? Тоже можно: «поболтаемся дней пять-шесть, и basta...» Идти к губернатору? «Взялся за гуж — не говори, что не дюж! Приехали смотреть помещиков — давай их смотреть!» Слово Базаров убивает время в ожидании чего-то очень важного, главного.

Когда Базаров прощался с Аркадием и оба чувствовали, что прощаются навсегда,

¹ Сборник статей в честь академика А. И. Соболевского. Издательство АН СССР. Л. 1928, стр. 417.

¹ Г. Бялый Тургенев и русский реализм. «Советский писатель». М.—Л. 1962, стр. 160.

и Аркадий с укором спросил своего друга, неужели у того не найдется напоследок значительного слова. Базаров «почесал у себя в затылке» и сказал: «Есть, Аркадий, есть у меня другие слова, только я их не выскажу, потому что это романтизм,— это значит: рассыриться». Как не открыл Базаров Аркадию своего значительного слова, так и не сказал нам, во что он верует и чему поклоняется. Его *profession de foi*¹ осталось некоей гревожащей гайной, готовой перейти в дело и не перешедшей, угадываемой и так и не угаданной, раскрываемой на протяжении всего романа и едва ли предназначенной к тому, чтобы быть раскрытой до конца.

2

Тургенев хотел изобразить в Базарове героя времени, «выраженье новейшей нашей современности» (письмо к Достоевскому от 30 октября (11 ноября) 1861 года). Он по свойству своего таланта отправлялся от конкретных лиц и фактов. Но это вовсе не значит, что он стремился к фотографическому, или, как тогда говорили, дагерротипному, отражению характера. Право на собственную концепцию образа признается за каждым художником, отчего же отказывать в нем автору «Отцов и детей»? Пора уже, кажется, оставить придирчивые сопоставления Базарова с Чернышевским, Добролюбовым или любым другим реальным лицом. Самое большое, что такие сопоставления могут дать,— это констатацию некоторой толики сходства или различия, но едва ли они объяснят, что же такое сам Базаров.

Мы видели, что во многом образ Базарова с революционными демократами просто не соотносится, и если не раз писалось, что отрицательное отношение к каким-либо фактам выражается в их искажении, то еще никто не объяснил, почему искажать эти факты нужно было до неузнаваемости. Вспомним так называемый антинигилистический роман — тут дело ясное. Антинигилистический роман пародировал революционных демократов в самом существе их деятельности: в революционной пропаганде, в попытках перестроить деревенскую жизнь на общинных началах, в эмансипации женщин, то есть в связи с те-

ми самыми проблемами, к которым Базаров или глух, или относится отрицательно. Но, с другой стороны, именно Тургенев принадлежал к тем, кто не верил в общину, в социалистический дух крестьянина, в революционную пропаганду и т. д.¹ И считая такое неверие признаком политической трезвости и проницательности, он сполна наделил им своего героя.

И это дискредитация?

Словом, при механическом подходе образ Базарова, составляющие его элементы кажутся таинственным кодом, ключ к которому потерян.

Когда сталкиваешься с большим произведением искусства, вспоминаются слова Ф. Буслаява: «Консерватизм или либерализм не создает картины или повести, точно так же, как в старину недостаточно было одного благочестия, чтобы написать икону». Между тем мы нередко стремимся во что бы то ни стало вывести произведение только из «благочестия» или только из «либерализма». Мы горячо ратуем за историческое объяснение фактов искусства, но нередко сужаем историзм до злобы дня, расстановки сил, политической позиции, которые объясняют произведение только отчасти. Ибо историзм — сложное понятие. Оно подобно корневищу могучего дерева, и если одни его корешки стелются в поверхностных слоях, то другие уходят в глубокие слои почвы. Собственно, тайна жизненности больших произведений всегда состоит в их «многослойности».

Известно, что «Отцы и дети» захватили умы современников, как ни одно другое произведение Тургенева. На то имелись, конечно, свои основания. Многие в романе было выхвачено живьем из кипящих, бурных «шестидесятых годов». Чего стоила одна только мысль столкнуть лекарского сына, бедняка, плебей с целым сонмом помещиков и дворян — людей различных характеров, взглядов, идей и т. д. Герцен говорил, что Базаров «подавил собой» их всех — итог, который в пору действий и

¹ Критическое отношение Тургенева к общине и к крестьянскому быту наглядно проявилось в его полемике с Герценом в начале шестидесятых годов. Напомню также более раннее высказывание. В 1856 году Тургенев писал С. Т. Аксакову «...с Константином Сергеевичем — я боюсь — мы никогда не сойдемся. Он в «мире» видит какое-то всеобщее лекарство, панацею, альфу и омегу русской жизни...»

¹ Исповедание веры (франц.).

борьбы разнотипной демократии приобретал политическую окраску. Злободневная сторона романа слишком хорошо известна, чтобы на ней надо было останавливаться подробно. В то же время эта злободневность сложнее, чем часто еще считается, за нею — другие пласты романа. Слово, которое отвечает на веяния времени, — особенно если это слово художника — рождается не в один день: его исподволь формируют время и традиция.

Начнем с того, что задолго до Тургенева в искусстве наметилось противопоставление двух типов людей по признаку отношения к действительности. С одной стороны, человек реалистического склада, чуждый самообольщений и иллюзий. С другой — идеалист и энтузиаст.

Они сошлись Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой,—

говорилось о Ленском и Онегине, в которых Фарнгаген фон Энзе видел двойственность человеческой природы вообще и две стороны образа самого поэта. На развитие этой антитезы большое влияние оказали художественные персонажи прошлого, реальные исторические фигуры. Так, в конце XVIII века романтики склонны были объяснять «донкихотскую пару» — сочетание трезвой положительности Санчо и энтузиазма Дон-Кихота — как символ человеческого прогресса. Одно время крайними точками антитезы служили Гёте и Шиллер. (Герцен противопоставлял «старому реалисту» Гёте с его «симпатией со вселенной» мечтательного «поэта юности» Шиллера. Вообще в русской критике и публицистике тридцатых—сороковых годов эта параллель была ходовой.) Можно проследить и дальше судьбу указанной типологии, но мы этого делать сейчас не будем. Обратимся лишь к одному факту, поскольку он касается творчества Тургенева.

Когда появился «Хорь и Калиныч» — первый очерк из цикла «Записок охотника», многие были поражены необыкновенной новизной и смелостью изображения народа. Да, смелостью, хотя тургеневский очерк почти не коснулся опасной темы крепостного права. Но Белинский писал по поводу «Хоря и Калиныча»: «Автор зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто еще не заходил».

Штрихи из очерка вроде тех, что Хоря

«занимали вопросы административные и государственные», а Калиныч понимал язык природы. «пел довольно приятно» и т. д., — эти штрихи, вероятно, нейтральны в сегодняшнем восприятии. Но для людей сороковых годов прошлого века они были полны злободневного смысла, как и общая характеристика двух крестьян, в которую эти штрихи складывались. «Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных...» Читатель угадывал в этом описании господствовавшее понятие о двух важнейших типах мироощущений, психологического склада, даже философских воззрений. И вот, оказывается, эти понятия могут быть применены к народной жизни. В первоначальном тексте рассказа (напечатанном в «Современнике») не случайно упоминалось о Гёте и Шиллере («словом, Хорь походил более на Гёте, Калиныч более на Шиллера...»). Легко и свободно приложил Тургенев к явлениям крестьянского мира те масштабы, которые по традиции прилагались к более «высоким» сферам жизни.

После этого нам не покажется случайным, что по «складу лица» писатель сравнивает Хоря с Сократом, а по страсти к преобразованиям — с Петром Великим («...из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, — убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек...»). Русская народная жизнь в своем нравственном содержании поднималась Тургеневым до уровня жизни общечеловеческой.

В этом состояла особенность тургеневского изображения народа, и современники, безусловно, чувствовали ее, когда подчеркивали свежесть и новизну его крестьянских рассказов. Белинский вслед за приведенными словами о том, что писатель «зашел к народу» с новой стороны, описывал Хоря и Калиныча как два противоположных типа «в простом народе». Герцен же говорил еще определеннее: Тургенев «наделил, конечно шутки ради, одного — характером Гёте, а другого — характером Шиллера. Но по мере того, как Тургенев приглядывался к господскому дому и к чердаку бурмистра, он увлекся своей темой.

Шутка постепенно исчезла, и поэт нарисовал нам два различных, серьезных поэтических типа русских крестьян. Не привыкшая к этому публика рукоплескала». (Разрядка моя.— Ю. М.)

Но вернемся к судьбе указанного противопоставления. Во всех приведенных примерах, включая «Хоря и Калиныча», оно имеет общий смысл, выявляя психологические возможности человеческого характера. Но начиная со второй половины сороковых годов антитеза резко заостряется под влиянием конкретного, живого вопроса, который занимает русское общество. Вопросом этим является «дело» и приспособленность к нему каждого из двух противоположных типов. Такого подчеркнуто практического смысла знакомая нам гипология в мировой литературе еще не получала, исключая, может быть, только гётевского «Вильгельма Мейстера».

Мы улавливаем практические нотки уже в столкновении двух Адуевых в гончаровской «Обыкновенной истории», в споре о том, что лучше, узкое дело или многосторонняя бездеятельность, причем точка зрения автора не совпадает ни с одной из спорящих сторон и равно возвышается над обеими. Почти одновременно в романе Герцена «Кто виноват?» был описан аналогичный спор между бездеятельным Бельтовым и практически трезвым Круповым.

«— Вы предпочитаете хроническое самоубийство.— возразил Крупов...— понимаю, вам жизнь надоела от праздности,— ничего не делать, должно быть, очень скучно; вы, как все богатые люди, не привыкли к труду. Дай вам судьба определенное занятие да отними она у вас Белое Поле, вы бы стали работать, положим, для себя, из хлеба, а польза-то вышла бы для других; так-то все на свете делается.

— Помилуйте, Семен Иванович, неужели вы думаете, что, кроме голода, нет довольно сильного побуждения на труд?.. Уж конечно, я не по охоте избрал жизнь трудную и утомительную для меня...

— Красно-то вы говорите, красно,— заметил Крупов.— а все мне сдается, что хороший работник без работы не останется.

— Да что же вы думаете, эти лионские работники, которые умирают голодной смертью с готовностью трудиться, за недостатком работы, не умеют ничего делать или из ума шутят? Ох, Семен Иванович!

Не горопитесь осуждать и не торопитесь прописывать душевное спокойствие и конский шавель...»

Снова каждый из спорящих односторонен, и снова авторская позиция возвышается над ними обоими. Бельтов пассивен, так как понимает, что возможности большой политической деятельности в русских условиях перед ним закрыты, а довольствоваться малым он не желает. Крупов активен, так как видит смысл своей врачебной практики и высоко мыслю не заносится. Один исходит из сложившегося уклада, другой из несоединимого с ним идеала. Один говорит: все или ничего! Другой отвечает известной поговоркой: лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Своеобразным итогом подобных исканий и размышлений явилась знаменитая речь Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», произнесенная в январе 1860 года, незадолго до начала работы над «Отцами и детьми». Тургенев выбрал двух героев мировой литературы, так как в них «воплощены две коренные, противоположные особенности человеческой природы — оба конца той оси, на которой она вертится».

В общем-то, можно сказать, что Гамлет и Дон-Кихот, в интерпретации Тургенева, близки к традиционному разграничению трезвого человека и человека экстремы. Но это разграничение проведено с небывалым еще упором на «дело». Весь тургеневский анализ буквально дышит пафосом дела. Писатель, например, спрашивает: «Что нужды, что, думая иметь дело с вредными великанами, Дон-Кихот нападает на полезные ветряные мельницы... Кто, жертвуя собою, вздумал бы сперва рассчитывать и взвешивать все последствия, всю вероятность пользы своего поступка, тот едва ли способен на самопожертвование. С Гамлетом ничего подобного случиться не может: ему ли, с его пронизательным, тонким, скептическим умом, ему ли впасть в такую грубую ошибку! Нет, он не будет сражаться с ветряными мельницами, он не верит в великанов... но он бы и не напал на них, если бы они точно существовали». Тургенев приходит к выводу, что Гамлет и Дон-Кихот знаменуют «две силы косности и движения, консерватизма и прогресса», «основные силы всего существующего».

Не нужно подробно говорить (это, в общем-то, известно), что тургеневские размышления были продиктованы реальной

русской жизнью, наступлением новой эпохи — «эпохи шестидесятых годов» — страстной мечтой писателя о сознательно героических натурах, о человеке дела. Несмотря на то, что оба типа обрисованы, как равно необходимые и дополняющие друг друга, Дон-Кихот по своему реальному значению превосходил Гамлета. Именно в Дон-Кихоте Тургенев признавал то начало движения и воли, в которых так нуждались передовые русские люди, прошедшие через философские искания, рефлексию, мучительные колебания и неверие в свои силы.

Слово, выношенное Тургеневым-теоретиком, отозвалось и в его творчестве: явился Инсаров. Современникам Тургенева тотчас стало ясно, что мысль речи о Гамлете и Дон-Кихоте и мысль повести одна и та же... В Инсарове должно быть выражено «высокое начало самопожертвования»¹. Его угрюмая сосредоточенность на одной идее и готовность претерпеть ради нее любые лишения, даже известная сухость и односторонность натуры, закрытой и интересам поэзии, и многосторонним влияниям жизни,— все это воспринималось как прямая конкретизация и развитие донкихотского типа. Казалось бы, путь был намечен; следующий тургеневский герой подтвердит сказанное и добавит новые, более яркие черты к облику героя времени... И вот явился Базаров.

Вы вдумываетесь в Базарова, в этот последний отпрыск большого «типологического» древа, и поражаетесь: какое же он необычное, сложное явление! С одной стороны, идея дела организует важнейшие центры базаровской психики. Либеральное критиканство, дряблость, краснбайство чувуют в Базарове своего смертельного врага. Базаров засучивает рукава, готовится к драке, к борьбе. Он и поэзию и «художества» отвергает по тем же мотивам, что и Инсаров: от них не дождешься ошутимого эффекта, они бесполезны. Но с другой стороны...

Тургенев отмечает, что люди донкихотского типа живут «вне себя, для других», они бескорыстны до забвения собственных интересов и личности. Для Базарова вопрос о том, достойны ли другие затрачиваемых им сил,— не праздный, и с болью шевелится в нем сомнение, стоит ли еще лезть из кожи ради какого-то «Филиппа или Сидора».

¹ «Русское слово», № 5, 1860. Отдел III, стр. 16.

который даже спасибо ему не скажет. Тургенев замечает, что Дон-Кихоты ведут за собой толпу, хотя она и побивает их на первых порах камнями. К Базарову люди тянутся, но он отваживает их ледяным презрением. Сомнения в правильности выбранных средств свойственны Гамлету, а не Дон-Кихоту. Но что такое базаровский скепсис по отношению к общине, к мужику, к крестьянскому быту, к пропаганде и т. д., как не прогрессирующее хроническое сомнение? От сражения с великанами Базаров, как Гамлет, пожалуй, не уклонится, но перед этим он не раз подумает, действительно ли перед ним великаны, а не ветряные мельницы и действительно ли в его руках оружие, а не картонный меч.

Тургенев признавал, правда, что деление на два типа условно, в том смысле, что каждый человек лишь приближается к одному из них. Но отношение Базарова к этой дилемме значительно сложнее. Если хотите, это гамлетизирующий Дон-Кихот — сочетание необычное и в старом смысле ненормальное. Понадобились необычайные обстоятельства, чтобы его вызвать. Как аномалия стрелки компаса указывает на приближение к магнитному полю, так и смешение устойчивых, освещенных мировой традицией психологических категорий говорит о том, что тургеневский герой времени, «человек дела», вступил в полосу кризиса.

3

Что же произошло? Вдумаемся в следующую особенность Дон-Кихота, которую писатель считает, пожалуй, основной. «Повторяем: что выражает собою Дон-Кихот? Веру прежде всего; веру в нечто вечное, неизблемое, в истину, одним словом, в истину, находящуюся в не отдельного человека, не легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, но доступную постоянству служения и силе жертвы». Слово «вне» выделено писателем. С этим акцентом связана целая эпоха общественного сознания, которую Тургенев постигал, разумеется, прежде всего непосредственно, острым взглядом художника. Однако и сознательную мысль Тургенева, с живейшим вниманием следившего за философским движением века, мы не будем сбрасывать со счетов.

От ранних немецких романтиков через философские системы Канта, Фихте и Шел-

лингта к учению Гегеля, величайшего из систематиков, ярко проступает все возрастающее стремление человеческого ума к универсальности. К приведению всего сущего, универсума, к одному философскому знаменателю. К «подчинению» всех многообразных и разнокалиберных фактов физического и духовного бытия, прошлого и настоящего одному мировому закону, понимаемому, разумеется, идеалистически — как дух, Идея. Мир был организован, человеческая история тоже: важно было уловить принцип организации и поступать в согласии с ним.

Обратите внимание, как тесно увязаны в жизни Дон-Кихота неслыханные трудности с необыкновенными преимуществами: вот Дон-Кихот, увиденный глазами человека XIX века! Дело требует от него служения и жертв, но дано ему извне. Человек не вырабатывает в себе веры, он приобщается к ней. Поэтому возможно «постоянство служения». Предполагать, что в механизме организации мира что-либо откажет, не приходится. Дон-Кихот принимает мельницы за великанов и цирюльничий таз за волшебный шлем Мамбрин не из-за легковерия или слепоты, но потому что исключает непредвиденное. Мир в основе своей разумен, хотя в нем и сильны неразумные силы.

Вступая в жизнь, человек попадает в поле действия некоей предопределенности — жестокой и утешительной в одно и то же время. Мировому духу, любил говорить Гегель, спешить некуда. Медленно и уверенно осуществляет он свою работу, подчас обрекая на заклятие целые поколения. Но зато тем, кому выпали звездные часы (например, представителям народа, возглавляющего в данный момент всемирно-исторический прогресс), — им можно позабывать. Но и тем миллионам, которым суждено лишь уваживать своими телами почву для будущих поколений, и им сохранена утешительная возможность сознавать, что они составили необходимое звено общего развития.

Не следует думать, что все это касалось лишь специальных философских вопросов. Идея универсальности определяли весь строй мыслей и чувств не одного поколения русских (и не только русских) интеллигентов, влияя на решение кардинальных проблем — о борьбе со злом, о справедливом устройстве общества. Вот лишь один при-

мер из множества подобных. Станкевич сообщал в одном из писем: «Марков (русский художник, проживавший в Риме. — Ю. М.) был на днях у меня и закидал меня философскими вопросами и сомнениями, на которые было ему трудно отвечать... Я никогда почти не делаю себе таких вопросов. В мире господствует дух, разум: это успокаивает меня насчет всего. Но его требования не эгоистические — нет! существование одного голодного нищего довольно для него, чтоб разрушить гармонию природы. Тут трудно отвечать что-нибудь, тут помогает характер, помогает невольная вера, основанная на знании разумного начала»¹. Станкевич не мирился (как обычно считают) в тривиальном смысле этого слова с гримасами и горестями жизни, но он апеллировал к философской мудрости и терпению. На историю можно положиться как на ариаднину нить: как она ни запутанна и ни длинна, но к свету выведет.

Кстати, и знакомая нам антитеза трезвого человека и энтузиаста «дела» (то есть, по понятиям Тургенева, Гамлета и Дон-Кихота) соответствовала в значительной мере только что описанному типу мышления. Мало того, что она стремилась к универсальности, к подразделению всего многообразия человеческого материала на два кардинальных типа, стремилась, далее, к их будущему объединению (в духе философского синтеза противоположностей), но и сама характеристика этих типов была вдохновлена философскими посылками. Нужно было освободиться от мечтательности, прекраснодушия, как любили говорить русские гегельянцы, приучить себя к холодно бесстрашному пониманию мирового закона, сохранив одновременно и широту взгляда.

Мы иногда упрощенно понимаем рост естественнонаучных и материалистических интересов начиная со второй половины сороковых годов как только освобождение от идеалистических посылок. Это лишь одна сторона процесса. Вместе с нею проходило начавшееся у нас еще в рамках идеализма (о западной философии я уже не говорю) освобождение от гегелевской *Allgemeinheit*, всеобщности.

И едва ли можно понять все значение базаровской вражды к романтизму, если не

¹ Н. В. Станкевич Переписка М. 1914, стр. 707.

учесть следующий характерный сдвиг. Для целой плеяды русских мыслителей философия — то есть истинная философия, вначале шеллингианская система тождества, а затем гегелевского типа, — враждебна романтизму. Для Базарова истинное знание враждебно и романтизму, и указанной философии, вместе взятым. Чуткий Павел Петрович уловил этот сдвиг. «Прежде, — говорит он, — были гегелисты, а теперь ингилисты».

Мы также не поймем непримиримой ненависти Базарова к «принципам», к общим понятиям, в числе которых есть и такие, как «прогресс», «материализм», если не учтем, что они в его глазах представляют некие универсалии, предлагаемые человеку извне. И науки им признаются только конкретные, а не наука вообще, какую претендовала быть философия. Тут, пожалуй, мы приближаемся к сердцевине его мироощущения.

Базаров не признает «никаких авторитетов». «И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и все». «Я ничьих мнений не разделяю: я имею свои». Что значит эта почти маниакальная враждебность Базарова к авторитетам, среди которых, вероятно, есть и близкие ему по духу? Больше всего боится он, чтобы к нему кто-нибудь не подкрался незаметно и не заарканил в свою веру.

Об Инсарове окружающие говорят, что осуществляемое им дело сильнее его. «Кто отдался весь.. весь.. весь.. тому горя мало, тот уж ни за что не отвечает. Не я хочу: то хочет». «То» руководит и действиями Дон-Кихота. Базаров же не хочет этого «то» и не верит в него. Живые веяния времени он стремится претворить в свой взгляд и признает их лишь постольку, поскольку они исходят из его природы. Когда Базаров с вызовом говорит, что честность есть ощущение и что «глубже этого люди никогда не проникнут», то он как раз выступает против навязывания ему любого категорического императива.

Новизна мироощущения Базарова ярко выступила в его восприятии природы. Чувство природы, вообще говоря, — симптоматичный фактор, быстро улавливающий малейшие перемены в типе мышления. Для ранней романтической натурфилософии человек — частица природы, одна клетка макрокосма. В великих философских системах человек объединен с природой единством законов развития. И в том и в другом слу-

чае человек не противопоставлен природе, между ними существуют близкие, доверительные отношения, высокий пример которых явил Гёте:

Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Для Базарова же произошло отпадение человека от природы. Вот его знаменитые слова из XXI главы: «...Я думаю: я вот лежу здесь под стогом... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразия!..»

Природа к человеку ни добра, ни враждебна — она равнодушна. Природа и человек — величины несоизмеримые и несопоставимые. В сравнении с вечной природой человек мучительно ощущает свою эфемерность. Этого ощущения, конечно, не было бы при пантеистическом или философско-систематическом отношении к природе.

Базаровские слова близки высказыванию о природе художника из «Довольно»: «Бессознательно и неуклонно покорная законам, она не знает искусства, как не знает свободы, как не знает добра; от века движущаяся, от века преходящая, она не терпит ничего бессмертного, ничего неизменного...» Острота восприятия «равнодушной природы» состоит здесь в том, что в ней уже не признается мировой разум.

На это могут возразить, что базаровские слова произнесены в состоянии депрессии, после объяснения с Одинцовой. Но что такое его всем известный афоризм: «природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», — как не выражение того же мироощущения? Природа уже не «мировая душа» (какою она была и осталась для черпающего в ней утешения Николая Петровича) — это скорее скопище отчужденных и мертвых предметов, противостоящих человеку. Человек должен их покорить и поставить себе на службу.

Базаров ощущает себя один на один с природой. Он на краю бездны, которая «ежеминутно под ним разверзнуться может». Все остальные люди словно не в

счет. Но индивидуализм Базарова нельзя понимать слишком буквально. Это скорее самочувствие отдельного «я» перед лицом мира, бесконечно более сложного, чем это казалось раньше. В этих условиях у него нет более верного средства проверить свою силу, чем предъявить все свои права.

Создалась новая, необычайно напряженная ситуация — назовем ее философской, памятуя, однако, об условности этого понятия. Эта ситуация не отменяет ситуацию злободневную, конкретную (к которой обычно сводят содержание романа), но она шире, объемнее ее. В ней — переломный момент длительного духовного развития. С одной стороны, преодоление универсальности необычайно развязало волю человека, его творческую жизнеспособность. Но с другой — оно наполнило его новыми, неизвестными еще сомнениями. Каков реальный объем человеческой свободы? Что регулирует отношения людей друг к другу в новом, распавшемся мире? Какова степень общности понятий о мире, должествующих заменить универсальность гегелевского типа? Эти и другие вопросы со всей силой будут поставлены Достоевским и другими писателями. В тургеневском романе они еще не дифференцированы и тем более не нашли своих ответов. В «Отцах и детях» схвачен самый момент перелома. Казалось бы, освобождение от высшей предопределенности облегчает положение человека. Увы, человек требовательнее бога. На изменение ситуации Базаров ответил — и в этом его главное отличие — бесконечной, прогрессирующей требовательностью.

Но от этой же необычной ситуации — волны пессимизма и безверия, которые порою захлестывают и Базарова. «Я думаю: хорошо моим родителям жить на свете! Отец в шестьдесят лет хлопочет, толкует о «паллиативных» средствах... и матери моей хорошо: день ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда; а я...» Подтекст этого сегования ясен: у родителей хоть какая, а есть цель, у него же ее нет. Пожалуй, верх самоиронии Базарова — поведение во время дуэли. Для Павла Петровича дуэль — дело чести, он вступает в нее с сознанием своей благородной миссии. Для Базарова дуэль — шутовская комедия, однако не забудем, что в ней он хладнокровно ставит на карту свою жизнь. Скажут, что все это он говорит и делает после объяснения с

Анной Сергеевной. Но сама ситуация, в которой любовная трагедия приобретает повышенное значение и способна резко изменить самочувствие такого человека, как Базаров, — говорит сама за себя.

Во времена, более близкие к нам, ситуация романа была бы определена как столкновение человека со «слепым процессом». Несомненно, в «Отцах и детях» отразился один из начальных моментов перехода к новым воззрениям. Но именно поэтому во избежание модернизации мы должны провести демаркационную линию.

Базаров сомневается в разумности мироздания, но в возможностях разума как силы, познающей и преобразующей жизнь, он не сомневается. Он только уклоняется от конкретных ответов на этот счет, держа их в тайне. В «Отцах и детях» перспектива развития не оборвана, оставлены в силе различные возможности, в том числе и возможность перехода к новой общности взглядов. Какая из этих возможностей осуществится — на это ни Базаров, ни роман в целом не отвечают. Тут снова видно все значение тургеневской сдержанности в передаче воззрений его героя.

Но то, что описанная ситуация промежуточная и удержаться навсегда на ней невозможно — в романе заявлено ясно. Понимает это и Базаров. У него чешутся руки, он грозит ломать других. Пока же он ломает в основном себя («Наш брат, самоломанный», — говорит он). Вероятно, будущая ситуация потребует уже не Базаровых. Сила же Базарова — в безграничных требованиях, которые он предъявляет к другим и к себе. Вернее, к себе и к другим.

«Решился все косить — валяй и себя по ногам!» — высший принцип базаровской этики. Самокритику Базарова тоже нельзя понимать слишком лично. Это самосознание человека, знающего, что для победы всякого нового движения нужно, чтобы оно само проверило свою жизненность. И коли не выдержит — значит, ему «туда и дорога».

В разговоре с Аркадием Базаров бросил интересную фразу — «противоположное общее место», — пояснив ее так: «Сказать, например, что просвещение полезно, это общее место; а сказать, что просвещение вредно, это противоположное общее место. Оно как будто шеголеватее, а в сущности одно и то же». Базарову не по душе трю-

измы любого толка — реакционного или прогрессивного. Ему не нравится то, что входит в привычку, становится мнением многих. Вероятно, Аркадий не слишком упрощает высказывания своего друга, но, будучи произнесены второй раз, они нередко вызывают в Базарове мучительное отвращение. Базаров — в вечном отталкивании от обычного, входящего в массовое употребление. Пригладевшись к нему, он уже видит в нем оборотную сторону. Одиночкой не претят его резкие суждения, так как ей претило «одно пошлое», «а в пошлости никто бы не упрекнул Базарова». «Пошлое» понимается тут как раз в смысле обыкновенного («пошлым» в смысле циническим) Базаров грешит не раз). Базаров как тип не допускает повторения — в одной ли фразе или в другом сходном типе. Повторение Базарова — это карикатура, Ситников, в лучшем случае это Аркадий. По самому существу своих безграничных стремлений Базаров должен быть один.

Да, Базаров — максималист. Качество, отличающее людей романтического типа, неисправимых мечтателей, энтузиастов, тесно соединилось с его вполне трезвым отношением к жизни и к делу. Это близко тому, что говорил Тургенев (в записках к роману «Новь») о «романтиках реализма». На почву реальности Базаров перенес неутолимую жажду совершенствования. «...Удовлетворить Базарова, — отмечал Писарев, — могла бы только целая вечность постоянно расширяющейся деятельности и постоянно увеличивающегося наслаждения». Целая вечность! Где же ее взять на нашей ограниченной земле, в мире относительных ценностей? Романтик переносил свою жажду совершенства в страстное томление — «туда!». Базаров этого сделать не мог бы и не стал бы. «К несчастью для себя, — продолжает Писарев, — Базаров не признает вечного существования человеческой личности».

Между тем вполне закономерно в тургеневском романе вновь возникает такая расстановка главных персонажей, над преодолением которой немало потрудились писатели в прежние годы. От «Евгения Онегина» по длинной цепи произведений, некоторые из них мы уже называли — «Обыкновенная история», «Кто виноват?», «Хорь и Калиныч» и т. д., — проходит последовательное стремление лишить главного героя монопольного места, окружить его «оппонен-

тами», представляющими другие грани действительности, выдвинуть хор равноправных или по крайней мере не столь резко удаленных друг от друга на иерархической лестнице голосов. В «Отцах и детях» повествование вновь тяготеет к прежней структурной формуле: один «против» всех.

Душевыми движениями друга Базарова Аркадия принято не доверять. А, собственно, почему? Аркадий по-своему умен и поэтичен. Он говорит Кате: «...Я сень по-русски очень хорошо назван: ни одно дерево так легко и ясно не сквозит на воздухе...» Это хорошо сказано, так мог бы сказать и сам Тургенев. Проигрывает Аркадий тогда, когда перестает быть самим собой, когда пытается взвалить себе на плечи груз базаровского максимализма. Этот груз явно не по нему, но и многие ли его выдержат?

«Я теперь уже не тот заносчивый мальчик, каким я сюда приехал... — говорит Аркадий Кате, — я по-прежнему желаю быть полезным, желаю посвятить все мои силы истине; но я уже не там ишу свои идеалы, где искал их прежде; они представляются мне... гораздо ближе». (Разрядка моя. — Ю. М.) Сам не сознавая того, Аркадий разыграл перед Катей небольшую поэтическую пьеску, направленную против той, какую представляли шиллеровские «Идеалы» — эта вдохновенная греза всех русских романтиков.

У больших произведений искусства есть интересная особенность: в лежащей в их основе коллизии всегда «запрятана» другая коллизия, в последней — еще одна, и так, вероятно, до бесконечности. Время, углубляя произведение, открывает в нем внутри одной поэтической возможности — новую.

Простейшая мысль, к которой подводил тургеневский роман, — будто в нем дано столкновение поколений, отцов и детей, людей разного возрастного и культурного типа. Внутри этого конфликта увидели более острый и для произведения более оправданный — конфликт плебей и аристократов. Но и этим не исчерпывается все богатство содержания романа. В глубине его мы явственно различаем большую философскую проблему, и конфликт Базарова с окружающими исполнен высшего значения. Эпитет «сатанинский», брошенный Павлом Петровичем, не пустой по отношению к Базарову. Базарову выпала доля пережить начальную

стадию нового и, вероятно, самого мучительного вида отпадения — отпадения от мира, в котором уже нет бога.

4

Давно известно, что отношение героя к любви и смерти открывает его важнейшие черты. Остановимся и мы на любви и смерти Базарова: в них выражается философское значение этого образа.

Базаров любит безответно; безответная любовь написана ему на роду. Предположим, что Одинцова ответила бы на его чувства: Базаров в роли возлюбленного, счастливого мужа — мыслимая ли это картина?.. О Елене, узнавшей, что она любима Инсаровым, говорится: «Тишина блаженства, тишина невозмутимой пристани, достигнутой цели... наполнила ее всю своею божественной волной». Тишина и блаженство — это то самое, что противопоставлено Базарову. Да и «пристань» тоже.

Предположим невероятное: Одинцова не только полюбила Базарова, но и готова разделить его заботы, взяться за то же дело. Очень была бы достойная картина, если бы... если бы Базаров знал сам, на каком деле он остановится.

Байрон, кажется, говорил: чтобы стать поэтом, надо бедствовать или пережить несчастливую любовь. Чтобы остаться максималистом, Базаров должен был полюбить безответно.

А между тем Базаров любит как здоровый, нормальный мужчина, и любовь в смысле идеальном, в смысле «романтизма средних веков», он не понимает. Рыцарь Тоггенбург, заточившийся в монастырь в сладком томлении по возлюбленной, — предмет его желчных насмешек. Нет основания считать, что, переживая свою трудную любовь, он в чем-либо изменился по части такой идеальности; да и Анна Сергеевна — не средневековая дама сердца. Если Базаров с удивлением узнает в себе рецидивы романтизма и берется ожесточенно преследовать их, то это означает прежде всего непреодолимую силу нормального чувства. «Нравится тебе женщина, — говаривал он, — старайся добиться толку; а нельзя — ну, не надо, отвернись — земля не клином сошлась». Но, оказывается, «отвернуться» нельзя, нет сил.

Но откуда же эта «злоба» в любви Базарова и почему Одинцову пугает его не-

доброе выражение лица? Базаров — человек изменившегося мирозерцания, нового строя чувств. Романтизм «средних веков», как и классический романтизм (в этом они сходились), переносил свой идеал в любимого человека. Любовь — небесная сила, а красота, любимая женщина — одно из воплощений (вероятно, ярчайшее) философской разумности мира. Поэтому необычайно высоко поднималась любовь платоническая: красоте как воплощению идеальности следовало прежде всего поклоняться, владеть ею — необязательно. Но Базаров, мы знаем, никаких общих сил, данных нам идеально, не признает. Для него существует только конкретная женщина, Анна Сергеевна Одинцова, со своим чарующим голосом, стройным станом, покатыми плечами. Ее надо взять, подчинить себе, как подчиняют природу (снова вспомним базаровский афоризм о природе). Подчинить себе, плебею и бедняку, эту гордую аристократку. Но зато и в случае неудачи боль такого чувства намного острее, чем любви романтической. Она не может найти себе утешения в сладкой мысли о бескорыстно-преданном поклонении идеалу. Она переживается как обида, почти как оскорбление и потому неразлучна со «злойбой».

Точно так же и смерть в новой ситуации переживается острее и трагичнее. Для человека, видящего высший смысл своей краткой жизни, удары судьбы оправданы.

Кто слез на хлеб свой не ронял,
Кто близ одра, как близ могилы,
В ночи, бессонной, не рыдал, —
Тот вас не знает, вышни силы!

На жизнь мы брошены от вас!
И вы ж, дав знаться нам с виною,
Страданью выдаете нас,
Вину преследуете мздою

Человеческому самолюбию гораздо легче сознавать, что кто-то «выдает» его страданью, чем думать, что оно причинено им самим или возникло из не провоцируемого никем стечения обстоятельств. Пусть это «кто-то» будет личная сила или абсолютная идея. Пусть сила злая — все же это лучше, чем ничего. «Увы! Не привидения, не фантастические, подземные силы страшны; не страшна гофманщина... Страшно то, что нет ничего страшного...» — записывает художник из тургеневского «Довольно». Под «гофманщиной» тут имеется в виду оправдание

ирреальным, то есть одухотворение страшного элемента в жизни.

Но именно поэтому смерть Базарова должна была быть от случайной причины. В ней некого винить, кроме своей собственной небрежности. Она ничем не искупалась — ни высокой жертвой, ни интересами «дела», к которому готовился Базаров. Это испытание смертью в самом прямом и чистом значении этого слова.

Базаров не мог черпать утешения ни в натурфилософском, ни в пантеистическом (в том числе и в духе Шопенгауэра) понимании смерти, не говоря уже о личном бессмертии. Человеческая жизнь — искра, которая взлетела над потоком и в него бесследно канет. Думать по-другому — значит впадать в «романтизм». До сих пор Базаров понимал эту истину «теоретически», в общем виде. Теперь ему предстояло испытать ее на своей шкуре.

Ибо хорошо известно: одно дело не верить в «принципы», когда ты здоров, силен, и другое — когда обстоятельства складываются круто. Многие сильные умы в этой ситуации ломались и находили утешение в мистицизме и религии (и Базарову, как нарочно, предоставляется такая возможность, но он ее отвергает). Если же не в религии, то по крайней мере в самообмане, в надеждах. Базаров отвергает и эту возможность. Где же ему почерпнуть мужества? Только в себе самом, в бестрепетно ясном взгляде правде в глаза. И в последний момент он говорит: «До сих пор не трушу... а там придет беспаятельство, и фю и ть!», «Все равно: вилить хвостом не стану».

В одном из произведений Тургенев писал, перефразируя Паскаля: если бы целая вселенная раздавила человека, он «был бы все-таки выше вселенной, потому что он бы знал, что она его давит, а она бы этого не знала». Утешение, конечно, слабое, но Базаров обнаружил нечто большее, чем знание, — стойкость. До конца не отступился он от своего гордого «нет!», сказанного и перед лицом «вселенной», и перед бездной, которая его поглотила.

А все же есть в смерти Базарова примиряющий элемент, понимаемый, разумеется, не тривиально, а в смысле ее достаточного основания, соответствия заданному типу. Вообще трудно назвать другого писателя, у которого бы так часто произведения оканчивались смертью героя и эта смерть была

бы так значима. У Тургенева есть смерть борца и смерть жертвы, смерть неудачника и смерть игрока, ставящего на карту жизнь и отдающего ее бестрепетно за миг наслаждения. Смерть Базарова оправдана по-своему. Как в любви нельзя было доводить Базарова до «тишины блаженства, тишины невозмутимой пристани», так и в его предполагаемом деле он должен был остаться на уровне еще не реализуемых, вынашиваемых и потому безграничных стремлений. Базаров должен был умереть, чтобы остаться Базаровым.

5

Теперь мы можем остановиться на некоторых моментах критического восприятия «Отцов и детей». Как известно, одним из первых с развернутой оценкой романа выступил критик «Современника», журнала революционно-демократического направления. К сожалению, это был Антонович. Речь идет о его известной статье «Асмодей нашего времени».

Читая сейчас эту статью, не можешь отделаться от вопроса: какое произведение разбирает критик? Кажется, что Антонович читал какую-то неизвестную нам, навсегда утраченную редакцию «Отцов и детей».

М. Антонович писал: «...Вы забываете, что перед вами лежит роман талантливого художника, и воображаете, что вы читаете морально-философский трактат, но плохой и поверхностный, который, не удовлетворяя уму, тем самым производит неприятное впечатление и на ваше чувство. Это показывает, что нское произведение г. Тургенева крайне неудовлетворительно в художественном отношении». Далее: «О нравственном характере и нравственных качествах героя и говорить нечего; это не человек, а какое-то ужасное существо, просто дьявол, или, выражаясь более поэтически, асмодей. Он систематически ненавидит и преследует все, начиная от своих добрых родителей, которых он терпеть не может, и оканчивая лягушками, которых он режет с беспощадной жестокостью». «И от этого в целом выходит не характер, не живая личность, а карикатура, чудовище с крошечной головкой и гигантским ртом. С маленьким лицом и преобладающим носом...»

Можно без конца выписывать из Антоновича подобные места, которые звучат столь же дико. Но интереснее посмотреть, почему

все-таки критик пришел к своим выводам. Эстетическая глухота Антоновича, о которой много и правильно писалось, не объясняет нам всего дела.

Свой подход к произведению Антонович обозначил достаточно ясно.

«Везде,— писал он,— в статистике, экономике, торговле, всегда берут для сравнения средние величины и цифры; то же самое должно быть и в нравственной статистике. Определяя в романе нравственное отношение между двумя поколениями, автор, конечно, описывает не аномалии, не исключения, а явления обыкновенные, часто встречающиеся, средние цифры, отношения, существующие в большинстве случаев и при равных условиях. Из этого выходит необходимое заключение, что г. Тургенев представляет себе вообще молодых людей такими, каковы молодые герои его романа, и, по его мнению, те умственные и нравственные качества, которыми отличаются последние, принадлежат большинству молодого поколения, то есть, выражаясь языком средних чисел, всем молодым людям; герои романа — это образцы современных детей».

Итак, вся художественная, философская концепция произведения не в счет. Глаз писателя — нечто вроде статистического аппарата, перерабатывающего жизненные впечатления в «средние величины и цифры». Вне художественной мысли автора героям назначено лишь представлять различные типы действительности в их «среднем» выражении. А если так, то критику, имеющему, конечно, свои понятия об этих типах, предоставляется широкая возможность упрекать писателя в искажении. На глазах читателя Антонович описывает порочный круг: вначале Базаров принимается за того, кем он должен быть, а затем на основе созданной («средней») нормы он уличается в недостатках, отступлении и излишествах. Общий вывод: роман — непростительная клевета на молодое поколение.

В работе «К спорам об «Отцах и детях» Г. Фридлиндер пишет, что статья Антоновича заслуживает доли оправдания как литературный памфлет: «Антонович вовсе не стремился в этой статье дать полную, строго объективную историческую оценку «Отцов и детей», — нужна изрядная доля наивности, чтобы приписывать ему такое намерение». Он лишь хотел «предельно заострить» некоторые черты «с целью дискредитировать ро-

ман Тургенева в глазах молодого поколения»¹. Допустим, что это так (хотя в действительности можно привести немало данных, показывающих, что Антонович стремился к «полной» оценке романа). Но ведь памфлеты пишут не на любое произведение. Памфлет означает, что его автор если и находит в произведении какие-либо достоинства, то считает их незначительными, мелкими, не препятствующими уничижительному приговору. Выбор жанра памфлета есть уже оценка произведения в целом.

Однако Г. Фридлиндер прав в том, что нельзя представлять выступление Антоновича в качестве изолированного эпизода. Между ним и позицией выдающихся революционных критиков отношения достаточно сложные.

С одной стороны, известно, что Герцен находил в романе много хорошего, «мастерски-очерченного», что Салтыков-Щедрин считал «Отцы и дети» значительным произведением. Эта позиция подтверждена их письмами и печатными выступлениями. Прямым свидетельством отношения Чернышевского к роману до ссылки остался, к сожалению, только краткий пассаж из не опубликованной критиком статьи «Безденежье» с резкой оценкой тургеневского изображения «нигилистов». Но едва ли можно допустить, что Чернышевский, выступи он со специальным разбором «Отцов и детей», впал бы в ту заушательскую и плоскую манеру, какой придерживался Антонович. «Памфлета», вероятно, Чернышевский на «Отцов и детей» не написал бы.

Но, с другой стороны, известно, что и Щедрин и Герцен принимали роман с большими оговорками. Эти оговорки относились в основном к образу Базарова, его «делу». Щедрин называл Базарова «болтуном», а Герцен — «слишком натянутым, школьным, взвинченным типом». За этими упрёками стояла посылка, что Тургенев намеревался изобразить в Базарове конкретный тип современной русской жизни, а также опасения, какое воздействие окажет такое изображение на политическую борьбу и поведение молодежи. И если эти опасения имели свои основания, то исходная посылка соответствовала роману Тургенева далеко не полностью. Точнее говоря, она соответствовала одному, «злободневному» уровню

¹ «Русская литература». № 2. 1959. стр. 136.

«Отцов и детей», который не исчерпывал их более глубокой философской концепции.

Когда в произведении видят попытку отражения строго определенного типа, обычно появляется желание пойти дальше и разыскать реальный прототип. Так получилось с Базаровым: в нем увидели карикатурное изображение Добролюбова. Не опосредствованное отражение каких-то черт добролюбовского характера (что, может быть, и имело место), а именно сознательное его искажение в целях дискредитации. Обстоятельств, которые могли внушить эту мысль, было более чем достаточно. Тургенев порвал с «Современником» после добролюбовской статьи о «Накануне». Писатель болезненно реагировал на резкие суждения о «Рудине» в одной из рецензий Чернышевского, автором которой Тургенев посчитал Добролюбова. Незадолго до напечатания «Отцов и детей» Добролюбов умер. В литературных кругах циркулировали слухи, что Тургенев в готовящемся произведении сведет счеты с критиком, контрударов которого уже можно было не опасаться. (Ю. Жуковский даже спустя три года после напечатания романа утверждал в «Современнике», что Тургенев «в отмщение критику сочинил пасквиль на Добролюбова и, изобразив его в лице Базарова, назвал его нигилистом».)

В 1884 году Чернышевский писал: «...Я полагаю, что справедливо было мнение публики, находившей в «Отцах и детях» намерение Тургенева говорить дурно о Добролюбова. Но я расположен думать, что и Тургенев не совершенно лицемерил, отрекаясь от приписываемых ему мыслей дать в лице Базарова портрет Добролюбова... Но если предположить, что публика была права, находя в «Отцах и детях» не только намерение чернить Добролюбова косвенными намеками, но и дать его портрет в лице Базарова, то я должен сказать, что сходства нет никакого, хотя бы и карикатурного». Казалось бы, вопрос ясен. А между тем в тех же воспоминаниях Чернышевский пишет: «Открытым заявлением ненависти Тургенева к Добролюбову был, как известно, роман «Отцы и дети».

Более глубокое истолкование тургеневский роман нашел в статьях Писарева. Это может показаться парадоксальным: Писарев — будущий «разрушитель эстетики», критик, который в значительно большей степени, чем, скажем, Чернышевский, грешил

прямолинейным подходом к искусству. Однако парадоксы конкретны, как и истина.

Не последнюю роль в писаревской оценке «Отцов и детей» сыграла его общая позиция. В то время, когда писалась самая значительная его статья о романе, «Базаров», политические взгляды критика отличались замечательной трезвостью. Сохраняя верность «беспощадному отрицанию», то есть идее революционности, Писарев в то же время не верил в общину, в успех крестьянского восстания и мучительно раздумывал над средствами борьбы. Следующие слова критика о Базарове несут на себе печать автопризнания: «Базаров — человек жизни, человек дела, но возьмется он за дело только тогда, когда увидит возможность действовать не машинально. Его не подкупят обманчивые формы; внешние усовершенствования не победят его упорного скептицизма; он не примет случайной оттепели за наступление весны». Кроме того, в подходе к тургеневскому роману Писарев, видимо, не подавлял в себе и не насиловал тонкого эстетического чувства, которое ему, безусловно, было присуще.

Самая главная черта статьи Писарева — стремление понять Базарова именно таким, каким он изображен в романе. Перечитайте статью: вы увидите, как Писарев объясняет коллизии романа, дает им такое толкование, с которым, может быть, и не согласился бы автор; но вы не найдете ни одного места, где бы Писарев обвинял писателя в искажении или бы предлагал «заменить» одну черту облика героя другою. Как раз в полнейшей объективности видит он силу этого образа.

«Если бы на тургеневскую тему напал какой-нибудь писатель, принадлежащий к нашему молодому поколению и глубоко сочувствующий базаровскому направлению, тогда, конечно, картина вышла бы не такая и краски были бы положены иначе». Базаров не был бы «угловатым бурсаком»; писатель говорил бы всем своим произведением: «Вот, друзья мои, чем должен быть развитый человек! Вот конечная цель наших стремлений!» Но едва ли такой образ выиграл бы «в отношении к жизненной верности и рельефности».

И Писарев заключает: «Нам, молодым людям, было бы, конечно, гораздо приятнее, если бы Тургенев скрыл и скрасил неграциозные шероховатости; но я не думаю,

чтобы, потворствуя таким образом нашим прихотливым желаниям, художник полнее охватил бы явления действительности. Со стороны виднее достоинства и недостатки, и потому строго критический взгляд на Базарова со стороны в настоящую минуту оказывается гораздо плодотворнее, чем голословное восхищение или раболепное обожание». Вообще говоря, для Писарева Базаров характеризует скорее состояние, переломный момент, чем законченный тип. Благодаря такому подходу критик нашупал «философский» пласт тургеневского романа.

В лице Писарева русская революционно-демократическая критика оказалась достойной великого произведения Тургенева. Всегда ли мы были верны этой традиции?

Конечно, в своем роде максималистская точка зрения Антоновича большинством современных исследователей не поддерживается. Но при этом мы говорим: вот если бы Базаров обнаружил больше исторического оптимизма, веры в социалистический дух крестьянина, конкретно бы занимался подготовкой революции, да не вешал бы голову после неудачи с Одинцовой, да почтительнее бы относился к родителям — вот тогда бы вышел такой герой, который нам нужен. Возможно, так; но что бы осталось от Базарова?

В свое время предельно ярко такой подход к роману выразил Писемский. Он писал Тургеневу: «Что такое Базаров — немножко мужиковатый, но в то же время скромный, сдержанный честолюбец, говорящий редко, но метко, а главное, человек темперамента — вот ведь вы что хотели вывести, а у вас во всей первой половине повести вышел фразер... сократите его в первой половине повести, ступайте до полусвета — и вышло бы прелесть!!!»¹. Итак, роман очень хорош, но он был бы еще лучше, если бы начинался сразу со второй половины...

Что говорил Тургенев в ответ на подобные советы и упреки? В замечаниях Тургенева тоже нашупываются своего рода два уровня. Прежде всего он указывал на демократические и революционные стороны базаровского типа, то есть пытался макси-

мально приблизить героя к его оппонентам на предложенном ими уровне: «Он честен, правдив и демократ до конца ногтей — а вы не находите в нем хороших сторон?» В то же время, касаясь более глубоких основ характера, Тургенев говорил, что владевшая им при работе над романом мысль не состояла в осуждении или похвале Базарову, так как это не «тенденция», а более сложный комплекс переживаний. «Хотел ли я обругать Базарова или его превознести? Я этого сам не знаю, ибо я не знаю, люблю ли я его или ненавижу! Вот тебе и тенденция!.. А освободиться от собственных впечатлений потому только, что они похожи на тенденции, — было бы странно и смешно». Подобные разъяснения находили недостаточными и неполными. Но что еще мог сделать писатель в подтверждение своих слов, как не пересказать весь роман?

6

Тургенев говорил, что лучше всех его замысел поняли Достоевский и Боткин. Соответствующие письма того и другого не сохранились, но об отзыве Достоевского (который, разумеется, нас интересует в первую очередь) мы можем судить по ряду косвенных данных. Последние говорят, что Базаров Достоевскому понравился, очень понравился.

Отношения Достоевского и Тургенева — творческие и личные — очень сложны и еще как следует не исследованы. Известны резкие отзывы Достоевского о произведениях Тургенева, казавшихся ему мелковатыми. Тем больший вес имеет похвала Достоевского «Отцам и детям».

В третьей главе «Зимних заметок о летних впечатлениях» Достоевский пародирует «прогрессистов», метя прежде всего в автора «Асмодея нашего времени»: «...как мы спокойны, величаво-спокойны теперь, потому что ни в чем не сомневаемся и все разрешили и подписали. С каким спокойным самодовольствием мы отхлестали, например, Тургенева за то, что он осмелился не успокоиться с нами и не удовлетвориться нашими величавыми личностями и отказался принять их за свой идеал, а искал чего-то получше, чем мы... Ну, и досталось же ему за Базарова, беспокойного и торжующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм».

¹ «Литературное наследство», т. 74, 1964, кн. 2, стр. 174.

Г. Фридлиндер (в упоминавшейся работе «К спорам об «Отцах и детях») считает, что Достоевский толкует Базарова в духе своей посвященной «Современнику» статьи «Два лагеря теоретиков». Иными словами, Достоевский якобы связывает тип Базарова со «своими идейными противниками», отмечая противоречие между его «великим сердцем» и теоретическим нигилизмом. Но у Достоевского в «Зимних заметках...» его «идейные противники» говорят ясно: Тургенев отказался принять нас за идеал и искал чего-то другого. Видимо, Базаров для Достоевского имел самостоятельное значение. Главное в нем — вечное беспокойство и неудовлетворенность в противовес любой самоуспокоенности и самодовольству.

Если мы прибавим к этому тот (уже отмечавшийся исследователями) факт, что фраза Тургенева о Базарове из письма Достоевскому: «Я попытался в нем представить трагическое лицо» — подсказана недошедшим письмом Достоевского или по крайней мере соответствует его духу, — если мы вспомним этот факт, то увидим, что тургеневский персонаж отвечал собственным раздумьям Достоевского над проблемой положительного типа. Прямого совпадения, разумеется, никакого быть не может, да и сходство довольно относительное. Но оно все же есть, по крайней мере в одном важном пункте.

Позднее, в связи с замыслом «Идиота», Достоевский говорил, как невыразимо трудно в современном искусстве попытка изобразить «вполне прекрасного человека», и упоминал несколько способов ее разрешения. Один способ, когда персонаж — вроде Жана Вальжана у Гюго — «возбуждает симпатию по ужасному своему несчастью и несправедливости к нему общества». Другой способ последовательнее всего осуществлен в Дон-Кихоте: «он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон... Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному — а стало быть, является симпатия и в читателе». Наконец есть еще третий путь, как явствует уже из записей Достоевского, непосредственно относящихся к князю Мышкину, который «в самые крайние, трагические и личные минуты свои... занимается разрешением и общих вопросов»; этот способ состоит в том, что «князь если не смешон, то имеет другую симпатичную черту, он невинен...».

Легко увидеть и то общее, что стоит за всеми тремя способами — это некая несовместимость персонажа с окружающими его условиями. Тайна жизненности типа «вполне прекрасного человека» потому и достигается, что уже самим способом изображения дается намек на эту несовместимость. Ведь, по слову Достоевского, «прекрасное есть идеал», а следовательно, окружающая жизнью пока гонимое или не принимаемое. Первый способ — простейший, как бы механический: общество грубо и зримо чинит свои несправедливости Жану Вальжану. Второй и третий способы тоньше и безмерно сложнее: ведь оттого и высмеивается что-то, презирается или считается недостойным, что в нем видят нечто несуразное и чеподходящее к «настоящей жизни», в то время как в этом несуразном и прячется истинно прекрасное.

Тургенев, со своей стороны, тоже чувствовал эту проблему; в его речи «Гамлет и Дон-Кихот» есть такие строки: «Дон-Кихот смешон... но в смехе есть примиряющая и искупающая сила — и если недаром сказано: «Чему посмеешься, тому послужишь», то можно прибавить, что над кем посмеялся, тому уже простил, того даже полюбить готов».

Во всяком максимализме, в том числе и максимализме Базарова, тоже есть своя смешная сторона. Человек, который во всем сомневается и все высмеивает, нет-нет да покажется сам смешным, грустно смешным. По крайней мере один раз случается такое с Базаровым в сцене, когда он, подтрунивая по своему обыкновению над непонятливостью мужика, сам был в его глазах «чем-то вроде шута горохового». В этот момент в фигуре Базарова сквозит нечто донкихотское.

Однако та несовместимость, о которой мы говорили, больше выражается в Базарове своим, оригинальным способом.

Человеку обычно многое прощается, если суровые требования, обращенные к другим, он предъявляет и к себе. Базаров к себе беспощаден. Мы видели, что это его этическая позиция. А между тем характерна и манера ее проявления. У большинства людей, скажем, нежность обнаруживается нежностью, а сомнение — сомнением. У Базарова не так. Он, судя по всему, глубоко любит родителей, но только раз, словно против воли, признался он Аркадию, как он их любит; обычно же он прячет свое чувство за сужо-

ватой, суровой сдержанностью¹. Базаров таит про себя свои лучшие движения, словно считая их несовместимыми, неуместными в «нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни».

И чем больше Базаров собой недоволен, тем он внешне самоувереннее и более резок. На примере его любви мы знаем, что происходит: Базаров ломает себя. Но можно ли считать, что, скажем, и отрицание поэзии — его последнее убеждение? Когда Инсаров говорит, что он не любит стихов и не знает толка в искусстве, то это мнение в известном смысле окончательное. В Базарове — все открыто, все не завершено. Он сам как-то сказал Аркадию: «Экой ты чудак!.. Разве ты не знаешь, что на нашем наречии и для нашего брата «не ладно» значит «ладно»?» Благодаря этому Базаров скрывает в себе богатейшие неожиданности, да и для самого себя он является в известной мере загадкой. Возникает, как говорил Достоевский, уважение к «незнающему себе цены прекрасному».

А как же понимать замечание о трагическом характере Базарова? «Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобая, честная — и все-таки обреченная на погибель — потому, что она все-таки стоит еще в преддверии будущего...» В этих словах (как и в сходном толковании Базарова в книге М. Авдеева) видят указания на ранний, первоначальный этап конкретного движения, в котором застрельщик Базаров обречен «на погибель». Однако даже если брать ситуацию романа локально-ограниченно, то и тогда многие ее признаки противоречат этому: и время действия — весна 1859 года, — и появление Ситниковых и Кукшиных, характеризующих обычно сравнительно высокую стадию движения, когда быть его участником стало уже довольно почетно, но еще не слишком опасно. (Писарев, кстати, специально подчеркнул: «Ситни-

ковых и Кукшиных у нас развелось в последнее время бесчисленное множество... Истинных прогрессистов... у нас очень немного... но зато не перечесть того несметного количества разнокалиберной сволочи, которая тешится прогрессивными фразами, как модною вешицею, или драпируется в них, чтобы закрыть свои пошленькие поползновения».)

И тем не менее Базаров — всегда в начале, всегда «в преддверии будущего». В данном случае мы говорим уже о философской ситуации, которая по-своему имеет непреходящее значение, как имеют его «вечные образы». Чтобы понять трагизм Базарова, нужно помнить, что он максималист, что его устроило бы разрешение человеческих вопросов в некоем идеальном, окончательном смысле. Удовлетворить Базарова — человека, не верящего в гармонию! — могла бы только наступившая повсеместно полная гармония, когда, как мечтает герой «Сна смешного человека» Достоевского, все бы устроилось сразу и целиком. Сразу и целиком — это значит нигде и никогда. Тем не менее можно по-разному подойти к произведениям, выдвигающим максималистские требования: можно от них отмахнуться, а можно и видеть в них пример для вечного подражания. Нередко мы вступаем на первый путь и по какой-то странной избирательности обрушиваем град упреков именно на те образцы, которые предъявляют к нам повышенные моральные требования. Так произошло с «Отцами и детьми». Базарова и его создателя поучает каждый, кому не лень, от нашего брата, литературоведа, до пишущего сочинения школьника, у которого от всего этого богатейшего образа остается в сознании лишь звонкая обойма афоризмов типа: «Рафаэль гроша медного не стоит» и «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта».

Закончим нашу статью одним общим замечанием. Сейчас нередко можно услышать слова об устарелости произведений Тургенева. Часто «устарелого» Тургенева противопоставляют Достоевскому; в этом духе высказывается и М. Бахтин в своей в целом ценной книге о Достоевском.

Понимая все значение Достоевского и вовсе не собираясь уравнивать с ним любого другого писателя, мне все же хочется тем, кто говорит об устаревшем или устаревшем Тургеневе, напомнить — отнюдь не

¹ Любопытно, до какой степени базаровская манера держать себя может вводить в заблуждение. Современный автор, говоря, что после объяснения с Одиновой «в Базарове начинается процесс какого-то неуклонного психологического скольжения», отмечает у него «также некоторое глумление над родителями» (Разрядка моя. — Ю. М.) (П. Г. Пустовойт Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» и идейная борьба 60-х годов XIX века. Издательство МГУ. 1960, стр. 124, 123).

только в связи со стапятидесятилетним юбилеем писателя — одно малоизвестное у нас высказывание. Оно принадлежит такому современнейшему по духу и стилю художнику, как Томас Манн.

Получив от переводчика Александра Элиасберга томик Тургенева, Томас Манн писал в 1914 году: «Я перечитываю сегодня Тургенева с тем же усердием и восхищением, как 20 лет назад. Я мечтаю о том, чтобы написать о нем через некоторое время большую статью — главным образом потому, что мне кажется, что Тургенева в настоящее время самым неблагоприятным и

неподобающим образом недооценивают и не уважают в пользу Достоевского (Id Gunstep Dostojewski's). Я буду рад вступить за него»¹. Значительно позднее — в 1949 году — Томас Манн говорил: «Если бы я был послан на необитаемый остров и мог бы взять с собой лишь шесть книг, то в числе их безусловно были бы «Отцы и дети» Тургенева»².

¹ Цитирую по книге: «I. S. Turgenew und Deutschland. Materialien und Untersuchungen». Herausgegeben von Gerhard Ziegengeist. 1965, Band I. Academie-Verlag. Berlin, SS. 333—334.

² Там же, S. X—XI.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Кубилюс. Поэт высокого драматизма — **Ал. Михайлов.** Слово — это дело — **А. Турнов.** Заслуженный успех. — **А. Горбунов.** Хозяин и владелец Иокнапатофы.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Желоховцев. Политика, чуждая социализму. — **Виктор Афанасьев.** Этнографическое изучение современного села. — **М. Михайлов.** Рекомендации. не сулящие удач. — **В. Георгиев.** Экономика и право.

Литература и искусство

ПОЭТ ВЫСОКОГО ДРАМАТИЗМА

Винцас Миколайтис-Путинас. Дар бытия. Перевод с литовского. **Вильнюс, 1966. 243 стр.**

Винцас Миколайтис-Путинас — один из самых крупных литовских поэтов XX века, отразивший в своей поэзии драматизм духовных исканий человека своего поколения. «Ведь я и мое поколение — люди двух эпох. Я вступил в жизнь в самый переломный момент», — эти слова героя его романа «В тени алтарей» объясняют истоки и самый характер мироощущения поэта.

Кто ищет в стихах лишь душевного успокоения, тот, перешагнув порог поэзии Путинаса, почувствует себя неуютно. Здесь редко слышится смех. Мгновения спокойной ясности здесь бесконечно коротки. Сюда заходишь, словно в старинный храм, где со всех сторон обступают высокие своды мыслей, звучит торжественная музыка слов, смотря наполненные болью глаза. Уже с 1911 года, когда вышли в свет первые стихи поэта, и до 1967 года, когда оборвалась его жизнь, Путинас учил читателя видеть в поэзии не дешую развлекательность, а сложные раздумья, драматической накал чувств.

Поэзия рождается и от ощущения счастья, чувства удовлетворения миром, собой.

Лирику Путинаса питают напряженная мысль, столкновение чувств, душевное состояние человека, очутившегося на распутье в поисках истины, которая постигается через сомнения, ошибки и муки. «Без страдания нет ни счастья, ни гворчества», — говорит поэт в одном из стихотворений. С творчеством Путинаса в литовскую лирику впервые так широко и масштабно вошла острая конфликтность.

Вынужденный по воле родителей учиться на ксендза, **В. Миколайтис-Путинас** долго и болезненно метался в идеологических и моральных тисках католических канонов, то в сомнении отступая перед ними, то мятежно ища выхода, пока в конце концов не отказался от сана священнослужителя. Противоречия между естественными человеческими желаниями и клерикальными догмами вызывали в душе поэта острый разлад. Он испытывал глубокую несудовлеворенность жизнью и самим собой. Все это рождало критическое отношение к истинам, которые вдалбливались годами, и безжалостную самокритику, тяжкие переживания, протест и тоску по полноценной жизни.

В 1916 году, во время пребывания в Петроградской духовной академии. Путинас пишет стихотворение «Рекс» («Rex»), в котором передано его тогдашнее состояние: мир раскалывается на два отдельных, самостоятельно существующих и несоединимых начала — божественное и земное, — где вопли голодных и агония умирающих нарушают божественную гармонию, а злое и мятежное сомнение рвется к престолу господню, полное иронии и скорби:

Но я, тот, кто правит с престола землей,
Не ведаю горя и боли земной,
Меня восторгают творенья господни,
Разумны они и творцы их подобны.

(Перевел Вл. Корнилов)

Конфликт между богом и человеком, между идеальными и материальными началами жизни проходит через всю раннюю лирику В. Миколайтиса-Путинаса.

Колебания поэта закончились бунтом — и против «всемогущего владыки земного», и против собственного бессилия перед божественным величием и вечностью. В небольшой поэме «Раб», где восставший раб в поисках свободы и правды сотрясает основы вселенной, нет уже страха, нет покорности перед «высшими силами». Поэт разрывает взаимосвязь между божественным и человеческим существованием, которое ни от кого не зависит и которое для него — величайшая самоценность и подлинная красота:

И я шел, покинув дом владыки,
Тайными путями к новой жизни,
И одно в душе моей звучало.
Ты не раб, не властелин, а человек.

(Перевел Д. Самойлов)

Эти слова звучат как триумф человечности, вырвавшейся из душного и мертвящего плена догм католической идеологии.

Однако и после такого бунта внутренний покой и цельность остались для В. Миколайтиса-Путинаса недостижимыми. Не без влияния эстетики символизма, которой поэт был увлечен в молодости, Путинас становится напряженно внимателен к голосу своего *alter ego*, таинственного второго «я», что, словно соглядатай, следит за каждым поступком, каждый раз требуя ответа на главные вопросы: «Какой смысл? Для чего живешь?» Это критическое «я» («Черное «я» всюду за мной следом», — говорит

поэт) безжалостно анализирует каждую мысль, всматриваясь в бездны и пропасти души. Мучительный самоанализ и стремление переделать себя — вот источники глубокого драматизма лирики Путинаса, и этот драматизм останется ее характернейшей чертой до конца.

Одна из постоянных тем лирики Путинаса — тема жизни и смерти. И в этом Путинас близок поэзии основоположника литовской литературы К. Донелайтиса, а также С. Нерис.

В лирике В. Миколайтиса-Путинаса смерть человека — страшный, неотвратимый закон бытия. Однако поэт не сдается, не падает ниц в бессильной покорности, а противоборствует, хотя заранее знает о неизбежности поражения. Так некогда он восставал против божества, защищая права человека. Так теперь он сопротивляется против небытия, защищая жизнь. В стихах, написанных в последние годы жизни, тема жизни и смерти звучит особенно остро: боль, скорбь в предчувствии смерти становятся реальным, естественным состоянием, и тревога вкрадывается в любое ощущение, в любой звук:

Скорбь, о спасибо, что снова задела!
Ты, только ты, обреченным верна.
Черную бездну души омертвелой
Соками жизни поишь ты одна.

(Перевел Л. Тоом)

Но, как и прежде, в последних стихах Путинаса остается неизменной иерархия духовных ценностей. «Гостя сумерек» бессильна перед ней. Истина, добро, красота существуют для поэта как наивысшие ценности, как объективный закон бытия. Им он остается верен и перед лицом смерти. Девизом поэта остается — через страдание, противоречия и безнадежность — вперед, к добру и правде. Без этого категорического нравственного императива невозможно представить и понять лирику Путинаса.

В печали и скорби поэта есть еще одна мощная положительная сила — неистребимая жажда свободы, которая не знает никаких компромиссов. «...нету счастья на земле превыше, чем свобода», — говорит поэт. Освободиться от всяческого рабства, трусливого уничтожения, позорного приспособленчества, угодливости, сохранить свою внутреннюю свободу — это долг каждой

творческой личности, не желающей потерять свое человеческое достоинство. Лирика Путьнаса дышит бурной энергией нравственного освобождения, героического напряжения сил и несокрушимого упорства.

Лучшие лирические творения Путьнаса питают не спокойное, прозрачное течение, а неожиданные, крутые повороты, смена и изломы настроений. В одном образе скрешиваются страдание и радость, отчаяние и мечта, горечь и просветление. И это не легкомысленные скачки настроения, не внешняя пестрота красок, а серьезный, глубокий переход из одного душевного состояния в другое.

Драматическое движение мысли, ее накал не оставляют места для спокойной описательности, многословной риторики, поэтических орнаментов. Здесь все в напряжении, движении, борении: из внутреннего поединка мысли, спора чувств рождаются лучшие лирические творения поэта. Так, в стихотворении «Капли», написанном в годы второй мировой войны, собственно, ничего другого и нет, кроме чрезвычайно интенсивного драматического ощущения, которым передается неизбежность близящегося несчастья и трагедии:

За окном — легко и быстро —
Звон капли неумолчный
Будто гость настойчиво стучится,
Бьет в окно, зовет из черной ночи.

— Динь! Один? Один? Довольно!
Это ж очень, очень больно.
Днем ли, ночью так ль, сяк ли —
Сердце выстучит до капли!
Нигуда тебе не деться.
Ведь не хватит сердца, сердца!
Ты ж: один. Один. Впусти же.
Ближе. Ближе Ближе Ближе
Настежь — окна и ресницы —
Ничего тебе не снится.
Встань Встань. В дом впусти.
Двое станем -- я и ты...

Раз! Пробыла! Сквозь туман и холод
Капля в грудь свинцовой пулей входит.

(Перевел Ю. Григорьев)

Лирику Путьнаса, ее драматизм отличает монументальность. Конфликты его поэзии рождаются на ярко освещенной арене, где бодрствуют интеллект и воля. В его стихах нет путаных ассоциаций, вычурных узоров, таких распространенных в творчестве многих поэтов XX века. В его поэзии все ясно, все взаимосвязано. Поэт не любит хрупкого, миниатюрного рисунка, весьма характерного для литовской поэзии. Он все воспринимает крупным планом, на вещи смотрит словно бы сверху и издалека, не вдаваясь в мелочи; его мазки размашисты; композиционные линии строги и точны, как в строениях классического стиля.

В последних творениях поэта символика, оставшаяся еще со времен первых книг, сочетается с четкой и лаконичной графикой образов, характерной для современной поэзии, а возвышенная мелодия стиха, его ритмика с упругими ударами повторов уживается с прозаической лексикой (это сочетание прекрасно почувствовал и передал художник книги В. Валюс, создавший, пожалуй, лучшие в Литве иллюстрации к поэзии).

«Я останусь верен человеку и себе самому», — писал В. Миколайтис-Путьнас, начиная перед смертью свою последнюю книгу стихов «Окно». Без этой верности невозможна поэзия вообще. Однако каждый поэт верен человеку по-своему, и в этом причина разнообразия поэзии. Верность В. Миколайтиса-Путьнаса человеку — верность конфликтам и противоречиям, свойственным человеку XX столетия. Сохранить безмятежный душевный покой и равновесие в это время можно было, лишь оставаясь равнодушным к великим битвам эпохи и оправдывая «исторической необходимостью» подлость, произвол и насилие. Большой поэт не в силах молча пройти мимо той борьбы и противоречий, которые переживают его современники и которыми полна его эпоха.

В. КУБИЛЮС.

Вильнюс.



СЛОВО — ЭТО ДЕЛО

Н. Леонтьев. У песенных родников. Стихи. «Советский писатель». М. 1968. 102 стр.

Имя Николая Леонтьева в сороковые годы стало известно в двух литературных ипостасях: как соавтора Маремьяны Голубковой по повестям-сказам из трилогии «Мать-Печора» и как критика, автора острых полемических статей по проблемам фольклора и фольклористики. Но очень немногие знают Леонтьева-поэта, автора лирических стихов, изредка, на протяжении двух десятилетий, появлявшихся в периодике. Ныне книга лирики «У песенных родников» вышла в издательстве «Советский писатель».

Леонтьев-поэт очень близок Леонтьеву — повествователю и фольклористу, он их продолжение или, лучше сказать, дополнение. Уже само название книги обращает читательское внимание на ее близость к народно-поэтической стихии. А потом, при чтении, видна и географическая близость к песенным родникам — печорскому, мезенскому и двинскому Северу, своеобразным заповедникам фольклора.

Эстетика самоцветного русского слова, которую исповедует Николай Леонтьев, питается его верой в неисчерпаемую талантливость народа-языкотворца, в необычайную силу выразительности творимого народом языка. Народное «краснословье» — песни, сказки, были, частушки, присказки, половицы и поговорки — вот кладовая несметных речевых запасов, отражающих в себе весь житейский, трудовой, социальный и нравственный опыт народа.

Теперь представьте себе, что поэт попытался сказать в стихах о нашем времени средствами вот этой традиционной выразительности, ограничивши употребление книжной лексики. Может показаться, что это грозит искусственностью. Но Леонтьев тематически крепко привязан к русскому Северу, к его крестьянскому укладу, где старина и новь уживаются в весьма своеобразном сочетании и где народная речевая традиция довольно устойчива. Да и слово красное по-прежнему любят и ценят здесь.

Герой нескольких стихотворений Леонтьева — Матвей Перегуда, мастер краснословья — имеет на этот счет определенное мнение:

Говори кругло да ладно,
Речью бей, казни, ласкай

И с иголки, нарядной,
Думу в люди выпускай!

Так оно и есть, уважают северяне человека за умение говорить «кругло да ладно».

Леонтьев подходит к этой теме и еще с одной, может показаться — неожиданной стороны. Он вспоминает о прежних временах, когда в каждой деревне были «свои» колдуны и колдуньи, по крайней мере слыли ими («На берегах Печоры и Двины...»). И будто бы от их недобрых глаз «трава в лугах желтела, корень сох, в лесах и тундрах зверь рыскающий дох...», а от власти их «чернокнижных слов» происходили всякие чудеса.

Теперь, с высот цивилизации, ничего не стоит, конечно, посмеяться над темнотою и наивностью наших дедов и прадедов. Но поэту дорого то, что предки наши фанатически верили в силу слова, в его «сокрытую таинственную власть». Для них слово означало дело.

В стихах Николая Леонтьева не только самоцветная речь напоминает о близости к фольклору, но и народно-песенный прием развернутого сравнения, и локальный троп, и даже постоянный эпитет. Леонтьев говорит в одном месте: «И я не сам придумал эти песни, — я эти песни только записал...»

Погружаясь в народно-песенную стихию, поэт чувствует себя легко и непринужденно. Серьезное содержание, как это сплошь да рядом бывает в народных песнях и частушках, сдобрено солоноватым юмором. Так достигается иллюзия подлинности.

Наливай, сынок, вина,
Лей полней, как жизнь полна!

Это прежде лили вина,
Как и жили, — пополюину.

Мы смотрели вполуглаз,
Мы плясали вполупляс.
Песни пели вполуголое.
Даже рожь и та у нас
Колосилась вполуколот.
Вполумеру родилась.

Стихи, вошедшие в книгу, писались за протяжении почти трех десятилетий; может быть, поэтому книга не дает оснований говорить об идейно-тематической и стилистической цельности. В ней нашли отражение

рыбачкий быт и любовь, радость и печаль, труд и забавы, скромная, не показная героика жизни, которую в рыбацко-крестьянской среде, конечно, никто за героика и не почитает. Но, с другой стороны, можно встретить в книге и плоские, сладкопёвные стилизации, на которых лежит явственный отпечаток времени — конца сороковых — начала пятидесятых годов.

В книге Леонтьева можно особо выделить цикл стихов, где лирическим героем выступает уже упоминавшийся Матвей Перегуза, лицо вымышленное, собирательное, перекочевавшее в стихи из повести «Мать-Печора». Балагуршик и остролов, он часто как бы заменяет самого поэта и не скупится на затейливое слово.

Однако поэт тоже настраивается часто как бы на его лад, и вот тут в ряде случаев ему изменяет чувство меры. Стилизация всегда выдает себя неумеренностью. Народному, демократическому строю и духу книги «У песенных родников» противоречит такое высокомерное неприятие иной «говори», кроме «тутошней» («Говоря»). Ведь и у самого Леонтьева легко обнаружить кое-где смешение стилей, такое соседство неона и полона. Ведь и у него, с одной стороны — «небеса лазоревы и ба-

тистовы облака», а с другой — «изысканный» троп: «среднерусской обычной ночи ослепительный негатив!».

В двух-трех стихотворениях стилизация напоминает уже и некоторые отнюдь не лучшие изделия литературного происхождения. И тогда эффект получается примерно такой:

Неспроста теперь в народе
Песни рождаются.
В нашу жизнь,
 как рыба в воду,
Песня просится.

Краше аленьких цветочков,
Краше радуги
Расцвела она садочком
Виноградовым.

После этого ироническое высмеивание некоего фольклориста Виталия Гурьевича Осколкова («Фольклорист»), собирающего «слова народные о счастье», выглядит не слишком убедительно. Сильная сторона поэтического творчества Н. Леонтьева в другом — органическом продолжении народно-песенных традиций, в поисках насыщенного, весомого слова, слова, нужного и важного, как дело.

А. Л. МИХАЙЛОВ.

★

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ

А. Македонов. Николай Заболоцкий. Жизнь. Творчество. Метаморфозы. «Советский писатель». Л. 1968. 363 стр.

В этом году Николаю Алексеевичу Заболоцкому исполнилось бы шестьдесят пять лет. В этом же году мы отмечаем грустную дату — десятилетие со дня его безвременной кончины

Мargarита Алигер вспоминала однажды о том ощущении неловкости, которое она испытала, когда в 1955 году пришла к поэту, чтобы попросить у него стихи для «Литературной Москвы». Заболоцкий показал ей все, что к тому времени было им издано, — три тоненьких сборника стихов, разделенных многими годами: «Столбцы» (1929). «Вторая книга» (1937) и «Стихотворения» (1948), да и то в последней книге основное место занимал перевод-переложение «Слова о полку Игореве».

Только после выхода сборника стихов поэта в 1957 году, и в особенности после-

дующих, появившихся уже тогда, когда автора не было в живых, творчество Заболоцкого стало доступно широкому читательскому кругу.

Примерно такими же темпами развивалось и изучение творчества поэта, и лишь в настоящее время стали выходить не только статьи, но и книги, посвященные произведениям Заболоцкого, его нелегкой жизни и писательской судьбе.

Одной из таких книг является и работа А. Македонова, первая статья которого о Заболоцком появилась еще при жизни поэта, а затем в расширенном виде вошла в написанные критиком «Очерки советской поэзии» (1960).

Я упоминаю об этой статье не просто из рецензентской дотошности, но потому, что между ней и книгой — «дистанция огромно-

го размера», порожденная тем большим исследовательским трудом, который проделал автор за последние годы.

Даже люди, специально занимавшиеся творчеством Н. Заболоцкого, найдут в книге А. Македонова множество нового. Критик собрал ряд неопубликованных писем поэта, воспоминаний о нем, даже несколько затерянных в личных архивах его произведений. Читая книгу, убеждаешься, что автор проявил и отличную журналистскую «хватку» — побеседовал с самыми разными людьми, не упуская ни малейшей «ниточки», которая могла привести к обнаружению любой, пусть самой скромной детали жизни Заболоцкого. И часто это упорство принесло заслуженные плоды: так появились свидетельства об интересе Эдуарда Багрицкого к первой книге поэта, об отношении к ней же О. Мандельштама, интересные воспоминания А. Гитовича, письма С. Маршака о Заболоцком и других поэтах — «обернутах», товарищах его литературной молодости.

А. Македонов стремился воссоздать творческий путь Заболоцкого во всей его сложности, в связи с реальной общественной и литературной обстановкой его времени. Интересны высказанные критиком соображения о «левом искусстве», о соотношении между поэзией Заболоцкого и живописью П. Н. Филонова.

Значительно углубилась и уточнилась по сравнению с прежней статьей А. Македонова трактовка первой книги поэта — «Столбцы». Много верного и тонкого в анализе таких стихов, как «Красная Бавария», «Новый быт», «Свадьба». На мой взгляд, тут убедительно доказывается, что пафос «Столбцов» «отражал накал реальной борьбы с опасностями мещанско-бюрократического перерождения и «переодевания», «переименования» старого мещанского мира». Правильно привлекает внимание читателя А. Македонов и к тем мотивам и образам книги, где уже предчувствуется «будущий Заболоцкий, который сумеет так удивительно воспеть «чудо земли» и ее «метаморфоз», чудо творческого труда».

Следует сложившейся в последние годы в критике традиции, А. Македонов вдумчиво

и обстоятельно анализирует поэму «Торжество земледелия», приходя к верному заключению, что в ней «был поставлен ряд проблем, которые затем разрабатывал Заболоцкий всю свою творческую жизнь, к которым не раз возвращалась наша поэзия и к которым она еще больше будет возвращаться в дальнейшем».

«Более прямой и страстный лиризм» свойствен, по мнению А. Македонова, многим стихотворениям поэта последних лет его жизни. Критик формулирует сущность «метаморфоз», происходивших с Заболоцким в эту пору, отмечает многообразие его творческих поисков.

Работа А. Македонова разделила досадную участь многих наших изданий: она бесконечно долго совершала путь от рукописи до книги. Быть может, поэтому в ней не нашли отклика некоторые сравнительно недавние труды коллег автора по избранной им теме. Однако мне хочется отметить другое упущение автора, которому уже труднее найти оправдание. Одной из первых серьезных и обстоятельных статей о творчестве Н. Заболоцкого была появившаяся, к сожалению, уже после смерти поэта статья И. Роднянской в журнале «Вопросы литературы» (№ 1, 1959). Здесь, в частности, было впервые внимательно прослежено развитие темы природы на разных этапах его поэтического пути. Очень подробно говорит об этом и А. Македонов, но нигде не упоминает свою предшественницу, которой адресует лишь упреки в неверной трактовке стихотворения «Некрасивая девица». А уж А. Македонову ли не знать, как редко берут вниманием критиков братья-писатели, и ему ли поддерживать эту печальную традицию? В свое время меня поразило, когда Сергей Наровчатов опубликовал в газете «Известия» пространную статью с горькими укоризнами по адресу критиков, пишущих о поэзии, — и без единого критического имени. Но когда твоей работы не замечает уже гвой собственный товарищ по этому «вредному цеху», делается совсем досадно.

И, не желая повторять такой оплошности, я тороплюсь поздравить А. Македонова с заслуженным успехом.

А. ТУРКОВ.

ХОЗЯИН И ВЛАДЕЛЕЦ ЙОКНАПАТОФЫ

У. Фолкнер. Осквернитель праха. Роман. Перевод с английского М. Богословской-Бобровой. «Иностранная литература», №№ 1, 2, 1968.

В приложении к одному из лучших своих романов «Авессалом, Авессалом!» Фолкнер напечатал карту округа Йокнапатофа — места, где разворачивается действие большинства его книг. Это не обычная карта. На ней не только подробно нанесен рельеф местности, но и отмечены пункты, в которых происходят важнейшие события романов писателя. Внизу, под картой, указано, что площадь округа 2400 квадратных миль, его население—15 611 человек (белых 6298, негров 9313), а «единовластным хозяином и владельцем» всей Йокнапатофы является сам Уильям Фолкнер.

Талант «хозяина и владельца» Йокнапатофы настолько самобытен и так сильно его воздействие, что сегодня для многих читателей мира, отдаленных от Америки огромными пространствами суши и моря, этот вымышленный округ порой кажется гораздо реальнее всех других, действительно существующих на Юге США. Происходит это прежде всего потому, что мир, созданный воображением Фолкнера, своими корнями уходит глубоко в жизнь современной Америки, в ее историю. Взятые вместе, большинство романов и рассказов Фолкнера образуют нечто вроде грандиозной эпопеи о судьбах Юга США со времен начала его колонизации и вплоть до наших дней, эпопеи, которая занимает уникальное место не только в американской прозе, но, пожалуй, и во всей мировой литературе нашего столетия.

Эпопея эта охватывает самые разнообразные стороны жизни американского Юга, а потому и герои ее тоже чрезвычайно разнообразны по своему характеру и общественному положению. Однажды появившись, они обычно переходят из романа в роман, на наших глазах взрослеют и старятся, и на смену им приходят их дети и внуки, по-своему продолжающие традиции делов и отцов. Постепенно из сопоставления истории каждого из них возникает и облекается плотью, властно утверждаясь в нашем сознании, образ истории всей Йокнапатофы на протяжении двух с лишним столетий ее существования. Поэтому каждый роман этого цикла имеет самостоятельное значение и вместе с тем органически вписывается в общую картину целого, дополняя ее и меняя ее краски.

Таков и «Осквернитель праха» (1948), недавно вышедший в русском переводе. С некоторыми героями романа наши читатели знакомы по уже изданной у нас трилогии Фолкнера «Деревушка», «Город» и «Особняк». Мы помним, например, по-донкихотски прекраснородного, без удержу многоречивого адвоката Гэвина Стивенса и его юного, слегка наивного племянника Чарльза, или, как его называют в «Осквернителе праха», Чика Мэллсона. Знакомо нам и место действия — город Джефферсон с его узкими улочками, мостовая которых поросла травой, с его старыми, построенными еще до Гражданской войны Севера и Юга домами, с центральной площадью, куда по субботам и воскресеньям стекаются толпы празднующихся, и кирпичным зданием тюрьмы с четырьмя колоннами и галереей вдоль фасада. Да и время действия—недавнее прошлое, практически почти неотделимое от сегодняшнего настоящего,— как будто тоже совпадает с одной из частей трилогии.

Однако все это, казалось бы, уже так хорошо знакомое нам прежде, поворачивается в «Осквернителе праха» своей новой гранью. Фолкнера интересует теперь совсем другая сторона жизни Йокнапатофы, хотя и связанная с историей возвышения и гибели Флема Сноупса, с торжеством вульгарно-меркантильной стихии «сноупсизма», но связанная лишь постольку, поскольку все в Йокнапатофе неразрывно переплетается и обуславливает друг друга. В «Осквернителе праха» меняется угол зрения автора, меняется и перспектива и вперед выступает новый для нас герой—старик негр Лукас Бичем, подчиняющий своему влиянию и подавляющий собою всех остальных действующих лиц книги.

Роман как раз и начинается на той самой уже знакомой нам центральной площади Джефферсона перед зданием тюрьмы. Сюда брошен Лукас Бичем по обвинению в убийстве белого человека. Никаких сомнений в виновности Лукаса как будто не может быть—его схватили возле тела убитого буквально через несколько минут после того, как прогремел выстрел. И вот сейчас он в тисъме, перед которой постепенно начинает собираться толпа, готовая в любую минуту зорваться к нему в камеру и линчевать его.

Ждут лишь «законных» мстителей—родственников убитого: по правилам игры они должны возглавить и направлять действия всех остальных. Казалось бы, участь Лукаса решена. Такова сила веками укоренившихся традиций Йокнапатофы, что ни один человек в целом округе, да и во всем штате не станет защищать негра, стрелявшего белому в спину. «Да и на всем Юге?» — спрашивает своего дядю шестнадцатилетний Чик Мэллисон. «Да. И на всем Юге», — отвечает ему Гэвин Стивенс. И это мнение либеральнейшего из либералов Йокнапатофы.

Но Гэвин Стивенс ошибся. Целиком уйдя в свои умозрительные представления о жизни Юга, он не смог предугадать, что события очень скоро примут совершенно неожиданный поворот, и юный Чарльз Мэллисон как раз и окажется тем единственным человеком, который вопреки непреложности поверит в невиновность Лукаса Бичема и отважится спасти его.

Встретившись с Лукасом в тюрьме и сам еще как следует не веря в возможность успеха, Чик все же решает испытать свои силы. К мальчику присоединяются его приятель негр Алек Сэндер и почтенная старая леди мисс Хэбершем, которая выросла вместе с покойной женой Лукаса Молли. С этого момента начинаются их многочисленные приключения, следующие одно за другим в лихорадочно убыстряющемся темпе и чрезвычайно напоминающие всем нам хорошо знакомые приключения Томаса Сойера и Гека Финна. На это сходство сразу же обратили внимание почти все американские критики (Хау, Викери и другие), назвав «Осквернителя праха» современной версией «Гекльберри Финна». И действительно, хотя Америка Фолкнера очень далека от Америки Марка Твена (уже по одному тому, что их разделяет около ста лет), не заметить литературной преемственности этих двух книг просто невозможно.

Дарование Фолкнера так многогранно, что почти каждая его новая книга из цикла о Йокнапатофе по форме резко отличалась от предыдущей. И в «Осквернителе праха», оставаясь верным себе, он вновь выступил в неожиданном амплу блестящего мастера авантюрно-увлекательного сюжета. Но так же, как и у Твена, романтика юношеских приключений—отважные и находчивые мальчишки, спасающие жизнь человека, — уравновешивает собой другую, философскую сторону книги. Подобно тому, как совмест-

ное путешествие Гека и негра Джима по Миссисипи помогло Геку найти себя, непростые отношения Чика Мэллисона с Лукасом Бичемом сыграли решающую роль в духовном развитии Чика. Так постепенно и незаметно, как бы нарочно отвлекая наше внимание в другую сторону, Фолкнер на материале запутанной сюжетной интриги строит сложный психологический «роман воспитания» юного героя в условиях современной Йокнапатофы.

В прошлом жизнь была размеренней, спокойней, и казалось, что даже само время идет намного медленнее, чем теперь. Процесс развития и воспитания личности героя в романах, которые мы считаем сейчас классическими образцами этого жанра — в «Вильгельме Мейстере», «Давиде Копперфильде» и даже в «Подростке» Достоевского, — шел очень долго, часто годы. Фолкнер, всеми своими нервами чувствующий современность, не может ждать столько. Чик Мэллисон перерождается буквально на наших глазах, за три коротких дня, в течение которых события книги стремительно следуют одно за другим. Таковы темп жизни и сила ее внутреннего напряжения, что на наших глазах за этот маленький промежуток времени обманчивая гармония детского мировосприятия Чика безвозвратно рушится, и на наших же глазах он вступает в бурную пору юности—время самостоятельного переосмысления и проверки духовных и моральных ценностей окружающего мира.

Конфликт старого и нового, столкновение традиций «отцов» и бунтарства «детей» — одна из главных проблем книги. В провинциальном, замкнутом изнутри обществе Йокнапатофы, где родился и вырос Чик, идеи и обычаи уже давно и прочно застыли. Как будто бы застыли и взаимоотношения между отдельными людьми, классами и даже целыми расами людей. Но это призрачное равновесие, дающее неожиданные трещины в своих, казалось бы, самых надежных местах. Из трилогии мы помним, как постепенно на смену старым семьям аристократов-плантаторов начинает приходить новое поколение дельцов-стяжателей типа Флема Сноупса, беззастенчиво пробившегося из низов на самые верхи местного общества. В «Осквернителе праха» ставится другой, быть может, самый сложный и трудноразрешимый из всех вопросов Йокнапатофы — вопрос взаимоотношения двух рас, населяющих округ (вспомним, что негров в

Йокнапатофе в полтора раза больше, чем белых).

Почти весь роман написан в форме огромного, непрестанно несущегося вперед внутреннего монолога Чика Мэллсона. Поэтому и его духовный кризис открывается в первую очередь как смена интонаций этого монолога, который постоянно возвращает и вновь и вновь заставляет нас переосмысливать историю отношений юного героя книги с Лукасом Бичемом.

Поначалу Чик целиком в плену традиций Йокнапатофы. Он видит в Лукасе старого, не в меру упрямого и заносчивого негра, не больше. В детстве Чик думал о нем, выражаясь словами самого Фолкнера, «как думал любой белый в здешних краях, во всей округе, на протяжении многих лет: «Мы его сперва заставим быть негром. Он должен признать, что он негр. А тогда, может быть, мы и согласимся считать его тем, чем ему, по-видимому, хочется, чтобы его считали».

Но идет время. Как бы исподволь жизненный опыт мальчика наслаивается и вступает в противоречие с издавна укоренившимися идеями окружающего мира. Постепенно отношение Чика к Лукасу начинает терять привычную безличность («негр, как и все другие»), приобретая все большую и большую теплоту и гуманность. Арест старого Бичема и грозящий ему суд Линча дают мощный толчок этому процессу. Рамки традиционных представлений Йокнапатофы, уже давно застывшие для взрослых, пока еще непрочны и подвижны для Чика. И бурно развернувшиеся события книги заставляют его пробить в них брешь, бросить вызов старому. Доказать своими действиями не только самому себе, но и всей Йокнапатофе, что Лукас Бичем не просто негр, потомок рабов, но прежде всего человек, чьи права всегда считались священными. Именно к этому и сводится основной итог столь быстро развернувшегося «воспитания» юного героя книги.

В сложной общественной иерархии Йокнапатофы Лукас претендует на исключительное положение, и это подчеркнуто тем особым местом, которое он занимает в структуре «Осквернителя праха». Если Чик с его неустоявшимися, меняющимися взглядами, с его потребностью действием проверять слова все время находится в стремительном движении вперед, то Лукас, как бы в противоположность ему, остается неподвижен почти на протя-

жении всей книги. Тем сильнее ощущается его влияние на окружающих, его умение подчинить их своей воле. Тем сильнее контраст между его внешним спокойствием, непроницаемой невозмутимостью и вечным внутренним напряжением, неотступным желанием всегда и везде утвердить свое человеческое достоинство и независимость. Как раз такое поведение обычно и вызывает кровавые вспышки насилия, которыми пестрят страницы литературы и самой жизни Юга США.

Как бы застыв почти в полном бездействии, за которым угадывается непоколебимая уверенность в собственной правоте, Лукас Бичем в движении событий книги образует нечто вроде «магнетического центра». Вокруг него вращаются все остальные действующие лица романа, вынужденные силой обстоятельств выразить свое отношение к традициям Йокнапатофы. Сам же Лукас уже давно научился жить, не принимая и открыто игнорируя их. Навсегда связав свою судьбу с судьбой родного края, старый Бичем в то же время бросил ему вызов, за которым последовала борьба. И выйти из нее победителем Лукасу помогла его непреклонная сила духа и сознание собственной правоты. Эти качества и сделали его, быть может, самым сильным и цельным из всех героев позднего Фолкнера.

Пространные речи Гэвина Стивенса, вклинивающиеся в развитие действия книги, как бы выносят рассказ о спасении Лукаса Бичема за рамки единичного и случайного, связывая его с широкими проблемами истории Юга и тем самым органически вписывая «Осквернителя праха» в традицию так называемой южной литературы США. Неразрывно связанная с судьбой своего родного края, историческое развитие которого обособило его от Северо-Востока и Запада страны, эта литература заметно выделяется на общем фоне эволюции американской художественной мысли. Возникшая множество десятилетий назад, задолго до Гражданской войны, разделившей Америку, она достигла своего расцвета в нашем столетии—времени окончательного разрушения региональной обособленности южных штатов. С американской литературой Юга XX века связаны имена Томаса Вулфа, Эрскина Колдуэлла, Теннесси Уильямса, Маргарет Митчелл, Уильяма Стайрона и многих других талантливых писателей. Каждый из них по-своему подходит к истории и современности

своего родного края, но всех их объединяет глубокая любовь к нему и боль за его трудную судьбу. Есть эта любовь и боль и в книгах Фолкнера, и «Осквернитель праха» — не исключение среди них. Когда писатель устами Гэвина Стивенса высказывает веру в грядущее возрождение Юга изнутри, собственными силами, ясно, что его надежды связаны с новым, молодым поколением ровесников Чика Мэллсона, в чьих руках находится будущее.

Вскоре после опубликования «Осквернителя праха» Фолкнеру была вручена Нобелевская премия (1950). Получая ее, писатель выступил с заявлением, которое стало впоследствии широко известно во всем мире. Фолкнер сказал: «Я верю, что человек не только все претерпит, но и выстоит. Он бессмертен — не потому, что он один из всех существ обладает голосом неистощимой силы, но потому, что он имеет душу, имеет дух, способный к состраданию, самопожертвования

нию и стойкости». Нет сомнений в том, что эта гуманистическая концепция человека нашла свое отражение и в «Осквернителе праха», одном из самых знаменитых среди поздних романов Фолкнера...

На русской карте Йокнапатофы стерлось еще одно белое пятно. Не беда, что мы от конца движемся к началу, знакомясь прежде всего с поздними романами писателя. Важно, что самое знакомство происходит. Можно надеяться, что в недалеком будущем одно за другим исчезнут и все остальные белые пятна этой карты. Только тогда мы сможем сопоставить внутреннее спокойствие и уверенность в себе зрелого Фолкнера с эмоциональным подъемом смелых экспериментов и блестящих открытий его молодости, по достоинству оценим многообразие таланта писателя и ясно представим себе то место, которое он уже давно и по праву занимает в мировой литературе.

А. ГОРБУНОВ.

★

Политика и наука

ПОЛИТИКА, ЧУЖДАЯ СОЦИАЛИЗМУ

- Корни нынешних событий в Китае. Политиздат. М. 1968. 63 стр.
 Ж. Видаль. Куда ведет Китай группа Мао Цзэ-дуна. Перевод с французского. «Прогресс». М. 1967. 300 стр.
 Н. И. Капченко. Пекин: политика, чуждая социализму. «Международные отношения». М. 1967. 231 стр.
 Л. П. Делюсин. «Культурная революция» в Китае. «Знание». М. 1967. 48 стр.
 Г. Елисеев, А. Крушинский, В. Милютенко. Кричащие батальоны. Так называемая «великая пролетарская культурная революция» Китая вблизи. «Молодая гвардия». М. 1967. 127 стр.
 В. Л. Жуков. Куда ведет политика Мао. «Международные отношения». М. 1967. 55 стр.

События в Китае уже третий год привлекают тревожное внимание всего мира. Советская общественность по понятным причинам испытывает особое желание знать, что же происходит в соседней стране, с которой после освобождения Китая в 1949 году нас соединяли отношения братской дружбы.

Между тем неугасающий интерес к Китаю долгое время утолялся лишь в слабой мере. В шестидесятых годах оттуда поступало мало сведений, да и эта информация не шла дальше газетных сообщений. Тем отраднее отметить, что несколько книг и брошюр, выпущенных нашими издательствами в 1967—1968 годах, отличает попытка научного, трезвого подхода к китайской действительности,

стремление подробно и точно описать и по возможности ясно проанализировать создавшееся положение. Эти книги, разумеется, вышли по горячим следам событий, ни одна из них не может претендовать на исчерпывающее освещение даже отдельной проблемы, но, взятые вместе, они дают довольно обширный материал для размышлений о сегодняшнем и завтрашнем дне Китая.

Принципиальный подход к событиям в Китае, их общая оценка с позиций марксистско-ленинской теории даны в брошюре, изданной Политиздатом, которая включает в себя три статьи журнала «Коммунист» (№№ 6—8, 1968). Здесь содержится классовый анализ событий в Китае, их исторических причин, особенностей развития КПК,

которые привели к возможности появления маоизма и поставили под угрозу само существование партии.

Книги очень различны по характеру.

Жан-Эмиль Видаль, корреспондент «Юманите» в Пекине, в своей книге сосредоточил внимание на истоках нынешней «культурной революции». Его анализ подкреплен личными впечатлениями. Автор начинает с 1958 года, поэтапно рассматривая становление националистического маоцзэдуновского курса. Особенно содержательны такие главы и разделы, как «Ревизия решений VIII съезда КПК», «Обожествление Мао Цзэ-дуна», «Стриптиз и импрессионизм». Ж.-Э. Видаль умеет писать интересно, его книга — отличная публицистика. Он внимателен и к вопросам культуры в Китае.

По сравнению с книгой французского журналиста монография Н. И. Капченко проигрывает в изложении, умении подать материал. Язык страдает канцеляризмами и газетными штампами, но по содержанию она весьма богата. Жаль, что автор не придал своим формулировкам большей яркости, не сделал книгу более публицистической, зато его сильная сторона — в обстоятельной аргументации. Например, проблему культа личности в Китае Н. И. Капченко разбирает глубже Видаля и во многом его дополняет.

Обе эти книги охватывают широкий круг вопросов, анализируя их с разной степенью проникновения в материал. Три другие посвящены более частным проблемам. Журналисты Г. Елисеев, А. Крушинский, В. Милютенко успешно раскрыли лицемерие маоистского выражения «великая пролетарская культурная революция», показав его подлинное значение. Ими также поставлен вопрос о судьбах молодежи, рассказано о разгоне китайского комсомола, о насилиях хунвэйбинов. Жаль, что их книжка «Кричащие батальоны» издана небрежно и изобилует опечатками.

Вл. Жуков назвал свою книжку «Куда ведет политика Мао», что несколько шире ее содержания. Его работа ценна прежде всего подбором и анализом высказываний американских политиков о Китае, ценна разоблачением тайных, а теперь уже и явных точек соприкосновения «ультрареволюционных» принципов маоистской политики с интересами американского империализма.

Л. П. Делюсин в брошюре о «культурной революции» последовательно излагает поли-

тические события 1966-го и первой половины 1967 года. Сейчас они уже известны более подробно, опубликован ряд документов, которыми автор в то время не мог располагать. Но брошюра привлекает самостоятельностью; в частности, в ней наиболее подробно рассмотрена позиция председателя КНР Лю Шао-ци, одного из главных обвиняемых «культурной революции».

Что же произошло в Китае? Авторы рецензируемых книг в разных выражениях, но, в общем, одинаково, отвечают на этот вопрос: группа Мао Цзэ-дуна провела контрреволюционный государственный переворот, который ставит под угрозу социалистические завоевания китайских трудящихся. Под лозунгами «Взять власть!», «Огонь по штабам!» и т. п. маоисты отняли власть у законных, избранных народом государственных органов, подвергли разгрому — в центре и на местах — организации Коммунистической партии Китая.

Непосредственной предысторией «культурной революции» явился провал авантюристического экономического курса Мао. Соблазняя партию и страну, как хорошо выразился Видаль, «миражем «коммунизма», он выдвинул политику «трех красных знамен», то есть новой генеральной линии, «большого скачка» и «народных коммун». Волюнтаризм в экономике привел к краху — хозяйственной разрухе и голоду. В ряде провинций, как неопровержимо свидетельствуют источники, погибли миллионы людей. Положение Мао Цзэ-дуна пошатнулось, и он решил прибегнуть к последнему средству: свалив вину на Советский Союз и на компартию Китая, расправиться с оппозицией.

Что же сделало возможным попытку контрреволюционного переворота? Во-первых, националистические ошибки КПК, изолировавшие ее от международного коммунистического движения; во-вторых, культ личности Мао Цзэ-дуна, который позволил ему противопоставить себя партии; далее, контроль маоистов над вооруженными силами и карательными органами и, наконец, наличие в стране широкого недовольства, которое организаторы переворота искусно обратили в свою пользу. Сейчас очевидно, что многие участники «культурной революции» ждали от нее перемен к лучшему, а на самом деле лишь усугубляли кризис. Мао Цзэ-дун привел в движение силы социальные. Это армия и молодежь в значительной

своей части. Учащаяся молодежь выступила застрельщиком, хотя, конечно, не она была главной силой: за ее спиной стояла армия, обеспечившая безнаказанность погромщиков.

Авторы рассматриваемых книг объективно освещают указанные обстоятельства, но, к сожалению, не дают социального анализа природы этих сил, а он необходим для ясного понимания недуга, поразившего китайское общество. Некоторые соображения могли бы дополнить картину.

Далеко не все студенты стали хунвэйбинскими, многих втянули в движение прямыми угрозами, но следует сказать о том меньшинстве активистов, которые сами называли себя «революционным меньшинством» и действовали с яростью фанатиков. Кто же эти молодые люди? Состав китайского студенчества был неоднороден: наряду с людьми более или менее подготовленными из семей заводских рабочих, служащих и интеллигенции в вузы по особым квотам принимали сельскую молодежь. Если горожане могли справиться с программами, то деревенским приходилось туго. До поступления в вуз, как рассказал мне один из будущих хунвэйбинов, он прочел только школьный учебник: других книг в деревне не было. А он был любознательный парень и прочитал учебник весь, с отрывками о Гавроше и из Чехова, которые уже не были обязательными.

— Читали ли вы газеты? Например, «Жэньминь жибао»? — спросил я его.

— Я прочел несколько номеров, — ответил он и объяснил, что газету читают только кадровые работники, а не крестьяне.

Среди таких полуграмотных студентов многие, конечно же, не успевали в занятиях при всем своем желании учиться, и приходилось их отчислять, несмотря на то, что и преподаватели, и товарищи по учебе, не жалея сил, помогали деревенским. Невежество и политическая неразвитость сделали эту часть студенчества легкой добычей маоизма.

Молодым китайцам, как пишет Ж. Видаль, внушали, что именно они истинные «стражи революции»; их уверяли, что только молодые люди, выросшие в «эпоху Мао Цзэ-дун», способны понять его идеи лучше всех и стать, таким образом, какой-то избранной кастой; их призывали к «революционному бунту», соблазняя полной безнаказанностью и немалыми льготами, а глав-

ное, обещали перспективу быстрого «роста» при новом порядке, который они сами-де призваны создать. Ирония судьбы состояла в том, что, как уже было сказано, недовольство молодежи вызывалось именно авантюристической политикой Мао Цзэ-дуна, приведшей страну сначала к кризису, а потом к хозяйственному застою. Начиная с 1959 года молодежь не находила должного применения своим силам и энтузиазму: стройки свертывались, жизненный уровень в стране падал, и на все был один ответ — высылка в деревню для «участия в физическом труде». Попасты на завод, стать рабочим — в условиях Китая великое счастье, доступное немногим (по данным, которые приводятся в книге Н. И. Капченко, рабочий класс составляет здесь «менее 3% общей численности населения»). А ручной труд в деревне, на том же традиционном уровне, что и столетия тому назад, вел образованную молодежь профессионально к дисквалификации, а морально — к отчаянию.

Именно к недовольным обратился Мао Цзэ-дун через голову общественных организаций, и ему еще раз поверили, и когда наступит пробуждение и отрезвление, гегерь трудно сказать.

Последствия были катастрофическими как для жертв «культурной революции», так и для ее активистов, которые потеряны для созидательной деятельности, столь необходимой Китаю. Забыв об учебе и утратив жажду знаний, которая всегда отличала молодого китайца любого общественного положения, они приучаются к насилиям и кровопролитию, к безделью и истерическому митингованию, к церемониям поклонения и славословий. Огромная масса такой молодежи на сегодня стала в Китае социальной опасностью. О бесчеловечной практике «культурной революции», о скользком лицемерии демагогических маоистских лозунгов остро и много пишут журналисты комсомольской печати Г. Елисеев, А. Крушинский, В. Милютенко в книге «Кричащие батальоны».

Другая сила «нового порядка» — армия. Жаль, что о китайской армии в рассматриваемой литературе сообщается сравнительно мало сведений. Авторы уделяют внимание по преимуществу китайской военной доктрине, особенно ее внешнеполитическим аспектам. Это весьма важно и интересно, но сейчас явно недостаточно. Специфическая социальная природа и роль китайской ар-

мии настоятельно требуют дальнейшего изучения.

Китайская армия непохожа на армии других социалистических стран. Всеобщей воинской повинности в Китае нет, что легко объяснимо его огромным населением, но суть вопроса — в привилегированном положении китайских военнослужащих. Военная карьера — самая завидная в стране. Солдат сыт, в то время как в Китае голодная смерть у всех свежа в памяти как реальная угроза каждому. Солдат одет — ему не нужны талоны на одежду, которые выдаются очень скупо, чтобы обеспечить экспорт хлопчатобумажных изделий, высоким качеством которых китайская промышленность славится на весь мир. Наконец, после ухода из армии человек попадает на административную работу почти автоматически: армия — школа кадров, и он выделяется на общем фоне технической, да и общей, хотя бы элементарной, грамотностью.

Хорошо обеспеченная, одетая в добротную форму и досыта накормленная — солдаты даже на городских улицах выделяются бодростью среди бледных лиц — армия подвергалась особенно тщательной идеологической обработке в духе культа личности Мао Цзэ-дуна. Недовольство в воинских частях было поэтому для маоистов сюрпризом, от которого заскрипел весь механизм «культурной революции». Ныне армии переданы, как единственной организованной силе, все функции управления государством. Но бесспорно, что ее активность куда ниже, чем рассчитывали организаторы переворота. Даже силою военной дисциплины маоистам нелегко подавлять здоровые социалистические настроения и тревогу честных людей за будущее своей родины.

Во всей литературе, кроме сил социальных, разбирается идейная сила маоистского контрреволюционного переворота — культ личности Мао Цзэ-дуна в Китае.

В свое время компартия Китая, как и все мировое коммунистическое движение, с пониманием и поддержкой встретила идеи XX съезда КПСС. В отчетном докладе ЦК КПК VIII съезду в 1956 году говорилось: «Одна из важнейших заслуг XX съезда КПСС заключается в том, что он раскрыл перед нами, к каким серьезным отрицательным последствиям может привести обожествление личности». Съезд принял новый устав партии, в котором недвусмысленно высказался против культа

личности в стране: «В партии недопустимы действия... ставящие личность над коллективом партии». Было устранено упоминание об идеях Мао Цзэ-дуна, вместо этого съезд указал, что КПК «руководствуется марксизмом-ленинизмом». Факты неопровержимо свидетельствуют, что Мао Цзэ-дун и его группа начали ожесточенную борьбу против решений партийного съезда, за их ревизию.

Казалось бы, теория и практика культа личности должны быть окончательно скомпрометированы в Китае провалом «большого скачка» и других начинаний Мао. Но надо учесть силу идеологических традиций прошлого в сознании значительной части населения страны: культ Мао находит опору в иррационализме и религиозной практике китайского буддизма, в былом поклонении императору как «сыну неба». Культ Мао Цзэ-дуна в Китае, пишет Видаль, есть «своего рода теософия, согласно которой божество в образе живого человека способно наделять всесилием тех, кто проникнется его идеями и замыслами». Цитаты Мао Цзэ-дуна превращены в катехизис, пользоваться которым обязательно для каждого. Они зачитываются непрерывно: при пробуждении, до и после завтрака, в автобусе по дороге на работу, перед началом работы, на коротких перекурах, до и после обеда, перед уходом с работы, по возвращении домой, а вечер уделяется «углубленному изучению» все тех же цитат и «трех основных статей», которые в скором будущем все будут знать наизусть.

Хоровое распевание изречений, положенных на музыку, только мелодией отлично от бесконечных чтений сутр буддийскими монахами; развешанные по стенам цитаты заменяют заклинательные надписи, и изображения, которыми народное суеверие издревле оборонялось от нечистой силы, повторение одного и того же текста имеет не более смысла, чем убежденность китайских буддистов, что при бесцетном повторении молитвы больше надежды быть услышанным Буддой. Старый Китай украшали молитвенные колеса, которые кружились силою ветра, и люди верили, что написанный на них текст с каждым поворотом возносится к Будде. Маоисты еще не воздвигли таких колес, но сами повторяют и других заставляют повторять одно и то же с не меньшим рвением. По сравнению с повторением цитат всякая деятельность отстывает на задний

план, включая производство, столь необходимое стране. В последнее время появились сообщения, что маоисты готовят кодекс поведения, нечто вроде монастырского устава, который после публикации станет обязательным для каждого китайца и точно определит, когда и в каком случае следует исполнять чтение или пение цитат из Мао Цзэ-дун и в каких именно.

Помимо мистики, культ личности в Китае напоен национализмом. У китайского народа, в полной мере испившего чашу унижения в полукOLONиальном прошлом, обостренное национальное чувство — это объяснимо и понятно. Но не трудолюбие, не прилежание и не жажда знаний, свойственные китайскому народу, поднимаются на штат маоистами. Они величают китайский народ избранным потому, что он «первым усвоил идеи Мао Цзэ-дуна». «Председатель Мао намного выше Маркса, Энгельса, Ленина...» — объявляет Линь Бяо, второй человек после «великого кормчего», его официально признанный преемник, а толпы хунвэйбинов и цзаофаней попросту горланят: «Мао Цзэ-дун подобен солнцу!»

Верховным моральным принципом объявляется бездумное повиновение «наивысшим указаниям». Выдержанная в лучших традициях китайской вежливости отговорка: «Идеи председателя столь гениальны и глубоки, что я не могу их постичь» — не принимается: повиновения требуют и от «непонимающих»...

Анахронический режим, насаждаемый в Китае, условие своего существования видит в окостенении духовной жизни страны и параличе культуры. Учиться чему-либо, кроме «идей Мао Цзэ-дуна», считается не только ненужным, но и вредным. Сочинения Мао — единственные книги, издающиеся в стране, а в кино идут по преимуществу документальные фильмы о Мао Цзэ-дуне и его явлениях народу.

Своего искусства маоисты не создали; верные слуги «культурной революции» явно поражены творческим бесплодием. Их хватает только на гонения — создавать они не способны. Но несколько фильмов прошлых лет, которым покровительствовала Цзян Цин, супруга «великого кормчего», продолжают считаться «хорошими» даже после «культурной революции». «Вспоминаю, — рассказывает Видаль об одном таком фильме, — как в 1960 году я смотрел фильм об освобождении Шанхая. На переднем плане,

в траншее, прямой, как струна, улыбались солдаты Народно-освободительной армии, чистенькие, словно новые пятаки. Чуть поодаль взрывались бомбы. Между солдатами и дымом от взрывов всеми цветами радуги переливались на солнце цветы, посаженные по строго прямым линиям. То был законченный образец «сочетания реализма с революционным романтизмом», которое нынче, я сказал бы, прямо-таки свирепствует в Китае — и на сцене, и на экране, и в романах».

Сейчас на сценах нет новых пьес, художественные фильмы не производятся, последний китайский роман вышел в 1965 году. Творческие организации разгромлены хунвэйбинами. Театры перешли в прямое подчинение военным. Фактически вся культурная жизнь страны отдана под «опытное поле» (выражение китайской печати) для экспериментов Цзян Цин, облачившейся ради такого случая в туго затянутый военный мундир.

Так что же дальше? Куда идет сейчас Китай?

На протяжении последнего столетия китайские политики предлагали своей стране разные пути развития. В конце XIX века конфуцианцы хотели ограничиться заимствованием европейской техники при сохранении феодального общества. В политике они пытались играть на противоречиях между империалистическими державами, но, как известно, ничего хорошего для Китая из этого не вышло.

Чан Кай-ши готовил Китаю будущее американской колонии и поставщика пушечного мяса для похода на СССР. В 1949 году его планы были опрокинуты китайским народом, а чанкайшисты вышвырнуты из страны.

Победа народной революции привела к тесному сотрудничеству Китая и СССР, породила братскую дружбу двух великих народов. Китай вступил на путь строительства социализма. Но, как показали последующие события, для Мао Цзэ-дуна и его непосредственного окружения социализм в Китае был не целью, а средством. И стоило китайскому обществу приблизиться к построению социалистических отношений, как социалистический порядок пришел в противоречие с диктаторскими замыслами маоистов.

На перекрестках китайских дорог с осени

1966 года появились щиты с новыми лозунгами: «Готовьтесь к бедствиям — голоду и войне!» Маоцзэдуновцы пугают свой народ, чтобы легче было оправдать бесчинства хунвэйбинов и повсеместный военный контроль. Но дело не только в этом. Мао Цзэ-дун явно не верит в успех мирного строительства в Китае. У него нет никакой конструктивной народнохозяйственной программы. Зато проводятся ядерные испытания, строятся ракеты. «Поскольку наши хунвэйбины являются солдатами, то они будут воевать. Нужно готовиться к ведению мировой войны, великая пролетарская культурная революция — это большая военная тренировка», — пишет хунвэйбиновский листок, выбалтывая то, о чем центральные газеты из политичности умалчивают.

Антисоветизм Мао Цзэ-дуна ведет к самому оголтелому антикоммунизму. Напомним, что во время июньских забастовок во Франции маоистские отщепенцы набрасывались на коммунистов вкупе с бывшими катангскими наемниками. Великодержавный шовинистический курс группы пекинских правителей встречает поощрение со стороны наиболее реакционных кругов в странах

Запада. Внешнеполитический аспект нынешней китайской политики, и в частности обзор китайско-американских отношений на новом этапе, дает брошюра Вл. Жукова, в которой подобран богатый материал, особенно по американским источникам. Сенаторы, дипломаты и сам президент не скупятся на авансы Пекину, нащупывая общую почву. Американская политика переходит к прямому использованию маоизма против коммунистического движения.

«Культурная революция» дорого стоила кигайскому народу, нанесла колоссальный ущерб мировому коммунистическому и рабочему движению. Тем не менее авторы всех книг, упомянутых в этом обзоре, выражают уверенность, что рано или поздно трудящиеся Китая найдут в себе силы преодолеть антинародный курс нынешнего пекинского руководства. Н. И. Капченко очень удачно приводит в этой связи слова Ф. Энгельса о том, что «...бессознательная логика... истории восторжествует над сознательными нарушениями логики»¹. Друзья китайского народа верят в его социалистическое будущее.

А. ЖЕЛОХОВЦЕВ.

★

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО СЕЛА

Л. А. Анохина, М. Н. Шмелева. Культура и быт колхозников Калининской области. «Наука». М. 1964. 353 стр.

Кубанские станицы. Этнические и культурно-бытовые процессы на Кубани. «Наука». М. 1967. 355 стр.

Л. М. Сабурова. Культура и быт русского населения Приангарья (конец XIX—XX в.). «Наука». Л. 1967. 278 стр.

Этнографическое изучение современного русского крестьянства в последние годы — примерно в последние десять лет — заметно оживилось. В период с 1957 по 1967 год вышло несколько книг, среди них монографические описания отдельных сел, книга о культуре и быте современного населения Калининской области, книги о колхозниках Приангарья и Кубани — всего шесть или семь книг. Ниже пойдет речь об их содержании и качестве, а сейчас хотелось бы предупредить удивление читателя по поводу слов об «оживлении»: можно ли так говорить, не насчитав даже одной книги в год по одному из самых важных для этой науки вопросов? В нашем случае можно, потому что в предыдущий, тридцатилетний, период вообще не вышло в свет ни одной книги, посвященной этнографическому изучению современной русской деревни.

Первое десятилетие советской этнографической науки было временем ее необычайно высокого подъема, тогда было написано и опубликовано огромное количество этнографических работ, в том числе множество книг о русском крестьянстве. Соприкасаясь с фольклористикой, социологией и экономикой, развивая методику демократического народознания XIX века, советская этнография двадцатых годов тщательно изучала быт и культуру тогдашних крестьян, освещала жизнь самых отдаленных уголков России. Можно указать ряд очень серьезных исследований по отдельным селениям: К. К. Дыскового «Опыт монографического описания деревни Бурцевой Волоколамского уезда» (М. 1923), В. Н. Алексеева «Опыт моногра-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 37, стр. 98.

фического описания дер. Курово Дмитровского уезда» (М. 1923), М. Я. Феноменова «Современная деревня (Опыт краеведческого обследования одной деревни)» (М.—Л. 1925). Несколько книг о современной деревне написал в середине двадцатых годов Я. Яковлев; одна из них — «Деревня как она есть» — вызвала множество печатных откликов и была переиздана несколько раз. Обосновывая свой выбор исследуемого материала, автор писал: «Конечно, в любой губернии найдутся села и волости, в которых дело обстоит лучше, чем в описываемом районе. Но суть не в лучших, а в средних и худших волостях»¹ Большей объективностью отличались и очерки из сборников, издававшихся под редакцией В. Г. Тана-Богораза², этнографические материалы широко публиковались во многих тогдашних журналах.

Как трудно было в те времена вести работу, видно на примере Верхне-Волжской этнологической экспедиции. В 1921—1922 годах ее участники вместо денег получали в небольших количествах муку, овес, мыло, спички, подметки; на экспедицию возлагали много посторонних обязанностей: собирать экспонаты для музеев, инструктировать краеведов, вести на местах научно-просветительную работу, изучать кустарные промыслы, доставлять Государственной плановой комиссии экономические сведения и т. п. Эта экспедиция выпустила несколько сборников своих трудов. В предисловии к одному из них авторы писали, что новое в жизни крестьянства нужно изучать потому, что оно «ново лишь для нашего поколения и также когда-нибудь исчезнет или станет старым и будет переживать, как осколок нашей эпохи. Неужели необходимо выжидать, когда новые бытовые явления и формы покроются налетом паутины, прелесть которой сделает их ценными для ученых будущих поколений?.. Жизнь идет; надо успеть не откладывая зарегистрировать и осознать изломы быта деревенского населения в годы исключительной эпохи...»³. Тут слышится беспокойство настоящего исследователя, стремление сделать наиболее

важную работу — зафиксировать, записать все, что возможно: ведь время не ждет!

В декабре 1927 года происходило второе совещание этнологов Центрально-Промышленной области. В нем участвовало семьдесят восемь этнологов от восемнадцати губерний, было сделано двадцать два доклада. Совещание свидетельствовало о серьезности и широких масштабах работы по этнографическому изучению тогдашней деревни.

Однако в последующие десять лет все меньше становилось конкретных исследований, да и круг самих исследователей все более сужался. Уже в 1937 году в журнале «Историк-марксист» отмечалось, что «кадры этнографов, и без того малочисленные, были растеряны, и этнографическая работа на некоторое время почти полностью прекратилась»¹.

Такое положение вещей сохранялось без существенных перемен вплоть до XX съезда партии.

Первая после большого перерыва монография «Рязанское село Кораблино» появилась в 1957 году. Эта известная в этнографической науке книга не была, впрочем, работой чисто этнографической, что и оговорено авторами в предисловии. Даже в главе «Современный сельский быт» дается, как они пишут, «лишь обшая картина изменений в сельском быте Кораблина за советское время»². Другая книга — «Село Вирятино в прошлом и настоящем» (Издательство Академии наук СССР. М. 1958) — содержит большой историко-этнографический материал, в ней много сведений и о современном быте вирятинцев. Однако в отборе этих сведений сказались инерция украшательского подхода к действительности.

Две названные работы довольно долгое время составляли привычную этнографическую «обойму», фигурировали во всех докладах, обзорах и предисловиях. Не появилось ни новых книг по интересующей нас теме, ни статей в периодике. Обозревая содержание журнала «Советская этнография», группа авторов в 1963 году писала: «Сосредоточив внимание на проблемах национального развития народов Средней Азии, Сибири, Поволжья, Кавказа, журнал

¹ Я. Яковлев. Деревня как она есть. Очерки Никольской волости. М. 1923. стр. 4.

² См., например, «Старый и новый быт». Сборник. Госиздат. Л. 1924.

³ «Труды Верхне-Волжской этнологической экспедиции». Л. 1926, стр. VI.

¹ «Историк-марксист». 1937. кн. 2. стр. 82.

² «Рязанское село Кораблино (История, экономика, быт, культура, люди села)». Рязань 1957, стр. 171.

упускает из виду вопросы развития русской, украинской, белорусской и ряда других советских наций». На этом фоне тем более отрадным было появление в 1964 году большой работы Л. А. Анохиной и М. Н. Шмелевой «Культура и быт колхозников Калининской области», хотя сразу надо сказать, что она далеко не полностью оправдала ожидания читателей.

Книга задумана широко. В ней хорошо описан старый быт тверичей (в свое время достаточно полно изученный): как строили, что ели и пили, где и на чем спали, какими инструментами пользовались, во что одевались и т. д. Тут авторов интересует все — семейные отношения, устройство и убранство избы, планировка усадьбы и деревни, овины, бани и многое другое. В этой части книги мы прочтем и о том, как именно красили домотканый холст: при отбеливании растилали его на лугах, в черный цвет красили при помощи болотной грязи с добавлением толоконницы, в буро-коричневый — ольхой, в желтый и зеленый — настоями трав и березовых почек; узнаем, что, кроме холста, ткались на дому клетчатая пестрядь, сукно и «полусукно», что пояса, шнуры для отделки одежды и оборы для обуви плелись при помощи «дощечек», «лопаток» и «бердечек».

Подробно описана старинная одежда: женская — сарафаны, рубахи и пояса, вплоть до богатой отделки кружевами и лентами и способа повязки фартука (высоко, под грудью); мужская — холщовые рубахи и штаны для работы (подробно описана их конструкция), пиджаки и жилеты, барашковые цилиндрические шапки и картузы, кафтаны в талию с «фантами» (фалдами) или со сборками, армяки и «распашники», «балахоны» и «курты», шубы красной и черной дубки, тулупы из овчин, бекеши, праздничные поддевки из сукна и саржи. К временам более близким относятся так называемые «гейши» и «саки» (женские осенние пальто), а в двадцатых годах — пестрота из старого и нового: шинели, буденовки, широкие ремни и короткие шубы, папахи и шали, красные платочки, юбки и платья, сапоги и лапти, валенки и веревочные чуни... Все описано подробно — материал, фасон, окраска, способ изготовления.

¹ А. Арциховский, Н. Воробьев, Д. Гусев, С. Смирнов. Журнал советских этнографов («Коммунист», № 5, 1963, стр. 125).

Современная одежда, конечно, не так разнообразна, как старая, вырабатывавшаяся в течение долгих веков, но и не так однообразна, чтобы, говоря о ней, ограничиваться общими фразами: «Обязательной принадлежностью гардероба мужчин являются костюмы (брюки и пиджак из одинаковой ткани). Обычно каждый имеет несколько костюмов: один из них считается выходным, другие — повседневными, одни — летними, другие — преимущественно зимними» (стр. 147). «Верхняя одежда для улицы также весьма разнообразна. Мужчины и женщины носят различающиеся по сезонам и по назначению пальто, полупальто, жакеты, пиджаки, шубы, полушубки» (стр. 151). После праздничного фейерверка — такая скудость! Не в том ли тут дело, что старинная одежда была изучена в свое время достаточно полно и авторы монографии смогли воспользоваться накопленными до них сведениями? Не потому ли так бегло у них рассказано о современной одежде, что они ее плохо изучили? Этнограф должен быть хоть немного художником, он обязан различать все оттенки разнообразия, улавливать особенности той же одежды, как это умеют делать писатели, представители традиционной ветви русской литературы, у истоков которой стояли И. Тургенев, Ф. Решетников, П. Мельников-Печерский, Г. Успенский и которую в наши дни продолжают Е. Дорош, Ф. Абрамов, П. Ребрин, В. Тендряков, В. Белов и некоторые другие писатели.

Современный быт в работе Л. А. Анохиной и М. Н. Шмелевой описан не только неполно, но и с явной заданностью, которая обнаруживается уже во «Введении». «На протяжении всей работы, — говорится здесь, — авторы старались показать, как в конкретных условиях современной деревни Калининской области протекает процесс сближения сельского быта с городским». Поэтому выбор колхозов был вполне определенным, в поле зрения авторов не попали многие еще вполне характерные особенности жизни деревни.

Изучение культуры и быта калининской деревни Л. А. Анохина и М. Н. Шмелева нередко подменяют рассказом о производственных успехах, приводят на этот счет множество всяких цифр, рассказывают о введении в севооборот кукурузы и бобовых, о химизации земледелия и т. п. — все это написано языком плохой газетной статьи: «Дальнейшие успехи в развитии молочного

животноводства и повышении его рентабельности будут во многом зависеть не только от укрепления кормовой базы и улучшения стада, но и от оснащения этой отрасли хозяйства механизмами и применения новейших способов содержания скота. В ряде колхозов уже в 1960 г. начали вводить, например, беспривязное содержание животных и применять доильные установки типа «елочка», в результате чего на фермах в несколько раз сократилась потребность в рабочих руках и повысилась производительность труда. Так, в колхозе имени Ильича Бежецкого района при механической дойке две доярки стали обслуживать 80 коров, тогда как раньше для этого требовалось шесть-семь доярок» (стр. 50).

Этнографическим такое описание можно признать лишь с большой натяжкой. Если уж касаться «елочки», то вместо подобных расчетов авторам следовало бы поинтересоваться, оказала ли она какое-либо влияние на культуру и быт колхозной семьи, и какое именно.

Русские издавна селились на новых землях — в Сибири, на Дальнем Востоке, на Дону, по Тереку и Кубани, в Поволжье и других местах. Быт и культура этих обособленных групп развивались во многом по-своему, настолько, что, например, Г. Н. Потанин говорил даже об особой «сибирской нации», которая сложилась из крестьян-переселенцев¹.

Институт этнографии Академии наук СССР издал в 1967 году коллективную монографию «Кубанские станицы». Как и работа Л. А. Анохиной и М. Н. Шмелевой, это книга не только о современности. В ней много говорится об особенностях старого быта русских и украинских групп казаков и «иногородних»; в историческом разрезе изучаются жилище и одежда, сельскохозяйственные орудия и утварь, занятия населения, говоры, пища, семья и семейный быт, народное поэтическое творчество кубанцев. Но современный быт Кубани описан опять-таки односторонне и поверхностно. Этнографические сведения в этих частях книги выглядят, например, так (описывается в качестве типичного примера двадцатичетырехквартирный дом в станице Платнировской): «Многие квартиры обставлены с хорошим

вкусом; здесь все, как в городской квартире: современная полированная мебель, книжные полки, красивые шторы на окнах, ковры и картины на стенах, телевизор, холодильник, стиральная машина» (стр. 144). Или: «За последние семь-восемь лет значительно возросло число владельцев легковых автомашин... При этом следует иметь в виду, что желающих приобрести автомашины обычно больше числа машин, поступающих в продажу» (стр. 208).

Очень хорошо, конечно, что авторы внимательно фиксируют новые явления в быту и культуре кубанских станиц, но, чтобы подобные сведения обрели подлинную этнографическую ценность, следовало бы, во-первых, представить их не в столь общей форме, а в детальном описании, а во-вторых, показать, как именно вписываются те или иные «ростки нового» в целостную картину быта кубанской станицы, как, в каких конкретных сочетаниях соединяются они здесь со старым, традиционным. Наконец, в-третьих; сколь бы ни унифицировался сельский быт с помощью холодильников и телевизоров, внимательный наблюдатель всегда уловит в нем множество специфически местных черт и отличий, — для этнографа они едва ли не более важны, чем черты сходства.

«Современные» страницы «кубанской» книжки, к сожалению, не удовлетворяют этим требованиям.

В монографии Л. М. Сабуровой «Культура и быт русского населения Приангарья» речь идет о населении нынешних Братского, Нижне-Илимского, Кежемского, Богучанского и Удерейского районов Иркутской области и Красноярского края. Выбор этнографа-исследователя пал на очень интересный участок, на один из самых старых районов заселения русскими Восточной Сибири; население его и сейчас состоит в основном из старожилов. В книге подробно изложена история заселения края, история его изучения, описан старый быт, который тут был весьма своеобразным.

Взять хотя бы жилые дома. Страницы, им посвященные, интересны вдвойне: они говорят не только об особенностях восточносибирского домостроения, но и об особенностях местного говора. В Приангарье, как рассказывает автор книги, дом вместе с усадьбой именуют «посельем», в разговорной речи его называют и старинным русским словом «жиры» («Я доможириничал, на

¹ См. Л. М. Горюшкин. Сибирское крестьянство на рубеже двух веков (конец XIX — начало XX в.). «Наука». Новосибирск. 1967. стр. 14.

прииска не ходил...»), а также эвенкийским словом «гуль»: «В своем гуле веселее...» Обычно строили дом — «одноколок», в случае надобности к нему пристраивали еще избу, и получался «дом на связи». Иногда к одноколку делали «прируб», тогда старая изба называлась «кистильная» (истинная) или «изба четыре стены», новая — «изба три стены». К концу XIX века появились двухэтажные дома, в которых один этаж часто использовался как «заезжая» для постояльцев. Дома рубили «в угол» и «в лапу», клались четырнадцать—семнадцать венцов. На пятом-шестом венце укрепляли «перевод» или «матку» для пола; через девять-десять венцов — «матицу», опору для потолка. Над потолком шел «обгон» (один-два ряда бревен), на нем укреплялись «курицы» — естественные крюки из лиственницы, которые поддерживают упоры для крыши — «желоба». Потом избу «вершили» — крыли тесом или дранкой, потом «обстраивали» — делали окна («косячатые» и «волоковые»), двери и прочее. В один день с помощью соседей били из глины печь (чтоб глина не успела пересохнуть), делались полаты, лавки, шкафы, «голбец» (вход в подвал) и т. д.

Что касается современного ангарского жилища, то, как пишет автор, разнообразие старинных изб постепенно вытесняется типовым домом с верандой (на манер городской дачи) или с прирубом. «Дома на связи» и двухэтажные дома сейчас в Приангарье не строятся. Способ рубки один — «в лапу», крышу кроют большей частью шифером, печь делается меньше, окон прорубается больше. Сохраняются названия

углов первой от входа комнаты: «светной» или «цветной» (передний), «спалишный» (второй передний), затем «дверной» и «кутной». Сохраняются и старинные названия частей печи.

Подробностью описания крестьянского жилья, в том числе и современного, книга Л. М. Сабуровой значительно превосходит те две книги, о которых говорилось выше. Но о других сторонах гелершего быта ангарцев мы получаем лишь самые общие сведения. Так, например, мы узнаем, что «изменения в утвари сводятся к уменьшению удельного веса самодельных изделий и распространению покупных», которое характерно для всей страны, а не только для Приангарья; в одежде, конечно, тоже уменьшается «удельный вес самодельных изделий».

В заключение стоит отметить, что в отличие от двух своих предшественниц монография Л. М. Сабуровой написана хорошим литературным языком — качество далеко не маловажное для книги, посвященной описанию народного быта.

Таковы первые попытки описать культуру и быт современной русской деревни. Попытки не очень смелые и еще во многом непоследовательные, несвободные от влияния иллюстративного подхода к материалу, но ценные уже тем, что они сделаны. Будем благодарны авторам этих первых книг и за то, что они прервали затянувшееся молчание и повернули этнографическую науку — на столь важном для нее участке — лицом к современности.

Виктор АФАНАСЬЕВ.

★

РЕКОМЕНДАЦИИ, НЕ СУЛЯЩИЕ УДАЧ

Индивидуальная работа с верующими. Под редакцией Н. И. Губанова, В. И. Евдокимова, Ю. П. Зуева. «Мысль». М. 1967. 222 стр.

Новая книга об индивидуальной работе с верующими — это сборник статей различных и периферийных авторов, в каждой из которых, как видно уже по заглавиям, рассматривается определенный аспект индивидуальной антирелигиозной работы: «Место индивидуальной работы с верующими в атеистическом воспитании», «О сочегании критического и позитивного в индивидуальной работе с верующими», «Вовлечение верующих в трудовую и общественно-политическую деятельность» и другие. Кроме того,

во второй половине сборника читателю предлагается подборка менее значительных по размерам статей «Из опыта практической работы», авторами которых являются говарищи, непосредственно занимающиеся антирелигиозной работой с верующими. Впрочем, примеры из практики такой работы занимают значительное место и в основных статьях.

Можно говорить о неодинаковом качестве вошедших в сборник материалов. Так, например, статья «Мотивация верующими своей

религиозности и вопросы индивидуальной работы» (авторы — Е. К. Дулуман, В. А. Роменец), а также статья Ю. П. Зуева «Некоторые результаты конкретного социального исследования опыта индивидуальной атеистической работы», на наш взгляд, отличаются глубиной разработки поставленных проблем. К сожалению, этого не скажешь о большинстве других статей сборника.

Цель индивидуальной работы с верующими определена в книге достаточно ясно: индивидуальная работа с верующими — это «длительный и сложный диалог переубеждения», это «осуществление намеченной программы переубеждения». Что касается образа действий, каким рекомендуется достигать этой цели, то он состоит из трех слагаемых: во-первых, выявление верующих среди населения, во-вторых, сближение с ними, их изучение и, наконец, само переубеждение. Четко определена в книге и та последовательность, которую авторы считают необходимым соблюдать в процессе переубеждения верующего: «погасить в сознании верующего «иллюзорное солнце» религии — лишь начало его идейного переубеждения», «атеист призван дать верующему взамен религиозных понятий и представлений о природе и обществе сумму положительных научных знаний». Таким образом, сперва в мировоззрении верующего путем разрушения религиозных взглядов должно освобождаться место, а потом заполняться взглядами научными.

Скажем сразу: хотя в книге нет ни одного примера неудачи в индивидуальной работе с верующим, тем не менее рекомендуемый авторами образ действий не кажется нам эффективным, а аргументация его — достаточно убедительной. Бросается в глаза одна характерная слабость, свойственная всем статьям сборника, — ни на одном примере авторам не удалось показать закономерность достигнутого ими успеха¹.

Вот выдержка из статьи В. В. Мочаловой и Д. А. Варламова — рассказ об успешной индивидуальной работе с молодым баптистом Б.: «Коллектив цеха одного из предприятий Пензы больше года боролся за молодого инженера Б. ... попавшего под влия-

ние баптистов. Вначале коллектив давал ему различные поручения, которые подбирались в соответствии с наклонностями и способностями молодого человека. И только после того, как Б. стал одним из активных членов коллектива, с ним заговорили о религии». Началось, таким образом, то, что, согласно содержащимся в сборнике программным заявлениям, составляет самую суть индивидуальной работы с верующим — «длительный и сложный диалог переубеждения». Но как протекал этот диалог, как осуществлялись желаемые сдвиги в сознании инженера Б. — обо всем этом не сказано ни слова. Сообщается лишь, что «в итоге упорной, кропотливой работы бывший верующий стал активистом». Казалось бы, ясно, что книгу под названием «Индивидуальная работа с верующими» читатель именно для того и раскрывает, чтобы увидеть, каким образом достигается успех в этой работе. Не тут-то было! С инженером Б. «заговорили о религии» и — перед самым носом любознательного читателя опускается занавес. Вновь инженер Б. появляется перед нами уже атеистом, посмеивающимся над своим «былым увлечением».

Подобная скороговорка отличает и все другие рассказы о том, что авторы сборника считают главным в индивидуальной работе с верующими, — о «длинном и сложном диалоге переубеждения».

Из статьи С. В. Колтунюка: атеисту по фамилии Крепкий «пришлось еще немало поработать, прежде чем Арсений Мальчик взглянул на мир глазами атеиста».

Из статьи Л. И. Шайдуллиной: «Немало пришлось поработать студентам университета... с Виктором Кузьминым, который под влиянием своей верующей матери стал активным участником собраний баптистской общины. Студенты познакомились с Виктором, сблизились. Они не только беседовали с ним, но и вместе посещали кинотеатры, обсуждали просмотренные спектакли, приглашали на студенческие вечера. В итоге терпеливой работы Виктор окончательно порвал с сектой и в настоящее время учится в автодорожном техникуме».

Из статьи Г. И. Рубцовой: «Каждая беседа проходила нелегко. Верующая женщина горячо отстаивала свои религиозные убеждения... Но атеисту постепенно удалось вытеснить религиозные представления из сознания верующей».

¹ Впрочем, в этом отношении, как и во многих других, рецензируемый сборник не представляет исключения. Сошлемся на книгу Ю. А. Чуковенкова «К новой жизни. Из опыта индивидуальной работы с верующими» (Лениздат 1964).

Таким образом, о важнейшем в индивидуальной работе читатель узнает только одно: что работать надо «упорно», «кропотливо», «терпеливо», что религиозные взгляды из сознания верующего вытесняются «постепенно» и что делать это «нелегко». Трудно ждать, чтобы столь общие описания смогли оказать сколько-нибудь действенную помощь в практике атеистического воспитания!

Но обратим теперь внимание на другую сторону дела. Случаен ли такой акцент на необходимость упорства в «осуществлении намеченной программы переубеждения»? Нет. Дело в том, пишет Ю. П. Зуев, что если одни верующие «спокойно, без болезненного возбуждения слушают антирелигиозные беседы, нередко сами... обращаются к атеистам с вопросами, волнующими их», то другие «стараются быть подальше от общества, болезненно переживают свои сомнения», «решения волнующих их вопросов ищут в «священном писании» и беседах с убежденными верующими». Читатель догадывается, что это те верующие, для которых вера в бога не только привычка, но в значительной мере еще является внутренней опорой и у которых, как говорит другой автор, «с осознанием иллюзорности религиозных воззрений... возникает чувство духовной пустоты». Не без основания страшись этой «духовной пустоты», такой человек всячески сопротивляется попыткам поколебать свою веру,— вот поэтому-то читатель прямо предупреждается, что атеисту, считающему, что реалистические взгляды могут появиться у верующего не иначе, как на месте разрушенных религиозных, не остается ничего иного, как своим упорством, своей настойчивостью сокрушать его сопротивление.

Практические рекомендации, которые получает читатель сборника, весьма противоречивы.

Например, рекомендуется проводить антирелигиозные беседы и тогда, когда «воспитуемый», видя в этих беседах «опасность душе своей повредить», всячески от них уклоняется. Молчаливо предполагается, что сам верующий не понимает собственной пользы и атеист может и должен в этом случае решать за него. С другой же стороны, читатель очень серьезно предупреждается: «Мешает установлению тесного душевного контакта в индивидуальной работе и то, что некоторые агенты идут к верующим с

предвзятым мнением о них как о людях, в какой-то мере «неполноценных».

Еще пример. Авторы сборника учат сближаться с верующим, чтобы, изучив его взгляды, затем его переубедить. Даже именуется верующий в этих его отношениях с атеистом не иначе, как «воспитуемый», «врачуемый», «подопечный». И тут же, словами Н. К. Крупской, читателю напоминают о недопустимости отношения к человеку как к «объекту агитации», ибо такое отношение парализует возможность действенного влияния на его взгляды.

Еще пример. Читателю сборника чуть ли не из статьи в статью рекомендуется не спешить в беседах с верующим обнаруживать свои истинные намерения — не начинать сразу о вере в бога, а сперва беседовать с ним на более или менее «нейтральные» темы. То есть рекомендуется какое-то время скрывать подлинные причины своего обращения к верующему: без этого, дескать, вся затея рухнет. Но вся несостоятельность этой методики читателю становится очевидной, когда в том же сборнике ему напоминают о пагубности неискренности во взаимоотношениях с верующим. «Желая заручиться правдивостью и искренностью отношения к нам верующего, мы в свою очередь должны отвечать ему тем же. Более того — проявлять в этом инициативу»; «неискренность не скроешь, она сразу обнаруживает себя».

Эти и подобные им противоречия авторы предоставляют разрешать читателю. Недостатки, о которых идет речь, досадны не только сами по себе: в них обнаруживаются существенные слабости того достаточно распространенного подхода к делу антирелигиозной пропаганды, который выразился в книге.

В религии мы имеем, говоря словами Энгельса, человеческую сущность, претворенную в фантастическую действительность, «высшие существа, созданные нашей религиозной фантазией,— это лишь фантастические отражения нашей собственной сущности»¹. Таким образом, если придерживаться марксистско-ленинского понимания религии, то нельзя представлять себе дело так, будто для усвоения человеком реалистических воззрений надо предварительно разрушить его религиозные взгляды, «погасить иллюзорное солнце религии». Напротив: речь мо-

¹ К Маркс и Ф. Энгельс Сочинения, т. 21, стр. 280.

жет идти о том, что лишь с победой реалистического восприятия человеком своей человеческой сущности религиозное восприятие ее у этого человека исчезает, религиозные взгляды оказываются обреченными на отмирание.

И ведь именно это следует из того места статьи Маркса «К критике гегелевской философии права», откуда один из авторов сборника, В. А. Мезенцев, берет выражение «иллюзорное солнце». Вот это место, процитированное, но не понятое им: «...религия есть лишь иллюзорное солнце, движущееся вокруг человека до тех пор, пока он не начинает двигаться вокруг себя самого»¹. До тех пор! То есть сперва человек должен начать «двигаться вокруг себя» (иначе говоря, с ростом своей общественной практики осознать себя полноправным и единственным хозяином и творцом мира), и тогда в его сознании не останется места для веры в «творца» небесного. Земные корни «духовного» становятся очевидными для человека по мере того, как в его собственной личности совмещаются исполнитель и управляющий общественными делами, производитель материальных ценностей и производитель ценностей духовных.

В этой связи хочется привести и некоторые высказывания Ленина, неоднократно опровергавшего наивное убеждение, будто можно при помощи одних только назидательных бесед оснастить трудящихся правильными взглядами, преподнести их в готовом виде:

«...мужания, созревания пролетариата к власти мы ждем не от уговоров и уговариваний, не от школы сладеньких проповедей или поучительных декламаций, а от школы жизни, от школы борьбы»²;

«...недостаточно нашего знания.. необходимо, чтобы оно проникло в миллионы не из пропаганды, а из собственного опыта этих миллионов...»³.

«Кто воображает, что переход к социализму будет таков, что один убедит другого, а другой — третьего, тот ребенок в лучшем случае...»⁴.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 415.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 194.

³ Там же, т. 37, стр. 142.

⁴ Там же, т. 38, стр. 361.

К проблеме отмирания религии и, в частности, к постановке индивидуальной работы с верующими эти ленинские мысли имеют, как нам думается, самое прямое отношение. Именно рост общественной практики верующего, увеличение его реального влияния на ход окружающей жизни, приводя его ко все более правильным, реалистическим представлениям как к выводам из собственного нового опыта, может устранить в его сознании ощущение отчужденности от своей собственной сущности, ощущение подвластности некоей «высшей силе». Значит, именно отсюда и надо начинать, если мы хотим, чтобы беседы на антирелигиозные темы давали реальный результат.

Впрочем, подтверждение сказанному можно найти и на страницах самой рецензируемой книги. Так, например, в статье С. В. Колтунюка «Доходить до каждого — значит учитывать особенности каждого» рассказывается, как атеист Мельничук, потерпев неудачу в попытке начать работу с молодым сектантом с проведения индивидуальных бесед, прибег к другому средству — дал юноше интересующую его работу. И религиозность юноши по мере того, как он увлекался интересной и любимой работой, пошла на убыль... Жаль, что из этого и других подобных примеров, которые в большом количестве представляет практика антирелигиозной работы, составители и авторы сборника не сделали необходимых выводов.

Подведем итоги. Книга, о которой идет речь, ценна как попытка обобщить имеющийся опыт индивидуальной антирелигиозной работы. Но, к сожалению, опыт этот освещен настолько поверхностно и неконкретно, что оставить его на службу теории и практике атеистического воспитания будет трудно. Что касается предложенной авторами методики индивидуальной работы с верующими, то, как пытались мы показать, она также вызывает серьезные сомнения — и в теоретическом плане, с точки зрения марксистско-ленинского взгляда на религию и условия ее отмирания, и в плане практическом, в силу непродуманности и противоречивости высказанных в ней рекомендаций.

М. МИХАЙЛОВ.

с. Верхний Карачан,
Воронежской области.

ЭКОНОМИКА И ПРАВО

В. П. Шкретов. Социалистическая земельная собственность. Издательство Московского университета. 1967. 151 стр.

В. П. Шкретов. Экономика и право (О принципах исследования производственных отношений в связи с юридической формой их выражения). «Экономика». М. 1967. 188 стр.

В разработке научной политической экономии основоположники марксизма-ленинизма по необходимости занимались преимущественно экономической стороной собственности (производственными отношениями), не исследуя специально юридических форм ее выражения. В советской науке эти формы стали предметом специального анализа. Однако при этом ясно обозначилась одна ошибочная, на наш взгляд, тенденция — отправляясь от тех или иных государственных установлений, наделять их непосредственно экономическим содержанием.

Автор рецензируемых книг подвергает эту точку зрения критике. «Объективно, — пишет он, — она есть теоретическое воспроизведение практики хозяйственного волюнтаризма». Ныне, когда партия, проводя хозяйственную реформу, взяла курс на преодоление волюнтаризма в управлении общественным производством, для нашей экономической науки еще более актуальным стал «вопрос о соотношении объективных производственных отношений и субъективно волевой экономической деятельности людей». Этой проблеме и посвящена книга «Экономика и право», в которой данный вопрос едва ли не впервые подвергается обстоятельному исследованию. Оставаясь по преимуществу в области теории, автор вместе с тем выражает надежду, что «читатель сумеет увидеть в абстракциях отражение явлений современной действительности».

В. П. Шкретов рассматривает зависимость волевых действий людей от материальных, производственных факторов. При этом он далек и от того, чтобы сводить первое ко второму, отрицать относительную самостоятельность юридическо-регламентирующей сферы.

Как показывает В. П. Шкретов, государство влияет на развитие производственных отношений лишь в той мере, в какой его действия отражаются на состоянии производительных сил. Оно может, например, ликвидировать те или иные общественные формы, мешающие развитию производительных сил. И наоборот, когда в результате тех или

иных запретительных актов (в принципе государство способно провести любую разрушительную работу) затрагиваются формы, которые еще соответствуют существующим производительным силам, производству может быть нанесен ущерб. «Что же касается собственно созидательной роли права в области экономики, — пишет В. П. Шкретов, — то она всегда ограничена... достигнутой ступенью развития производительных сил».

Такой взгляд позволил автору во многом по-новому осветить некоторые важные вопросы теории и практики хозяйствования на современном этапе.

Производственные отношения при социализме, говорится в книге, обладают двойственным характером. Интерес всего общественного производства сочетается с интересом предприятия, а через него — с интересом отдельного работника. Наряду с ростом концентрации производства, специализации и комбинирования сохраняется еще экономическая обособленность предприятий, и в меру этого для них необходимо общественное признание произведенных ими продуктов через обмен. Поэтому продукт предприятий соединяет в себе свойства непосредственно общественного продукта со свойствами товара.

В. П. Шкретов различает формальное и действительное планирование. Первое обеспечивается уже самим фактом сосредоточения собственности на средства и продукты производства в руках государства. Однако юридическое обобществление не тождественно экономическому. Последнее предполагает такой уровень развития производства и техники, когда внутриотраслевые и межотраслевые связи становятся настолько естественными и прочными в силу самого характера производственного процесса, что делается возможным точный учет всех факторов производства.

Не следует думать, будто область товарно-денежных отношений не поддается никакому контролю со стороны социалистического государства. Это лишь значит, что сфера планирования определенным образом

ограничена, а его инструментами должны быть экономические рычаги: политика цен, стимулирование и т. д.

Постановка вопроса об объективных (материальных) возможностях планирования имеет практическую пользу. Трудности нашего хозяйствования нередко объясняют лишь ошибками плановиков, несовершенством планов и пр. По мысли автора, важно знать именно объективные пределы планирования. Только в таком случае оно все больше будет превращаться в подлинно эффективное, на научных основах, регулирование производства. Стремление же охватить централизованным планированием сферы и отношения, которые ему еще в полной мере не поддаются, неизбежно понижает действенность планирования, может привести к волюнтаризму и экономической дисгармонии.

В. П. Шкредов разграничивает плановую и правовую формы управления народным хозяйством, считает неправомерным отождествление плановых заданий и правовых норм, юридического закона. Экономика есть один из объектов применения права, правовые установления распространяются и на планирование. Правда, на практике последнее, как отмечает В. П. Шкредов, в течение длительного времени, в сущности, не было включено в сферу действительного правового регулирования. Укрепление законности в деятельности плановых органов и директивных ведомств несомненно послужит необходимым условием планомерного хода социалистического производства, его защиты от чьего бы то ни было произвола.

Одной из важных проблем автор считает установление юридически гарантированных границ права собственности государственного предприятия. В. П. Шкредов полагает, что каждое предприятие в рамках государственной собственности имеет определенное право собственности на принадлежащие ему средства и продукты производства. Это право вытекает, по его мнению, из объективного экономического положения отдельного предприятия в системе социалистического производства. По мнению В. П. Шкредова, наибольшей юридической самостоятельностью должны обладать предприятия по преимуществу товарного направления (например, в сельском хозяйстве, местной, пищевой, текстильной промышленности, сфере услуг). Предприятия с меньшей экономической обособлен-

ностью (металлургия, химия, машиностроение и пр.) нуждаются и в меньшей правовой самостоятельности. Наконец существуют предприятия смешанного типа.

На наш взгляд, автору стоило бы подробнее рассмотреть эту проблему, в частности конкретизировать, какой орган на предприятии мог бы взять на себя осуществление права собственности. Но сама постановка вопроса представляется плодотворной. Она несомненно соответствует характеру производственных отношений социализма и духу хозяйственной реформы.

Интересны соображения автора и о принципе разделения труда между хозяйственными, государственными и партийными органами. Планово-хозяйственная деятельность, ее правовое регулирование и политическое руководство хозяйством, при всей их неразрывной связи в системе социалистического производства, не могут быть отождествлены или подменены друг другом. В ходе проведения в жизнь экономической реформы изменяется содержание партийного руководства хозяйством: отказываясь от администрирования и детальной регламентации хозяйственных процессов, партийные органы обеспечивают общую координацию всех звеньев производства и управления, политический контроль.

Книгу «Экономика и право» удачно дополняет другая работа В. П. Шкредова — «Социалистическая земельная собственность», где общие теоретические соображения применены к анализу конкретной области — социалистического землепользования.

Верный принятой методологии, автор рассматривает земельную собственность как единство экономического содержания и волевой (юридической) формы выражения, не смешивая этих двух сторон, убедительно показывая, что юридическая форма может как обгонять действительные производственные отношения, так и отставать от них.

С этой точки зрения интересен и содержателен исторический очерк, в котором автор показывает, как постепенно складывалось социалистическое землепользование, каким экономическим содержанием наполнялась государственная земельная собственность на различных этапах истории советской деревни.

Автор считает, что ныне в результате прогресса производительных сил и производственных отношений в нашем сельском хозяйстве созданы объективные условия,

позволяющие лучше использовать фактор государственной собственности на землю.

Особенность земли как средства производства состоит в ее ограниченности по площади и неравенстве по плодородию (как естественному, так и возникшему в силу производственных затрат) различных участков. Изъятие дифференциальной земельной ренты есть объективная необходимость планомерного социалистического производства, где отдельные хозяйства должны быть поставлены в одинаковые экономические условия независимо от естественного плодородия почвы.

В. П. Шкретов подвергает критике сложившийся у нас метод изъятия добавочного дохода путем дифференциации закупочных цен по сельскохозяйственным зонам. Доводы его, коротко говоря, сводятся к следующему. Цена как выражение стоимости есть фиксация общественно необходимых затрат труда. Учет же неравных условий производства требует индивидуальных цен, что находилось бы в противоречии с законом стоимости. Назначая средние цены по зонам, государство лишь отчасти (только для хозяйств, использующих средние по качеству земли) преодолевает это противоречие. Хозяйства же на худших и на лучших землях в пределах данной зоны остаются в неравных экономических условиях.

Целесообразной формой изъятия государством дифференциального дохода В. П. Шкретов считает плату за землепользование¹. В чем ее преимущества? Прежде всего плата за землю, пропорциональная индивидуальным земельным условиям хозяйств, ставит их в экономически равное положение. Эта мера благоприятствует

¹ Эта точка зрения уже нашла признание в нашей экономической науке. «Многие экономисты,— пишет Л. Гатовский в статье «О характере исследования экономических законов социализма»,— правильно предлагают установить цены на землю, на водные и другие природные ресурсы. Наличие государственной собственности на землю и природные ресурсы не исключает, а предполагает создание экономических барьеров против нерационального их использования. Реализация принципов рентабельности (прибыль к фондам) и платность фондов наносят удар по отношению к производственным фондам как «божьему дару». Необходимо покончить с таким подходом также и к природным ресурсам, что требует распространения комплекса хозрасчетных мер и на эту сферу» («Коммунист», № 15, 1966, стр. 50).

развертыванию хозяйственной инициативы предприятий — колхоз или совхоз будет самостоятельно определять наиболее выгодный, оптимальный вариант использования земель, размеров производства и т. п. Как полагает В. П. Шкретов, колхозу в таком случае должно быть предоставлено право отказываться от тех земель, эксплуатация которых ему экономически невыгодна. Платное землепользование, считает автор, поощряет интенсификацию земледелия, поскольку хозяйствам будет выгоднее увеличивать масштабы производства не посредством расширения посевной площади, а путем увеличения вложений в ту же самую или меньшую площадь. Плата за землю (В. П. Шкретов подробно объясняет, какими методами можно ее исчислить) открывает путь для единых цен на сельхозпродукты, что существенно упростит систему цен, сделает ее более подвижной и гибкой. Плата за землю при единой цене на сельскохозяйственные продукты была бы, по мнению автора, одинаково выгодна как для государства, так и для колхозов и совхозов. Комбинируя факторы плана, цены, ренты и прибыли, государство сможет полнее использовать товарно-денежные отношения, средства овладения ими. Но самое главное: лучше и бережливее станет использоваться земля — богатство нашего общества. За последнее время, отмечается в книге, из сельскохозяйственного фонда ежегодно изымается в среднем более пятисот тысяч гектаров земельных угодий — на промышленные нужды, строительство и пр. Немало земель эксплуатируется бесхозяйственно. Плата за землю будет стимулировать рациональное использование земли.

Вместе с тем автор отдает себе отчет в том, что плата за землепользование не является сама по себе какой-то панацеей. Она может дать желаемый эффект лишь в сочетании с целым рядом других мер, направленных на расширение экономической и юридической самостоятельности колхозов и совхозов. Речь вовсе не идет и о том, чтобы осуществить эту меру с сегодня на завтра. Тем не менее, пишет автор, «вопрос о возможности перехода к платному землепользованию не является таким, от которого могла бы отвернуться экономическая наука и хозяйственная практика».

Рецензируемые книги не свободны от отдельных недостатков. Так, говоря о целесообразности платы и за худшие земель-

ные участки, В. П. Шкредов не дает ответа на логически возникающий в связи с этим вопрос об абсолютной земельной ренте в условиях социализма. Язык книги «Экономика и право» излишне затруднен, что закрывает к ней доступ значительной части тех читателей, для которых мысли автора по своей направленности могли бы представить интерес. Можно было бы упомянуть и о некоторых других недоработках. В целом же исследования В. П. Шкре-

дова привлекают теоретической глубиной, разносторонней аргументированностью его выводов и рекомендаций. Такие работы, как книги В. П. Шкредова, являются деловым ответом теоретиков и специалистов на те усилия, которые предпринимают партия и Советское государство в проведении хозяйственной реформы, в борьбе за дальнейшее развитие нашего народного хозяйства.

В. ГЕОРГИЕВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

Н. А. ГВОЗДЕЦКИЙ. Советские географические исследования и открытия. «Мысль». М. 1967. 390 стр.

Значимость любой науки раскрывается только при изучении истории ее развития. Этот исторический анализ может быть проделан в виде беспристрастной хронологической констатации фактов и событий. Но может вылиться и в живое, яркое повествование. Именно с таким повествованием мы встречаемся в книге Н. А. Гвоздецкого, где рассказывается «о том, как советские исследователи, географы-путешественники раскрывали тайны неизведанных земель и океанических пространств, стирали с географической карты «белые пятна».

В первой части книги освещаются исследования и открытия на территории СССР и в Советской Арктике. Перед мысленным взором читателя проходят суровые просторы Центральной Арктики с недавно открытыми огромными хребтами и впадинами. По-новому предстают данные о ее геологической истории, о строении дна центральной части Северного Ледовитого океана. Описывается сложный путь выработки новых представлений о природе Северной Сибири и Таймыра, хребта Черского и бассейна Колымы, крайнего северо-востока Азии и других частей Сибири и Дальнего Востока. Рассказывается о больших трудностях и радости открытий в горах Тянь-Шаня и Памира. Затем автор знакомит читателя с изменениями карты среднеазиатских пустынь, Кавказа и европейской части СССР.

Вторая часть посвящена исследованиям советских ученых за пределами СССР. Здесь особенно выделены открытие «мира внутриконтинентальной природы» в результате исследований, проведенных на территории Мэнгольской Народной Республики и Западного Китая, а также открытия в Антарктике и в акваториях Мирового океана.

Образное описание трудных условий работы исследователей Антарктики помогает представить природные особенности этой загадочной части света, он получает конкретное представление о малоизвестных в литературе горах Земли Королевы Мод, оазисе Ширмахера, окрестностях станций Новолазаревской и Молодежной. Автор рассказывает о внутриконтинентальных походах советских исследователей к Южному

полюсу и по маршруту Восток — Полюс Недоступности — Молодежная. Большое познавательное значение имеет глава «Географические и некоторые другие научные результаты советских исследований Антарктики». В ней дается сводное перечисление открытых в Антарктике новых географических объектов, рассматриваются вопросы о подледном рельефе, о происхождении оазисов, о ледяном щите, о развитии ледникового покрова Антарктиды.

С большим интересом читаются главы, посвященные важнейшим географическим исследованиям в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. Здесь сообщаются подробные сведения об открытии многочисленных глубоководных желобов и впадин, подводных хребтов и гор, об изменении прежних представлений, связанных с течениями, химическим составом вод и морских осадков, с биологическими особенностями глубоководных районов в океанах. Заключение об итогах советских исследований Мирового океана позволяет в обобщенном виде познакомиться с концепциями о принципиальных различиях в строении земной коры материков и океанов, о схеме географического районирования глубоководной фауны Мирового океана, о взаимосвязи биологических, гидрологических, химических, геологических и других процессов, формирующих единую природу океана.

Обладея всеми достоинствами научной монографии (углубленное рассмотрение сложных географических проблем, многочисленные ссылки на источники, обширный список литературы), книга Н. А. Гвоздецкого, без сомнения, найдет дорогу и к широкому читателю.

Г. Белосельская,
доцент.

Воронеж.

★

ЯНУШ КОРЧАК. Как любить детей. Перевод с польского К. Сенкевич. «Знание». М. 1968. 96 стр.

Автор предисловия к этой небольшой книжке Н. Атаров пишет о ее бессмертии: «Я хочу сказать, что в непостижимо отдаленные времена, когда, как думают фантасты и философы, возникнет «автоматически действующая цивилизация» и даже наступит «опасность благоденствия», когда ис-

чезнет необходимость изучать воинские уставы и руководства по дипломатической службе и люди станут вроде как бы полубоги,— и тогда останется неотложно и настоятельно необходимой полубогом этой счастливой Утопии книга о том, как любить детей». Потому что их будет так же много, как сейчас, и все они будут такими же разными, как сейчас. И потому среди немногих книг, которые останутся, будет и эта книжка Януша Корчака: «Она не покажется этим отдаленнейшим читателям наивной в упорном утверждении неодинаковости каждого малого ребенка. И они преклонятся перед драматизмом и человечностью этой книги».

Эти высокие слова никак не преувеличены: книга Корчака — удивительное сочетание доброты, глубины ума, высоты нравственного чувства, безграничной самоотверженности.

Книга «Как любить детей» полемична, как многое из того, что писал Корчак. Его постоянная борьба за право детей на уважение, за понимание серьезности их забот, игр и огорчений кажется кое-кому надуманной, очередной «крайностью». «Есть как бы две жизни,— писал Корчак,— одна — важная и почтенная, а другая — снисходительно нами допускаемая, менее ценная. Мы говорим: будущий человек, будущий работник, будущий гражданин. Что они еще только будут, что потом начнут по-настоящему, что всерьез это лишь в будущем. А пока милостиво позволяем им путаться под ногами, но удобнее нам без них...» И дальше: «Существует ли жизнь в шутку? Нет, детский возраст — долгие, важные годы в жизни человека».

Книга Корчака — это своеобразный «штурманский журнал»: в нем десятки, сотни наблюдений, плоды долгих размышлений и душевного опыта. Но это не холодная фиксация увиденного — доброта Старого Доктора была чужда всякого равнодушного верхоглядства или поэты, ею двигало страстное желание сделать детство счастливым. Отсюда страстность записей в книге Корчака, отсюда полемический азарт убеждения. «Ребенок не глуп; дураков среди них не больше, чем среди взрослых», — пишет Корчак, пытаюсь научить совсем не элементарному пониманию ребенка и только после этого, казалось бы, для всех само собой разумеющейся и тем не менее совсем не простой науке любить детей.

«Уважайте его незнание!», «Уважайте неудачи и слезы!», «Уважайте груд познания»; и последняя фраза книжки: «Уважайте, если не почитайте, чистое, ясное, непорочное, святое детство!» Впрочем, выписывать из этой книги хочется почти каждую из ее строк.

А между тем кое-что из рассуждений автора кажется спорным, нарочито полемичным, с чем-то не так легко согласиться, потому что существуют и привычки и традиции... Но как раз об этом книга Януша Корчака и написана: о проблемах, существующих от века, и о тысячах предрасудков,

стоящих на пути детства,— о том, что предстоит преодолеть для того, чтобы научиться истинной любви к детям.

Ф. Григорьев.

★

ВЛАДИМИР КОЗИН. Четырехрогий баран. Рассказы. «Советский писатель». М. 1968. 487 стр.

«Я блуждал по пескам с каракульскими стадами, работал под солнцем в поту и пыли, спасая свой оазис от библейских полчищ саранчи... строил вместе с неупывающими товарищами совхоз на стыке афганской и персидской границ, водил экспедиции к страшному озеру Ер-Ойлан-Дуз и задыхался под черным ветром пустыни... А в свободное время, в редкие оседлые дни, я писал... Я никогда не искал материала; необозримый материал новой жизни творился вокруг меня в повседневности человеческих усилий... Мне и в голову не приходило, что окружающие меня люди могли служить объектом для расчетливых литературных наблюдений. Они работали в том деле, в которое вложил и я свой ум и кусочки сердца...».

Творчество скончавшегося в прошлом году советского писателя Владимира Козина, чьи слова о своей жизни и работе мы процитировали и чьи двадцать семь лучших рассказов собраны в книге «Четырехрогий баран», открывало читателям жизнь людей края солнца и песка — Туркмении и Азербайджана. Разнообразны герои В. Козина по характерам: есть среди них и спокойно мужественные, и лукаво озорные, и выдумщики-фантазеры; разнообразны и их профессии: пастухи и проводники, зоотехники и агрономы, сказочники и ветеринары.

Герои В. Козина смелы, инициативны, изобретательны, мало того, часто они — художники, поэты, профессий непозитических и неромантических, где есть, оказывается, своя поэзия, своя романтика, своя увлекательность.

Разнообразны и «имеют свое лицо» и четвероногие персонажи В. Козина — лошади и собаки, буйволы и джейраны, верблюды и ишаки, телята и овцы. Иные из них ленивы, другие честолюбивы, расчетливы и обидчивы, третьи держатся с достоинством и убеждены: лучше смерть, чем обиды...

Это не антропоморфизм! Животные всегда остаются у В. Козина реальными животными, автор не превращает их в простые подобия, слепки людей и их психики. В. Козин и не анималист, если по традиции считать анималистами гех писателей, которые, как Сетон-Томпсон, Робертс, Лонг, делают животных главными героями своих произведений. Животные в рассказах В. Козина занимают заметное, но подчиненное место, они — союзники, помощники и друзья человека, который при их помощи делает свое важное, доброе, нужное всем дело и порой бросает на них взгляд сочувствия, любви или даже умиления. И, однако же, рискну высказать предположение, что для покой-

ного писателя животные — нечто большее, чем просто спутники человека. Эти «простые души» олицетворяют для него простую душу мира. Недаром один его герой «любил наблюдать, как животные едят и спят: в этом важном их занятии чувствуется маленькая, добрая вечность», а другой — преданный своему делу пастух — говорил: «У пастуха овцы — дети».

В рассказе «В полдень и вечером» Варанов — благородный и несколько чудаковатый фантазер — пробовал писать книгу о прошлом пустыни, считая при этом, что самое увлекательное — изменять это прошлое: «Может быть, это и есть искусство».

Что ж, и такое искусство — придумывающее прошлое, идеализирующее его или, наоборот, сатирически заостряющее его — существует. Но сам В. Козин был писателем иного склада. Как художник-реалист, он не преображал, не трансформировал ни прошлого, ни настоящего, а касался их и оживлял, подобно своему веселому рассказчику Молла При, заставлявшему «людей и события рождаться вновь».

А. Наркевич.

★

АЛЕКСАНДР БОРИН. Нужен привереда. Экономические диалоги в пяти опровержениях и четырех историях — героической, лирической, семейной и судебной. «Молодая гвардия». М. 1967. 174 стр.

В этой книге на материале, взятом из различных сфер нашей жизни, автор показывает несостоятельность некоторых убеждений, еще недавно казавшихся незыблемыми. В первом «опровержении» он прямо сообщает, что, вопреки известной поговорке, «копейка часто рубль теряет». В следующем показывает, «что не всегда уместно и полезно перевыполнять производственные планы». В третьем рассчитывает «удивить, а возможно, и рассердить читателя», сообщив ему, «что на белом свете существует убыточный энтузиазм». В четвертом мы встретимся с «прославлением человека капризного и привередливого» в противовес известному мнению, будто хороший покупатель обязан брать в магазине все, что ему дают. Наконец, в последнем, пятом «опровержении» — «рискуя погубить собственное доброе имя», — А. Борин стремится восстановить «доброе имя длинного рубля, порою незаслуженно оскорбляемого». Таким образом, уже из этих полнотушковых главлений мы с достаточной определенностью можем судить о том, чему посвящена книга. Ее цель, как выражается А. Борин, — «переучит привычек».

Конечно, нельзя сказать, чтобы читатель никогда прежде не слышал ни об убыточности иного энтузиазма, ни о копейке, которая рубль — и не один! — геряет. Все это известно, и говорено об этом в печати не раз и не два. И все-таки говорить нужно. Ведь не секрет, что и сегодня еще встречаются люди, которые не хотят замечать факты, если эти факты не согласуются с их пред-

взятыми взглядами. Им-то и предлагает автор задуматься, например, над тем, куда девать паровые турбины, выпущенные заводом сверх плана, если котлы к ним не запланированы к производству ни в этом году, ни в следующем. Или с шайбами, нарезанными умелым фрезеровщиком аж в счет 1980 года...

Эта живо написанная книжка может принести пользу читателям, которые еще не имели случая задуматься над подобными проблемами. Но тем молодым читателям, которые уже не впервые сталкиваются с ними, книга даст немного. В постановке вопросов больше занимательности и веселой парадоксальности, чем глубины. Впечатление некоторой легковесности усиливают не слишком любопытные беллетризованные истории, занимающие в книге довольно много места.

Г. Макаров.

★

В. БОБОРЫКИН. Александр Фадеев. Литературный портрет. «Советская Россия». М. 1968. 128 стр.

Издательство «Советская Россия» выпускает серию литературных портретов советских писателей. Это книжечки небольшого объема — около четырех печатных листов. Их удобно положить в карман и читать в метро, в автобусе по дороге на работу и с работы.

Писать такие книги не просто. Плохо представляя себе, кому они адресованы, их авторы нередко то впадают в скучноватый литературоведческий тон, то бросаются в другую крайность — и ограничиваются чрезмерно поверхностными характеристиками.

Книга Владимира Боборыкина хороша прежде всего верно найденной интонацией повествования. Это не обстоятельное и скрупулезное исследование и не беглый журналистский отчет. Это рассказ свободный и вместе с тем серьезный, написанный легко, но не облегченно.

В. Боборыкин не спешит навязать читателю свое понимание вещей и — в особенности — свое отношение к ним. Он излагает факты — так, как их видел Фадеев, и так, как они отразились в его произведениях. Творчество и биография интересуют автора книги не как две линии, движущиеся параллельно и иногда перекрещивающиеся, а как нечто глубоко взаимосвязанное. И потому биографические подробности возникают каждый раз, когда они бросают отблеск на творческие искания писателя и художественные особенности его произведений.

Следует отметить и еще одно достоинство книги Боборыкина. Что греха таить, в критике, в том числе и обращенной в прошлое, порой проявляются две в равной мере бесплодные тенденции. Или исследуемый писатель — памятник, перед которым остается лишь склониться в почтительном поклоне, или существо куда менее зрелое, чем все достигший автор. В последнем случае крик хотя и сознает, что его педагогическое

усердие несколько запоздало, никак не может отказать себе в желании хоть задним числом воспитать своего подопечного. Он делает ему выговоры, он журит его, он ставит его на место.

В книге В. Боборыкина нет, к счастью, ни того, ни другого. При всем своем уважении к Фадееву и к тому, что им было написано, автор видит в нем живого человека и живого писателя, находившегося в движении, мучившегося противоречиями, совершавшего ошибки и добивавшегося побед.

Книгу В. Боборыкина с удовольствием и пользой для себя прочитают все, кому дорог и интересен автор «Разгрома» и «Молодой гвардии».

А. Бельский.

★

Ю. ОВСЯННИКОВ. Солнечные плитки. Рассказы об изразцах. «Советский художник». М. 1967. 207 стр.

Ю. Овсянников приглашает своего читателя в увлекательнейшее путешествие по старинным русским городам. Он проделывает тот путь, которым от века к веку шло развитие искусства русской архитектурной керамики: Киев, Владимир, Боголюбов XII века; свободный, отъединенный лесами и болотами от контроля великих князей и церкви Гродно; Псков XV—XVI веков, Москва XVI—XVII веков; Ярославль XVII века и так далее—вплоть до Абрамцева конца прошлого столетия. Путь этот нелегок: далеко не всегда автору удавалось увидеть воочию те некогда украшенные изразцами соборы, здания, о которых он пишет. Порою ему приходится обращаться к скупым данным археологов и по ним создавать литературные реконструкции. Книга полна догадок, гипотез, вопросов, на многие из которых ответа пока нет. Читатель вовлекается в самый процесс исследования, делается как бы его соучастником. А самое главное— автору удается заразить читателя той драматической темой, которая пронизывает книгу и является, быть может, ее внутренней сверхзадачей. Тему эту можно обозначить как начинающееся в самой глубине истории и лишь меняющее форму в разные периоды непримиримое столкновение творчества и варварства. Образы творцов, народных умельцев, воплотивших в горящих разными цветами изразцах церквей, домов, печей жизнеутверждающий оптимизм народа, встают со страниц книги Ю. Овсянникова. А завершает этот ряд мастеров М. Врубель, обобщивший опыт предшественников и создавший новый вид керамической изразцовой живописи.

В параллельный ряд выстраиваются те силы, которые так или иначе разрушали творения рук человеческих. Одни делали это зверски, как чингисхановские орды или фашисты XX века, другие— во имя «улучшения» старых архитектурных сооружений. Так поступил даже Растрелли, перестраивавший для Елизаветы Петровны собор Ново-Иерусалим в духе барокко XVIII века.

«Видимо, такова уже особенность человеческого характера,— пишет с горечью Ю. Овсянников,— что каждое поколение живет прежде всего своими интересами, заботится в первую очередь о своей славе и забывает, что историю пишет все же не оно, а потомки». Горечь сменяется гневом, когда Ю. Овсянников вспоминает с небрежением к памятникам национальной культуры, которое совершалось недавно и порой совершается и сейчас— по невежеству одних, излишнему усердию других.

Книга о русских изразцах читается с увлечением. Автор умеет воссоздать атмосферу эпохи, в которую вводит читателя естественно и непринужденно. В структуру монографии оказываются включенными, с одной стороны, зарисовки ушедшего быта, исторические легенды, а с другой— непосредственные очерки современника о поездках по городам, о встречах с людьми— энтузиастами, влюбленными в произведения национальной культуры, их сохраняющими и любовно реставрирующими.

В. Березкин.

★

ГЕНРИ КАТТНЕР. Робот-заявка. Сборник научно-фантастических рассказов. Перевод с английского. Под редакцией С. Майзельс. Предисловие Ю. Кагарлицкого. «Мир». М. 1968. 407 стр.

С рассказами американца Генри Каттнера стоит познакомиться уже хотя бы потому, что они демонстрируют если не все, то многие возможности современной фантастики.

Подобно большинству фантастов нашего века, Каттнер проецирует в будущее тревожащие тенденции и проблемы нынешнего времени. В его книге мы встречаем обычный для западной фантастики мотив беззащитности человека перед враждебным и чуждым ему миром, ведущим глобальное наступление на его сознание, мотив беспомощности перед многоколой и всепроникающей ложью, перед «системой штамповки мозгов», в результате которой «ты уже не можешь отличить настоящего от поддельного». Напряжение постоянной оборонительной реакции непереносимо, человек вынужден хоть иногда, раз в год, возвращаться к своей естественной сущности, открыться, расслабиться, стать доверчивым и... лишиться всего, что было добыто многолетней борьбой за существование. Об этом—рассказ «День не в счет».

В других случаях Каттнер приближается к еще большей мере обобщенности. До той поры, пока Джоэл Локк чувствует себя по крайней мере равным своему восьмилетнему гениальному сыну, он смотрит сквозь пальцы на его математические занятия, но как только узнает, что сын обогнал его, он лишается покоя (рассказ «Авессалом»). Говоря, что «Авессалому нужна твердая рука— для его же блага», Локк в действительности пытается сдержать развитие сына. Ссылаясь вначале на свой опыт, на родительское право и т. д., Джоэл Локк, од-

нако, очень скоро обращается к единственному своему преимуществу — преимуществу силы. Впрочем, он и здесь терпит поражение, и ему остается надеяться лишь на то, что и Авессалома со временем постигнет та же судьба: «Придет день—у Авессалома тоже будет сын. Придет день. Придет день». Такие рассказы чрезвычайно напоминают параболу: ситуация, вынесенная в далекое будущее и основанная на фантастической посылке (здесь—резкое, в результате мутаций, возрастание количества и качества гениев), обращена ко многим временам и разным формам человеческого взаимодействия.

Масштабность и значительность не мешают фантастике Каттнера быть захватывающе интересной—и потому, что в ней происходит напряженное противоборство двух потоков аргументации, двух точек зрения на предмет, и потому, что писатель не пренебрегает авантюрно-детективными элементами (наиболее в этом смысле органичен рассказ «Маскировка»).

Мир и герои Каттнера не арифметичны, они всегда больше себя и предполагают бесконечную серию новых возможностей и решений. Самыми характерными поэтом для Каттнера кажутся мне его рассказы о Хогбенах. Это существа ошеломляющие, ни с чем не сообразные. Сонку—четыре года, но он еще юноша и мало умеет, не то что старшие—Мамуля, Папуля и Дедуля. Способность летать (без всяких приспособлений—стоит лишь захотеть!), становится невидимыми—не самые удивительные из их свойств: только Хогбены могут накоротко замыкать пространство, одним взглядом производить алхимические превращения, рассеивать и собирать атомы и т. д. Они не волшебники, а просто владеют природой, ибо знают все способы воздействия на нее. Но объяснить, что они делают, да еще в научных терминах,—эта задача им не по силам. И они поражаются уму и учености беспомощных, в общем-то, наших современников и... воруют у них из мозгов (не все и не так часто, правда) длинные слова.

Что это? Прозрение в завтрашний день человека? Жизнерадостное озорство? Утверждение всеяния непосредственности? Пожалуй. Только — все вместе и еще многое другое. Может быть, попробовать назвать это комическим вариантом мотива безграничных возможностей на уровне современной фантастики? Но тогда надо прибавить традиции причудливой сказки. И не забыть о сатире, обращенной на прохвостов, которых Хогбены не очень жалуют. Сомнительно, чтобы и это определение исчерпало дух

творческой вольности, живущий в этих рассказах.

Конечно же, подобная фантастика тоже что-то изображает и что-то осознает, но больше она, наверно, выражает,—скажем, избыток душевных сил автора, его человечность, свободолюбие. Как нельзя (это уже ясно) сводить всю фантастику к утопии и социальному прогнозу, так нельзя и отыскивать в ней лишь непрременные отклики на проблемы и заботы сегодняшнего мира. Фантастика не только эпос, но и лирика, метафизика, юмор и т. д. Она многообразна, и сборник Каттнера в этом убеждает.

А. Липелис.

★

Н. МАР. Люди как скалы. Политиздат. М. 1967. 319 стр.

Очеркист Н. Мар написал книгу «Люди как скалы»—о борющейся с фашизмом Португалии и о португальских коммунистах, возглавивших эту борьбу. Автор не был в Португалии, но он неоднократно встречался и подолгу беседовал с португальскими коммунистами, а работая над книгой, пользовался их постоянной дружеской помощью и советами. Много драгоценных сведений он получил непосредственно от них самих. Многие почерпнул в архивах и в периодической печати, в подпольной газете «Аванте», которую просматривал номер за номером. Он заочно полюбил эту страну, а многолетний опыт журналиста помог ему написать весьма своеобразную книгу, в которой очерковый материал соединился с документом, интервью, стенограммой, биографической новеллой.

Сколько их, отважных борцов с фашизмом, появляется на страницах книги! Основатель португальской компартии Бенито Гонсалвес, замученный фашистами в страшном концентрационном лагере Таррафал. Предводительница сельских батраков, молодая крестьянка Катарина Эуфемия. Умерший после месячной голодовки в салазаровском застенке Милитао Рибейро. Стеклодув Жозе Грегорио, один из основателей боевого профсоюза стекольщиков. Генеральный секретарь Португальской компартии Алваро Куньял, чей легендарно смелый побег из португальской тюрьмы после тринадцатилетнего заключения поразил весь мир. И еще многие-многие португальские коммунисты-подпольщики, чьи имена автор по вполне понятным причинам не всегда даже мог назвать...

Б. Г.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

М. Власов. Рождение советской интеллигенции. 86 стр. Цена 11 к.

А. Моисеев. Экономический словарь-справочник рабочего. 240 стр. Цена 36 к.

Г. Обичнин, М. Панкратова. Письма Владимира Ильича Ленина. По страницам Полного собрания сочинений 360 стр. Цена 56 к.

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Сборник документов за 50 лет. В шести томах. Том 5. 750 стр. Цена 1 р. 50 к.

Г. Рыклин. Перо и сердце большевика (О И. И. Скворцове-Стеланове). 48 стр. Цена 6 к.

«МЫСЛЬ»

М. Андреев. Каталицизм и проблемы современного рабочего и национально-освободительного движения. 344 стр. Цена 1 р. 33 к.

Борьба коммунистических партий за демократию и социализм (Сборник статей). 312 стр. Цена 1 р. 19 к.

Д. Даррелл. Зоопарк в моем багаже. Перевод с английского. 278 стр. Цена 99 к.

В. Полторыгин. Экономические методы расчета эффективности производства. 128 стр. Цена 21 к.

Л. Черепнин. Исторические взгляды классиков русской литературы. 384 стр. Цена 1 р. 69 к.

«ЭКОНОМИКА»

Н. Ведута, И. Левин, С. Лунашевич. Экономика механизации управленческого труда. 150 стр. Цена 50 к.

А. Залесский. Сравнительная оценка хозяйственных решений. Некоторые вопросы теории и практики. 232 стр. Цена 82 к.

Г. Оноприенко. Выборочный анализ использования рабочего времени 166 стр. Цена 51 к.

Эффективность экономических методов руководства сельским хозяйством (Опыт Эстонской ССР). 182 стр. Цена 39 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Р. Бежанишвили. Поединок. Роман. Перевод с грузинского. 367 стр. Цена 65 к.

А. Битов. Аптекарьский остров. 248 стр. Цена 35 к.

П. Васильев. Стихотворения и поэмы. Вступительная статья С. Залыгина. «Библиотека поэта». 631 стр. Цена 3 р. 23 к.

Л. Вахер. Катрина Юле. Рассказы. Перевод с эстонского А. Тамма. 296 стр. Цена 45 к.

Г. Гор. Большие пихтовые леса. Рассказы и повести. 480 стр. Цена 96 к.

Л. Забашта. Дерево моих надежд. Стихи. Перевод с украинского. 175 стр. Цена 43 к.

С. Кудаш. По следам юности. Рассказы о прошлом. Перевод Л. Сейфуллиной с башкирского. 248 стр. Цена 40 к.

Молодой Ленинград. Альманах. Составитель С. Тжоржевский. 288 стр. Цена 73 к.

В. Полонский. На литературные темы. Избранные статьи. Предисловие А. Дементьева. 424 стр. Цена 1 р. 16 к.

А. Пысин. Меридианы. Стихи и поэмы. Перевод с белорусского. 152 стр. Цена 38 к.

И. Франко. Стихотворения и поэмы. Перевод с украинского. Вступительная статья А. Белещого. «Библиотека поэта». 651 стр. Цена 70 к.

Н. Хазри. Тропами воспоминаний. Стихи и поэмы. Перевод с азербайджанского. 104 стр. Цена 38 к.

С. Чиковани. Мысли. Впечатления. Воспоминания. Перевод с грузинского. 360 стр. Цена 87 к.

Г. Шеф. Записки совсем молодого инженера. Повести и рассказы. 216 стр. Цена 31 к.

И. Эвентов. Лирика и сатира. Литературно-критические статьи. 376 стр. Цена 90 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Античная лирика. Перевод с древнегреческого и латинского С. Апта и Ю. Шульца. Предисловие С. Шервинского. 624 стр. Цена 1 р. 29 к.

Е. Виноуров. Избранное. Из девяти книг. 495 стр. Цена 1 р. 66 к.

Голоса африканских поэтов. Сборник. Перевод с английского и французского. 320 стр. Цена 1 р. 23 к.

А. Дей. Судьбы поэтов. Гельдерлин. Клейст. Гейне. 576 стр. Цена 1 р. 27 к.

Машадо де Ассиз. Записки с того света. Перевод с португальского. 280 стр. Цена 34 к.

В. Нефф. Испорченная кровь. Роман. Перевод с чешского. 352 стр. Цена 1 р. 12 к.

Р. Олдингтон. Семеро против Ривза. Комедия-фарс. Роман. Перевод с английского. 295 стр. Цена 96 к.

Под небом Южного Креста. Бразильская новелла XIX—XX вв. Перевод с португальского. Предисловие И. Тертерян. 583 стр. Цена 1 р. 85 к.

И. Соколов. Г. И. Успенский. Жизнь и творчество 317 стр. Цена 87 к.

А. Урбан. Возвышение человека. Заметки о современной поэзии. 250 стр. Цена 69 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ю. Анобиров, Ш. Харисов. Садриддин Айни («Жизнь замечательных людей»). 144 стр. Цена 45 к.

Р. Гамзатов. Мой Дагестан. Повесть. Перевод с аварского В. Солоухина. 256 стр. Цена 67 к.

А. Жигулин. Поле боя. Лирика. 64 стр. Цена 16 к.

С. Калабалин. Бродячее детство. 96 стр. Цена 11 к.

Поэзия. Альманах. Выпуск 1. 207 стр. Цена 70 к.

П. Северов. Повесть о Рубене. Предисловие А. Р. Ибаррури. 352 стр. Цена 83 к.

Я. Смеляков. Молодые люди. Комсомольская поэма. 55 стр. Цена 15 к.

В. Солоухин. Сороч звонких капелей. Осенние листья. 248 стр. Цена 65 к.
Р. Фиш. Назым Хикмет («Жизнь замечательных людей»). 338 стр. Цена 93 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Вам обязаны жизнью. Сборник очерков о героизме женщин в годы Великой Отечественной войны. 240 стр. Цена 56 к.

Л. Обухова. Серебряная книга Севера. Путешествия в дневниках. 386 стр. Цена 59 к.

Г. Окский. Берега юности. Повесть 128 стр. Цена 21 к.

В. Панов. Рыцарь бедный. Документальная повесть о великом русском шахматисте Чигорине. 336 стр. Цена 72 к.

Пять обелисков. Стихи поэтов, павших на Великой Отечественной войне. 272 стр. Цена 63 к.

А. Розен. Почти вся жизнь. Короткие повести и рассказы. 96 стр. Цена 15 к.

Н. Рыленков. Дорога уходит за околицу. Короткие повести и рассказы. 144 стр. Цена 25 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Гершензон. Две жизни Госсена. — Робин Гуд. Повести. 319 стр. Цена 63 к.

В. Дружинин. Путешествие с троллем и другими своеобразными спутниками 240 стр. Цена 49 к.

Т. Иванова. Лермонтов на Кавказе. 215 стр. Цена 1 р. 12 к.

Э. Шторх. Охотники на мамонтов. Историческая повесть. 208 стр. Цена 46 к.

«ПРОГРЕСС»

К. Бенеш. Генеральный консул (Их подлинное лицо). Перевод с чешского. 144 стр. Цена 40 к.

Ю. Борген. Маленький Лорд Роман. Перевод с норвежского. 318 стр. Цена 1 р. 8 к.

Назимзаде. Годы их жизни. Роман. Перевод с английского. 338 стр. Цена 1 р. 15 к.

Однажды один человек... Сборник американского фольклора. Перевод с английского. 152 стр. Цена 32 к.

Г. Уэллс. Крах психоанализа. От Фрейда к Фройдму. Перевод с английского. 288 стр. Цена 96 к.

Г. Штайнер. Приговорен к смерти Австрийцы против Гитлера. Сборник документов. Перевод с немецкого. 248 стр. Цена 68 к.

«НАУКА»

В. Андрианова-Перетц. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. 201 стр. Цена 1 р. 9 к.

А. Богуславский, В. Днев. Русская советская драматургия. Основные проблемы развития 1946—1966. 240 стр. Цена 1 р. 27 к.

Д. Давидович. Эрнст Тезишман. Страницы жизни и борьбы. 304 стр. Цена 67 к.

Древнерусское искусство. Художественная культура Пскова. Сборник статей 231 стр. Цена 1 р. 95 к.

В. Ирвинг. История Нью-Йорка. Перевод с английского. 363 стр. Цена 1 р. 75 к.

В. Ключевский. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. 325 стр. Цена 2 р. 20 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Т. Абова, В. Тадевосян. Разрешение хозяйственных споров. 176 стр. Цена 56 к.

Национальная государственность союзных республик. 568 стр. Цена 2 р. 17 к.

П. Сахаров. Землеустроительный процесс в СССР. 160 стр. Цена 53 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В. Астафьев. Последний поклон. Повесть. Пермь. Книжное издательство. 260 стр. Цена 76 к.

Н. Бараташвили. Стихотворения, поэма. Перевод с грузинского В. Пастернака. Тбилиси. «Мевани». 142 стр. Цена 2 р.

Л. Гейштор, Л. Козлова. Полтавский литературно-мемориальный музей В. Г. Короленко. Харьков. «Прапор». 112 стр. Цена 22 к.

Д. Гусаров. Три повести из жизни Петра Анохина Петрозаводск. Карельское книжное издательство. 351 стр. Цена 80 к.

Г. Комраков. Слоновая кость. Рассказы и повесть. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 216 стр. Цена 30 к.

И. Романо. Прощай, мой табора! Горно-Алтайск. Алтайское книжное издательство. 64 стр. Цена 11 к.

И. Ростовцева. Сокровенное в человеке. Литературно-критические очерки Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 112 стр. Цена 17 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес Москва. К-6. пл. Пушкина. л. 5

Сдано в набор 27/VIII 1968 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 27 XI 1968 г.
 А. 09947 Зак. 2693 Тираж 118 800 экз.
 Формат бумаги 70×108^{1/8} 27,7: Уч.-изд. л. 9 бум. л. (24,66 усл. печ. л.)

Типография «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
 имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

«НОВЫЙ МИР» В 1969 ГОДУ

В 1969 году редакция журнала «Новый мир» предполагает опубликовать следующие произведения:

повесть **Ч. Айтматова** «Долгая память»;
 роман **А. Азольского** «Степан Сергеевич»;
 роман **Г. Бакланова** «Друзья»;
 «Мой Дагестан» **Р. Гамзатова** (книга вторая);
 книгу **Е. Дороша** «Древнее рядом с нами»;
 книгу о Чехове **С. Залыгина**;
 автобиографическую прозу **М. Исаковского**;
 повесть **Ф. Искандера** «Сандро из Чегема»;
 рассказы **В. Некрасова** «Городские прогулки»;
 «Из литературного наследия» **К. Паустовского**;
 повесть **Е. Ржевской** «Февраль — кривые дороги»;
 роман **Ю. Трифонова** «Исход».

Кроме того, будут опубликованы новые произведения: **Ф. Абрамова**, **В. Астафьева**, **А. Бека**, **В. Белова**, **В. Быкова**, **Г. Владимова**, **В. Войновича**, **Л. Волинского**, **Е. Герасимова**, **Д. Гранина**, **И. Грековой**, **Ю. Домбровского**, **Н. Дубова**, **Н. Ильиной**, **В. Каверина**, **В. Катаева**, **А. Кузнецова**, **В. Лихоносова**, **Н. Мельникова**, **Б. Можая**, **Е. Носова**, **А. Рыбакова**, **В. Семина**, **К. Симонова**, **С. Славича**, **И. Соколова-Микитова**, **Г. Троепольского**, **К. Федина**, **В. Фоменко**, **А. Шарова**, **В. Шукшина**.

В журнале будут также напечатаны воспоминания: Маршала Советского Союза **Н. И. Крылова** об обороне Севастополя; Героя Социалистического Труда, члена-корреспондента АН СССР **В. С. Емельянова** «Студенты 20-х годов»; маршала авиации **А. А. Новикова** «Рассказы о летчиках»; художницы **Вал. Ходасевич** «Портреты словами» (воспоминания о Маяковском, Ал. Толстом, Бабеле); **Цецилии Кин** «Годы тридцатые».

В поэтическом разделе журнала будут опубликованы новые стихи и поэмы: **И. Абашидзе**, **М. Алигер**, **М. Бажана**, **О. Берггольц**, **Д. Вааранди**, **О. Вацетиса**, **Р. Гамзатова**, **Е. Евтушенко**, **А. Жигулина**, **Р. Казаковой**, **М. Карима**, **Вл. Корнилова**, **А. Кулешова**, **Д. Кугультинова**, **К. Кулиева**, **С. Липкина**, **В. Лифшица**, **Ю. Марцинкявичюса**, **Н. Матвеевой**, **Э. Межелайтиса**, **С. Орлова**, **П. Панченко**, **Расула Рзы**, **Д. Самойлова**, **Я. Смелякова**, **М. Танка**, **А. Твардовского**, **В. Шефнера** и других.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

Подписка на «Новый мир» принимается во всех отделах и агентствах «Союзпечати», в отделениях связи и общественными распространителями печати без всяких ограничений.

О всех случаях отказа в оформлении подписки просим сообщать в редакцию журнала.